

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

# РУССКИЙ ЯЗЫК

В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

№ 2  
(8)



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2004

ISSN 1681-1062

**Научный журнал**

*Основан в январе 2001 года*

*Выходит два раза в год*

**Редакционная коллегия:**

*А. М. Молдован (главный редактор), А. А. Алексеев, Х. Андерсен (США), Ю. Д. Апресян, А. Богуславский (Польша), И. М. Богуславский, Д. Вайс (Швейцария), Ж. Ж. Варбот, А. Вежбицкая (Австралия), М. Л. Гаспаров, А. А. Гиттиус, М. Ди Сальво (Италия), Д. О. Добровольский, В. М. Живов, А. Ф. Журавлев, А. А. Зализняк, Е. А. Земская, Х. Кайперт (Германия), Л. Л. Касаткин, Э. Кленин (США), А. Д. Кошелев, Л. П. Крысин, Р. Лясковский (Швеция), Х.-Р. Мелиг (Германия), И. Мельчук (Канада), Н. Б. Мечковская (Беларусь), Е. В. Падучева, А. А. Пичхадзе (ответственный секретарь), Т. В. Рождественская, А. Тимберлейк (США), Х. Томмола (Финляндия), М. Флайер (США), А. Я. Шайкевич, А. Д. Шмелев*

**Адрес редакции:**

121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Редакция журнала "Русский язык в научном освещении".

Тел.: (095) 201-79-92, факс: (095) 291-23-17, e-mail редакции журнала: russyaz@yandex.ru, e-mail издательства: lrc@comtv.ru

Зав. редакцией *Н. Н. Розанова*

Редакторы номера *А. А. Пичхадзе, А. В. Гик*

Корректор *О. Трефилова*

Издатель *А. Д. Кошелев*

Подписка на журнал оформляется в любом отделении связи по Объединенному каталогу "Печать России", индекс 44088.

G.E.C.Gad Booksellers, Slavic Department, Ndr.Ringgade 3, DK-8000 Aarhus C, Denmark (Fax: +54 86 209102; E-mail: [slavic@gad.dk](mailto:slavic@gad.dk)) have the exclusive right to distribute this publication in Europe and the United States.

Исключительное право на распространение журнала в Европе и США принадлежит датской книготорговой фирме G•E•C GAD (fax: +54 86 20 9102, E-mail: [slavic@gad.dk](mailto:slavic@gad.dk)).

© Институт русского языка  
им. В. В. Виноградова РАН, 2004  
© Авторы, 2004

Подписано в печать 20.12.2004. Формат 70×100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная.  
Усл. п. л. 26,45. Заказ №

## СОДЕРЖАНИЕ

### Исследования

|  |     |
|--|-----|
| <i>Е. В. Падучева</i><br>О семантическом инварианте видового значения глагола в русском языке .....              | 5   |
| <i>Е. В. Урысон</i><br>Некоторые значения союза <i>А</i> в свете современной семантической теории .....          | 17  |
| <i>Р. Ф. Касаткина</i><br>О диалектизмах в творчестве Пушкина .....  | 49  |
| <i>О. Ю. Крючкова</i><br>Вопросы лингвистической трактовки лексической редупликации в русском языке .....        | 63  |
| <i>Т. Е. Янко</i><br>Русская интонация в задачах и примерах .....  | 86  |
| <i>М. Ванхала-Анишевски (Йоэнсуу)</i><br>Функционирование текстовых скреп в русской и финской научной речи ..... | 124 |
| <i>О. И. Онацкая</i><br>Из истории русской орфографии. Дефис<br>в «Словаре Академии Российской» .....            | 136 |
| <i>А. А. Гиппиус</i><br>Сочинения Владимира Мономаха:<br>Опыт текстологической реконструкции. II .....           | 146 |
| <i>Р. Н. Кривко</i><br>Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. II .....                    | 172 |
| <i>А. А. Алексеев</i><br>О новгородских вощеных дощечках начала XI в. ....                                       | 203 |
| <i>О. Ф. Жолобов</i><br>Заметки о древнерусских числительных. II: «1», «3», «4» .....                            | 209 |
| <i>А. П. Майоров</i><br>Местоимения <i>сей, тот, оной</i> в деловом языке XVII—XVIII вв. ....                    | 224 |

### Полемика

|   |     |
|---|-----|
| <i>В. М. Живов</i><br>Улики подлинности и улики поддельности. По поводу книги: <i>Keenan Edward L. Josef Dobrovský and the Origins of the Igor' Tale</i> . Cambridge (Mass.): Distributed by Harvard University Press, 2003. XXIII, 541 p. .... | 240 |
|---|-----|

### Рецензии

|   |     |
|---|-----|
| Новая книга о «Русском Донате» ( <i>В. А. Ромодановская</i> ) .....   | 268 |
| Русская авторская лексикография XIX—XX веков. Антология /<br>Сост. Е. Л. Гинзбург, Ю. Н. Караулов, Л. Л. Шестакова; Отв. ред.<br>Ю. Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2003. 512 с. ( <i>О. М. Карпова</i> ) .....  | 275 |
| Словарь языка русской поэзии XX века / Сост. В. П. Григорьев,<br>Л. Л. Шестакова, В. В. Бакеркина, А. В. Гик, Л. И. Колодяжная,<br>Т. Е. Реутт, Н. А. Фатеева; Компьютерная база Словаря: Ж. Г. Аношкина. М.:<br>Языки славянской культуры. ( <i>Studia philologica</i> ). Т. 1: А — В. 2001.<br>896 с. То же. Т. 2: Г — Ж. 2003. 800 с. ( <i>Н. А. Богомолов</i> ) ..... | 279 |

### Информационно-хроникальные материалы

|  |     |
|--|-----|
| <i>М. А. Кормилицына, О. Б. Сиротинина</i> . Международный научный семинар<br>«Власть и жизненный мир личности» .....                            | 283 |
| <i>О. Г. Ровнова, Т. Б. Юмсунова</i> . Отчет о диалектологических экспедициях<br>Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 2003 г. .... | 289 |
| <i>М. Животова</i> . Международная конференции «Шестые Шмелевские чтения:<br>проблемы русской лексикографии» .....                               | 304 |

### Новые книги

|  |     |
|--|-----|
| Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сборник статей в честь<br>Н. Д. Арутюновой .....               | 310 |
| <i>М. В. Филипенко</i> . Семантика наречий и адвербиальных выражений .....                                 | 312 |
| Linguistic and Literary Aspects of Free Indirect Discourse from a Typological<br>Perspective .....         | 313 |
| <i>O. Leška</i> . Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní<br>analýzy ruštiny ..... | 314 |
| <i>J. Sosnowski</i> . Toponimia rosyjska XVI wieku. Nazwy wsi .....  | 315 |
| Этимологические исследования: Сб. науч. тр. Вып. 8. ....   | 316 |
| Indexy k staroslověnskému slovníku .....   | 318 |
| Фразеологический словарь русского языка .....  | 319 |
| Объявление о конкурсе статей .....   | 320 |

## ИССЛЕДОВАНИЯ

---

Е. В. ПАДУЧЕВА

### О СЕМАНТИЧЕСКОМ ИНВАРИАНТЕ ВИДОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ \*

Шестидесятые годы прошлого века были ознаменованы революцией в семантике. Главное открытие состояло в том, что значение слова нужно описывать не само по себе, а в составе *с е н т е н ц и а л ь н о й ф о р м ы*, с переменными по актантам, см. обоснование этого принципа в [Апресян 1974: 98]. На смену семантическим признакам пришли толкования, которые позволили выделять в слове смысловые компоненты предикативной структуры. Возникли семантические метаязыки значительно более тонкие и мощные, обеспечивающие естественное взаимодействие семантики с синтаксисом.

Почти одновременно с лексической семантикой идею толкований стала осваивать аспектология. В статье [Wierzbicka 1967] было дано толкование нескольким видовым парам польских глаголов и тем самым предложен метод толкования видовой морфемы через толкование пропозиции с глагольной словоформой соответствующего вида. Далее в классической работе [Гловинская 1982] (см. также [Апресян 1980; Апресян 1988]) были представлены толкования совершенного и несовершенного вида для ряда крупных классов глаголов русского языка (для действий типа *вбить* и типа *уговорить*; для стативных глаголов типа *возглавлять* и других; для неопределенных процессов типа *увеличиваться*), а также для нескольких малых классов, таких как параметрические глаголы (*вместать*, *весить*) или перформативы.

Следующий шаг состоял в осознании того, что смысловое соотношение между глаголом совершенного и несовершенного вида в видовой паре в существенной степени предопределено аспектуальным классом глагола по Вендлеру. Точнее, речь шла об аспектуальных классах, помноженных на агентивность, т. е. о категориях — таких как действие, деятельность, процесс, состояние, происшествие и др., см. работы: [Булыгина 1982; Mehlig 1981/1985; Падучева 1986] и [Падучева 1996: 103—121]. В конечном счете в семантике видовой формы стала различаться *л е к с и ч е с к а я*

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке научного фонда РГНФ, проект № 05-04-04130а.

аспектуальность, выраженная принадлежностью глагола к той или иной категории, и собственно грамматическая семантика вида, т. е. прежде всего ракурс — синхронный vs. ретроспективный; иначе — перспектива.

Идея о раздельной лексической и грамматической аспектуальности лежит в основе так называемой двухкомпонентной теории вида, см. [Smith 1991; Смит 1998] (грамматическая аспектуальность — это *point of view aspect*). Но само разграничение лексической и грамматической аспектуальности свойственно не только этой теории, но и всем концепциям, которые, с одной стороны, работают с категориями, т. е. с аспектуально значимыми лексическими классами глаголов, а с другой — пользуются понятием перспективы, ракурса или точки отсчета (иначе — противопоставлением синхронного и ретроспективного наблюдателя): аспектуальное значение есть соединение аспектуальной категории глагола с темпоральной схемой ракурса. О синхронии и ретроспекции как понятиях, аспектуально значимых в том числе и для русского вида, см. [Падучева 1986; Tatevosov 2001; Пазельская 2003]. Намек на применимость рейхенбаховской точки отсчета в славянской аспектологии содержался еще в [Wierzbicka 1967].

Сейчас можно с уверенностью исходить из того, что семантика категории задается ее категориальным каркасом — схемой толкования, общей у глаголов данной категории. Эта идея прослеживается в работах [Wierzbicka 1980; Dowty 1979; Jackendoff 1990]; на этом же основывается концепция системы «Лексикограф», изложенная в [Падучева 1996]. Преимущества, вытекающие из выделения в толковании глагола категориального каркаса и лексической константы, четко изложены в работе [Levin, Rappaport Hovav 1998].

В рамках этих общих положений обратимся теперь к проблеме инварианта.

## I

Как известно, морфология русского вида крайне нерегулярна. Между тем русский школьник безо всякого затруднения отличает совершенный вид от несовершенного: *упал* — СВ, *брал* — НСВ. В падеже он может ошибиться, с видом, парадоксальным образом, дело обстоит проще. Значит, между СВ и НСВ должно быть какое-то простое семантическое различие. Но как же так, если у одного только несовершенного вида лингвисты различают с дюжину различных частных значений (см. списки в работах А. В. Бондарко, О. П. Рассудовой, М. Я. Гловинской и др.)? Более того, известно явление конкуренции видов, когда СВ и НСВ значат почти одно и то же. Конечно, «почти» не значит «в точности». Сравним (1а) и (1б):

- (1) а. Университета Бернард Шоу *не кончил*;  
 б. Университета Бернард Шоу *не кончал*.

Фраза (1а) дает понять, что Бернард Шоу учился в университете, а фраза (1б) означает, скорее всего, что и не поступал. Ясно, однако, что школьник, который должен определить вид словоформы, этой семантикой не занимается. Дело в том, что он вообще имеет дело со словоформой самой по себе, меж тем

как частные значения порождаются контекстом. Есть надежда, что инвариант обнаружит себя, если «очистить» значение видовой формы от контекста. Какой же это контекст?

Видовая граммема в своем функционировании входит в два вида контекста: контекст лексемы и контекст высказывания, т. е. синтаксис, речевой акт, режим интерпретации формы времени и прочее. Соответственно, проблему инварианта можно разделить на две: 1) есть ли у вида лексический инвариант, т. е. есть ли инвариантное значение у словоформ данного вида от разных глаголов, и 2) есть ли инвариант у употреблений словоформ в разных высказываниях.

Поначалу нас будет интересовать лексический инвариант: можно ли найти нечто общее в значении вида у разных глаголов? В рамках этой первой задачи от влияния фразового контекста следует отвлечься, ставя видовую словоформу разных слов всегда в один и тот же фразовый контекст, наиболее естественный для словоформ данного вида (ср. понятие сильной позиции в фонологии). Для СВ самый естественный контекст — прошедшее время, для НСВ — настоящее, причем режим интерпретации времени должен быть в обоих случаях речевой (иначе — диалогический, дейктический). К остальным контекстам — будущее время для совершенного вида, прошедшее и будущее для несовершенного — можно будет вернуться позже.

Совершенный вид прошедшего времени дает ретроспективную точку зрения на ситуацию; несовершенный вид настоящего времени задает синхронную перспективу — одновременность с моментом речи:

- (2) а. Смотри, кто-то *вошел* в зал;  
б. Смотри, кто-то *входит* в зал.

Двухкомпонентная теория различает у грамматического вида (point of view aspect) два значения — перфект, выражающий ретроспективу, и имперфект, который фиксирует синхронную перспективу. Русская словоформа НСВ допустима не только в синхронном — имперфективном — контексте, как в (2б), но и в ретроспективном; ретроспективный контекст дает так называемое общефактическое значение НСВ:

- (3) Ты *входил* в зал?

Но общефактическое значение не является для НСВ основным: ретроспективный ракурс для формы НСВ явно вторичен, так что в рамках первой задачи мы вправе не принимать его во внимание.

Следует сказать два слова о режиме интерпретации времени. Речевой режим противопоставлен нарративному, см. [Падучева 1986]. В нарративном режиме нет той прямой связи между временем и перспективой, что в речевом, поскольку нарратив опирается на текущий момент текста, а не на момент речи. Особенно существенно это влияет на семантику НСВ — в нарративе прошедшее время НСВ может выражать синхронную перспективу:

- (4) Я *ехал* на перекладных из Тифлиса (М. Лермонтов).

Верно и обратное — форма настоящего времени несовершенного вида в нарративе может не выражать синхронной перспективы, употребляясь, так

сказать, в значении совершенного, а именно в значении ретроспекции по отношению к текущему моменту повествования:

(5) Раз *приходит* [НСВ] ко мне приятель ≈ ‘Раз пришел [СВ] ко мне приятель’.

З а м е ч а н и е 1. Термин *режим* можно перевести на англ. язык как *register*. Но в русской системе терминов «режим» не то же, что «регистр», см. о пяти коммуникативных регистрах в [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004] (ни один из них не совпадает ни с речевым, ни с нарративным). О речевой и нарративной интерпретации дейксиса см. в [Апресян 1986].

В рамках первой задачи можно было бы не исключать из рассмотрения контекст прошедшего нарративного: лингвист до сих пор чаще имеет дело с нарративными текстами, чем с разговорным языком. Однако выделение настоящего речевого как эталона синхронной перспективы полезно для точности формулировок, а на общность выводов это никак не повлияет.

Итак, чтобы выявить лексический инвариант вида, мы ставим видовую словоформу в «сильную позицию»: для СВ это позиция ретроспекции (*Ваня встал*), она же и единственно возможная, а для НСВ выбираем синхронную перспективу (*Ваня встает*) за исходную. Синхронная перспектива — это то же, что синхронная точка отсчета, синхронная позиция наблюдателя, синхронный ракурс.

Ниже определение I выявляет инвариантное значение совершенного вида, определение II — несовершенного.

*Определение I.* Форма СВ означает: ‘в некоторый момент *t* до момента речи не было *P*; в момент речи — *P*’.

*Определение II.* Форма НСВ означает: ‘*P* имеет место в момент речи и будет иметь место некоторое время после’.

*P* — это может быть свойство, соотношение, состояние, процесс, деятельность, в зависимости от лексической семантики глагола.

Иначе говоря, форма СВ означает, что нечто было, а сейчас этого нет, или наоборот, раньше не было, а сейчас есть: грубо говоря, сейчас иначе, чем было. (Не следует, однако, думать, что *в момент речи* значит то же, что *сейчас*; см. ниже Замечание 2.) А НСВ означает, что нечто есть сейчас и в течение некоторого времени будет: в форме НСВ содержится некий прогноз на будущее (см. об этом [Булыгина 1980: 146]). Иными словами, совершенный вид обозначает (происшедшее) изменение, а несовершенный — сохранение прежнего состояния.

Кроме значения, которое задает определение II, НСВ от всех парных глаголов может иметь т р и в и а л ь н о е значение многократного повторения ситуации, обозначенной глаголом СВ. Так что у парных глаголов НСВ два инварианта.

Определение I — это, в сущности, выжимка из толкований (для разных классов глаголов СВ), предлагавшихся в [Гловинская 1982]. В [Гловинская 1998] обосновываются преимущества использования для описания семантики СВ глагола *начаться*<sup>1</sup> по сравнению с *измениться*, который предлагался

<sup>1</sup> Ср., однако, глагол *отдохнуть* и другие, которые явно обозначают прекращение, а не начало состояния.



на роль инварианта в [Antinucci, Gebert 1975]. На самом деле, как легко видеть, нет необходимости ни в одном глаголе, ни в другом (заметим, что они не входят в последний, самый большой список примитивов у Вежбицкой, см. [Wierzbicka 1996]): инвариант СВ легко формулируется без их участия.

Пример использования определений:

- (6) а. Ваня *сел* [СВ]  $\supset$  ‘в некоторый момент  $t$  до момента речи не сидел, в момент речи сидит’;  
 б. Ваня *сидит* [НСВ]  $\supset$  ‘в момент речи сидит и еще некоторое время будет сидеть’.

Предлагаемые определения близки к формулировкам Э. Кошмидера, который противопоставляет *Eintritt*, ‘наступление чего-то нового’, и *Wären* ‘протекание’, ср. [Маслов 1976]. Рассмотрим, однако, примеры, где применение этих определений наталкивается на трудности.

### 1. *Несовершенный вид*

Модификатор «некоторое время», естественно, теряет смысл, если глагол обозначает постоянное или вневременное свойство/соотношение, т. е. в контексте гномического настоящего:

- (7) Она *хромает*; Земля *состоит* из суши и воды.

Это глаголы, у которых само наличие категории времени есть следствие обязательности грамматической категории, потерявшей смысл, как число в случае несчетных имен.

Некоторые глаголы в НСВ обозначают ситуацию, которая хотя и длится какое-то время, но не допускает синхронной перспективы. Таково, например, зрелищное *видеть* (как в примере *Я видел этот фильм*), описанное в [Апресян 1980]; тем же свойством обладают формы НСВ от *навестить*, *зайти*, *забежать*, *заехать*, *посетить*, *заглянуть* (в значении ‘зайти не надолго’), *встретиться* (как в контексте *Я знаю этого шахматиста, мы в с т р е ч а л и с ь в матче на первенство Европы*).

В случае многократности та ситуация  $P$ , которая имеет место сейчас и будет иметь место некоторое время после, — это ситуация повторения события:

- (8) Он *приходит* к нам каждое воскресенье = ‘так обстоит дело сейчас и так будет некоторое время потом’; *сейчас* обозначает сверхдолгий интервал; это расширенное настоящее.

Подчеркнем, что синхронную перспективу допускают отнюдь не только те глаголы, у которых НСВ имеет актуальное значение; ее имеют формы НСВ моментальных глаголов — *выигрывать*, *опаздывать* (тенденция), *покидать* (предстояние), *ошибаться*, *рисковать* (интерпретация поступка) и под. Все эти глаголы подтверждают инвариант. Даже *приходить* способно иметь однократное синхронное понимание — например, в значении предстояния:

- (9) Итак, я *прихожу* к вам завтра в семь.

Синхронное значение возникает у формы НСВ — при синхронной перспективе — и в прошедшем времени; ср. прошедшее нарративное в примере (4) или значение предстояния в (10):

- (10) Его *осуждали* на пять лет, но тут вышел указ (пример из [Падучева 1996: 116]);  
 В 1980 году *исполнялось* столетие со дня рождения Блока;  
 На следующей неделе он *уходил* в отпуск<sup>2</sup>.

Таким образом, предлагаемый инвариант НСВ работает не только на настоящем времени: время может быть и прошедшее и будущее; важно, чтобы была синхронная перспектива.

## 2. Совершенный вид

Есть глаголы, у которых наличие формы СВ вызывает недоумение. Между тем предлагаемый инвариант предусматривает для нее вполне правдоподобную интерпретацию. Так, в (11) ситуация, которая сначала была, а потом ее не стало, — это состояние намерения:

- (11) Я *остался* дома = ‘я намеревался уйти, сейчас нет этого намерения’.

У глагола *составлять* в стативном значении (см. обсуждение этого глагола в [Раппапорт 1998]) есть парный СВ *составить*, который может иметь две различные интерпретации:

- (12) а. Инфляция *составила* 7% = ‘инфляция не была равна 7%, сейчас равна’;  
 б. Словарь Шекспира *составил* 12000 слов = ‘раньше не знали объема словаря Шекспира, теперь известно, что это 12000 слов’.

Значение, которое получает фраза (12б), строится по образцу толкований, предлагавшихся в [Гловинская 1982] для параметрических глаголов, например, *вместить*. Совершенный вид от стативов образуется, однако, непоследовательно; он есть у *вместать*, *включать*, *составлять*, но не у *стоять*, *состоять*.

Лучше всего определение II работает на глаголах СВ, имеющих перфектное значение, таких как *упасть*; у них Р — состояние. Но оно применимо и к событийным глаголам, таким как *посчастливившись*, у которых Р — событие.

У предельного глагола формы СВ и НСВ позволяют представить одну и ту же ситуацию в двух перспективах: СВ выражает действие в его целостности (*Иван построил дом*), т. е. в ретроспективе, а несовершенный выделяет одну из фаз гомогенного процесса накопления эффекта (*Иван строит дом*), представляя этот процесс в синхронной перспективе.

Некоторые стативные глаголы тоже позволяют представить ситуацию в двух перспективах — как состояние (инцептивное) и как наступление состояния; это глаголы, которые входят в перфектные пары: эмоции (*огор-*

<sup>2</sup> Заметим, что если трактовать глагольную форму в примере (9) как настоящее предстоящее (профетическое), то формы прошедшего времени в примере (10) не могут получить непротиворечивой грамматической атрибуции.

*чать* — *огорчить*, см. [Падучева 1996: 157—158]), глаголы создания образа (*выражаться* — *выразиться*) и многие другие.

Инвариант, предлагаемый нами для СВ, не охватывает делимитативов и пердуративов; но они, как известно, занимают особое место среди глаголов СВ — например, они совместимы с обстоятельством длительности, которое для обычных глаголов СВ исключено (*поспал два часа, прожил два года* — \**написал два часа*).

Выявленные инварианты видового значения позволяют взглянуть на семантику вида под новым углом зрения. Прежние формулировки были ориентированы на различия в видовых парах; инвариант направляет на поиски семантической общности у глаголов одного вида.

На базе определений I и II можно построить толкование для форм СВ и НСВ градативов, т. е. глаголов, производных от сравнительной степени прилагательного, таких как *увеличиться, повыситься, улучшиться, ухудшиться, удалиться, сократиться, сузиться, удлиниться, укоротиться*. Этот класс, описанный в [Гловинская 1982], во многих отношениях уникален. Неясно, например, являются ли эти глаголы предельными или непредельными? В основном типе видовых пар наличие актуального значения у глагола НСВ, входящего в видовую пару, достаточно для предельности, ср. *таять* — *растаять*. Тут, видимо, не так.

Неясно, далее, какая форма в видовой паре *увеличиться* — *увеличиваться* является семантически исходной — СВ или НСВ? Очевидно, у этих глаголов ни одно из видовых значений не является исходным для другого. Между тем оба имеют толкования, которые соответствуют инварианту.

Глаголу СВ *увеличиться* можно предложить следующую схему толкования:

$X$  *увеличился на Q* = ‘в момент речи  $X$  на  $Q$  более  $Z$ -овый, чем в некий момент  $t$  до момента речи’ [иначе: значение, которое на  $X$ -е принимает в момент речи параметр  $Z$ , выше на  $Q$ , чем до момента речи].

В ситуации, обозначенной глаголом СВ *увеличиться*, есть участник  $Z$  — Параметр и участник  $Q$  — Разница;  $X$  *увеличился на Q* — значит, что до момента речи у  $X$ -а было одно значение параметра  $Z$ , а в момент речи — другое, большее на  $Q$  (или в  $Q$  раз). Это толкование не исключает того, что процесс, породивший участника  $Q$ , продолжается, так что в некий момент  $t'$  после момента речи объект  $X$  будет более  $Z$ -овый, чем в момент речи. Именно так понимается, например, фраза (13): нет предположения о том, что процесс закончился; не исключено, что в некий момент  $t'$  после момента речи  $X$  будет выше, чем в момент речи:

(13) *Уровень воды повысился на 5 см* = ‘в момент речи уровень воды на 5 см выше, чем в некий момент  $t$  до момента речи’.

Схема толкования для глагола НСВ *увеличиваться*:

$X$  *увеличивается* = ‘в момент речи  $X$  более  $Z$ -овый, чем в некий момент  $t$  до момента речи, а в некий момент  $t'$  после момента речи  $X$  будет более  $Z$ -овый, чем в момент речи’.

Иными словами, на двух временных интервалах сохраняется одно и то же соотношение, например:

- (14) *Уровень воды повышается* = ‘в момент речи уровень воды выше, чем в некий момент  $t$  до момента речи, а в некий момент  $t'$  после момента речи  $X$  будет выше, чем в момент речи’.

Разница между СВ и НСВ сводится к тому, что глагол СВ может быть употреблен и тогда, когда изменение прекратилось, и когда оно продолжается. А НСВ однозначно показывает, что процесс будет продолжаться: форма НСВ выражает прогноз на будущее.

Особенность градативов в том, что у них, несмотря на видовую парность, ни один из видов не является семантически производным по отношению к другому: НСВ содержит упоминание момента  $t'$ , отсутствующего в СВ, а СВ — участника  $Q$ , который задает своего рода промежуточный предел процесса.

Итак, нашелся семантический компонент, который есть, при синхронной перспективе, у всех глаголов НСВ — предельных и непредельных, стативных и динамичных, акциональных и неакциональных (кроме небольшой группы таких, которые не имеют синхронного значения НСВ). И нашелся компонент, который есть у основной массы глаголов СВ.

## II

Обратимся теперь к контекстам второго типа и семантике точки зрения (point of view aspect), иначе — перспективы, которая может быть различной у одной и той же словоформы в разных контекстах. С семантикой СВ ничего принципиального в контексте высказывания произойти не может; между тем для словоформы НСВ нужно принять во внимание тот факт, что в контексте высказывания она может пониматься не только в синхронном, но и в ретроспективном ракурсе. Сохраняется ли в этом контексте инвариант, заданный нашим определением?

Анна Вежбицка в работе о польском виде [Wierzbicka 2002: 105] сводит семантику НСВ к обстоятельству FOR SOME TIME ‘в течение некоторого времени’. Поскольку польский и русский вид чрезвычайно близки по семантике и употреблению, вполне естественно ожидать, что этот анализ, если он применим к польскому, будет применим и к русскому языку. Легко видеть, однако, что в русском — как и в польском, что отмечает Вежбицка, — это истолкование проходит для императива, инфинитива, прошедшего и будущего времени, см. (15а), но не проходит для настоящего времени — настоящее время несовершенного вида в актуальном значении не сочетается с обстоятельством *в течение некоторого времени*, см. (15б):

- (15) а. Делай так = ‘некоторое время делай так’;  
 Я буду делать так = ‘я буду некоторое время делать так’;  
 б. Я делаю так ≠ ‘я в течение некоторого времени делаю так’.

Иными словами, контекст настоящего речевого, о котором шла речь и который мы считали основным для НСВ, оказывается единственным, где

толкование Вежицкой НЕ проходит. И ничего удивительного: *в течение некоторого времени* — это показатель длительности с замкнутым временным интервалом (см. о двух типах показателей времени в [Падучева 1988] и [Падучева 1996: 172—181]); он фиксирует в предложении не синхронную позицию наблюдателя — которая очевидным образом противоречит синхронной перспективе настоящего речевого.

Вежицка осознает трудность, демонстрируемую примерами типа (15), и решает это противоречие, говоря, что имперфективные формы являются в контексте настоящего времени «семантически немаркированными», а за пределами настоящего времени несут «дополнительную семантическую информацию» ‘в течение некоторого времени’: «В настоящем времени имперфективная форма не передает этой информации, хотя ее прагматически имплицитует (pragmatically implies) семантический компонент СЕЙЧАС, присутствующий в семантике настоящего времени» [Wierzbicka 2002: 105]. В нашем определении инварианта НСВ идея длительности относится не к прагматике, а к семантике: вторая временная точка (отнесенная в будущее) обеспечивает сохранение ситуации на протяжении некоторого отрезка.

Интересно, что идея длительности сохраняется и в пассиве. В работе [Шатуновский 2004] по поводу отрывка из футбольного телерепортажа —

Время будет прибавлено, потому что *была оказана* помощь Дьюфу и были другие остановки —

справедливо говорится, что лучше было бы заменить форму СВ *была оказана* на НСВ *оказывалась*: добавочное время аргументируется не столько фактом оказания помощи, сколько тем, что это заняло какое-то время.

З а м е ч а н и е 2. Семантические отношения между *сейчас* и настоящим временем — это отдельная сложная проблема. Например, известно, что СВ в русском языке невозможен в настоящем времени, но сочетается с *сейчас*, ср. *Мы сейчас изменили порядок оформления документов*. Объяснение, которое было предложено этому примеру (в [Падучева 1996: 171]), апеллировало к противопоставлению включенных и объемлющих временных показателей: *сейчас* имеет объемлющий референциальный интервал, а настоящее время — включенный, это точка. Это положение полностью разделяет А. Вежицка, которая пишет: «Значение [формы настоящего времени] отражает перспективу говорящего, а временная позиция говорящего является внутренней, а не внешней по отношению к референциальному интервалу предложения, содержащего СЕЙЧАС» [Wierzbicka 2002: 105].

Итак, семантический компонент ‘в течение некоторого времени’ вытекает как следствие из инварианта НСВ, заданного Определением I. Так что этот компонент можно рассматривать просто как альтернативную формулировку для кандидата на роль инварианта, объединяющего синхронный и несинхронный контексты.

Посмотрим, однако, внимательнее на ретроспективные контексты: всегда ли в форме НСВ в этих контекстах присутствует идея длящейся — в течение некоторого времени — ситуации.

В случае предельного глагола это, несомненно, так. В смысл (16) входит смысл ‘в течение некоторого времени писал’; результативное приращение — не только ‘действовал с целью’, но и ‘достиг ее’ — возникает как (подавляемая) импликатура:

(16) Кто *писал* эту записку?

Положительный ответ получаем и для глаголов без синхронной перспективы, типа *навещать*: недопустимость синхронной перспективы не мешает реализации компонента ‘в течение некоторого времени’ при ретроспекции.

Однако для типичного моментального глагола это не так: компонента ‘в течение некоторого времени’ у него в ретроспективном контексте нет. Синхронная позиция наблюдателя может «выжимать» из семантики моментального глагола, как в настоящем, так и в прошедшем времени, континуальное (синхронное однократное) значение — это может быть значение предстояния (*Я вас покидаю; На следующий день я покидал прекрасную Францию*), тенденции (*Он выигрывает; Мы опаздывали*) или какое-то еще. Но в ретроспективном контексте этот компонент не входит в семантику видовой формы моментального глагола. Так, фраза *Я у него выигрывал* значит ‘хоть раз выиграл’ — форма *выигрывал* обозначает событие и не включает компонента ‘выигрывал в течение некоторого времени’. Таким образом, поиски инвариантной части у синхронного и ретроспективного значения НСВ подтверждают заключение, сделанное в [Падучева 1996: 44—45], что у предельных глаголов исходным для общефактического является актуально-длительное значение, а у моментальных общефактическое значение строится на базе многократного и не включает компонентов предстояния, тенденции и тому подобных, вынуждаемых синхронной перспективой.

\* \* \*

Итак, мы можем заключить, что словоформы НСВ глаголов, относящихся к разным аспектуальным категориям, обнаруживают при синхронной перспективе нетривиальную смысловую общность, которую можно сформулировать как наличие общего компонента. С инвариантом для разных ракурсов дело обстоит сложнее. Здесь тоже действуют общие семантические механизмы, порождающие одни частные аспектуальные значения из других, но они требуют дополнительного изучения.

### Л и т е р а т у р а

Апресян 1974 — Ю. Д. А п р е с я н. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.

Апресян 1980 — Ю. Д. А п р е с я н. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ↔ Текст // Wiener slawistischer Almanach. Sond.-Bd. 1. Wien, 1980.

Апресян 1986 — Ю. Д. А п р е с я н. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986. С. 5—33.

Апресян 1988 — Ю. Д. А п р е с я н. Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование. М., 1988. С. 57—78.

Булыгина 1980 — Т. В. Бу л ы г и н а. Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 320—355.

Булыгина 1982 — Т. В. Бу л ы г и н а. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов / Отв. ред. О. Н. Селиверстова. М., 1982. С. 7—85.

Гловинская 1982 — М. Я. Г л о в и н с к а я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Гловинская 1998 — М. Я. Г л о в и н с к а я. Инвариант совершенного вида в русском языке // Типология вида. Проблемы. Поиски. Решения. М., 1998. С. 125—134.

Золотова, Онипенко, Сидорова 2004 — Г. А. З о л о т о в а, Н. К. О н и п е н к о, М. Ю. С и д о р о в а. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: ИРЯ — МГУ, 2004.

Маслов 1976 — Ю. С. М а с л о в. Рец. на кн.: S. G. Andersson. Aktionalität im Deutschen // Вопросы языкознания. 1976. №2. С. 126—129.

Падучева 1986 — Е. В. П а д у ч е в а. Семантика вида и точка отсчета // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1986. Т. 45. №5. С. 413—424.

Падучева 1988 — Е. В. П а д у ч е в а. К семантической классификации временных детерминантов предложения // Язык: система и функционирование М., 1988. С. 190—201.

Падучева 1996 — Е. В. П а д у ч е в а. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Пазельская 2003 — А. Г. П а з е л ь с к а я. Аспектуальность и русские предикатные имена // Вопросы языкознания. 2003. №4. С. 72—90.

Раппапорт 1998 — Г. Р а п п а р о р т. Перфективация состояний // Типология вида. Проблемы. Поиски. Решения. М., 1998. С. 381—395.

Смит 1998 — К. С. С м и т. Двухкомпонентная теория вида // Типология вида. Проблемы. Поиски. Решения. М., 1998. С. 404—422.

Татевосов 2001 — С. Г. Т а т е в о с о в. Аспектуальные классы глаголов // Багвалинский язык. Грамматика, тексты, словари / Ред. А. Е. Кибрик. М., 2001.

Шатуновский 2004 — И. Б. Ш а т у н о в с к и й. Общефактический НСВ: коммуникативные функции и референция // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сб. статей в честь Н. Д. Арутюновой / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М., 2004. С. 368—377.

Antinucci, Gebert 1975 — F. A n t i n u c c i, L. G e b e r t. L'aspetto verbale in polacco // Ricerche slavistiche. 22—23. 1975. P. 5—60.

Dowty 1979 — D. R. D o w t y. Word Meaning and Montague Grammar. The Semantics of Verbs and Times in Generative Semantics and in Montague's PTQ. Dordrecht (Holland): Reidel, 1979.

Jackendoff 1990 — R. S. J a c k e n d o f f. Semantic Structures. Cambridge etc.: MIT Press, 1990.

Levin, Rappaport Hovav 1998 — B. L e v i n, M. R a p p a r o r t H o v a v. Building Verb Meaning // The Projection of Arguments: Lexical and Compositional Factors / Ed. by M. Butt, W. Geuder. CSLI Publications, 1998. P. 97—134.

Mehlig 1981/1985 — H. R. M e h l i g. Satzsemantik und Aspektsemantik im Russischen: (Zur Verbklassifikation von Zeno Vendler) // Slavistische Beiträge. Bd. 147. München: Otto Sagner, 1981. S. 95—151. Сокр. рус. пер.: Х. Р. М е л и г. Семантика

---

предложения и семантика вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15. Современная зарубежная русистика. М., 1985. С. 227—249.

Smith 1991 — C. S. Smith. The Parameter of Aspect. Dordrecht, 1991.

Tatevosov 2001 — S. G. Tatevosov. The Parameter of Actionality. Moscow, 2001.

Tatevosov 2002 — S. G. Tatevosov. The Parameter of Actionality // Linguistic typology. Vol. 6. 2002. P. 317—401.

Wierzbicka 1967 — A. Wierzbicka. On the Semantics of the Verbal Aspect in Polish // To Honor Roman Jakobson. The Hague; Paris, 1967. P. 2231—2249.

Wierzbicka 1980 — A. Wierzbicka. *Lingua mentalis*. Sydney etc., 1980.

Wierzbicka 1996 — A. Wierzbicka. *Semantics: Primes and Universals*. Oxford; N. Y., 1996.

Wierzbicka 2002 — A. Wierzbicka. Actions, events and movements and the problem of aspect in Polish natural semantic metalanguage // *Meaning and Universal Grammar. Theory and empirical findings*. Vol. 2 / Ed. by C. Goddard and A. Wierzbicka. Amsterdam, 2002. P. 105—125.



Е. В. УРЫСОН

## НЕКОТОРЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОЮЗА *А* В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ\*

### Введение

Объект нашего исследования — союз *а*, одно из самых идиоматичных русских слов, обладающее тонкой, почти неуловимой семантикой.

Союзу *а* посвящена обширная литература, причем некоторые особенности его поведения и семантики уже хорошо известны, см., например, [Грамматика 1980; Прияткина 1970; Крейдлин, Падучева 1974а; 1974б; Кручинина 1984; 1988; Левин 1970; Николаева 1997; Падучева 1997; Санников 1989; Фужерон 1997]. Тем не менее этот союз все еще не описан полностью, причем некоторые, отнюдь не периферийные контексты, с ним представляют большие трудности для семантического анализа.

Одна из причин этого в том, что значение союза *а*, так же как и других служебных слов, как бы растворяется в контексте, так что бывает почти невозможно вычленить значение союза из значения всего высказывания. Другая трудность состоит в том, что разные значения союза часто разграничены очень слабо. В результате, сумев выделить некоторые «чистые», достаточно хорошо противопоставленные лексемы<sup>1</sup> данного союза, исследователь оказывается перед огромным материалом, где союз выступает в каком-то промежуточном

---

\* Одну из первых версий описания союза *а* автор докладывал на семинаре, которым руководила О. Н. Селиверстова, ныне покойная. Автор глубоко благодарен О. Н. Селиверстовой за ценные критические замечания и за общую поддержку. Автор выражает глубокую признательность Д. Пайару за полезное обсуждение первого варианта работы на руководимом им рабочем семинаре. Автор благодарит всех участников семинара «Логический анализ естественного языка» и в особенности руководителя семинара Н. Д. Арутюнову за ценные критические замечания.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ (проект № 02-04-00306а), гранта Президента РФ № НШ-1576.2003.6, Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте» (раздел 4.15), а также гранта 7-го конкурса-экспертизы Президиума РАН «Семантика, синтаксис и прагматика служебных слов».

<sup>1</sup> В соответствии со словоупотреблением, принятым в Московской семантической школе, мы называем лексемой слово, взятое в его одном конкретном значении.

значении, которое не удастся с уверенностью отнести ни к одному из четко разграниченных случаев. Это естественно: такое промежуточное значение представляет собой «гибрид» разных значений союза. Тем самым встает задача вычленения, определения и описания не только «полноценных» лексем того или иного союза, но и его промежуточных, «гибридных» значений и употреблений.

Однако союз *a* плохо поддается семантическому анализу еще и по другой причине — некоторые его значения настолько абстрактны и семантически опустошены, что для их описания, по-видимому, не подходят те средства, которые были выработаны в ходе исследования полнозначной лексики.

Напомним, что все многочисленные значения союза *a*, выделяемые словарями русского языка, естественным образом группируются в три блока [Крейдлин, Падучева 1974а]: а) «*a* несоответствия норме», ср. *Дело к весне, а мороз все жестче; Они пели, веселились, а поезд мчал их на фронт*; б) «*a* сопоставления», ср. *Вы аристократ, а я демократка; Саша учится в седьмом классе, а Маша — в пятом; Нина теперь в Нью-Йорке, Петр в Чикаго, а Лиза — в Мехико*; в) «*a* присоединения» (мы называем эту лексему «*a* поворота повествования»), ср. *Мы ехали в Новосибирск, а зима в том году была очень холодная; Катя готовилась к экзамену по химии, а это был единственный предмет, который она совсем не знала*.

Полное описание союза включает в себя, во-первых, выявление и описание разных его значений (включая промежуточные) и, во-вторых, описание структуры его многозначности, т. е. выявление внутренних связей, объединяющих все значения данного союза в единое целое. Однако такое описание союза *a* не умещается в рамки журнальной статьи<sup>2</sup>.

Поэтому нам пришлось ограничиться анализом «*a* сопоставления». Это «основное, наиболее частое и вместе с тем наиболее загадочное употребление союза *a*» [Санников 1989: 171]. Добавим, что «*a* сопоставления» представляет первостепенный интерес с точки зрения семантической теории: этот союз относится к тому классу лексем, которые не удастся описать в рамках теории семантических примитивов.

## 1. Союз «*a* сопоставления»

### 1.1. «*A* сопоставления» — блок лексем

Интересующий нас союз *a* представлен в следующих примерах, ср.

- (1) а. *Петя на двух работах работает и еще переводы берет, а она весь день на диване с книжкой*; б. *Старая квартира была большая, в старинном доме, а эта — маленькая, в блочной пятиэтажке*; в. *Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп* (Чехов, [МАС]).

<sup>2</sup> Союз «*a* несоответствия норме» подробно описан в статьях [Крейдлин, Падучева 1974а, 1974б; Урысон 2004]. Лексема «*a* присоединения», которую мы называем «*a* поворота повествования», рассматривается в работах [Санников 1989: 175—176; Урысон 2000; 2002].

- (2) а. *Папа на работе, а мама ушла в магазин*; б. *А где же все техники? — Иванова в отпуске, Петров болен, а Сидоров в командировке*; в. *После полудня мы с нашим ботаником пошли осматривать окрестности. Он собирал растения, а я охотился* (В. К. Арсеньев).

Высказывания группы (1) отличаются от примеров группы (2).

В примерах первой группы говорящий сравнивает или даже противопоставляет два объекта. В высказывании (1а) говорящий противопоставляет 'Петю' и 'ее'; в (2б) говорящий сравнивает старую квартиру с новой, а в (1в) противопоставляет себя и адресата.

Высказывания группы (2) не предполагают, что говорящий специально сравнивает объекты, о которых идет речь: союз *а* имеет здесь почти пустое «соединительное» значение. Такие высказывания типичны для обычного сообщения. Ср.

- (3) *Что делают дети? — Катя рисует, а Петя с кошкой играет* [говорящий не сравнивает Петю и Катю, а просто сообщает, чем они занимаются]; *Вы соседи? — Да, живем в одном подъезде. Он на третьем этаже, а я — на четвертом.*

Различие между противопоставлением типа (1) и «просто сообщением» типа (2) можно интерпретировать по-разному. Словари, в частности [МАС], считают, что в данных контекстах представлены разные лексемы союза *а*. Этот подход принят и в статье [Николаева 1997]. Грамматики, в частности [Грамматика 1980], напротив, относят все различия между противопоставлением и «просто сообщением» на счет лексического наполнения фразы, т. е. считают, что союз *а* в подобных примерах представлен в одном значении. Такое описание принято и в работах [Крейдлин, Падучева 1974а; 1974б; Санников 1989].

Для удобства изложения мы принимаем первый подход. Обоснуем его правомерность.

Некоторые высказывания с союзом *а* допускают два разных интонационных оформления и, соответственно, два разных понимания. Ср.

- (4) *Маша по-прежнему работает на двух работах (P), а Петя все еще диссертацию пишет (Q).*

При одном интонационном оформлении говорящий противопоставляет Машу и Петю, причем выражает неодобрение сложившимся положением дел: «Маша трудится за двоих, а Петя занимается чем-то ненужным». При таком прочтении высказывание (4) сближается с группой (1). Другая возможная интонация не выражает ни неодобрения, ни противопоставления, и тогда пример (4) попадает в группу (2).

Можно было бы считать, что союз *а* в обоих случаях выступает в одном и том же значении, а различия в понимании примера обусловлены исключительно его интонацией и, возможно, широким контекстом. Однако в лингвистике принят определенный общий подход к описанию семантики высказывания: считается, что значение выражается прежде всего лексемой, а она, в свою очередь, согласуется с контекстом и, кроме того, может требовать определенного просо-

дического оформления фразы. Мы будем придерживаться этой лексикоцентричной традиции (в частности потому, что не располагаем ни правилами учета широкого контекста, ни надежным описанием соответствующих интонаций).

Итак, мы будем считать, что высказывание (4) неоднозначно, причем его омонимия обусловлена союзом *a*. При первом понимании в этом высказывании представлена лексема, которую мы назовем «собственно *a* сравнения». При другом понимании в примере (4) представлена семантически почти пустая лексема, которой крайне трудно подобрать название<sup>3</sup>. Будем называть эту лексему «опустошенное *a* сравнения».

Лексемы «собственно *a* сравнения» и «опустошенное *a* сравнения» очень близки друг другу и естественным образом объединяются в блок. Мы сохраняем за этим блоком традиционное название «*a* сопоставления» (хотя логичнее было бы назвать его блоком «*a* сравнения»).

### 1.2. Союзы *a* и *и* как средство обозначения сравнения

Прежде всего заметим, что если удалить из примеров (1) союз *a*, то смысл текста не изменится. Ср.

- (4) а. *Петя на двух работах работает и еще переводы берет — она весь день на диване с книжкой*; б. *Старая квартира была большая, в старинном доме, эта — маленькая, в блочной пятиэтажке*; в. *Ты молода, здорова, красива, жить хочешь — я старик, почти труп*.

Значит, в приведенных примерах противопоставление выражается всей синтаксической структурой высказывания, его лексическим наполнением, а также, возможно, просодией. Что же остается на долю союза?

Для того чтобы уяснить это, сравним следующие высказывания<sup>4</sup>:

- (5) *Коля рыжий, а Петя рыжеватый*.  
 (6) *Коля рыжий, и Петя рыжеватый*.  
 (7) *Коля рыжий, Петя рыжеватый*.

Высказывания (5) и (6) предполагают сравнение Коли и Пети. При этом, произнося фразу (5), говорящий, безусловно, противопоставляет Колю и Петю, подчеркивает различие между ними. Фраза (6), напротив, указывает на сходство Коли и Пети. Что касается высказывания (7), то оно может пониматься по-разному, причем то или иное его понимание обеспечивается просодией. При одной просодии это высказывание, так же как и пример (5), указывает на различие двух объектов. Ср.

<sup>3</sup> Т. М. Николаева называет ее «*a* сопоставления» (в отличие от первой лексемы, называемой ею «*a* контраста») и при этом специально поясняет, что такое сопоставление: «это соединение через равноправное рассмотрение двух компонентов, не сливающихся при этом в единую картину-кадр» [Николаева 1997: 18]. Ясно, однако, что слово *сопоставление* употребляется здесь в каком-то не вполне обычном, терминологическом значении.

<sup>4</sup> Примеры (5) — (7) с и их интерпретацией мы заимствовали из книги [Санников 1989: 173].

(7а) *Коля рыжий, Петя рыжеватый. Коля весит 50 кг, Петя — 51 кг.*

При другой просодии высказывание (7) подчеркивает сходство между Колей и Петей и тем самым сближается с примером (5)<sup>5</sup>. Ср.

(7б) *Коля рыжий, Петя рыжеватый. Коля толстенький, Петя толстенький.*

Наконец, пример (7) можно произнести и с третьей — «перечислительной» — интонацией, и тогда он вообще не выражает сравнения. Ср.

(7в) *Коля рыжий, Петя рыжеватый. У меня волосы черные.*

В тексте (7в) сообщается о цвете волос Коли и о цвете волос Пети, но Петя и Коля между собой не сравниваются.

Можно было бы считать, что во всех приведенных примерах сравнение двух объектов, так же как и указание на их сходство или различие, выражаются исключительно с помощью просодии. Что касается союзов *a* и *и*, то они никакой полноценной семантикой не обладают, и правило выбора того или иного из них не является семантическим.

Мы, однако, будем считать, что в примерах с союзом, т. е. в (5) и (6), идею сравнения выражает прежде всего союз *a* или союз *и*<sup>6</sup>. При этом просодия тоже выражает сравнение, и, следовательно, ее значение семантически согласовано со значением союза. Что касается бессоюзных высказываний типа (7а)—(7в), то в них сравнение выражается только интонацией. Такое описание лексикоцентрично и полностью лежит в русле семантической традиции.

Итак, союзы *a* и *и* в примерах (5) и (6) выражают значение сравнения.

Что же такое сравнение вообще?

### ЭККУРС

#### *Операция сравнения и ее обозначение в языке*

Ситуация сравнения обозначается прежде всего глаголом *сравнивать 1* — *сравнить 1* и его синонимом *сопоставлять 1* — *сопоставить 1*. Ср.: *Он сравнивал Ивана и Федора и не понимал, кому отдать предпочтение; Историки умеют сопоставлять эпохи, на первый взгляд совсем разные*<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Высказывания, указывающие на различие объектов, типа (5) и (7а), характеризуются «двумя восходяще-нисходящими мелодическими кривыми, каждая из которых отражает теморематическую структуру» сочиняемого предложения [Фужерон 1997: 28]. В высказываниях, указывающих на сходство, типа (6) и (7б), каждое сочиняемое предложение характеризуется восходящим тоном и не распадается интонационно на две части. Подробно об этом см. [Фужерон 1997].

<sup>6</sup> Эта точка зрения не является новой: союзы *и* и *a* как средство выражения сравнения рассматриваются в работах [Санников 1989; Лебедева 1990].

<sup>7</sup> У глагола *сравнивать* есть еще значение ‘уподоблять’ (лексема *сравнивать 2*), ср. *Поэт сравнивает жизнь с плаванием по бурному морю*. Значения двух лексем — *сравнивать 1* и *сравнивать 2* — могут сливаться, так что в ряде контекстов слово *сравнивать* выступает в каком-то промежуточном значении; ср. *По силе и неповоротливости ее [лошадь] можно было сравнить с трактором, а по невозмутимости — с многовековым валуном* (В. Белов). У глагола *сопоставлять* есть лексема

Кроме того, в языке есть еще классы слов и форм, которые предполагают сравнение. Единицы этих классов указывают на сходство или, наоборот, на различие объектов. Действительно, с определенной долей условности, для того чтобы утверждать что-либо о сходстве или различии объектов, требуется сначала их сравнить.

Перечислим основные классы языковых единиц, предполагающих сравнение<sup>8</sup>.

Представление о сравнении в определенной мере присутствует в семантике некоторых грамматических форм, а именно в значении степеней сравнения прилагательных и наречий. Ср.: *Маша выше <красивее> Кати*, *Вчера мы поднимались еще выше* (сравнительная степень, значение компаратива); *Прямая — это кратчайшее расстояние между двумя точками*, *Маша — самая высокая <красивая> в нашем классе* (превосходная степень, значение суперлатива); *Лучшего момента не будет* ('момента лучше, чем этот'; превосходная степень, значение компаратива).

Существует группа предикатов, толкуемых через сравнительную степень. Ср.: *превосходить* — 'быть больше'; *увеличиваться <возрастать>* — 'становиться больше'; *уменьшаться <падать>* (ср. *Температура <давление> падает*) — 'становиться меньше' и т. п. Такие предикаты тоже, очевидно, предполагают сравнение величины некоторого параметра в какой-то один момент времени с величиной того же параметра в другой момент времени.

Специально отметим, что представление о сравнении имеется не только в семантике сравнительной степени *больше*, но и в значении предикатов *равен* и *тождествен*. С некоторой долей условности высказывания *Объект X больше объекта Y* и *Объект X равен объекту Y* обозначают результат сравнения объектов X и Y<sup>9</sup>. (Разумеется, точно так же устроены и синонимы, антонимы и конверсивы данных предикатов, ср. *тождественный*, *одинаковый*, *меньше* и т. п.) К этому факту мы еще вернемся.

Сравнение объектов лежит в основании семантики класса слов со значением 'быть похожим' и 'быть непохожим'. Ср.: *похожий <Новый день похож <не похож> на вчерашний>*, *сходный*, *вылитый <вылитый отец>*, *подобный <С подобными вещами мы уже сталкивались>*, *общее <В них есть что-то общее <нет ничего общего>*, *У детей много общего>*, *сходство*, *походить <С годами он стал походить на отца>*, *пойти в кого-л. <Он пошел в мать>*, *отличаться*, *различаться*, *разный <Дети совсем разные>* и т. п. В этот класс предикатов входят и служебные единицы: *как* (ср. *Ответил как взрослый*), *такой ... как* (ср. *Такие способные студенты, как Петров ...*), *такой ...какой* (ср. *Ты стал таким <же>, каким был твой отец*) и т. п.

---

*сопоставлять 2*, представленная в контекстах типа *Следователь сопоставил факты и пришел к выводу, что убийство было тщательно подготовлено*. Анализ лексем *сравнивать 2* и *сопоставлять 2* выходит за рамки нашего исследования.

<sup>8</sup> Ср. обширный список лексем, приведенный в статье [Туровский 1988].

<sup>9</sup> Тесная связь концептов тождества и подобия продемонстрирована Н. Д. Арутюновой в статье [Арутюнова 1990].

Наконец, идея сравнения с каким-то принятым «средним образцом», или «нормой», входит в значение параметрических прилагательных, ср.: *большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий, широкий, узкий, глубокий, мелкий* и т. п. Действительно, *большой* = ‘такой, размер которого больше нормы’, *маленький* = ‘такой, размер которого меньше нормы’, и т. п.<sup>10</sup>

Все перечисленные единицы предполагают мыслительную операцию сравнения. Попытаемся выявить ее главные черты.

Операция сравнения включает в себя два тесно связанных ментальных действия — собственно сравнение, точнее сравнение, объектов и получение результата сравнения.

Оба этих действия предполагают субъекта-человека (им может быть сам говорящий) и как минимум два объекта — X и Y (если объектов больше, то они, скорее всего, сравниваются попарно). Ср.: *На уроке литературы сравнивали Обломова (X) и Штольца (Y), Ты всегда сравниваешь себя (X) с другими (Y), Дочь (X) (не) похожа на мать (Y), Сын (X) выше отца (Y)* и т. п.

Сравнивая объекты, субъект исходит из того, что они имеют какой-то общий признак Z — его называют признаком, или основанием, сравнения.

Указание на основание сравнения может содержаться в лексическом значении предиката. Таковы формы степеней сравнения. Ср. *Сын выше отца* — в значении предиката *высокий, выше* входит компонент ‘рост’, он и является признаком сравнения; *Петя умнее Васи* (признак сравнения — умственные способности), *Маша у нас самая красивая* (признак сравнения — эстетическая оценка внешности) и т. п.

При некоторых предикатах основание сравнения может выражаться дополнением. Таков, прежде всего, предикат *сравнить*: *сравнить рожь и пшеницу по урожайности* (признак сравнения — урожайность). Таковы также предикаты *различаться* и *отличаться*, *больше, равен* и некоторые другие: *Эти треугольники различаются по площади* (признак сравнения — площадь); *Внешне дети совсем разные* (признак сравнения — внешность); *Эта кадка по объему больше ведра* (признак сравнения — объем); *Отрезки *m* и *n* равны по длине* (признак сравнения — длина); *Характером он пошел в мать* (признак сравнения — характер).

Однако очень часто основание сравнения не выражается.

Это регулярно имеет место, если объекты сравниваются не по одному, а сразу по нескольким или многим признакам, причем они выявляются субъектом непосредственно в процессе сравнения и часто вообще не называются: *Он похож на отца* (пошел в отца); *Он сравнивал сестер и не понимал, которая ему больше нравится*; *Сравнивал он себя с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слаб, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!* (И. Бунин). При этом некоторые предикаты сочетаются с квантификаторами, указывающими на большое количество разных неназываемых признаков, по которым

<sup>10</sup> Это описание восходит к [Сэпир 1944/1985] и подробно развивается Ю. Д. Апресяном, см. [Апресян 1974].

производится сравнение: *В них много (нет ничего) общего, Дети совсем разные.* Указание на большое количество или даже все возможные признаки сравнения может входить в лексическое значение предиката; такова лексема *вылитый* (*Катя — вылитая мать*). Отметим в связи с этим и видовое различие между НСВ и СВ *сравнивать — сравнить*. Форма НСВ *сравнивать* в случаях типа *Он лежал и мысленно сравнивал себя с соседом* указывает на то, что в описываемый промежуток времени операция сравнения выбранных объектов проводилась многократно и каждый раз — по новому основанию. Форма СВ *сравнить* (*Он сравнил себя с соседом*) подобного указания не содержит.

Основание сравнения не выражается также и в том случае, если операция сравнения предполагает в первую очередь физическое (например, зрительное) восприятие объектов: *Сравни свой ответ с ответом в учебнике, Сравните две картинки и найдите все различия между ними, Сравните эти мелодии.* Основание сравнения в этом случае в каком-то смысле тривиально: это принцип записи, физически воспринимаемая общность изображений (мелодий).

У каждого из сравниваемых объектов признак сравнения имеет определенное значение, или, что то же, каждый объект характеризуется по признаку сравнения определенным образом. При этом у объекта  $X$  признак сравнения может иметь одно значение ( $Z_1$ ), а у объекта  $Y$  — другое ( $Z_2$ ): *Новая квартира больше старой* (квартиры сравниваются по признаку размера, у новой квартиры этот признак имеет какое-то значение  $Z_1$ , а у старой — какое-то другое значение  $Z_2$ , так что  $Z_1 \neq Z_2$ ); *Эти два сорта пшеницы различаются по урожайности* (признак урожайности у одного сорта имеет одно значение, а у другого сорта — другое). Некоторые предикаты присоединяют дополнение, указывающие на разницу в значении данного признака у сравниваемых объектов: *Новая квартира больше старой на двадцать метров, Он пришел к финишу на три минуты раньше* и т. п. Но может быть и так, что у сравниваемых объектов признак сравнения имеет одинаковое или почти одинаковое значение ( $Z_1 = Z_2$  или  $Z_1 \approx Z_2$ ): *Эти квартиры равны по площади, По характеру они похожи.*

Указание на то, что признак (или признаки) сравнения принимает у сравниваемых объектов одинаковое или, наоборот, разное значение, может входить непосредственно в семантику предиката. Таковы степени сравнения, а также слова *различаться, разный* и т. п. — они указывают на разное значение признака сравнения у данных объектов. Напротив, предикаты *равен, тождественный, одинаковый* указывают на то, что значение признака (признаков) сравнения у данных объектов тождественно. К последней группе примыкают предикаты *похожий, сходство* и т. п. — в их семантику входит указание на то, что значение признаков сравнения имеет у объектов почти одинаковое значение. Между тем предикат *сравнивать* (как и его синоним *сопоставлять*) не содержит никакого указания на тождество или, наоборот, различие значения признака сравнения у выбранных объектов; одинаковы нормальные высказывания: *Сравни Ваню и Петю — кто из них выше* и *Она сравнивала Дашу и Катю — обе красивые, умны, богаты* и т. п.

Иметь результат ментального действия сравнения — значит знать, одинаковы объекты по признаку сравнения или нет; если нет — то знать, чем зна-



чение данного признака у одного объекта отличается от его значения у другого объекта.

Заметим, что результат сравнения может достигаться через промежуточный этап: сначала выясняется значение признака сравнения у каждого из сравниваемых объектов, а затем уже устанавливается, тождественны эти значения или нет. Ср.: *Рост Пети 185 см, рост Саши 175 см. Значит, Петя выше Саши на десять сантиметров.* Однако этот промежуточный этап совершенно необязателен. Высказывания *Петя выше Саши* и даже *Петя выше Саши на десять сантиметров* не предполагают, что субъекту известен рост Пети и рост Саши — результат сравнения можно получить и без этих сведений.

Итак, представление об операции сравнения включает в себя две основные составляющие. Первая составляющая — это ментальное действие сравнения (сравнивание), которое предполагает а) субъекта; б) минимум два объекта (X и Y); в) признак, или основание, сравнения (Z). Вторая составляющая — это результат сравнения [ $Z_1 \neq Z_2$ ,  $Z_1 = Z_2$  (или  $Z_1 \approx Z_2$ )], причем результату сравнения может предшествовать установление значения признака сравнения у каждого из сравниваемых объектов ( $Z_1 = n$ ,  $Z_2 = m$ ).

Но в чем заключается само ментальное действие сравнивания? Можно ли описать его на естественном языке — так, как принято описывать языковое значение или компонент значения? На первый взгляд, может показаться, что — да, можно. Достаточно истолковать предикат *сравнивать* — *сравнить*: полученное толкование и будет искомым описанием операции сравнения.

Однако это не так. Обратим внимание на то, что ни степени сравнения, ни лексемы со значением ‘быть похожим’ и ‘быть непохожим’, несмотря на то что они предполагают ментальное действие сравнения, не толкуются через предикат ‘сравнивать’. Дело в том, что то представление о сравнении, которое лежит в основе их семантики, существенно беднее, нежели значение ‘сравнивать’.

Рассмотрим это подробнее.

В самом первом приближении *сравнивать X и Y (по признаку Z)* ≈ ‘искать и находить сходства и различия между объектами X и Y по признаку Z или по каким-то неназванным признакам’.

Лексема *сравнивать* толкуется через *сходство* и *различие*, между тем как сами эти лексемы как будто должны толковаться через *сравнивать*. Однако приведенное толкование не содержит круга.

Дело в том, что в значение лексемы *сравнивать* входит указание на контролируемое целенаправленное ментальное действие, требующее от субъекта определенных усилий. Это может быть думание, размышление субъекта о данных объектах: *Ты всегда сравниваешь себя с другими и всем завидуешь; Я смотрю на силуэт девушки, стоящей в моей комнате у окна, и я понимаю, что никогда в жизни не буду больше разглядывать ее со стороны и сравнивать с другими* (В. Аксенов). Заметим, что в этом контролируемом ментальном действии могут выделяться какие-то промежуточные этапы, которые в определенных случаях совершают по более или менее четким правилам, ср.: *сравнить треугольники по площади, сравнивать разные литературные жан-*

ры *⟨балтийские языки со славянскими⟩* и т. п. Данное ментальное действие может базироваться на физическом (часто зрительном) восприятии объектов, но и в этом случае оно требует определенного, пусть элементарного, анализа возникающих в сознании образов, а кроме того, особой внимательности: *сравнивать почерки, сравнить полученный ответ с ответом в учебнике, Сравни два изображения дома и найди все различия между ними*. (В последнем случае значение лексемы *сравнивать* модифицируется, причем указание на основание сравнения становится недопустимым.) Именно поэтому нормальны сочетания *трудно ⟨легко⟩ сравнивать*, ср.: *Трудно сравнивать такие разные языки, Легко сравнивать Обломова и Штольца и гораздо труднее анализировать литературные жанры* и т. п.

Что касается лексем *сходство* и *различие*, то в их значение указание на контролируемое целенаправленное ментальное действие не входит. Действительно, высказывания *Его поразило сходство девушек* или *Он сразу заметил различие между ними* не предполагают, хотя и не исключают, того, что субъект целенаправленно сравнивает объекты, о которых идет речь. Следовательно, лексемы *сходство* и *различие* семантически беднее, чем лексема *сравнивать*.

Но как же толкуются сами лексемы *сходство* и *различие*, а также остальные предикаты со значением ‘быть похожим’ или ‘быть непохожим’, т. е. *похож, одинаковый, разный, отличаться* и т. п.?

В основе их семантики лежит обсуждавшееся выше представление о неконтролируемом и нецеленаправленном ментальном действии сравнения. Однако лексема *сравнивать*, равно как и ее синоним *сопоставлять*, слишком богата для его обозначения, поскольку указывает как раз на контролируемое и целенаправленное действие субъекта, ср. компонент ‘искать и находить’ в толковании лексемы *сравнивать*. Иными словами, лексемы *сравнивать* и *сопоставлять* включают в себя не только представление об обсуждаемом ментальном действии, но еще и указание на контролируемость и целенаправленность.

Существенно, что естественный язык не располагает отдельными лексемами ни для обозначения неконтролируемого ментального действия сравнения как такового, ни для обозначения операции сравнения целиком. Значит, в толковании лексем со значением ‘быть похожим’ и ‘быть непохожим’ не может быть никакого отдельного компонента, соответствующего представлению о данной мыслительной операции (напомним, что толкование по определению представляет собой текст на естественном языке). Попытки истолковать обсуждаемые лексемы, не прибегая непосредственно к идее сравнения, по-видимому, приводят к замкнутому кругу<sup>11</sup>. Наличие такого круга — свидетельство близости рассматриваемых лексем к уровню семантических примитивов<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Отметим в связи с этим работу [Туровский 1988], в которой предикат *X похож на Y* сближается с предикатом *X напоминает Y-у Z* (ср. *Этот вид напоминает мне родину*). Предикат *напоминать* не выражает идеи сравнения. В работе [Туровский 1991] дается следующее толкование этого предиката: *X напоминает Y-у Z-м W* ≈ ‘X по причине наличия у него свойства или характеристики Z заставляет Y вспомнить W’. Предикат *похож* получает аналогичное толкование; идея описания состоит в том, что если объекты

В рамках теории семантических примитивов толкования лексем со значением ‘быть похожим’ или ‘быть непохожим’ строятся так: одна из данных лексем объявляется семантическим примитивом, и семантика других представляется через данный примитив. Такое описание предлагает А. Вежбицкая — в книге [Wierzbicka 1992] в список семантических примитивов входит лексема *похожий*. Тогда другие лексемы со значением ‘быть похожим’ или ‘быть непохожим’ можно описывать как в той или иной мере неточные синонимы или антонимы данного примитива (ср. *одинаковый, сходный, разный, отличный от* и т. п.) или же их синтаксические дериваты (ср. *сходство, походить на кого-л., различия, различаться* и т. п.).

Аналогичным образом толкуются и лексемы со значением равенства и тождества, ср.: *равен, равенство, неравенство, тождественный, тождество* и т. п. В основе их семантики лежит то же самое представление об операции сравнения, для обозначения которого язык не располагает никакой лексической единицей. В то же время их нельзя истолковать через лексему *сравнивать*, так как в значение последней входит указание на контролируемое целенаправленное ментальное действие, отсутствующее в семантике данных лексем. Остается выбрать какие-то из лексем со значением равенства и тождества на роль семантического примитива, а остальные толковать через них. В работах [Жолковский 1964: 91; Мельчук 1974: 57] к примитивам («элементарным значениям») отнесена лексема *равный*. (Заметим, что эту лексему можно считать и толкуемой: *X равен Y-у* = ‘X не больше Y-а, Y не больше X-а’ [Сэпир 1944/1984].) Добавим, что по тем же причинам естественно отнести к семантическим примитивам и одну единицу из класса показателей кореферентности. Так, А. Вежбицкая относит к примитивам сочетание *тот же самый*.

Приведенное рассуждение справедливо и для степеней сравнения. Их семантика, безусловно, базируется на какой-то идее сравнения, но это не то целенаправленное ментальное действие, которое обозначается лексемой *сравнивать*. Действительно, высказывания *Маша выше Кати* и даже *Маша красивее (умнее) Кати* и т. п. не содержат никакого указания на то, что «субъект искал и находил сходства и различия между Машей и Катей по

---

X и Y похожи, то, представляя себе объект X, мы, в определенной степени, получаем в сознании образ объекта Y. Заметим, что это описание не охватывает одного, но самого простого случая: когда говорящий констатирует сходство двух объектов при их непосредственном зрительном восприятии; ср.: *Как вы похожи! Вы, наверно, близнецы?* Отметим также статью [Лауфер 1990], в которой строится когнитивное (процедурное) описание семантики слова *похож* (ср. *Брат похож на сестру*). Процедура установления сходства предполагает, что в сознании субъекта ментальный образ уподобляемого объекта «ассоциируется» с ментальным образом объекта — эталона сравнения. «Ассоцирование» — это, по-видимому, наше ментальное действие сравнения.

<sup>12</sup> «Свидетельством того, что в ходе семантической декомпозиции достигнут уровень примитивов, является невозможность истолковать полученные на последнем шаге декомпозиции семантические компоненты без порочного круга» [Апресян 1994/1995: 471].

степени красоты ⟨ума⟩». Заметим, что подобные высказывания и не исключают целенаправленного контролируемого действия ‘сравнивать’. Так, субъект мог действительно сравнивать Машу и Катю, находить сходства и различия между ними и в результате сказать: *Все-таки Маша красивее ⟨умнее⟩ Кати*. Но из этого следует лишь то, что указание на контролируемость и целенаправленность вполне совместимо с представлением о той операции сравнения, которая лежит в основе семантики рассматриваемых форм.

Ясно, что степени сравнения толкуются по какой-то единой схеме. Легче всего продемонстрировать ее на примере прилагательных размера, ср.: *X больше ⟨меньше, выше, ниже, длиннее, короче, ...⟩ Y-а*. Две из приведенных форм обладают наименее специфицированным значением — это *больше* и *меньше*. Одну из них естественно счесть семантическим примитивом. (Такое решение принято в работах [Жолковский 1964; Апресян 1974: 73].) В известных нам работах на роль примитива выбирается *больше*. Тогда *меньше* — это конверсив предиката *больше*, т. е.  $X \text{ меньше } Y\text{-а} = Y \text{ больше } X\text{-а}$ . Степени сравнения других прилагательных толкуются непосредственно через примитив ‘больше’ или же через его конверсив ‘меньше’. Ср. *X выше ⟨длиннее, глубже⟩ Y-а*  $\approx$  ‘высота ⟨длина, глубина⟩ X-а больше высоты Y-а’; *X ниже ⟨короче, мельче⟩ Y-а*  $\approx$  ‘высота ⟨длина, глубина⟩ X-а меньше высоты Y-а’; *X — самый длинный из данных объектов Y*  $\approx$  ‘длина X-а больше длины любого из данных объектов Y’; *X — самый короткий из данных объектов Y*  $\approx$  ‘длина X-а меньше длины любого из данных объектов Y’ и т. п.<sup>13</sup> Степени сравнения тех прилагательных, которые описывают не размер, а другие характеристики объекта, толкуются аналогичным образом, хотя и несколько сложнее. Ср.: *X красивее ⟨умнее⟩ Y-а*  $\approx$  ‘степень красоты ⟨ума⟩ X-а больше степени красоты ⟨ума⟩ Y-а’; *X — самый красивый из данных объектов Y*  $\approx$  ‘степень красоты X-а больше степени красоты любого данного объекта Y’ и т. п.

Фундаментальная роль смысла ‘больше’ в семантике самых разных языковых единиц, по-видимому, впервые была описана Э. Сэпиром в работе [Сэпир 1944/1985], посвященной градуированию, т. е. «упорядочению в соответствии с некоторой шкалой» [там же: 43]. Заметим, что градуирование — это более широкое понятие, нежели операция сравнения, однако в основе градуирования лежит именно сравнение. Описание смысла ‘больше’, данное Э. Сэпиром, служит ключом к психологическому представлению операции сравнения. «Можно сказать, что суждения типа „больше, чем“ и „меньше, чем“ основаны на представлении о „завертывании“ (envelopment). Если А можно „завернуть“ в В, поместить в В или так сочленишь с В (реальным или воображаемым образом), чтобы А оказалось содержащимся в пределах В, а не вне его, то об А говорят как о „меньшем, чем В“, а о В — как о „большем, чем А“» [Сэпир 1944/1985: 43]. Представление о «завертывании» — это своего рода мостик от представлений о пространственных положениях и чисто физических действиях к более сложной операции сравнения.

<sup>13</sup> Мы отвлекаемся сейчас от коммуникативной организации толкуемых выражений.

Однако мы не можем дать дефиницию тому неконтролируемому ментальному действию сравнения, которое лежит в основе семантики рассматриваемого класса языковых единиц. Дело в том, что данное действие относится к числу самых простых, не замечаемых субъектом мыслительных операций, и, вероятно, поэтому естественный язык не располагает никакой отдельной единицей для его обозначения. Выражаясь языком современной теоретической семантики, неконтролируемое ментальное действие сравнения не вербализуемо.

Может показаться, что все, сказанное выше о ментальном действии сравнения и — шире — об операции сравнения, не имеет отношения к лингвистике. Действительно, в компетенцию этой науки, безусловно, входит описание значений языковых единиц. Между тем, рассуждая о неконтролируемом мыслительном действии сравнения, мы покидаем область собственно семантики и вводим в рассмотрение ментальные операции субъекта, вычлняющего из «континуума действительности» отдельные объекты, их признаки, отношения и т. п. Но это «членение действительности» относится уже не к выражению того или иного значения, а к формированию семантического представления, которое в дальнейшем предстоит вербализовать. В терминологии концепции И. А. Мельчука [Мельчук 1974], мы имеем здесь дело с преобразованием типа «Действительность  $\Leftrightarrow$  Смысл», в то время как собственно лингвистика (включая семантику) занимается описанием соответствия «Смысл  $\Leftrightarrow$  Текст»<sup>14</sup>.

Однако невербализуемое действие сравнения, хотя и относится к уровню формирования семантического представления высказывания, но тем не менее вторгается в область собственно семантики. Образно говоря, в значении предикатов, описанных выше, сохраняется какой-то «отпечаток» этого ментального действия, который и обеспечивает системные сходства и различия между ними. Поэтому в семантике описываемых предикатов естественно выделить компонент, соответствующий «отблеску» неконтролируемого нецеленаправленного мыслительного действия сравнения<sup>15</sup>.

Назовем этот компонент «неконтролируемое действие сравнения». Подчеркнем, что это название условно, — перед нами невербализуемый элемент смысла. Сразу предупредим, что данный элемент имеет совершенно особый статус. Он не выделяется в значении перечисленных единиц по правилам де-

<sup>14</sup> Ясно, впрочем, что так называемая концептуализация действительности теснейшим образом связана с языком и в большой степени им определяется. Заметим в связи с этим, что когнитивная лингвистика считает своим объектом не только собственно смысл, т. е. семантическое представление высказывания, но и процесс получения этого высказывания при восприятии действительности. О связи моделей типа «Смысл  $\Leftrightarrow$  Текст» и «Действительность  $\Leftrightarrow$  Текст» см., в частности, [Мельчук 1974: 11].

<sup>15</sup> Аналогичный вывод делается и В. В. Туровским: «Для описания и объяснения языковых явлений, связанных со сравнением, необходимо оказывается моделировать какие-то аспекты человеческого интеллекта — такие как способность представлять себе нечто, как-то оперировать с полученными образами и т. п. Это, конечно, не случайно: сравнение — один из важнейших механизмов, которыми располагает человек для передачи и порождения новых знаний» [Туровский 1988: 143].

композиции, принятым в Московской семантической школе [Апресян 1974], и, следовательно, не укладывается в рамки соответствующей семантической теории. Кроме того, он не обозначается никакой лексемой естественного языка. Теоретическим вопросам, возникающим в связи с выделением этого элемента, мы посвятим специальный раздел. Сейчас сосредоточимся на его свойствах.

Напомним, что ментальное действие сравнения предполагает получение результата сравнения. Иными словами, невербализуемый элемент с условным названием «неконтролируемое действие сравнения» обычно выступает в сопровождении компонента «результат сравнения» — вместе они образуют блок, который мы называем «операция сравнения». Данный семантический блок задает каркас значения перечисленных выше языковых единиц, а также потенциальный набор их семантических актантов<sup>16</sup>. Что касается различий между описываемыми предикатами, то основные из них обусловлены двумя факторами (мы отвлекаемся от тонкой семантики описываемых слов).

Первый фактор — фокус внимания, или место семантического акцента. В фокусе может находиться а) само неконтролируемое действие сравнения, б) результат сравнения. У глаголов *сравнивать*, *сопоставлять* семантический акцент — на действии. Вследствие этого при этих предикатах невыразим результат сравнения. По той же причине в составе этих предикатов указание на данную составную часть операции сравнения обогащается компонентом ‘искать и находить’, т. е. указанием на контролируемость и целенаправленность. У всех остальных рассматриваемых предикатов [ср. *отличаться*, *похож*, *пойти (характером в кого-л.)*, *равен* и т. п.] и, в частности, у степеней сравнения (*больше*, *выше*, *ниже*, *мельче* и т. п.) семантический акцент — на результате сравнения.

Второй фактор — реализация набора участников «операции сравнения».

Тот или иной участник «операции сравнения» может быть частью значения предиката, может быть его синтаксическим зависимым, а может быть вообще невыразим<sup>17</sup>. Отчасти это определяется фокусом внимания говорящего, т. е. первым фактором.

Так, субъект сравнения выражается синтаксическим зависимым лишь при глаголах *сравнивать*, *сопоставлять*. Все остальные перечисленные лексемы и формы, в том числе степени сравнения, а также предикаты *похожий*, *одинаковый*, *разный*, *отличаться* и т. п., по умолчанию предполагают, что субъектом операции сравнения является говорящий или — при передаче чужих слов — субъект передаваемой речи. Ср.: *Петя выше всех в классе*, *Они очень похожи* (субъект сравнения — говорящий); *Петя сказал, что Катя красивее и умнее Даши* (что сестры совсем разные) (передача чужих слов; субъект сравнения — Петя).

<sup>16</sup> Ср. в связи с этим описание синтаксиса конструкций *X любит Y-а больше Z-а* (больше, чем Z) в работе [Саввина 1976].

<sup>17</sup> В подобных случаях Е. В. Падучева различает участников ситуации по статусу: участник может быть инкорпорированным (в значение предиката), неинкорпорированным или же находиться за кадром [Падучева 2004].

Как уже говорилось выше, указание на признак сравнения входит в качестве компонента в значение степеней сравнения (ср. *Он выше тебя*, признак сравнения — *рост*), однако выражается синтаксическим зависимым при других предикатах (ср. *сравнивать по росту*, *сходство в некоторых отношениях*, *быть похожим (на отца) характером*, *равны по длине* и т. п.).

И лишь объекты сравнения при перечисленных языковых единицах всегда выражаются лексемами, синтаксически связанными с данным предикатом. Более точно, у большинства рассматриваемых предикатов объекты обозначаются дополнениями: *сравнивать Ивана с Петром (братьев, Ивана и Петра)*, *отличие Ивана от Петра*, *сходство Ивана с Петром (братьев)*, *различия между братьями* и т. п. (Мы отвлекаемся сейчас от коммуникативных различий в случаях *сравнивать Ивана с Петром* — *сравнивать Петра с Иваном* — *сравнивать Ивана и Петра*; *отличие Ивана от Петра* — *отличие Петра от Ивана* и т. п.) У прилагательных, в частности у степеней сравнения, в силу общих особенностей данной части речи дополнением маркируется лишь один, а именно второй, объект сравнения. Ср.: *Иван, во всем похожий на Петра, тоже любит собак*; *Иван выше Петра* (в обоих примерах второй объект сравнения — *Петр*); *Иван — самый высокий из наших баскетболистов* (второй объект сравнения — *наши баскетболисты*). Что касается первого объекта (в приведенных примерах это *Иван*), то его синтаксическая маркировка сложнее: при сравнительной степени этот объект обозначается подлежащим, а в других случаях — синтаксическим хозяином прилагательного.

Существенно, что различия между описываемыми предикатами обусловлены теми же факторами, что и различия между лексемами полисемичного слова (см. цикл работ Е. В. Падучевой, в частности монография [Падучева 2004]), а также между единицами одного семантического поля [Урысон 2003].

Выделяя в семантике рассматриваемых предикатов семантический блок «операция сравнения», в состав которого входит элемент «неконтролируемое действие сравнения», мы получаем возможность не только системно представлять сходства и различия между, на первый взгляд, достаточно разными предикатами, но и объяснять некоторые частные явления. Остановимся на двух из них.

В работе [Туровский 1988] отмечено, что предикат *похож* допускает градуирование (ср. *немного (очень) похож*), однако не сочетается с наречиями полной степени признака *совсем, совершенно, абсолютно* и т. п.; невозможно *\*совсем похож*. Мы интерпретируем этот факт следующим образом. Выделение у сравниваемых объектов признаков сравнения (в отличие от, например, определения высоты или веса объекта) — это в принципе неалгоритмизируемая ментальная операция. У двух объектов можно выделять сколь угодно много признаков сравнения. Поэтому, как бы тщательно мы ни сравнивали выбранные объекты, всегда найдется какой-то признак, еще «не проверенный» на совпадение или несовпадение его значения у данных объектов. По этой причине «градулируемая шкала сходства не имеет предельной точки» [Туровский 1988: 140] и предикат *похож* ведет себя как неопредельное прилагательное типа *высокий* (о предельных и неопредельных прилагательных

см. [Апресян 1974: 65—67]. Нормальны, однако, сочетания с отрицанием: *совсем* *〈совершенно, абсолютно〉 не похож* — они указывают на полное отсутствие признаков сравнения с совпадающими или близкими значениями.

Второе явление относится к синтаксису. Предложение со сказуемым — лексемой *сравнивать* обладает следующей синтаксической особенностью: оно присоединяет вводимый бессоюзно косвенный вопрос со сказуемым, выраженным сравнительной степенью; ср. *Она сравнивала своих соседей — кто из них богаче?* Эта синтаксическая особенность имеет семантическую подоплеку. Дело в том, что *сравнивать* и *богаче* имеют общий смысловой компонент «операция сравнения». При этом сравнению в данном случае подвергаются одни и те же объекты — соседи. Но сравнение предполагает основание, признак сравнения. У предиката *богаче* указание на основание сравнения входит непосредственно в значение. У глагола *сравнивать* имеется соответствующая семантическая валентность. В рассматриваемом высказывании сравнительная степень из второго предложения дает семантический материал для соответствующей семантических валентностей глагола *сравнивать*. (Добавим, что данный невербализуемый компонент обеспечивает хорошо ощущаемую высокую степень семантической согласованности двух бессоюзно связанных предложений.)

Вернемся теперь к союзу *а*, точнее к блоку «*а* сопоставления», состоящему из двух лексем: «собственно *а* сравнения» (ср. *Ты молода и здорова, а я — больной старик*) и «опустошенное *а* сравнения» (ср. *Папа на работе, а мама ушла в магазин*). Основная мысль, которую мы попытаемся аргументировать ниже, состоит в следующем.

В семантику обеих лексем из блока «*а* сопоставления» входит идея сравнения. Однако лексема «собственно *а* сравнения» предполагает контролируемое целенаправленное ментальное действие ‘сравнивать’. Что касается «опустошенного *а* сравнения», то в основе его семантики лежит то неконтролируемое нецеленаправленное и невербализуемое ментальное действие, которому мы дали условное название «неконтролируемое действие сравнения».

Лексема «собственно *а* сравнения» сближается в данном отношении с «*и* сравнения», поэтому для большей ясности ниже описываются оба этих союза. «Опустошенное *а* сравнения» тоже сближается с одной из лексем союза *и*, однако их сопоставление выходит за рамки предлагаемой работы. Начнем с семантически более богатой лексемы «*а* сравнения».

### 1.3. Лексемы «собственно *а* сравнения» и «*и* сравнения»

Вернемся к приведенным выше примерам:

- (1) а. *Петя на двух работах работает и еще переводы берет, а она весь день на диване с книжкой*; б. *Старая квартира была большая, в старинном доме, а эта — маленькая, в блочной пятиэтажке*; в. *Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп* (Чехов, [МАС]).

Как мы уже убедились выше (см. раздел 1.2), данные высказывания указывают на то, что субъект целенаправленно сравнивает два объекта.



Идею сравнения выражает здесь, очевидно, союз *a*. Следовательно, в его значение входит предикат ‘сравнивать’.

Но ситуация сравнения предполагает определенных участников: субъекта, объекты сравнения и основание сравнения. Кроме того, сравнение обычно предполагает результат. Рассмотрим, во-первых, каким образом в высказываниях с данной лексемой союза *a* реализуется набор участников ситуации ‘сравнивать’ и, во-вторых, выражается ли в этих высказываниях результат сравнения. Начнем с реализации валентностей предиката ‘сравнивать’.

Субъектом сравнения в высказываниях с союзом *a* является, очевидно, субъект речи. По умолчанию, т. е. если во фразе нет никаких специальных указаний, субъект сравнения — это говорящий, ср. *Катя бедная, а Даша богатая*. Если же высказывание передает чужую речь, то субъект сравнения — это, очевидно, не сам говорящий, а субъект пересказываемой речи; ср. *Петя сказал, что Катя бедная, а Даша богатая* (субъект сравнения — Петя). Аналогичным образом обозначается субъект сравнения и, например, при степенях сравнения.

А как могут быть выражены при союзе *a* объекты сравнения и признак сравнения?

Сочинительный союз, каким является *a*, принципиальным образом отличается от рассмотренных выше предикатов: ни сравниваемые объекты, ни признак сравнения не могут быть выражены при нем падежными формами или предложно-падежными сочетаниями (в частности, потому, что у сочинительного союза в принципе нет сильноуправляемых зависимых). Тем более указание на признак сравнения не может быть частью семантики сочинительного союза. Единственно возможные способы маркировки как объектов, так и оснований сравнения при сочинительном союзе — порядок слов и просодическое выделение. Поскольку порядок слов в сочетании с просодией выражает актуальное членение высказывания, то естественно предположить, что при союзе *a* и объекты сравнения, и признак сравнения обозначаются какими-то фрагментами темо-рематической структуры.

Это предположение подтверждается. Объекты сравнения при союзе *a* выражаются темами сочиненных предложений, причем первый объект выражается темой первого предложения (Т1), а второй объект — темой второго предложения (Т2). Что касается признака сравнения, то он «впаян» в ремы сочиненных предложений. Более точно, признак сравнения выводится из лексико-синтаксического состава рем сочиненных компонентов. Проиллюстрируем это на примерах.

(1а') [*Петя*]<sup>Т1</sup> [*на двух работах работает и еще переводы берет*]<sup>Р1</sup>, а [*она*]<sup>Т2</sup> [*весь день на диване с книжкой*]<sup>Р2</sup>.

Сравниваемые объекты — ‘Петя’ и ‘она’. Признак сравнения — ‘образ жизни, занятость работой’; соответствующий фрагмент семантической структуры выводится из лексического состава, а также грамматического значения видо-временной формы сказуемых.

(1б') [*Старая квартира*]<sup>Т1</sup> [*большая, в старинном доме*]<sup>Р1</sup>, а [*эта*]<sup>Т2</sup> — [*маленькая, в блочной пятиэтажке*]<sup>Р2</sup>.

Объекты сравнения — ‘старая квартира’ и ‘данная квартира’ — сравниваются сразу по двум признакам: по размеру самой квартиры и по типу дома, в котором она находится. Признаки сравнения выводятся из лексического состава рем сочиненных компонентов.

(1в') [Ты]<sup>T1</sup> [молода, здорова, красива, жить хочешь]<sup>R1</sup>, а [я]<sup>T2</sup> [старик, почти труп]<sup>R2</sup>.

Говорящий сравнивает адресата (первый объект сравнения) с собой (второй объект). Первый объект обозначен словом *Ты*, второй — словом *я*. Фрагмент *Ты* образует тему первого из сочиненных предложений, *я* — тему второго предложения. Признаки сравнения — возраст человека и его жизнеспособность, желание жить — выводятся из лексического состава рем.

Перейдем к вопросу о том, выражен ли в высказывании с союзом «собственно *а* сравнения» результат сравнения.

Напомним, что установлению результата сравнения может предшествовать промежуточный этап — выяснение значения признака сравнения у каждого из сравниваемых объектов. В высказываниях с союзом *а* промежуточный этап выражен: каждый из сравниваемых объектов характеризуется по признаку сравнения. Легко убедиться, что во всех приведенных примерах характеристика объекта по признаку сравнения обозначена ремой сочиненного предложения. (Это естественно: выражаться темами сочиненных фрагментов данные характеристики не могут, потому что темами обозначаются сами сравниваемые объекты. На долю характеристик объектов по признаку сравнения остаются ремы.) Ср.

(8) [Коля]<sup>T1</sup> [богатый]<sup>R1</sup>, а [Ваня]<sup>T2</sup> [бедный]<sup>R2</sup>.

Объекты сравнения — Коля и Ваня; признак сравнения — ‘количество у данного лица денег и имущества’. Сравнимые объекты характеризуются по данному признаку. Характеристика первого объекта — ‘богатый’ (рема первого сочиненного предложения); характеристика второго объекта — ‘бедный’ (рема второго предложения).

(9) [У них]<sup>T1</sup> [много лишнего комизма]<sup>R1</sup>, а [у тебя]<sup>T2</sup> [много лишнего трагизма]<sup>R2</sup>. (Этот пример заимствован из работы [Крейдлин, Падучева 1974б].)

Объекты сравнения — ‘они’ и ‘ты’. Признак сравнения — ‘то, чего много лишнего у сравниваемых объектов’. Объекты сравнения охарактеризованы по данному признаку: первый субъект обладает лишним комизмом (ср. рему первого сочиненного компонента), а второй — лишним трагизмом (ср. рему второго компонента).

Однако в высказываниях с союзом «собственно *а* сравнения» выражен не только промежуточный этап сравнения, но и его результат как таковой. При этом результат сравнения «встроен» в значение данной леммы: союз *а* всегда указывает на то, что сравниваемые объекты различаются по выбранному признаку. В этом отношении союз «собственно *а* сравнения» сближается с предикатами *отличаться*, *различие* и т. п., а также со степенями сравнения. Поэтому невозможны высказывания типа

- (10) \**Маша живет в Казани, а Катя живет в Казани* (пример из книги [Санников 1989: 174]).

Пример (10) неудовлетворителен потому, что объекты — Маша и Катя — сравниваются по признаку ‘место жительства’, а он принимает у этих объектов одно и то же значение ‘Казань’.

Перейдем теперь к толкованию лексемы «собственно *a* сравнения». Оно может выглядеть так:

- (11) ‘сравнивая *X* и *Y* по некоторому признаку, говорящий подчеркивает, что *X* и *Y* по данному признаку различаются’.

Толкование (11), однако, не вполне удовлетворительно, так как не объясняет структурных особенностей предложения с данным союзом, наиболее полно и четко описанным в классических работах [Крейдлин, Падучева 1974а; 1974б].

Эти особенности, как мы убедимся, удастся естественно описать, исходя из представления об «операции сравнения», которая включает в себя два элемента: а) «неконтролируемое действие сравнения», которое в данном случае входит как составная часть в предикат ‘сравнивать’, и б) результат сравнения. Поэтому предлагаемое нами толкование лексемы «собственно *a* сравнения» в большой степени ориентировано на выявление этих компонентов «операции сравнения».

Оно имеет следующий вид:

(I) *P, a Q* [*Петр (X) богатый (V) {P}*, *а Иван (Y) бедный (W) {Q}*] =

‘(i) говорящий сравнивает *X* и *Y* по некоторому признаку;

(ii) характеристика *X*-а по данному признаку — *V*; характеристика *Y*-а по данному признаку — *W*;

(iii)  $V \neq W$ ;

(iv) *X* и *Y* различаются по данному признаку’.

Выражение актантов: *X* обозначается темой предложения *P*; *Y* обозначается темой предложения *Q*; *V* выражается ремой предложения *P*; *W* выражается ремой предложения *Q*.

Предложенное толкование нуждается в комментарии.

Прежде всего требуется оговорить особый статус компонента (i) ‘говорящий сравнивает *X* и *Y* по некоторому признаку’. В некотором смысле он сближается с пресуппозициями. Так, этот компонент хотя и сформулирован как высказывание с предикатом в вершине, однако не подвергается действию отрицания.

Из остальных компонентов только (iv) входит непосредственно в семантику союза *a*. Элементы (ii) и (iii) — это, в сущности, контекст союза. Но, как было сказано выше, данные элементы обусловлены компонентом «операция сравнения», а без обращения к нему не удастся естественным образом описать специфические свойства высказываний с данным союзом *a*<sup>18</sup>.

Предлагаемое толкование обладает высокой степенью избыточности: компонент (iv) выводится из контекста, а именно из (iii). Следовательно, в

<sup>18</sup> Мы готовы согласиться с тем, что выражение (I), поскольку оно содержит подобные элементы, не является толкованием в смысле Московской семантической школы.

семантическом представлении высказывания компонент (iv) тоже избыточен. Для чего же употребляется союз «собственно *a* сравнения»?

Дело в том, что говорящий может не только описывать действительность, но и преследовать при этом риторические цели. С точки зрения риторики описание объектов естественно сопровождать их сравнением — таким образом легко подвести адресата к их оценке, подготовить его к какому-то выводу и т. п. Компонент (iv) необходим потому, что говорящий сравнивает объекты, а (iv) — это и есть результат их сравнения. Поскольку союз «собственно *a* сравнения» служит риторическим целям, то, пользуясь термином, предложенным в работе [Иорданская 1992], можно назвать его риторическим союзом.

Отдельного пояснения заслуживает набор переменных в толковании союза «собственно *a* сравнения». Актантами союза «собственно *a* сравнения» являются объекты сравнения (*X* и *Y*) и характеристики объектов по признаку сравнения (*V* и *W*). Мы, однако, убедились, что в высказывании с этой лексемой так или иначе присутствуют все участники ситуации сравнения. Почему же в толковании лексемы *a* переменная соответствует не каждому из них?

Переменная, соответствующая субъекту сравнения, отсутствует в толковании потому, что, как уже говорилось, субъектом сравнения является сам говорящий (или же субъект речи), ср. компонент (i) толкования.

Пока остается не вполне ясным, нужно ли вводить в толкование союза *a* переменную, соответствующую признаку сравнения. Действительно, мы вправе говорить о валентности (сфере действия) лексемы, а значит, и об актанте лексемы по данной валентности и о соответствующей переменной в ее толковании лишь в том случае, если можем описать, каким образом выражается данный актант. При этом к описанию способов выражения актанта предъявляются определенные требования: оно должно быть алгоритмизуемо и лингвистично, т. е. опираться на лингвистическую информацию (грамматику и словарь), так что с помощью такого описания можно хотя бы синтезировать высказывание с данной лексемой. Однако не исключено, что информация о признаке сравнения извлекается не только из структуры самого высказывания и словаря, но и из наших общих знаний о мире, из «наивной энциклопедии», частью которой является какой-то тезаурус. (Подчеркнем, что мы имеем в виду признак сравнения как таковой, а не те значения, которые он принимает у сравниваемых объектов.) Подобные правила уже не являются чисто языковыми и, возможно, не алгоритмизуемы. В этом случае мы не можем считать, что признак сравнения входит в число актантов лексемы *a*. Не имея окончательного ответа на поставленный вопрос, мы воздержались от введения в толкование союза *a* переменной, соответствующей признаку сравнения.

Продемонстрируем, что предложенное описание лексемы «собственно *a* сравнения» позволяет дать семантическую интерпретацию хорошо известным структурным особенностям предложений с данным союзом [Крейдлин, Падучева 1974а; 1974б].

Хорошо известно, что в высказываниях с лексемой из блока «*a* сопоставления», в частности с лексемой «собственно *a* сравнения», каждый из сочинен-

ных компонентов должен быть расчленен на тему и ремю. Поэтому невозможно, например, высказывание:

(12) \**Стемнело, а начался дождь*<sup>19</sup>.

Семантическая подоплека этого факта очевидна: тема и рема в каждом из сочиненных компонентов выражает свой актант, поэтому они и должны быть выделены. Пример (12) недопустим потому, что в нем не обозначены сравниваемые объекты.

Темы сочиненных предложений должны быть «семантически сопоставлены (ассоциативно связаны)» [Крейдлин, Падучева 1974б]. Этот факт тоже легко интерпретируется семантически. Тема каждого сочиненного предложения обозначает один из объектов сравнения. Но сравниваемые объекты должны иметь что-то общее — иначе их просто будет невозможно сравнивать, поскольку нельзя будет выделить основание сравнения. Наличие ассоциативной связанности — это общее требование к сравниваемым объектам, вытекающее из специфики самого сравнения. При этом ассоциативная связь возможна не между любыми объектами. Так, вряд ли можно сравнивать предметы (в широком смысле слова) и ситуации; поэтому в высказываниях типа *Диван хорошо, а прогулка лучше* речь идет о двух ситуациях — ‘прогулке’ и ‘пребывании на диване’.

Следующее замечательное структурное свойство предложений с «*a* сравнения» таково: «семантически сопоставлены (ассоциативно связаны)» должны быть и ремы сочиненных предложений [Крейдлин, Падучева 1974б]. Это значит (по определению), что ремы сочиненных предложений должны быть антонимичны, или тезаурисно соотнесены, т. е. «входить в одну рубрику некоторого тезауруса» [Крейдлин, Падучева 1974б], или соотнесены по степени проявления признака и т. п. (в цитируемой работе определены и другие типы ассоциативной связи).

Приведем примеры.

(13) [Коля]<sup>T1</sup> [богатый]<sup>R1</sup>, а [Ваня]<sup>T2</sup> [бедный]<sup>R2</sup>.

Ремы антонимичны.

(14) *Я хотел стать моряком, а стал учителем* (пример из работы [Крейдлин, Падучева 1974б]).

Ремы — ‘моряк’ и ‘учитель’ — тезаурисно соотнесены: соответствующие лексемы входят в рубрику «Профессии».

(15) *Коле эта девушка всего лишь симпатична, а я без нее жить не могу* (модифицированный пример из работы [Крейдлин, Падучева 1974б]).

Ремы — ‘всего лишь симпатична’ и ‘жить без нее не могу’ — соотнесены по степени проявления признака.

Данное структурное свойство высказываний с союзом *a* тоже обусловлено семантикой сравнения. Дело в том, что ассоциативная связь между ремами сочиненных компонентов возникает благодаря повторению в ремах неко-

<sup>19</sup> В подобных случаях возможна лексема «*a* несоответствия норме»; ср. *Мужчина, а плачет* [Крейдлин, Падучева 1974б]. Однако пример (12) при таком прочтении абсурден.

того семантического компонента, причем данный компонент выражает признак сравнения. При отсутствии ассоциативной связи признак сравнения оказывается невыраженным — он не выводится из лексического наполнения рем. В результате остается непонятым, по какому же признаку производится сравнение, и тогда высказывание неправильно. Ср. следующие примеры (приводятся с другой интерпретацией в книге [Санников 1989: 174]):

(16) \**Маша красивая, а Катя глупая; \*Маша некрасивая, а Катя умная.*

Примеры недопустимы, потому что ни в одном из них не выводится признак, который мог бы быть основанием сравнения. Заметим, что при отсутствии указания на сравнение — и, соответственно, без лексемы «а сравнения» — подобные высказывания могут быть вполне допустимы. Ср. *Маша красивая, Катя глупая — вот и все, что он мог о них сказать.*

(17) \**Коля бежит красиво, а Петя медленно* (невозможно понять, каков признак сравнения объектов).

В следующем высказывании признак сравнения понятен, а потому высказывание нормально:

(18) *Маша красивая, а Катя умная* (объекты сравниваются по признаку ‘положительно оцениваемое свойство’).

(19) *Коля бежит некрасиво, а Петя медленно* (объекты сравниваются по признаку ‘отрицательно оцениваемое свойство’).

Допустимо даже следующее, не вполне стандартное, высказывание:

(20) *Маша хорошенькая, а Катя глупенькая* (признак сравнения — ‘типично женское свойство’).

Заметим, что «хорошая» тезаурусная соотношенность рем сочиненных предложений обеспечивает прагматическую удачность высказывания. Однако она, по-видимому, не входит в число тех условий, которые обеспечивают выражение признака сравнения как такового. При отсутствии такой соотношенности высказывание хотя и бывает прагматически странным или игровым, но остается правильным и, в частности, выражает признак сравнения. Ср. стандартное высказывание *Петя любит яблоки, а Ваня — груши* (обе ремы обозначают фрукты, т. е. входят в одну, причем достаточно узкую, тезаурусную рубрику) и прагматически нестандартное *Петя любит яблоки, а Ваня — импрессионистов* (трудно представить тезаурус, в котором ‘яблоки’ и ‘импрессионисты’ входят в одну достаточно узкую рубрику). Аналогичным образом объясняется языковая правильность, сочетающаяся с прагматической бессмысленностью, высказывания *В огороде бузина, а в Киеве дядька.*

В литературе (например, [Крейдлин, Падучева 1974б; Янко 1990]) отмечалось еще одно важное свойство рассматриваемых высказываний. А именно: во фразе типа *Ваня ловкий, а Петя неуклюжий* сопоставляются не только Ваня и Петя, но и их свойства (‘ловкий’ VS. ‘неуклюжий’). Этот эффект «двойного сопоставления» объясняется следующим. Объекты сравнения здесь — Ваня и Петя, ср. компонент (i) толкования. Однако в толкование сою-

за *a* входят еще и компонент (iii), указывающий на нетождественность характеристик сравниваемых объектов по признаку сравнения. В основе семантики предиката 'нетождественны' лежит компонент «операция сравнения». Тем самым, компонент (iii) тоже предполагает сравнение, но уже не Вани и Пети, а их характеристик. Идея сравнения выражается в высказывании еще один раз, причем операции сравнения подвергается еще одна пара объектов.

И наконец, самое очевидное структурное свойство высказываний с союзом *a* состоит в том, что сочиненные компоненты, связываемые данным союзом, должны быть «синтаксически подобны» [Крейдлин, Падучева 1974б: 34]. «Синтаксический параллелизм» компонентов высказывания обеспечивает нахождение составных частей и актантов «операции сравнения» по простым и экономным правилам, т. е. понимание (а возможно, и синтез) высказываний с данной лексемой союза *a*.

В заключение этого раздела рассмотрим лексему «*и* сравнения». Ср. приводившиеся примеры

- (5) *Коля рыжий (P), а Петя рыжеватый (Q).*  
 (6) *Коля рыжий (P), и Петя рыжеватый (Q).*

Лексема «*и* сравнения» накладывает практически те же ограничения на сочиненные предложения, что и «собственно *a* сравнения». Однако их значения в определенном смысле противоположны: «*и* сравнения» указывает не на различие, а на сходство сравниваемых объектов. Приведем толкование лексемы «*и* сравнения».

- (II)  $P, a Q$  [*Коля (X) рыжий (V) {P}, и Петя (Y) рыжеватый (W) {Q}*] =  
 '(i) говорящий сравнивает X и Y по некоторому признаку;  
 (ii) характеристика X-а по этому признаку — V; характеристика Y-а по этому признаку — W;  
 (iii)  $V = W$ ;  
 (iv) X и Y не различаются по данному признаку'.

Актанты выражаются так же, как у лексемы «*a* сравнения»: X обозначается темой предложения P; Y обозначается темой предложения Q; V — рема предложения P; W — рема предложения Q.

Не исключено, что лексема «*и* сравнения» накладывает какие-то более жесткие, нежели союз «собственно *a* сравнения», требования на взаимное расположение тем и рем в сочиненных предложениях.

#### 1.4. Лексема «опустошенное *a* сравнения»

Рассмотрим теперь то практически пустое, «соединительное» значение союза *a*, которое мы отделяем от «собственно *a* сравнения» и которое представлено в примерах

- (2) а. *Папа на работе, а мама ушла в магазин;* б. *А где же все техники? — Иванова в отпуске, Петров болен, а Сидоров в командировке;* в. *После полудня мы с нашим ботаником пошли осматривать окрестности. Он собирал растения, а я охотился* (В. К. Арсеньев);

(3) *Катя рисует, а Петя с кошкой играет;*

(21) *Они соседи. Даша живет на третьем этаже, а Коля — на четвертом.*

Лексема «опустошенное *a* сравнения», с одной стороны, очень близка лексеме «собственно *a* сравнения», а с другой стороны, не указывает на контролируемое целенаправленное действие субъекта (говорящий ничего не сравнивает, не ставит своей целью сформулировать сходства и различия между объектами). На наш взгляд, в семантику союза «опустошенное *a* сравнения» входит не полноценная лексема ‘сравнивать’, а всего лишь невербализуемый элемент «неконтролируемое действие сравнения». Поскольку этот элемент невербализуем, то, следовательно, лексема «опустошенное *a* сравнения» не толкуема средствами естественного языка.

Близость данной лексемы союзу «собственно *a* сравнения» проявляется в том, что в высказываниях с ним, ср. (2), (3), (21), в каждом из сочиненных предложений тоже налицо выделенные тема и рема, причем темы (а также ремы) вступают друг с другом в ассоциативную связь.

Предлагаем следующую экспликацию (не толкование) лексемы «опустошенное *a* сравнения»:

(III)  $P, a Q$  [Мама (X) читает (V), а дети (Y) играют (W)] =

(i) «неконтролируемое действие сравнения»; X и Y имеют общий признак;

(ii) характеристика X-а по этому признаку — V;

характеристика Y-а по этому признаку — W;

(iii)  $V \neq W$ .

Выражение актантов: X — T1, Y — T2; V — R1, W — R2.

Признак сравнения в высказываниях с данной лексемой союза *a*, так же как и в случае «собственно *a* сравнения», выводится из рем сочиненных компонентов. Так, в примере (2а) это ‘местонахождение субъекта’, в (2б), (2в), (3) — ‘занятие субъекта в описываемый момент’, в (21) — ‘место жительства субъекта’. В следующем примере из работы [Крейдли, Падучева 1974б: 33] признак сравнения как будто не столь очевиден, ср.

(22) *При вечернем свете глаза ее блестели, а губы (ее) были приоткрыты.*

Однако и здесь он выводится из рем сочиненных компонентов: объекты ‘ее глаза’ и ‘ее губы’ сравниваются по признаку ‘вид при вечернем свете’.

Данная, семантически почти пустая лексема союза *a* отличается от лексемы «собственно *a* сравнения», во-первых, тем, что вместо полноценного предиката ‘сравнивать’ в ее семантику входит невербализуемый элемент «неконтролируемое действие сравнения». Во-вторых, в семантике «опустошенного *a* сравнения» отсутствует компонент, указывающий на собственно результат сравнения.

Все компоненты экспликации (III), кроме элемента «неконтролируемое действие сравнения», являются, по существу, контекстом союза. Неудивительно, что для этой выхолощенной лексемы не удастся найти хорошего названия — данный союз *a* имеет слишком бедное значение. Это «недоразвитое» сравнение. В семантике «опустошенного *a* сравнения» выделяется четкий компонент ‘не тождествен’. Что касается лексем ‘признак’, ‘иметь’, ‘характеристика’, то



с их помощью мы обозначаем составные части элемента «неконтролируемое действия сравнения». Скорее всего, эти составные части тоже не вербализуемы — они «мельче» тех слов, с помощью которых мы их обозначаем. Однако компонент «неконтролируемое действие сравнения» обеспечивает те же структурные свойства всего высказывания, что и предикат ‘сравнивать’.

Подчеркнем, что говоря о «недоразвитом» сравнении или об «опустошенности» лексемы, мы имеем в виду лишь логику описания значения, но не реальную семантическую историю слова. Историческое развитие союза может быть прямо противоположным: в какой-то период союз *a* закрепляется за определенными видами контекстов, «вбирает» в себя их семантику и обогащается так, что начинает выражать сравнение.

### 1.5. Анализ отрицательного языкового материала

Предложенное описание лексем «собственно *a* сравнения» и «опустошенное *a* сравнения» позволяет дать вполне единообразное объяснение отрицательному языковому материалу, приведенному в статье [Крейдлин, Падучева 1974б]. Рассмотрим некоторые примеры из этой работы.

(23) *Этого человека [моя мать] [любит], a (\*и) я ненавижу.*

Сравниваемые объекты — ‘моя мать’ и ‘я’. Признак сравнения — чувствование к данному человеку. Характеристики сравниваемых объектов по этому признаку — разные. Поэтому союз из блока «*a* сопоставления» здесь нормален, а союз «*и* сравнения» — невозможен.

(24) *Умереть хотят немногие, a (\*и) стариться не хочет никто.*

Объекты сравнения — ситуации ‘умереть’ и ‘стариться’. Признак сравнения — наличие и количество желающих быть субъектом данной ситуации. Значение признака сравнения у ситуаций ‘умереть’ и ‘стариться’ — разное (‘немногие’ — ‘никто’). Поэтому союз из блока «*a* сопоставления» здесь нормален, а союз «*и* сравнения» — невозможен.

(25) *Немногие хотят умереть, и (\*a) никто не хочет стариться.*

‘Немногие’ и ‘никто’ невозможны в качестве объектов сравнения. Поэтому в данном контексте невозможна ни лексема «*и* сравнения», ни лексема из блока «*a* сопоставления». Союз *и* представлен здесь лексемой «*и* продолжения повествования». Коротко говоря, эта лексема сигнализирует о том, что второе сочиненное предложение развивает тему, начатую первым предложением (подробно о лексеме «*и* продолжения повествования» см. [Урысон 2000]). В данном случае оба сочиненных компонента повествуют о нежелании людьми некоторых вещей.

(26) *Яблоки Джон ест, a (\*и) груши не ест.*

Сравниваемые объекты — яблоки и груши. Признак сравнения: ест или не ест Джон данный вид фруктов. Значение признака для яблок одно, а для груш — другое. Поэтому союз *a* здесь нормален, а *и* недопустим.

(27) *Джон ест яблоки и (\*a) не ест груши.*

Союз из блока «*a* сопоставления», как и союз «*и* сравнения» в данном контексте невозможен: непонятно, каковы объекты сравнения. Союз *и* представлен здесь лексемой «*и* продолжения повествования» — оба сочиненных компонента повествуют о Джоне и его еде.

### 1.6. Некоторые сложные случаи

В предыдущем разделе анализировались высказывания, в которых союзы *a* и *и* не могут заменять друг друга. В работе [Крейдлин, Падучева 1974б] приводятся и противоположные случаи, когда союз «опустошенное *a* сравнения» свободно заменяется на *и*. Покажем, что наша интерпретация распространяется и на этот материал.

Союз *a* легко заменяется на *и* в уже рассматривавшемся примере (22), ср.:

(22) а. *При вечернем свете глаза ее блестели, а губы были приоткрыты* VS.

б. *При вечернем свете глаза ее блестели и губы были приоткрыты*.

Попытаемся выяснить причины взаимозаменяемости союзов в данном высказывании.

Как отмечалось выше, в (22а) объекты ‘ее глаза’ и ‘ее губы’ имеют весьма богатый общий признак ‘вид при вечернем свете’. Учитывая общие знания о мире, его можно сформулировать еще более узко: ‘необычный вид при вечернем свете’. Тем самым сочиненные компоненты в (22а, б) имеют достаточно большую смысловую общность — оба они повествуют о необычном виде объекта при вечернем освещении. Но в таком контексте нормален союз «*и* продолжения повествования». Выбор союза *a* или *и* определяется фокусом внимания говорящего. Если говорящему важно лишь наличие общего признака у двух объектов (при том, что этот признак принимает у них разное значение), он выбирает союз *a*, точнее «опустошенное *a* сравнения». Если же говорящий акцентирует единство темы повествования, то выбирается союз «*и* продолжения повествования».

Ср. аналогичные примеры:

(28) а. *Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут* (А. С. Пушкин)

VS. б. *Дорога была ему знакома, и езды всего двадцать минут*.

В (28а) союз *a* представлен лексемой «опустошенное *a* сравнения». Объекты ‘дорога’ и ‘езда по этой дороге’ имеют общий признак, выводимый из рем сочиненных компонентов (а также, возможно, и из общего знания о мире): ‘фактор, обуславливающий простоту передвижения’. Благодаря семантическому богатству этого признака оба сочиненных компонента имеют общую тему повествования (нечто вроде «простота пути субъекта»). Вследствие этого данное высказывание допускает союз «*и* продолжения повествования». Употребляя союз *и*, говорящий акцентирует общность темы, развиваемой в данном микротексте, состоящем из двух сочиненных предложений. Между тем союз *a* высвечивает лишь общий признак объектов ‘дорога’ и ‘езда по этой дороге’.

(29) а. *Бизнесмены здесь не признают контрактных обязательств, а местная мафия жестоко расправляется с фирмами, которые ей не по душе* VS. б. *Биз-*

*несмены здесь не признают контрактных обязательств, и местная мафия жестоко расправляется с фирмами, которые ей не по душе.*

В (29а) объекты — ‘бизнесмены’ и ‘местная мафия’ — имеют общий признак: ‘производимые беззакония’. Значение признака у объектов — разное, поэтому здесь нормален союз из блока «*a* сопоставления». Однако ремы сочиненных компонентов, будучи формально разными, выражают достаточно близкий смысл. Сочиненные предложения развивают единую тему — «беззакония в описываемом мире», а потому высказывание свободно допускает союз *и*, ср. (29б).

Приведем еще некоторые примеры, разбираемые в работе [Крейдлин, Падучева 1974б]. Специфика их в том, что каждый из сочиненных компонентов содержит слова с неопределенной предметной соотнесенностью [*в положенный час* в (30), *своя* в (31)]. Ср.:

(30) а. *Нам в положенный час подают обед, а в положенный час ужин* VS. б. *Нам в положенный час подают обед и в положенный час ужин.*

В (30а) представлена лексема «опустошенное *a* сравнения». Неконтролируемому действию сравнения подвергаются следующие объекты: ‘один положенный час’, ‘другой положенный час’. Общий признак объектов: ‘то, что нам подают в этот час’. Признак принимает разное значения (‘обед’ VS. ‘ужин’). В (30б) представлена лексема «*и* продолжения повествования»: сочиненные компоненты развивают единую тему «все происходит в положенный час».

(31) а. *У меня своя жизнь, а у Вас — своя* VS. б. *У меня своя жизнь, и у Вас — своя.*

В (31а) говорящий сравнивает себя и адресата; признак сравнения — специфика жизни. Этот признак принимает разное значение (ср. *У моей жизни одни особенности, у Вашей — другие*). Говорящий подчеркивает различия между собой и адресатом. В (31а) естественно усматривать лексему «собственно *a* сравнения». В (31б) говорящий тоже сравнивает себя и адресата, однако по иному признаку: ‘наличие специфики жизни’. Этот признак принимает у объектов одно значение (ср. *У меня особенности, и у Вас особенности*). Говорящий специально указывает на эту общность — в (31б) представлена лексема «*и* сравнения».

В целом наше описание подтверждает интерпретацию данного материала, предложенную Е. Г. Крейдлиным и Е. В. Падучевой: «одни и те же явления могут, в зависимости от установки говорящего, трактоваться как сходные или различные» [Крейдлин, Падучева 1974б: 34].

## **2. Блок лексем «*a* сопоставления» и теория семантических примитивов**

В семантической теории, разрабатываемой Московской семантической школой (см., прежде всего, труды Ю. Д. Апресяна, в частности книгу [Апресян 1974]), в качестве метаязыка используется естественный язык, точнее — его подъязык, состоящий из относительно небольшого числа слов, взятых в их центральном значении, и достаточно простых однозначных синтаксических конструкций. В этом подъязыке выделяется особая группа лексем, составляющая исходный словарь метаязыка толкований. Данные

лексемы участвуют в толковании других лексем, но сами не определяются ни через какие единицы языка. Поэтому их называют семантическими примитивами. Все другие единицы языка сводимы к семантическим примитивам, т. е. могут быть истолкованы через них (если не непосредственно, то на каком-то шаге разложения).

До недавнего времени считалось, что в языке не существует никаких нетолкуемых лексем, кроме семантических примитивов. Иными словами, подразумевалось, что каждая нетолкуемая лексема участвует в толковании других единиц языка. Ясно, однако, что нетолкуемость и участие в толковании значения других слов — это два логически независимых требования. Поэтому можно ожидать, что найдется нетолкуемая лексема, не являющаяся примитивом.

Такие лексеммы были впервые подробно описаны Ю. Д. Апресяном — это лексеммы, являющиеся близкими синонимами семантического примитива. В работе [Апресян 1994/1995] сравниваются лексеммы *хотеть* (семантический примитив) и *желать*. Лексема *желать* столь мало отличается от семантического примитива *хотеть*, что, подобно ему, не может быть истолкована (в частности, ее невозможно толковать через значение ‘хотеть’ и значение еще какой-то лексеммы). Глагол *хотеть* выбирается на роль семантического примитива только потому, что он более нейтрален и семантический менее специфичен, т. е. больше подходит для толкования других слов.

Однако очень небольшие смысловые различия могут существовать не только между синонимами, но и между «соседними» лексеммами многозначного слова. Тем самым естественно ожидать, что явление, описанное Ю. Д. Апресяном в области синонимии, встретится и в области полисемии.

Это предположение было подтверждено анализом лексем союза *если* [Урысон 2001]. Этот союз многозначен, причем в его составе выделяется несколько нетолкуемых лексем. Но требованию участия в толкованиях, предъявляемому к семантическим примитивам, по-видимому, удовлетворяет только лексема «*если гипотезы*»<sup>20</sup>. Она и признается семантическим примитивом. Через остальные лексеммы союза *если*, хотя они и нетолкуемы, вряд ли определяется хоть одна единица языка<sup>21</sup>.

Граница между семантическими примитивами и «обычными» лексеммами оказалась не такой четкой, как представлялась раньше. Ее размывают нетолкуемые лексеммы, не являющиеся примитивами. Очевидно, что такие нетолкуемые лексеммы, скорее всего, входят в класс семантически выхолощенных служебных или полуслужебных слов. Действительно, подобные лексеммы были обнаружены среди союзов [Урысон 2000; 2001] и среди полувспомогатель-

<sup>20</sup> Она входит, например, в толкование граммемы актуально-длительного значения НСВ, ср. (упрощенно) *Белье сохнет* = ‘в каждый из последующих моментов белье суше, чем в каждый предшествующий момент; если этот процесс не прекратится, то белье начнет быть сухим’ [Гловинская 1982].

<sup>21</sup> Аналогичным образом оказались нетолкуемыми более одной лексеммы союзчастицы *и*, см. подробно [Урысон 2000].

ных глаголов типа *Орег* [Апресян 2004]. К таким лексемам принадлежит и союз «опустошенное *a* сравнения».

Сосредоточимся на главном требовании, предъявляемом к семантическим примитивам, — требовании семантической неразложимости.

Семантическая неразложимость языковой единицы — это невозможность представить ее значение на предназначенном для этого семантическом метаязыке. Если в семантической теории в качестве метаязыка используется естественный язык, то неразложимость лексемы (или другой языковой единицы) — это невозможность представить ее значение в виде выражения на естественном языке. Однако Ю. Д. Апресян продемонстрировал, что семантический примитив (т. е. лексема неразложимая по определению) неэлементарен — он может иметь весьма богатое и сложное значение [Апресян 1979]. В цитированной выше работе [Апресян 1994/1995] этому факту дается теоретическое объяснение. Оно состоит в следующем.

Если глаголы *хотеть* и *желать* синонимичны, то, следовательно, в их значении есть общая часть. При этом *хотеть* является семантическим примитивом, и *желать* тоже нетолкуем. Получается, что в значении каждого из них есть некая «ядерная» часть, общая для данных синонимов, и какие-то более мелкие семантические компоненты, семантические «добавки», создающие специфичный семантический ореол каждого из этих слов. Однако все компоненты, выделяемые в семантике семантического примитива *хотеть* и его синонима *желать*, нетолкуемы — их можно описать с помощью разного рода дескрипций, но нельзя истолковать на естественном языке по правилам толкования значений. Такие семантические компоненты, более мелкие, чем значение любой лексемы естественного языка, Ю. Д. Апресян, назвал «семантическими кварками».

Семантический кварк может быть уникальным, т. е. входить в состав очень небольшого количества лексем или даже одной лексемы. Таковы, по-видимому, кварки, различающие *хотеть* и *желать*. Однако кварки могут быть и системными, т. е. повторяться во многих лексемах, обуславливая специфику классов лексем. Это, например, «стативность», частеречная семантика и некоторые другие смыслы, которые были выявлены Ю. Д. Апресяном в работе [Апресян 1980/1995], где были названы нетривиальными семантическими признаками (в [Апресян 1994/1995: 482] они охарактеризованы как «подлинные семантические примитивы»). Каждый нетривиальный семантический признак «отражает определенную семантическую особенность слова, но не дублирует ее целиком» [Апресян 1980/1995: 30]. При этом нетривиальный семантический признак, например «стативность», приписывается группе слов (так называемым стативам), обладающих «сходством реакций (...) на другие языковые единицы разных уровней (морфологического, синтаксического, семантического)» [Апресян 1994/1995: 482]. Поскольку это сходство реакций «семантически мотивировано», то «мы обязаны предположить наличие в их значениях некоего общего смысла» [там же].

С подобными системными кварками сближается выделенный нами элемент «неконтролируемое действие сравнения». Подчеркнем, однако, что и сам этот элемент, и более крупный компонент «операция сравнения», в состав которого он входит, не являются нетривиальными семантическими признаками типа «акциональность» или «стативность». Компоненты, выделенные нами, составляют большую часть значения предиката, а не только мотивируют его реакции на контекст.

В своей недавней работе [Апресян 2004] Ю. Д. Апресян изменил данное ранее определение семантического кварка. В соответствии с новым определением кварк необязательно является односторонней семантической единицей, обладающей только планом содержания, — он может быть выражен и какой-либо лексемой языка. При этом наличие или отсутствие лексемы для обозначения того или иного «мелкого» смысла — вещь в большой степени случайная.

Однако выделенный нами элемент «неконтролируемое действие сравнения», по-видимому, не вербализуем в принципе. Можно предположить, что в семантической системе языка имеется не одна такая невербализуемая единица. Желательно отграничить эти единицы от вербализуемых слов, т. е. выделить невербализуемые семантические элементы в отдельный класс. Продолжая традицию черпать названия для семантических элементов из терминологии физики элементарных частиц, назовем невербализуемый семантический элемент «фотоном».

Выделенный выше «семантический фотон» входит как составная часть в более крупный семантический компонент «операция сравнения». Существенно, что для обозначения этого компонента естественные языки (по крайней мере, известные нам) тоже не располагают отдельной лексической единицей.

Выделение принципиально невербализуемых семантических элементов («семантических фотонов») противоречит одному из постулатов существующей семантической теории. Прочитав А. Вежбицкую: «Если бы кто-нибудь взялся утверждать, что такое [т. е. содержащееся в разных лексемах слова, но не выражаемое никакой языковой единицей.— Е. У.] значение существует, но у нас просто нет слова для его воплощения, я бы повторила вслед за Витгенштейном, что о том, о чем невозможно говорить, следует молчать» [Вежбицкая 1996: 301—302]. Мы, однако, убедились, что благодаря выделению невербализуемого элемента «неконтролируемое действие сравнения», а также более крупного компонента «операция сравнения» удастся системно описать сходства и различия между, на первый взгляд, семантически далекими предикатами, ср. *похожий* и *больше*. Наш подход позволяет дать естественную семантическую интерпретацию и жестким ограничениям, налагаемым на сочиненные компоненты союзом «а сопоставления».

Выявление невербализуемых семантических компонентов может оказаться интересным для психолингвистических исследований, в частности посвященных соотношению вербального и невербального видов мышления.

## Литература

- Апресян 1974 — Ю. Д. А п р е с я н. Лексическая семантика. М., 1974.
- Апресян 1979 — Ю. Д. А п р е с я н. Английские синонимы и синонимический словарь // Англо-русский синонимический словарь. М., 1979.
- Апресян 1980/1995 — Ю. Д. А п р е с я н. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели «СМЫСЛ ⇔ ТЕКСТ» // Wiener slawistischer Almanach. Sond.-Bd. 1. Wien, 1980. [Цит. по: Ю. Д. А п р е с я н. Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. С. 8—101.]
- Апресян 1994/1995 — Ю. Д. А п р е с я н. О языке толкований и семантических примитивах // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 1994. № 4. [Цит. по: Ю. Д. А п р е с я н. Избранные труды. Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. С. 466—484.]
- Апресян 2004 — Ю. Д. А п р е с я н. Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на *оказывать*) // Сокровенные смыслы. М., 2004. С. 13—33.
- Арутюнова 1990 — Н. Д. А р у т ю н о в а. Тождество и подобие (заметки о взаимодействии концептов) // Логический анализ языка: Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990. С. 7—32.
- Вежицкая 1996 — А. В е ж б и ц к а я. Семантические универсалии и «примитивное мышление» // Язык. Культура. Познание. М., 1996. С. 291—325.
- Гловинская 1982 — М. Я. Г л о в и н с к а я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Грамматика 1980 — Русская грамматика. Т. 1—2. М., 1980.
- Жолковский 1964 — А. К. Ж о л к о в с к и й. Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8. М., 1964. С. 67—103.
- Иорданская 1992 — Л. Н. И о р д а н с к а я. Перформативные глаголы и риторические союзы // Wiener slawistischer Almanach. Sond.-Bd. 33. Wien, 1992. S. 29—41.
- Крейдлин, Падучева 1974а — Г. Е. К р е й д л и н, Е. В. П а д у ч е в а. Значение и синтаксические свойства союза *a* // «Научно-техническая информация». Сер. 2. 1974. № 9. С. 31—37.
- Крейдлин, Падучева 1974б — Г. Е. К р е й д л и н, Е. В. П а д у ч е в а. Взаимодействие ассоциативных связей и актуального членения в предложениях с союзом *a* // «Научно-техническая информация». Сер. 2. 1974. № 10. С. 32—37.
- Кручинина 1984 — Н. И. К р у ч и н и н а. Текстобразующие функции сочинительной связи // Русский язык: Функционирование грамматических категорий: Текст, контекст. М., 1984. С. 204—210.
- Кручинина 1988 — Н. И. К р у ч и н и н а. Структура и функции сочинительной связи в русском языке. М., 1988.
- Лауфер 1990 — Н. И. Л а у ф е р. От образа к подобию // Логический анализ языка: Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990. С. 98—109.
- Лебедева 1990 — Л. Б. Л е б е д е в а. Сходство, различие, тождество в интенциональных и экстенциональных контекстах // Логический анализ языка: Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990. С. 84—97.
- Левин 1970 — Ю. И. Л е в и н. Об одной группе союзов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13. М., 1970. С. 64—88.
- МАС — Толковый словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1985—1990.
- Мельчук 1974 — И. А. М е л ь ч у к. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ⇔ Текст». М., 1974.
- Николаева 1997 — Т. М. Н и к о л а е в а. Сочинительные союзы *a*, *но*, *и*: история, сходства и различия // Славянские сочинительные союзы. М., 1997. С. 3—24.

Падучева 1997 — Е. В. Падучева. Эгоцентрическая семантика союзов *а* и *но* // Славянские сочинительные союзы. М., 1997. С. 36 — 47.

Падучева 2004 — Е. В. Падучева. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.

Прияткина 1970 — А. Ф. Прияткина. Конструктивные особенности союза *а* в простом предложении русского языка // Исследования по современному русскому языку. М., 1970. С. 191—206.

Саввина 1976 — Е. Н. Саввина. Фрагмент модели поверхностного синтаксиса русского языка. III: Сравнительные конструкции (сравнительные и отсоюзные синтагмы) // «Научно-техническая информация». Сер. 2. 1976. № 1. С. 38—43.

Санников 1989 — В. З. Санников. Русские сочинительные конструкции. М., 1989.

Сэпир 1944/1985 — E. Sapir. Grading: A Study in Semantics // Philosophy of science. Vol. 11. 1944. № 2. [Цит. по: Э. Сэпир. Градуирование: семантическое исследование // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. С. 43—78.]

Туровский 1988 — В. В. Туровский. Как, похож, напоминать, творительный сравнения: толкования для группы квазисинонимов // Логический анализ языка: Референция и проблемы текстообразования. М., 1988. С. 126—143.

Туровский 1991 — В. В. Туровский. Словарная статья глагола *напоминать* // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991. С. 171—175.

Урысон 2000 — Е. В. Урысон. Русский союз и частица *И*: структура значения // Вопросы языкознания. 2000. № 3. С. 97—121.

Урысон 2001 — Е. В. Урысон. Союз *ЕСЛИ* и семантические примитивы // Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 45—64.

Урысон 2002 — Е. В. Урысон. Союз *А* как сигнал поворота повествования // Логический анализ языка: Семантика начала и конца. М., 2002. С. 348—357.

Урысон 2003 — Е. В. Урысон. Семантическая и валентная структура слов с уступительным значением // Русский язык в научном освещении. 2003. № 6. С. 217—246.

Урысон 2004 — Е. В. Урысон. Союзы *а* и *но* и фигура говорящего // Вопросы языкознания. 2004. № 6. С. 64—83.

Фужерон 1997 — И. Фужерон. О некоторых особенностях русских сочинительных союзов. Союзы *и* и *а*, союзы *а* и *но* // Славянские сочинительные союзы. М., 1997. С. 25—35.

Янко 1990 — Т. Е. Янко. Еще раз о союзах *а* и *но* // Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990. С. 246—258.

Wierzbicka 1992 — A. Wierzbicka. Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. N. Y.; Oxford, 1992.



Р. Ф. КАСАТКИНА

## О ДИАЛЕКТИЗМАХ В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА \*

Мы знаем, что русский литературный язык — «от Пушкина до наших дней». И еще мы знаем, что все, что написано Пушкиным — образцово и нормативно. Но при этом, конечно, учитываем то, что в языке Пушкина имеются и устаревшие обороты, и архаические грамматические формы, и устаревшие значения слов. По поводу последних обширный материал дает «Словарь языка Пушкина» (далее СЯП). И многое к этому добавляет в своих семантических изысканиях Александр Борисович Пеньковский [Пеньковский 2003; 2004 и др.].

Однако нередко, читая Пушкина, мы все же сталкиваемся с непрозрачными отрывками текста. И дело не только в устаревших оборотах речи и в устаревших значениях отдельных слов — мы встречаемся с такими словами, либо с такими лексическими значениями, которые отсутствуют в современных толковых словарях, даже и с пометой *устарелое*. И ответы на многие наши недоумения мы можем найти только в **диалектных словарях** и в Диалектологическом атласе русского языка (ДАРЯ).

Обратимся к пушкинским текстам. Вот отрывок из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»: *Царица злая, Ей **рогаткой** угрожая, Положила: иль не жить, Иль царевну погубить.*

И отрывок из «Капитанской дочки»: *Полно врать, Иван Кузьмич, — прервала коменданша, ты, знать, хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да **лих** же не проведешь!* Из «Сказки о золотом петушке»: *Подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу, — говорит мудрец в ответ. — Плюнул царь: Так **лих** же, нет!*

Итак, что значат слова *рогатка* и *лих*? В СЯП одно из значений слова *рогатка*, подходящее к нашему случаю, — ‘железный ошейник с длинными остриями, надеваемый на шею заключенным, колодникам’. Но это толкование применительно к приведенному контексту представляется сомнительным. По законам жанра сказочная царица должна была бы действовать каким-либо кухонным предметом — кочергой, ухватом, сковородником,

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте» (грант «История в современности: язык старообрядцев»).

скалкой или чем-то в этом роде (это обстоятельство обыгрывается, например, в сказках Андерсена, а позднее, еще более остро — в сказках Е. Шварца). Но ничего подходящего для перевода слова *рогатка* на современный язык мы не находим ни в толковых словарях, ни в Словаре языка Пушкина.

Объяснение можно обнаружить только в Словаре русских народных говоров (СРНГ): *рогáтка* — ‘палочка с сучками на конце, служащая для взбалтывания, взбивания чего-л. (масла, теста), мутовка’, например: *Пойдешь в лес, вырежь мне рогáтку, а то масло сбить нечем; Тесто мы разминали рогáткой, она из сучьев елки*. Распространено в Псковской, Тверской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях, а также в Карелии, Латвии и Литве [СРНГ, 35: 120]. Следовательно, злая Царица угрожала своей сенной девушке Чернавке *мутовкой!* Именно мутовкой, т. е. предметом повседневного кухонного обихода, а не каким-то атрибутом пыточного набора современной Пушкину петенциарной системы.

Рассмотрим частицу *лих*. В СЯП нет перевода на литературный язык этой таинственной частицы, но дается описательное толкование: *Употребляется для выражения возмущения, недовольства, досады*. Согласно СРНГ, эта частица употребительна в говорах севера и северо-запада в тех же значениях, что и частица ‘вот’. В таком случае в приведенных текстах сказано следующее: в «Сказке о золотом петушке» — *Плюнул царь: Так вот же нет!* в «Капитанской дочке» — *да вот же не проведешь!*

Эта частица в текстах Пушкина встречается несколько раз, в том числе в письмах. В письме к Наталье Николаевне: *Покаместь, грустно. Поцалуй-ка меня, авось горе пройдет. Да лих, губки твои на 400 верст не растянешь!*

Не замеченная ни пушкинистами, ни, как кажется, диалектологами, эта частица представляет немалый интерес для историка языка. Стоит только сопоставить ее с частицей *лишь*, широко представленной во многих диалектах русского языка и обратить внимание на этимологическое родство этих двух партикул. По-видимому, они исторически восходят к одной и той же форме с основой на заднеязычный \*-х, с формантом \*ь в одном случае и с \*ь в другом, что в современном языке дало рефлексы -х — -ш. Эту пару можно сравнить с такими парами, как -т(о) и -ть (*даже-т(о)*, *надо-т(о)* и *даже-ть*, *надо-ть*), с парой частиц в современных-говорах -ка (-ки) и -ча (-чи, -че) (*тамока*, *тамоки* и *давача*, *даваче*), с парой -н и -нь. (*вон*, *эвон* и *вонь*, *эвонь*) Существование последней из перечисленных пар (*нъ* — *нь* в древнерусском языке) обнаружил А. А. Зализняк, проанализировав одно из «темных мест» в «Слове о Полку Игореве» (доклад в Институте славяноведения 21 января 2004 г.). Рефлексами этого противопоставления, по-видимому, являются форманты -н и -нь в современных общерусских частицах. Кроме уже упомянутых пар *вон* — *вонь*, *эвон* — *эвонь*, в севернорусских говорах представлен большой массив слов с конечным формантом -нь, например: *втóпоронь* (‘в ту пору’), *конь* (‘коль’), *óсенень* (‘прошлой осенью’), *тонь* (‘только’), *эконь* и другие подобные.

Напомним к тому же, что частица *лих* свойственна именно псковским говорам, в которых наблюдается целый ряд лексем без замены заднеязычных на ши-

пящие (например: *замека́ть* ‘замечать’, *меха́ть* ‘мешать’, *рога́ть* ‘рожать’ и др.). Это позволяет предположить, что и обсуждаемая частица принадлежит к ряду лексем, в которых не произошло палатализации конечного заднеязычного.

В тексте «Скупого рыцаря» встречаем следующее: *И потекут сокровища мои в атласные **диравые** карманы*. Что это — опечатка? Именно так это и понималось многими издателями пушкинской трагедии. Тем не менее мы снова встретились с псковским диалектизмом. Ср. примеры из Псковского областного словаря (ПОС), где представлены следующие варианты диалектного прилагательного: *диря́вый плат* и *дира́вый карма́н* — с *я* и *а* под ударением (как у Пушкина) [ПОС, 10, СПб., 1995: 85]; в СРНГ отмечен один пример — *дира́вый ча́йник* (Калининская обл., Осташковский р-н). По-видимому, в целях «нобилизации» пушкинской речи диалектизм был заменен как авторами СЯП<sup>1</sup>, так и многими последующими публикаторами на нормативное «дырявый». Диалектизм заменялся (и заменяется) также и в сценическом и эстрадном исполнении «Скупого рыцаря» (впервые на случаи такой подмены обратила внимание Н. В. Попова [Попова 2000: 110]).

Хорошо знакомый с народной речью в ее диалектном (северо-западном, а точнее псковском) варианте от няни Арины Родионовны, а также с речью петербургского простонародья — просторечием, основанном на северо-западном диалекте, А. С. Пушкин нередко использовал «псковизмы» и элементы петербургского просторечия в своем творчестве, и прежде всего в тех произведениях, которые представляют собой стилизацию под фольклорные тексты: сказки, баллады, некоторые прозаические произведения, а также в эпиграммах, в речи персонажей из народа, в письмах. Диалектизмы появляются и в лирике Пушкина, особенно в тех стихотворениях, которые тематически связаны с деревней. Имеются они и в «деревенских» главах «Евгения Онегина». Как показывает материал региональных словарей, к диалектизмам, характеризующим северо-западную зону, можно отнести значительное количество слов из пушкинских текстов.

Кроме Псковского областного словаря (ПОС), в процессе работы над статьей были использованы и некоторые другие диалектные словари — Архангельский областной словарь (АОС), Словарь русских народных говоров (СРНГ), Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей (СРГК). Обращение к нескольким словарям вызвано не только тем, что Псковский областной словарь вышел пока только 13 выпусками (включая слово *ка́рлицкий*), но и тем обстоятельством, что лингвогеографическая ситуация со времени Пушкина существенно изменилась, и бывшие псковизмы, утраченные современными псковскими говорами, бытуют в широком ареале северо-западных русских говоров, а также в переселенческих русских говорах на территории молодых стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии. Значительный пласт лексики псковского происхождения был нами

<sup>1</sup> В СЯП находим: *дира́вый* см. *дыря́вый* без каких-либо комментариев [СЯП, I, 2000: 762].

с Л. Л. Касаткиным обнаружен в говорах старообрядцев, живущих ныне в Ставропольском крае (так называемых *некрасовцев*), Румынии (так называемых *липован*) и в США, в штате Орегон (так называемых *турчан*)<sup>2</sup>.

Поэтому в поисках соответствий пушкинским примерам в ряде случаев мы будем обращаться к расшифровкам наших магнитофонных записей этих говоров.

Некоторые из используемых Пушкиным диалектных слов понятны и без перевода, поскольку их отличия от литературных соответствий ограничиваются либо словообразовательными моделями, либо какими-то фонетическими особенностями, либо широко известны из городского просторечия.

Можно привести следующие примеры:

*бáять* — ‘говорить’ (*Свет о белке правду баёт...* — Сказка о царе Салтане; *Стала пухнуть прекрасная Елена, стали бáить: Елена брюхата* — Песни западных славян). В ПОС: *Много бáють про нéбу, да никто там не бывал; Бáишь, бáишь ему, а он все свое дéлает;*

*брюхáтая* — ‘беременная’ (*матушка была еще мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом* — Капитанская дочка; *Мать брюхатая сидела, Да на снег лишь и глядела* — Сказка о мертвой царевне; *он Вислою отправился в Торн, где императрица, в то время брюхатая на седьмом месяце, располагалась родить* — Записки Моро де-Бразе, а также во многих других произведениях и в письмах). Этот диалектизм отмечен также в АОС (*Я Васькой была брюхáта*) и ПОС (*Мядвётъ ня любíл баб брюхáтых*). При этом лексема *брюхатая* странным образом отсутствует в СРНГ;

*вечóр* — ‘вчера вечером’ *Вечор уж как боялась я! Да слава богу, ты здорова! Тоски ночной и следу нет!* Евг. Онегин. *И, кажется, вечор еще бродил я в этих роцах; Вечор узнал я о твоём горе и получил твои два письма* (из писем). Отмечено в АОС (например, *Вечор плясала, тиво пить ходила, вот ы болят нóги-то*) и ПОС (например, *Вичóр на сýпрятку хадíли, а сивднѣ спать б́удим*). В Словаре русских народных говоров очерчен ареал бытования этого диалектизма: Вятская, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Владимирская, Ярославская, Нижегородская, Пермская области, а также Урал и Тобольск. В СРНГ в этом же значении отмечена лексема *вечерóсь*: *Вечерóсь спать ложимся, да он и пришел;*

*дичíна* — ‘дичь’ (*И пошел на край долины У моря искать дичíны*, Сказка о царе Салтане) — отмечено в ПОС (*А што ш, анá дичíна извёсна, паливáя птíца*) и АОС (*Отéц бил фсáко дичíну*);

*жíло* ‘жилъе’ (*Ну, слава богу, жíло недалеко; сворачивай в право, да поезжай* — Капитанская дочка; *я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жíила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения мятели* — там же) — отмечено в ПОС (*Малина растет в зáрастях и на балатáх, а у нас бáльшóе жíила, нéгде растí*);

<sup>2</sup> Выявление целых пластов псковской лексики в речи липован и турчан дало нам основание обнаружить предполагаемое место первоначального исхода предков этих мигрантов — псковские земли [Касаткин, Касаткина 2003].

*исподти́ха* — ‘украдкой, исподтишка’ (*Усмехнувшись исподти́ха, Говорит царю ткачиха...* — Сказка о мертвой царевне...) — согласно СРНГ, отмечено в Архангельской, Вологодской, Кировской областях;

*кли́кать* — ‘звать’ (*Без шапки вдруг она являлась И кли́кала: «сюда, сюда!» И все бросались к ней толпою* — Руслан и Людмила; *Стал он кли́кать золотую рыбку...* — Сказка о рыбаке и рыбке; *Старуха, стоя на крыльце с корытом, кли́кала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем* — Капитанская дочка). В словарях МАС, [Ожегов, Шведова 2001] этот глагол представлен, но с пометой *прост.* (просторечное). В СРНГ и СРГК для глагола кликать не отмечено значение ‘звать’, по-видимому, на том основании, что это значение представлено в толковых словарях кодифицированного языка. Том Псковского областного словаря, включающий это слово, из печати еще не вышел. Из говора липован: *Поехала она ув Италию, и покли́кала сына одного женатого и дочь;*

*мы́ший* — ‘мышинный’ (*жизни мы́шья беготня...*) — согласно СРНГ, отмечено в Новгородской и Пермской областях (*Посмотри-ка, Федька, ты видал мы́ший огонь?* — о светящейся в темноте гнилушке);

*осержа́ться* — ‘рассердиться’ (*тут медведиха осержа́лася*) согласно СРНГ, отмечено в Карелии и в Архангельской обл.;

*пасть* — ‘упасть’ (*И она под образа́ Головой на лавку па́ла* — Сказка о мертвой царевне...; *И в то же время С колесницы пал Додон* — Сказка о золотом петушке) — в СРНГ отмечено для Архангельской, Новгородской и Вологодской областей, а также на территории Карелии (*Нога у меня подверну́лась, я па́ла; Па́ла звезда, вниз-вниз полетела*);

*оголе́лый* — ‘обнищавший, опустившийся’ (*...Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголелому!* — Капитанская дочка) — по СРНГ, отмечено на Псковщине (но также и в южнорусских говорах — в Смоленской и Тамбовской областях);

*пошепту* — ‘шепотом’ (*Что? Каков? Произнес пошепту голос, от которого я вздрóгнул* — Капитанская дочка). Согласно СРНГ, отмечено только в Саратовской области.

Некоторые областные слова в пушкинских текстах омонимичны литературным, и для их правильного понимания необходимо обращаться к диалектным словарям, например,

*запеча́литься* — у Пушкина: *В ту пору медведь запеча́лился, голову пове́сил, голосом завыл* (Сказка о медведихе). Здесь *запеча́литься* значит ‘затосковать’. То же в СРНГ: ‘забеспокоиться, затосковать’ *Она уж запеча́лилась, что мужик долго не едет с рыбалки.* То же — в ПОС: ‘опечалиться, заплакать’: *Сейчас сидит запеча́лившись: не оставили в Ленинграде.* В говоре оregonских турчан: *она запеча́лилась и с досады умерла.*

В толковых словарях литературного языка глагол *запеча́литься* дается со значением ‘загрустить’, ‘начать печалиться’, т. е. выражает менее сильную эмоцию.

*лезть* — у Пушкина: *Глядь — с востока лезет рать* (Сказка о золотом петушке). Предположительно, здесь *лезть* нужно переводить как ‘двигаться’, ‘входить’, ‘идти’. Еще более отчетливо значение ‘идти’ выявляется в следующих

строках: *В деревне я писал презренную прозу, а вдохновение не лезет; ...покаместь я один одишепенек... слушаю старые сказки да песни. Стихи не лезут* (из писем). В СРНГ отмечено (из псковских говоров) 'входить куда-либо', например: *Пожалуй, лезь, милости просим в нашу хату; Они лезут в дом к свахе*. В говоре орегонских турчан: *как улéзешь у китáйскую магазину, там всего-все-го наку́пишь*; в говоре румынских липован: *Я раз у трамва́й улéзла, и он улéз*.

В толковых словарях литературного языка *лезть* — 'проникать куда-то с силой или тайком,' разг. [Ожегов, Шведова 2001], 'Настойчиво продвигаться куда-либо, проникать, не считаясь с запретами' (МАС). Пример — из Пушкина, все тот же, из «Сказки о золотом петушке»: *вот с востока лезет рать*. Все эти толкования отличаются от диалектного значения глагола *лезть*.

*Дыра́* — 'задний проход, ягодицы' (*Я же грешную дыру́ Не балую детской модой И Хвостова жесткой одой, Хоть и морищуся, да тру*). На использование этого диалектизма Пушкиным указала Н. В. Попова [Попова 2000: 111]. Только два диалектных словаря, а именно ПОС и СРГК отмечают такое же, как и у Пушкина, значение слова *дыра*: *Ана́ к нам в дом взята го́лая — ей дыру́ прикрýть бы́ла не́чим* (ПОС). *Нахлестала ее по ды́ры, дак ревела; Вам эти штаны малы на вашу-то ды́ру* (СРГК). СЯП воздерживается от толкования «неприличного» слова и пуритански отмечает: «в эвфемистич. употр.» [СЯП, I: 762]. На самом деле это не эвфемизм, а диалектизм северо-западного ареала. В качестве эвфемизма для обозначения той же реалии А. С. Пушкин употребляет заимствование из греческого *афедрон* (*Афедрон ты жирный свой Подтираешь коленкором...*).

*Пого́да* — 'ненастная, ветреная погода' (*Брожу над морем, Жду погоды, Маню ветрила кораблей...* И еще более явственно диалектное значение этого слова в строках из «Медного всадника»: *Погода туще свирепела, Нева вздучалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь*. Или *В ночь погода зашумела, Взволновалась река...*). Такое значение этого слова в наше время известно только диалектам — в современном литературном языке ему соответствует «непогода».

*Ради* — в значении 'из-за, по причине чего-н.' (*Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради* — Капитанская дочка. *Ради скуки Кушай яблочко, мой свет — Благодарствуй за обед* — Сказка о мертвой царевне...). В СРНГ также приводится такое значение предлога *ради*, ср. примеры: *Ради этой корове выдержали голод; Вскорости промысел [нефтяной] у нас в поселке порешили, ради рыбы порешили*. Оба примера записаны на Урале. В говоре румынских липован нами отмечены следующие случаи употребления этого предлога: *Выгнули (= 'выгнали') его с работы ради пьянства; Умирали ради работы, ради харчей* (о заключенных в лагере).

*Вон* — в псковском говоре употребительно плеонастическое использование наречия *вон* — 'наружу', на что наше внимание обратила О. Г. Ровнова. Она обнаружила это в говоре старообрядцев Причудья, псковичей по происхождению. Примеры: *С обеих крыш навевет снег — из дома вон не выйти; Нам было стыдно вон выйти; Лед вычерпают руками вон; Вымечем зóлу всю вон, и садим хлебы прямо на под*.

Материалы диалектных словарей подтверждают это наблюдение. ПОС — *Лес у нас вяликий, просто ня въикараца вон. Калóтиш гвозди в стену, ая́ть вон тягать надо.* АОС — *Вон-то выхожу, уж закрывают. Вон-то не броса́йте, вы ведь там не ро́ете. Йо́го отпусти́ли, а осколок пошо́л вон — не на се́рце.*

Примеры из Пушкина: «*Что я? Царь или дитя? — Говорит он не шутя: — Нынче ж еду*» — *Тут он топнул, Вышел вон и дверью хлопнул* — Сказка о царе Салтане. *Я бросился вон из комнаты; Женщины не могли более вытерпеть голода: они стали проситься вон из крепости* — Капитанская дочка. *Потом к супругу обратила усталый взгляд; Скользнула вон* — Евг. Онегин. Во всех этих случаях *вон* — наречие со значением 'наружу, прочь'.

Современные толковые словари — [БАС; МАС; Ожегов, Шведова 2001] в качестве кодифицированного приводят только приимперативное *вон* (*пошел вон, убирайся вон* и т. п.), где *вон* — частица (согласно МАС — междометие); в то время как *вон* — наречие все упомянутые словари относят к сфере разговорного языка.

Приведенные примеры, так же как и многие другие, убеждают в том, что Пушкин очень хорошо знал псковский народный говор и умело черпал из его лексических «закромов». Как справедливо заметила Н. В. Попова, Пушкин умел «более всех, далее (всех) раздвинуть границы языка и показать все его пространство» [Попова 2000: 112]. В пушкинскую эпоху границы между «языком образованного общества», т. е. литературным, с одной стороны, и «языком простонародья» (просторечием и региональными диалектами), с другой стороны, были менее резко очерченными, чем в наше время. Другим, а именно более толерантным, было и отношение общества к народному языку. Это положение было теоретически осмыслено уже позднее, в послепушкинскую эпоху. Пушкин же задолго до появления апологетических по отношению к народной речи работ (см., например, [Срезневский 1851; 1899]) и выхода в свет «Опыта областного великорусского словаря» (1852) и «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля (1863—1866), непринужденно использовал богатство родного языка, не ограничиваясь лишь той скромной его частью, что составляла фонд «языка образованных людей».

Однако едва ли можно разделить мнение о том, что Пушкин и его современники говорили на «полудиалекте» (Halbdialekt). В качестве контраргументов можно привести следующие: 1) в словниках других поэтов того времени «народная» лексика составляет несравненно меньшую долю; 2) как правило, диалектизмы у Пушкина имеют жанрово-стилистическую прикрепленность, как уже было показано выше. Прекрасным примером «переключения кодов» служит использование Пушкиным элементов народной речи в «Барышне-крестьянке». Лиза Муромская, переодевшись в крестьянское платье, в полном соответствии с новой ролью меняет и свою речь. Лиза-Акулина выражается так: «*Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и ба́ишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему*». «*Ты был, барин, вечор у наших господ?*» В этих репликах, кроме диалектной лексики, умело обыграно Пушкиным использование частицы *-то*, повторы которой служат ритми-

зации речи, как это часто наблюдается в диалектном дискурсе (см., например, [Касаткина 2004]). И только слово *собака*, как будет показано дальше, скорее не из крестьянского, а из господского лексикона.

Чтобы показать, что знание псковского говора было у Пушкина далеко не поверхностным, остановимся на двух диалектных чертах, не столь явно выраженных, как приведенные выше, а, можно сказать, «сокровенных».

1. В ряде русских говоров, в том числе и в северо-западных, родовыми для названий домашних животных, являются слова *баран*, *кот*, *пес*<sup>3</sup>, а не *овца*, *кошка*, *собака*, как в литературном языке. В произведениях Пушкина находим множество примеров диалектного употребления этих номинаций.

*Баран* — *Граф Самойлов и В. ... пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая на двое барана...* — Путешествие в Арзрум. Согласно СЯП, слово *баран* употреблено в текстах Пушкина 5 раз, *овца* — 3. Примеры из ПОС: *я баранов в пуне заперла*. Из записей румынских липован: *У ей мужтурок держит коров, баранов, да чтобы поросенок даже и не смердел. Коровы у нас были, баранки*.

*Кот* — *И слушала мяуканье котов По чердакам, свиданий знак нескромный (Домик в Коломне)*; слово *кот* употреблено Пушкиным 17 раз, *кошка* — 12.

*Пес* — *И с царевной на крыльцо Пес бежит, и ей в лицо Жалко смотрит, грозно воет Словно сердце песье ноет* (Сказка о мертвой царевне...); *На другие сутки в ту же пору пес залаял, дверь открылась, И вошел человек незнакомый* (Песни западных славян). Всего у Пушкина 26 употреблений лексемы *пес* и производных от нее; преобладают они как раз в произведениях определенных жанров — в сказках и балладах.

*Мертвец* — *покойник*. В говоре румынских липован в этой синонимической паре предпочтение отдается первому слову. Ср. такой отрывок текста, записанного нами в 2003 г. в липованском квартале г. Браила: *Ну што, жалеешь, што за мертвецом не поспела? За всеми мертвецами бегаешь!* Этот отрывок странного диалога объясняется следующим образом: дочь упрекает свою мать в том, что та старается не пропустить ни одного прощания с умершими односельчанами. Другие примеры из говора липован: *Когда обмывают, тогда брать мертвеца и ложить его в гроб; Зде се усех мертвецов носят одними носилками*. Из говора орегонских турчан: *Она по мертвецам хорошо читает*.

В пушкинских текстах, особенно стилизованных под народные, статистически преобладает также слово *мертвец* — 42 словоупотребления, в то время как слово *покойник* употреблено 37 раз. Ср., например: *Там глубокую вырыли могилу, И с молитвой мертвеца схоронили* — Песни западных славян; *Нет! Полно: я не хочу делиться с мертвецом Любовницей, ему принадлежащей* —

<sup>3</sup> В говорах северо-западной зоны и словообразовательные гнезда группируются в основном вокруг этих лексем. Ср., например: *баран* — *баранка* (овечка) — *баранёнок*, *боранёнок*, *боранёшко* (ягнёнок) — *баранина* (мясо овцы, сало овцы, овечья шкура) — *овчина* — АОС и ПОС; *кот-котка* (кошка), *котиный* (кошачий) — СРНГ, *котячий* (кошачий) — СРГК; *пёс* — *псийшко* — *пёсий* — СРНГ.



Борис Годунов. В следующем отрывке из «Гробовщика» слово *мертвец* выглядит как полный синоним к слову *покойник*, составляя пару к существительному женского рода *покойница*: *Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми...* То же в «Истории села Горюхина»: *В самый день смерти покойника относили на кладбище, дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу.* И в этом также, по-видимому, можно усмотреть диалектное влияние.

В современном русском литературном языке «...слово **покойник** отличается от своего ближайшего синонима **мертвец** тем, что описывает состояние ‘не живой’ как результат перехода в него: **покойник** — это тот, кто умер. Между тем в значении слова **мертвец** имеется только указание на само состояние ‘не живой’: **мертвец** — это тот, кто мертв» [Апресян и др. 1997: 255]. Таким образом, слово **мертвец** связано с идеей отчуждения от мира живых, слово **покойник** — еще связывает усопшего с этим миром.

Немаловажно и то, что «в значение слов **покойник**, **усопший**, **почивший**... входит указание на специальный ритуал, связанный с умершим человеком... **Мертвеца** и **мертвого** нельзя ни отпевать, ни провожать в последний путь» [Там же]. Судя по примерам из Пушкина, в его словоупотреблении эти два синонима семантически не были столь далеко разведены.

Данные же о диалектном употреблении двух рассматриваемых синонимов нельзя извлечь из словарей — слова эти там отсутствуют, поскольку большинство современных региональных словарей создано по дифференциальному принципу. Поэтому для выявления семантики слова *мертвец* в диалектной речи в нашем распоряжении имелись только магнитофонные записи речи липован и турчан, поскольку в разговорах с ними обсуждалась соответствующая тематика. Примеры из этих записей приведены выше. Как явствует из них, *мертвецов* можно и отпевать, и читать по ним заупокойные молитвы, и провожать в последний путь. Слово *покойник*, возникшее как эвфемизм, появившийся в позднейшем культурном развитии общества и связанный с определенным христианским ритуалом, диалектом липован еще не освоено. Согласно устному сообщению С. М. Толстой, так обстоит дело и в ряде других русских говоров. Возможно, такая семантика слова *мертвец* в диалектах продолжает сохранять его дохристианские коннотации. Совпадение этих коннотаций с теми, что обнаруживаются в языке Пушкина, кажутся не случайными.

Кроме лексических диалектизмов, Пушкин в своих произведениях использовал и некоторые грамматические диалектные формы, и особенности диалектной акцентуации, и фонетики.

**Грамматические формы.** Грамматические формы, встречающиеся в языке Пушкина и обычно рассматриваемые как архаизмы, нередко имеют определенные диалектные соответствия в ареале северных и северо-западных говоров, а также в говорах румынских липован и орегонских турчан. Например, у Пушкина: *Но живет без всякой славы, Среди зеленыя дубравы, У се-*

ми богатырей, Та, что все ж тебя милей! И: ...жало **мудрыя змей** / В уста замершие мои... Из сопоставления двух пушкинских строф, относящихся к разным жанрам, видно, что интересующая нас грамматическая форма здесь несет прямо противоположные стилистические нагрузки — низкого (или простонародного) стиля в первом случае и высокого стиля во втором. В первом случае мы имеем дело с диалектизмом, а во втором — с архаизмом. Подтверждением этому наблюдению служит существование форм прилагательных женского рода в род. п. ед. ч. с окончанием *-ья (-ия)* в современных народных говорах. По данным лингвистической географии, такая форма прилагательного существует в говорах севера и северо-запада России, а точнее на севере Вологодской области, что можно видеть на карте № 42 2-го выпуска Диалектологического атласа русского языка [ДАРЯ 1989]. Несколько примеров с использованием такой же формы прилагательных мы записали также в речи румынских липован: **Поклѡньшия головы́ меч не секѡть. Мне никакія пользы, если я сбрѡшу. У менѣ память замрачѡлася с такія бедѣ. У четвьѣрх прѣзньник был — секновѣние честныя главѣ. Мы усе мѡлимси, мѡлимси, без никакія пользы. Никакія нема подготѡвки у нас.**

Использование архаической формы творительного падежа с окончанием *-ы (-и)* в текстах Пушкина, например, *с дубовыми тесовыми воробѣты*, коррелирует с данными говора румынских липован, где были отмечены следующие словосочетания: *с такими пѣрни, с теми женихи́*. В речи орегонских турчан отмечено *с маленькими дѣткы*.

Синтаксические обороты модели *А царица хохотать...* и *Прыгнула в сени, прямо на крыльцо, И ну бежать, закрыв себе лицо* нередко используемые Пушкиным, типичны для северо-западной диалектной зоны и также могут быть интерпретированы в рамках псковского субстрата. В записи речи одного из казаков-некрасовцев, вернувшихся в Россию в 1962 г., были отмечены следующие обороты с формой инфинитива в роли сказуемого: *потѡм он помирѡть; трѣтий (тоже) помирѡть; он еще жив, он еще здоров, он еще быть*. Эта запись, сделанная в 1964 г. Л. Л. Касаткиным, включена в антологию русских говоров со звучащим приложением [Русские народные говоры 1999: 177]. Отмечены подобные формы и в речи липован, например: *А рука давай нарывать*.

**Ударения.** В области именного словоизменения можно привести следующие примеры<sup>4</sup>. Варьирование ударения в вин. п. ед. ч. слова *земля* — *зѣмлю* и *землю́* может быть объяснено противопоставлением литературной формы форме диалектной. Сравним отрывки из двух пушкинских текстов, относящихся к разным жанрам: *Уж перестал Феб зѣмлю освещать, Со всех сторон уж тени налетают* и *Грѣнулася медведиха о сырѣ землю́*. Диалектная форма *землю́* противопоставлена литературной *зѣмлю* в полном соответствии с отнесенностью двух пушкинских текстов к разным жанрам.

<sup>4</sup> Подробно о колебаниях в месте ударения в вин. п. ед. ч. у определенных существительных 1-го скл. с подвижной акцентной парадигмой (таких, как *вода, грядда, зима, земля, изба, коса, рука* и т. п.) в поэзии XIX в. см. [Воронцова 1979].

Представляется вероятным, что таким же образом могут соотноситься и другие акцентные варианты, например, *зіму* — *зимү* (диал.) Оба варианта представлены в «Евгении Онегине»: *Сердись иль пей, и вечер длинный Кой-как пройдет, а завтра то ж, И славно зіму проведешь*. В другой главе используется диалектное ударение — *зимү* — *Татьяна (русская душою, Сама не зная, почему) С ее холодною красою Любила русскую зимү*.

Из того же ряда — пушкинская акцентуация в *ізбу*, которое в современных словарях приводится как равноправное с *избу́*. Однако первое ударение — диалектное. Поскольку в произношении многих наших современников беспредложная форма *избу́* отличается местом ударения от сочетания существительного с предлогом в *ізбу*, нами был проведен небольшой опрос по поводу акцентуации этих форм. Были получены следующие результаты: из 40 опрошенных 11 по-разному акцентировали формы *вижу избу́* и *вошел в ізбу*; у остальных 29 информантов обе формы имели ударение на одном и том же слоге, преимущественно *ізбу*. Поэтому можно высказать предположение, что Пушкин **ввел** диалектную форму в *ізбу* в литературный язык, и многие носители литературного произношения усвоили именно ее как клише, оставив без изменения беспредложную форму *избу́*.

В области глагольной акцентуации можно вспомнить рассуждения некоторых акцентологов по поводу того, насколько свойственны языку Пушкина случаи флективного ударения в формах прошедшего времени ед. ч. среднего рода глаголов *дать*, *звать*, *замереть*: *дало́*, *звало́*, *замерло́* и т. п., например: *Надменное ветрило Его звало́ к брегам чужой земли*. По поводу этого текста с ударением, необычным для Пушкина, высказывалось даже сомнение в его принадлежности поэту, а в строках *Дыханье замерло́ в устах, И в слухе шум, и блеск в очах* предлагалось читать *замерло* — с ударением на первом слоге<sup>5</sup>. Между тем такая акцентуация как раз может быть вызвана влиянием псковского диалекта, так же как и в формах *идут*, *придут*, *прыгнёт*, *отпрыгнёт* и др.

**Фонетика.** О том, что у Пушкина имеются и некоторые фонетические диалектизмы, заметил еще В. И. Чернышев в работе, опубликованной в 1914 г. Характерной чертой говоров севера и северо-запада является произношение твердых губных в соответствии с мягкими на конце слова: *вбсе*[м], *голу*[п], *кро*[ф], *впря*[м], *се*[м] и т. п. Чернышев отмечает: «...в народном языке весьма распространено отвердение мягких конечных губных в конце слов, т. е. произношение: *впря́мь*, *вкри́фь*, *любо́фь* и проч. Такие произношения были не чужды и нашим поэтам, преимущественно прежнего времени; эта особенность их речи видна из того, что они рифмовали орфографические мягкие согласные с твердыми. Например, у Пушкина находим рифму: *вручивь* — *вкривь*<sup>6</sup>, где последнее слово приходится читать: *вкри́фь*. Сравните у

<sup>5</sup> См. С. Ф. Молчанова. Ударение подвижного типа в формах прошедшего времени глаголов // Уч. зап. Ярославского гос. пед. ин-та. 1958.

<sup>6</sup> *И верный посох мне вручивь, Не дай блуждать и вкось и вкривь* (Евгений Онегин).

него же написание *впрямь* (Евгений Онегин, гл. 1, изд. 1825 г., стр. XVI)» [Чернышев 1914: 86]. Пушкинское время — время точных рифм, поэтому сомневаться в возможности произношения Пушкиным твердых конечных губных в данных случаях не приходится. Понятно, что при этом рифмы *любовь — кровь, любовь — вновь* никак не проясняют положения — оба члена рифмы могли произноситься как с твердыми губными, так и с мягкими.

Еще больше примеров пушкинских рифм с твердыми конечными губными приводит Р. Кошутич, например, из кантаты «Леда»: *на ложе из цветов — юная любовь*; «14-й год»: *любовь — бремя тягостных оков*; «Фавн и пастушка»: *темный кров — любовь*; «Опытность»: *правых слов — прости любовь*; «Послание к кн. А. М. Горчакову»: *счастливая любовь — от богов* [Кошутич 1919: 453].

Впрочем, рифмы с твердыми конечными губными имеются и у других поэтов того времени: Жуковского (*любовь — слов*), Батюшкова (*праотцов — любовь*), Крылова (*к друзьям — впрямь*). Все эти поэты — петербуржцы. Рассматриваемая фонетическая черта, присущая севернорусским говорам, до сих пор характеризует и петербургское произношение, так что возможно, что это наследие старой орфоэпической особенности, сохранившаяся «от Пушкина до наших дней». Но у Пушкина эта черта входит в круг других диалектизмов северного ареала.

В современных псковских говорах /a/ в позиции между мягкими согласными в единичных случаях реализуется в [e]: *опётъ, грезь, прёник, запрёчь, впречь, отпречь* [ДАРЯ 1986: карта 43]. Однако для формы *запрёчь* ‘запрячь’ в ПОС приведено много примеров, вот два из них: *Чтоб запрёчь телегу, надо упряжь и всю жизнь отработала на физическом труде, нужно столько силы, чтобы запречь себя в это ярмо*. Поэтому пушкинское *запрёчь* (*Кобылку бурую запречь...*) — из того же диалектного источника, что и другие псковизмы.

Вначале было подчеркнута, что все, написанное Пушкиным, мы принимаем как некий образец, как норму. И нередко попадаем в ловушку пушкинской игры со словом, когда он вплетает в свою словесную ткань то архаизмы, то элементы просторечия, то заимствования из других языков, то диалектизмы. Некоторые из использованных Пушкиным диалектизмов вошли в современный литературный язык, например акцентное оформление формы *в избѹ*. Другие так и остались за пределами нормы, хотя и были включены в ортологические словари. Примером такого диалектизма является форма *запречь*.

Так, словарь Д. Н. Ушакова, БАС, МАС, Краткий словарь трудностей... Н. А. Еськовой дают наряду с формой *запрячь* также и форму *запрёчь*, хотя и с пометой *устар.* При этом однокоренные глаголы *впрячь, отпрячь* во всех современных словарях приводятся как безвариантные. Причина, несомненно, в том, что диалектная форма *запрёчь* у Пушкина есть, а формы *\*впречь, \*отпречь*, также представленные в псковских говорах, в текстах Пушкина отсутствуют (вспомним, например, *В одну телегу впрячь невозможно Коня и трепетную лань...* и *Он предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку* — Путешествие в Арзрум). Глагол *отпрячь* в пушкинских текстах не

отмечен вовсе. Заметим, что в словаре Радована Кошутича [Кошутич 1910], приводится только форма *запрячь*, а форма *запречь*, как ей и полагается, сопровождается пометой *(в областном наречии запречь)*.

\* \* \*

Как пишет Л. Л. Касаткин, в 30-е гг. XX в. отношение к диалектам, как и к их носителям — крестьянам — изменилось. Кончился золотой век оценки народного языка как «сокровищницы для развития образованной русской речи» [Даль 1935: II]. В соответствии с новой языковой политикой «провозглашалось... быстрое отмирание диалектов русского языка» [Касаткин 1999: 36]. Диалекты попали в категорию «пережитков прошлого». Они стали именоваться «...пережиточной категорией, отклонением от литературного языка, его извращением. Диалектизмы в речи носителей литературного языка назывались ошибками. Им объявлялась беспощадная война» [Там же: 38].

Негативное отношение властей, а вслед за ними и общества, к народной речи, к сожалению, разделяли и некоторые лингвисты того времени. Представляется, что этим же чувством было пронизано и отношение целого ряда исследователей творчества Пушкина к диалектизмам в его языке. Их девиз: «наш» Пушкин («житийный» Пушкин!) не мог изъясняться на простонародном языке. Шлейф этого отношения тянется и до сих пор...

В заключение заметим, что в большинстве случаев введенные Пушкиным диалектизмы так ими и остались, характеризуя стилизацию определенных текстов под народную речь. В отдельных случаях, впрочем, авторы современных словарей придали пушкинским диалектизмам статус вариантов, допустимых в литературном языке (например, *вечор*, *запречь*, *мьшиий*, *пóшепту*, *в íзбу*). Однако значительное количество диалектных слов и грамматических форм действительно введено Пушкиным в литературный язык — но это уже тема другого исследования.

## Л и т е р а т у р а

АОС — Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1—11. М., 1980—2001.

Апресян и др. 1997 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон, М. Я. Гловинская, Т. А. Крылова. Вып. 1. М., 1997.

БАС — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1950—1965.

Воронцова 1979 — В. Л. Воронцова. Русское литературное ударение XVIII—XX вв. Формы словоизменения. М., 1979.

Даль 1935 — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1935. Т. 1.

- ДАРЯ 1986 — Диалектологический атлас русского языка. Вып. 1. Фонетика / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1986.
- ДАРЯ 1989 — Диалектологический атлас русского языка. Вып. 2. Морфология / Под ред. С. В. Бромлей. М., 1989.
- Еськова 1994 — Н. А. Еськова. Краткий словарь трудностей: грамматические формы, ударение. М., 1994.
- Касаткин 1999 — Л. Л. Касаткин. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.
- Касаткин, Касаткина 2003 — Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина. Прародина оregonских старообрядцев-«турчан» по данным их говоров // Материалы XIII Международного съезда славистов. М., 2003.
- Касаткина 2004 — Р. Ф. Касаткина. Калейдоскоп частиц в русских народных говорах // Сборник в честь Т. М. Николаевой. М., 2005 (в печати).
- Кошутич 1910 — Р. Кошутич. Примери книжевнога језика руског. 3. Речник. Београд, 1910.
- Кошутич 1919 — Р. Кошутич. Граматика руског језика. 1. Гласови. Петроград, 1919.
- МАС — Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд. М., 1985—1988.
- Ожегов, Шведова 2001 — С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 2001.
- Пеньковский 2003 — А. Б. Пеньковский. Нина: Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003.
- Пеньковский 2004 — А. Б. Пеньковский. Очерки по русской семантике. М., 2004.
- Попова 2000 — Н. В. Попова. Современное восприятие некоторых малоупотребительных или устарелых слов из поэтического словаря А. С. Пушкина // Русский язык от Пушкина до наших дней: Доклады Международной конференции 19—22 апреля 1999 г. Псков, 2000.
- ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1—13. Л.; СПб., 1967—2003.
- Русские народные говоры 1999 — Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южнорусское наречие / Под ред. Р. Ф. Касаткиной. М., 1999.
- СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Под ред. А. С. Гердта. Вып. 1—5. СПб., 1994—2002.
- Срезневский 1851 — И. И. Срезневский. Замечания о материалах для географии русского языка // Вестн. имп. рус. географ. общ-ва. 1851. Ч. 1. Кн. 1. Отд. 5.
- Срезневский 1899 — И. И. Срезневский. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте. СПб., 1899.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Т. 1—36. Л.; СПб., 1965—2002.
- СЯП — Словарь языка Пушкина. Т. 1—4 / Отв. ред. В. В. Виноградов. 2-е изд., доп. М., 2000.
- Чернышев 1914 — В. И. Чернышев. Правильность и чистота русской речи. Опыт русской стилистической грамматики. Вып. 1: Фонетика. СПб., 1914.

О. Ю. КРЮЧКОВА

## ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ РЕДУПЛИКАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В современном русском литературном языке, прежде всего в его разговорной разновидности, функционирует немало удвоенных образований, компонентами которых являются целые слова, обладающие звуковой и/или смысловой общностью (*далеко-далеко, всего-навсего, синий-синий, ходишь-ходишь, худо-бедно* и др.). Подобные удвоения (лексические редупликаты) не имеют в лингвистике четкой интерпретации. Неоднозначно решаемыми оказываются следующие вопросы: к какому классу единиц — к единицам лексики или синтаксиса — должны быть отнесены такие образования? если это не синтаксические единицы, то слова или словоформы, а следовательно, выразители грамматических или словообразовательных значений? если слова, то какие — составные, сложные или производные? воспроизводимыми или производимыми единицами являются словные удвоения? насколько продуктивным является образование удвоений в разных категориально-грамматических классах? Нерешенность этих вопросов затрудняет анализ словных удвоений. Вместе с тем образования названного типа достаточно активны в современной русской речи и заслуживают внимания как в теоретическом, так и в прикладном аспектах.

Рассмотрим сначала оппозицию «слова — синтаксические конструкции» (I), затем оппозицию «слова — словоформы» (II) и, наконец, вопросы о продуктивности и воспроизводимости/производимости словных удвоений (III).

I. Словные удвоения, с одной стороны, характеризуются отсутствием цельнооформленности, они не обладают обязательным свойством неразрывности, так как внутрь иногда могут быть вставлены другие слова, например: *ходишь и ходишь, ждешь да ждешь*. С другой стороны, такие единицы представляют собой единое смысловое целое, они имеют, как правило, одно основное ударение, отличаются от синтаксических единиц закрепленным местоположением компонентов и отсутствием между ними синтаксических отношений. Ориентация на те или иные признаки побуждает языковедов относить такие словные удвоения либо к синтаксическим повторам (наряду с другими конструкциями, основанными на повторяемости языковых единиц, — Л. Н. Морев, Б. Волек, А. Вежицкая), либо к сложным словам (Н. М. Шан-

ский, О. С. Ахманова, В. А. Плунгян). Есть и компромиссный вариант: признание за подобного рода удвоенными конструкциями статуса своеобразных пограничных синтактико-словообразовательных единиц (Е. В. Красильникова).

В условиях не вполне прозрачной природы смежных языковых явлений весьма существенными становятся системные показатели (в частности, учет общей картины соответствующих языковых парадигм), поскольку круг единиц, относимых к слову (того или иного типа) и не к слову, как уже неоднократно отмечали лингвисты (Л. В. Щерба, Л. Блумфилд, Д. Н. Шмелев и др.), в принципе всегда определяется системными особенностями конкретных языков. При таком подходе языковая сущность «проблемных» удвоений наиболее объективно может быть определена в рамках общей для данного языка системы внутрисловных и межсловных удвоений.

В русском языке система удвоения (повторяемости языковых единиц) может быть показана в виде своего рода цепи градуальных переходов — от словных структур к структурам синтаксическим: слоговые и морфемные удвоения, в том числе и удвоения синонимических аффиксов (*ма-ма, ку-ку, полян-оч-к-а* (-к + -к), диал. *жерд-ин-ин-а*, разг. *по-при-забыть*) — словные удвоения, компоненты которых имеют общность в плане выражения (*большой-большой, крепко-накрепко, ждешь-пождешь*) — словные удвоения, связанные только с планом содержания, или синонимические удвоения (*путь-дорога, друзья-товарищи*) — «сближения суммарной семантики», или «конструкции двандва» (*леса-луга, сеялки-веялки*)<sup>1</sup>, и тавтологические конструкции фразеологического характера (*диво дивное, криком кричать*) — лексический повтор (*Зимы ждала, ждала природа*). Если повторы типа *Зимы ждала, ждала природа* (ср. *очень ждала, долго ждала, ждала с нетерпением*) определить как собственно синтаксические, то можно будет сказать, что в показанной цепи выделяются три основные зоны качественно разных удвоений: фонетико-морфемные ← словные → синтаксические. Самая большая сущностная неоднородность наблюдается в зоне словных удвоений. Одни из них тяготеют к морфемным, другие — к синтаксическим (это показано стрелками).

Образования типа *большой-большой, крепко-накрепко* выступают, на наш взгляд, как предельный случай внутрисловной повторяемости. Они могут быть определены как слова, существующие в слитно-раздельной форме. Они тяготеют к удвоениям морфемного типа, хотя, на первый взгляд, это утверждение в силу «технических» причин (наглядного «соположения» двух слов) может показаться и необоснованным. И все-таки такого рода структуры занимают крайнюю позицию в ряду внутрисловных повторов. Словные удвоения типа *большой-большой* могут быть интерпретированы

<sup>1</sup> Компоненты таких конструкций являются членами одного и того же тематического ряда; в целом же подобные конструкции синонимичны родовому обозначению, ср.: *леса-луга* — природа, *сеялки-веялки* — сельхозинвентарь, *вилки-ложки* — столовые приборы.



как разновидность сложения, при котором самостоятельные лексемы переходят на положение морфем, а результативные единицы функционируют как сложные слова. Эта точка зрения высказана Н. М. Шанским в «Очерках по русскому словообразованию»: «С помощью словосложения образуются сложные составные слова, распадающиеся не на морфемы, а на самостоятельные слова, имеющие структурно-грамматическое оформление» [Шанский 1968: 269]<sup>2</sup>.

В определенном смысле образования такого рода близки к совершенно не похожим на них образованиям типа *бой-баба*, *жар-птица*, относительно которых уже тоже трудно говорить как о составных словах. Ср. у Н. М. Шанского: «Слова типа *бой-баба*, *пай-мальчик*, *жар-птица* и др. составными сейчас не являются (они цельноформлены, и первая часть в них выступает как неизменяемая, в известной степени ослабленной (хотя технически и яркой) предстает перед нами в этих словах также и сложность». И далее: «...не будучи сложными составными словами, такие существительные... образуют в структурном отношении как бы промежуточный разряд слов, располагающийся между явно составными и слитными сложными существительными...»<sup>3</sup> [Шанский 1968: 272].

Разумеется, что слова типа *синий-синий* и *крепко-накрепко* не могут быть названы ни цельноформленными (*синий-синий шар*, но *синяя-синяя шляпа*, *синего-синего шарфа* и т. д.), ни имеющими «затемненный» (ослабленный) первый корень. Однако есть у них другие черты, приближающие их к словам «слитным» и удаляющие от слов «составных». Попробуем описать эти черты.

1. Слова типа *большой-большой*, *крепко-накрепко*, подобно простым производным словам, мотивированы соответствующими не удвоенными словами. При этом лексическое значение производящего слова, как и в типичных случаях морфологического словопроизводства, как правило, избирательно отражается в семантической структуре производного, так что в конечном счете производные слова данного типа (в отличие от свободных синтаксических сочетаний слов), как и все морфологические производные, идиоматичны относительно своего состава. Так, например, удвоенное прилагательное *большой-большой* не соотносительно с таким, например, значением слова *большой*, как 'замечательный в каком-л. отношении, выдающийся' (выражения типа *\*большой-большой писатель*, *\*большой-большой человек* по крайней мере

<sup>2</sup> Ср. аналогичное мнение, высказанное В. А. Плунонгом: «Как единые словоформы следует, по всей видимости, трактовать... такие раздельноформленные комплексы в русском языке, как *штучки-дрючки*, *шурь-мурь*, *фигли-мигли* или *темным-темно*, *пьяным-пьяно* (равно как и многие другие случаи словесной редупликации в языках мира)» [Плунонган 2000: 25].

<sup>3</sup> «Последнее объясняется тем, что связь первых частей этих сложений с соответствующими корневыми морфемами в других словах ощущается не непосредственно, а лишь после анализа (ср. *бойкая*, *паинька*, устаревш. *жар* „раскаленные угли“»)» [Шанский 1968: 272].

двусмысленны); удвоенное прилагательное *красный-красный* соотносительно лишь с одним, собственно «цветовым» значением слова *красный* и несоотносительно с целым рядом других его значений: ‘связанный с Советским строем’ (ср.: *быть на стороне красных*), ‘красивый, прекрасный’ (ср.: *красная девица*), ‘радостный, счастливый’ (ср.: *красный день*), ‘ясный, яркий, светлый’ (ср.: *лето красное*), ‘парадный, почетный’ (ср.: *красный угол*) и т. д.

2. Будучи идиоматичными в лексико-семантическом плане, образования типа *большой-большой*, *еле-еле* и подобные являются носителями регулярного словообразовательного значения, которое в очень обобщенном виде может быть определено как экспрессивно-усилительное.

3. Образования рассматриваемого типа могут быть использованы в качестве исходной единицы при аффиксальном словопроизводстве (так называемое осложненное удвоение): *большой-большой* → *большой-пребольшой*, *веселый-веселый* → *веселый-развеселый*, *крепко-крепко* → *крепко-накрепко*, *ждешь-ждешь* → *ждешь-пождешь*, *рано-рано* → *раным-ранешенько*.

4. Словные удвоения рассматриваемого типа нередко могут быть интерпретированы как структурно-семантические аналоги аффиксации. Сопоставимость словного удвоения и аффиксации отчетливо обнаруживает себя в случаях контекстной рядоположенности словных удвоений и аффиксальных образований, имеющих тождественную значимость (ср.: *Нам купили синий-синий презеленый красный шар*), и в аффиксально осложненных повторах типа *хороший-прехороший*, *крепко-накрепко*.

5. Словные удвоения могут претерпевать опрощение (ср. замечание Н. М. Шанского: «Некоторые из таких слов в настоящее время воспринимаются уже как простые: *баба, гага, фифи* „вид кулика“, *перепел* (< \**pelpelʔ*), *глагол* (< \**golgolʔ*), *прапор* (< \**porporʔ*), *колокол* (< \**kolkolʔ*) и др.» [Шанский 1968: 270]) и появляются иногда в результате своего рода опрощения свободных сочетаний слов. К опрощенным словам близки удвоенные звукоподражания и междометия, употребляемые обычно именно в удвоенной форме (*динь-динь-(динь)*, *ей-ей*, *кап-кап* и под.), которая, однако, является для них исторически вторичной, производной. В этом смысле можно сказать, что синтетический строй русского языка создает благоприятную почву для актуализации признаков слова у раздельнооформленных единиц, обладающих смысловой цельностью.

Названные признаки словных удвоений дают основание полагать, что единицы типа *большой-большой*, *крепко-накрепко* могут быть определены как слова производные, т. е. формально и семантически мотивированные соответствующими неудвоенными словами: *большой* > *большой-большой*.

Словные удвоения других типов (*друзья-товарищи*, *сеялки-веялки*, *криком кричать* и др.) отличаются от образований типа *большой-большой*. В них, несмотря на смысловую целостность, может быть изменен порядок компонентов, ср.: *вилки-ложки* и *ложки-вилки*, *диво дивное* и *дивное диво*, *есть поедом* и *поедом есть*. Кроме этого, в них просматриваются, пусть и стерты, синтаксические отношения между компонентами.

По-видимому, не будет ошибкой сказать, что мысль о градуальности словных удвоений достаточно четко была высказана уже в 60-е гг. Н. М. Шанским, впервые вышедшим на мотивированную систематическую классификацию этого рода структур. Отграничив сложные составные слова, образованные с помощью словосложения и «распадающиеся не на морфемы, а на самостоятельные слова, имеющие структурно-грамматическое оформление», от сложных слитных слов, образованных с помощью основосложения, «распадающихся уже на морфемы и обладающих единообразием» [Шанский 1968: 269], Н. М. Шанский разграничил затем и четыре группы составных слов («сближений»): 1. «удвоения, или повторы, представляющие собой „усилительную“ по значению и экспрессивную по характеру редупликацию того или иного слова (прилагательного, глагола, наречия, междометия и звукоподражания)»: *синий-синий, сидели-сидели, давно-давно, кис-кис* и под.; 2. «синонимические сближения типа *звать-величать, судьба-доля, путь-дорога...*»; 3. «парные сближения суммарной семантики типа *хлеб-соль* „угощение“, *отец-мать* „родители“...»; 4. «такие слова, синтагматические отношения в которых образуют модель „определяемое — определяющее“: *диван-кровать, кресло-кровать* и под.». Названа Н. М. Шанским и пятая группа словных удвоений типа *бой-баба*, промежуточный характер которой (между составным, слитным и простым словом) в «Очерках...» заявлен прямо.

Что касается «градирования» четырех основных групп, то оно, хоть и не акцентировано в «Очерках...», но вполне вытекает из характеристики соответствующих типов слов. Группа четвертая (*диван-кровать* и под.) по этой характеристике ближе всего к словосочетаниям (модели «определяемое — определяющее»). В ней более всего выражены синтагматические отношения, чего нет в других группах составных слов<sup>4</sup>. Группа первая (*смирный-смирный, красиво-красиво* и под.) ближе всех к слитным и простым словам: только единицам этой группы присуще регулярное (по существу, словообразовательное) значение и опрощение структуры (см. выше).

Сказанное позволяет думать, что предложенное в данной статье решение поставленного вопроса в принципиальных положениях совпадает с решениями, найденными в «Очерках...» Н. М. Шанским.

II. Обратимся теперь к вопросу о типе значений, передаваемых словными удвоениями. Нельзя сказать, что вопрос этот принадлежит к числу дискутируемых в русистике, но распространенная и устоявшаяся функциональная квалификация словных удвоений требует, на наш взгляд, уточнения. Итак, выразителями какого типа значений — грамматических или словообразовательных — являются образования типа *большой-большой*?

Русские словные удвоения (редупликация), как правило, описываются в ряду средств выражения грамматических значений слов (см., например, вузов-

<sup>4</sup> К словам этой группы, надо полагать, в первую очередь относится и признак морфологического приоритета первого («определяемого») компонента: *хороший диван-кровать, новое кресло-кровать* и т. д., см.: [Шанский 1968: 270].

ские учебники по «Введению в языкознание»), хотя какое бы то ни было подтверждение именно грамматической функции подобных образований отсутствует. Возможно, эта традиция основывается на осторожном предположении В. В. Виноградова о том, что образования типа *синий-синий*, *сидит-сидит*, *едва-едва* можно было бы рассматривать как экспрессивные или усилительные формы (выделено мною. — О. К.) слов, образованные посредством их повторения, или удвоения [Виноградов 1975: 44].

Такой подход обусловлен, по-видимому, также тем, что словные удвоения русского языка рассматриваются обычно не самостоятельно, а наряду с примерами редупликации из других языков, в которых редулицированные слова в сравнении с исходными, нередулицированными действительно могут обладать новым грамматическим значением. Ясно, что подобное «обоснование» нельзя считать удовлетворительным, тем более что словоизменительная роль редупликации не является бесспорной даже в тех случаях, когда с ее помощью могут передаваться значения, традиционно причисляемые к грамматическим. Особенно дискуссионными в этом отношении являются значения множественности и интенсивности признака, степень грамматикализации которых далеко не ясна (см., например: [Ревзин 1980: 209; Макаренко 1970: 149]). Значение множественности, передаваемое способом удвоения, часто сопровождается оттенками распределительности, разнообразия (ср.: корейск. *сарам* ‘человек’ — *сарам-сарам* ‘каждый из людей’; япон. *нэн* ‘год’ — *нэннэн* ‘каждый год’; бирм. *айа*<sup>2</sup> ‘вещь’ — *айа<sup>2</sup>йа<sup>2</sup>* ‘разные вещи’, *амьо*<sup>3</sup> ‘вид’ — *амьо<sup>3</sup>мьо<sup>3</sup>* ‘разные виды’; таг. *сина* ‘кто’ — *синосина* ‘кто и кто’), выступает как обобщенное значение количества, конкретизирующееся в зависимости от синтаксической сочетаемости (например, в киргизском языке одни и те же парные слова выражают либо многократность действия — при глаголах, либо указывают на множество предметов — при именах [Кудайбергенов 1957: 36]). Отсюда возникает сомнение, может ли подобная «множественность» считаться грамматической [Макаренко 1970: 149; Оглоблин 1980: 174]. Что касается значения степени интенсивности признака, то характерным для его понимания следует считать рассуждение, приведенное в статье И. И. Глебовой и А. Н. Ситниковой: «...производимые редулицированные образования некоторых типов можно рассматривать одновременно и как новые формы слов, и как новые слова. Например, *трэнг трэнг* ‘беловатый’ можно рассматривать и как грамматическую форму слова *трэнг* ‘белый’ со значением ослабленной степени признака, и как новую лексическую единицу» [Глебова, Ситникова 1980: 56]. Ср. также замечание Р. А. Аганина о двояком толковании лексико-грамматической природы парных образований со значением высокой степени качества в турецком языке — как новых слов со значением безотносительно высокой степени качества и как форм интенсивной степени сравнения прилагательных [Аганин 1959: 106].

Разнообразие типов значений, передаваемых редулицированными словами в разных языках, и неоднозначность их трактовки естественно усиливают

остроту вопроса о том, каков функциональный статус русских удвоенных образований, являются ли они формами соответствующих неудвоенных слов, или же посредством удвоения образуются новые лексические единицы?

Если допустить, что словное удвоение есть способ выражения грамматических значений, необходимо четко определить, какое грамматическое значение в русском языке регулярно выражается или может выражаться (наряду с другими способами) посредством словных удвоений, какова система взаимообусловленных грамматических значений, включающих данное значение, и, наконец, для каких грамматических классов слов характерно это значение.

Прежде всего необходимо отметить, что русские словные удвоения разных типов передают разнообразные значения, имеют различную функциональную нагрузку. В русском языке словные удвоения служат выразителями значения интенсивности признака (*много-много* — ‘очень много’; *крепко-накрепко* — ‘очень крепко’; *давным-давно* — ‘очень давно’), неопределенности (семантика удвоенных местоимений и местоименных наречий типа *где-где, зачем-низачем, какой-никакой* сходна с семантикой неопределенных местоимений и наречий с суффиксами *-то, -либо, -нибудь*), отрицательной оценки (*так-сяк, тят-ляп, шаляй-валяй*), передают значение персуазивности (*нет-нет, да-да, конечно-конечно*), используются как средство языковой игры (рифмованные отзвучия типа *жигули-шмыгули, шараш-монтаж, танцы-рванцы*). Многообразие семантических функций русских словных удвоений уже само по себе предостерегает от безоговорочной квалификации подобных образований в качестве грамматических форм.

Вместе с тем основным значением словных удвоений в русском языке является все-таки значение интенсивности признака, которое входит в оппозицию с признаком «неинтенсивность». Имеет ли оппозиция «интенсивность — неинтенсивность» грамматический характер?

В классических случаях грамматические оппозиции характеризуются отношениями взаимообусловленности (например, наличие показателей единственного числа обязательно предполагает наличие какого-либо другого числового значения). Семантическую оппозицию «интенсивность — неинтенсивность» тоже можно считать взаимообусловленной оппозицией, если признать, что значение интенсивности может существовать только в соотношении со значением неинтенсивности, на фоне этого значения. Однако такое допущение еще не повод для поспешного зачисления оппозиции «интенсивность — неинтенсивность» в круг грамматических оппозиций.

Для осторожного подхода к решению этого вопроса есть как минимум два основания. С одной стороны, противочлены удвоенных форм (неудвоенные прилагательные, глаголы, наречия) не выражают вне контекста значения неинтенсивности, они нейтральны по отношению к этому семантическому противопоставлению. Это, по И. А. Мельчуку, квазиграммемы. С другой стороны, не только в области грамматической, но и в области лексической семантики тоже есть такие значения, для которых взаимообу-

словленность, сопоставленность является конструктивно необходимой, выступает как условие существования этих значений. О таких значениях писал, в частности, Д. Н. Шмелев в [Шмелев 1964]. Это оценочные, в том числе количественно-оценочные значения. Семантические компоненты ‘положительный’ — ‘отрицательный’, ‘большой’ — ‘маленький’, ‘много’ — ‘мало’ только и могут существовать как взаимообусловленные, сопоставленные компоненты.

Критерием разграничения грамматических и лексических оппозиций может служить характер речевого поведения членов этих оппозиций. Если те или иные грамматические формы функционируют как обязательные и появляются в речевых произведениях строго в соответствии с требованиями грамматической организации высказывания, то функционирование лексических коррелятов с оппозитивно обусловленным типом значения, напротив, подчиняется исключительно коммуникативным намерениям говорящего и их появление в речевом акте факультативно. Именно такова функциональная сущность русских словных удвоений<sup>5</sup>.

Следующий вопрос, который возникает при обсуждении функционального статуса удвоения, образующего единицы со значением интенсивности,— это вопрос о степени регулярности, облигаторности этого значения для тех или иных категориальных классов. Обсуждая этот вопрос, необходимо иметь в виду, что признак регулярности имеет меньший вес для дифференциации словообразования и словоизменения в сравнении с признаком обязательности, так как, как справедливо отмечает В. А. Плунгян, «регулярность — чисто формальное свойство; обязательность же в конечном счете отражает способ концептуализации действительности в данном языке»; «степень регулярности некоторого значения определяет лишь технику его описания... тогда как обязательность значения определяет, выступает ли оно как элемент некоторой навязываемой говорящему категории или свободно выражается в соответствии с коммуникативным замыслом говорящего» [Плунгян 2000: 135].

Лексемное удвоение с инвариантным значением интенсивности высоко регулярно в кругу наречий, прилагательных, глаголов. Однако производство

<sup>5</sup> Ср., однако, «контрпримеры» Н. В. Перцова, демонстрирующие неполное совпадение таких свойств языковых значений, как «обязательное» и «словоизменительное» [Перцов 1996]. Не отрицая возможности несовпадения указанных свойств, мы говорим об обязательности в духе Б. А. Успенского: «...если хотя бы в одном предложении данный служебный элемент употребляется обязательно, значит он — обязательный служебный элемент» [Успенский 1965: 81]; об обязательности как важнейшем критерии разграничения грамматических и словообразовательных значений см. [Плунгян 2000: 120]. Применительно к нашему материалу это положение должно быть сформулировано так: если хотя бы в одном предложении употребление удвоенного образования было бы обязательно, обусловлено требованиями грамматики, то удвоенные единицы данной модели являлись бы выразителями грамматического значения. Функционирование словных удвоений в русском языке не подчиняется указанному принципу.

удвоенных образований наталкивается на ограничения именно в тех участках названных грамматических систем, где наиболее сильно лексическое влияние, где грамматическая семантика наиболее тесно соединена с лексической. Например, будучи регулярно производимыми в кругу качественных прилагательных (*большой-большой*), удвоения относительных прилагательных в норме отсутствуют (*\*деревянный-деревянный*); будучи регулярными в кругу глаголов несовершенного вида (*ходишь-ходишь*), словные удвоения значительно менее регулярно образуются на базе глаголов совершенного вида (ср. *шел-шел*, но *\*пришел-пришел*; *нес-нес*, но *\*принес-принес*).

Необязательность, коммуникативная факультативность словных удвоений со значением интенсивности признака подтверждается нестрогой закрепленностью их образования за теми или иными категориальными классами. Если грамматические значения не могут быть реализованы в категориальных классах, не характеризованных соответствующими грамматическими категориями (например, значение падежа не может быть реализовано в классе глаголов), то значение степени интенсивности признака имеет такую возможность. Например, значение интенсивности признака может быть передано удвоением имени существительного. Ср.: *Танеев либерал-либерал, а с Феоктистовым не разольешь* (Салтыков-Щедрин); *Желаю успехов-успехов!!!* (Из письма).

Не только в русском языке, но и в других языках образование удвоений со значением интенсивности признака также имеет определенные ограничения, отличаясь по степени регулярности от той регулярности, с какой образуются формы слов, и так же, как и в русском языке, может быть реализовано в лексико-грамматических классах с непризнаковой семантикой. Так, например, И. И. Глебова и А. Н. Ситникова отмечают, что во вьетнамском языке удвоения со значением ослабленной степени признака образуются не от любого прилагательного и глагола, и притом только на базе односложных слов [Глебова, Ситникова 1980: 56]. Нерегулярность интенсифицирующего удвоения, ограниченность редупликационной базы характерна и для тайских языков, в которых удваиваются также в основном односложные слова и лишь иногда двусложные строго определенной структуры. На этом основании, по мнению Л. Н. Морева, удвоенные слова в этих языках не могут рассматриваться как грамматические формы [Морев 1980: 158]. Широкое применение способа удвоения при образовании качественных наречий в нанайском языке ограничено их семантикой. Не удваиваются наречия, обозначающие признаки, в отношении которых не различаются степени их проявления и которые не зависят от количества субъектов или объектов [Аврорин 1961: 186]. В турецком языке редулицированные образования, выражающие безотносительно высокую степень признака, производятся не только на базе признаков частей речи, но могут включать в качестве компонентов и имена существительные, местоимения [Аганин 1959: 107].

В отличие от компонентов грамматических оппозиций удвоенные и не удвоенные образования находятся в отношениях словообразовательной за-

висимости. Словообразовательная производность отличается, как известно, от взаимоотношений форм в словоизменительной парадигме наличием семантического (семантико-категориального) сдвига в значении результирующей единицы. В парадигматическом ряду *большой, большого, большому* такого сдвига нет, в ряду же *большой > большой-большой* этот сдвиг очевиден. Словные удвоения, являясь результирующими единицами словообразовательного, а не формообразовательного процесса, соотносятся далеко не со всеми значениями соответствующих неударенных слов (см. выше).

Наличие деривационной зависимости (привативные отношения) между редуцированными и нередуцированными соответствиями отличает пары типа *большой — большой-большой* и от лексико-семантических корреляций типа *слабый — сильный*, члены которых находятся в отношениях семантического пересечения, образуют эквивалентные оппозиции.

Таким образом, все сказанное позволяет усомниться в правомерности традиционного подхода к русской лексемной редукации как к одному из способов выражения грамматических значений. Значение степени интенсивности признака, характеризующее словные удвоения в русском языке, — не грамматическое, а словообразовательное; русские редуцированные слова — не формы слов, а производные слова; русская словная редукация — не способ выражения грамматических значений, а разновидность сложения.

III. Неопределенность лингвистического статуса словных удвоений (формы слов, новые слова, синтаксические единицы) и сравнительно невысокая в целом их частотность («Настоящая синтаксическая редукация, — отмечает А. Вежицкая, имея в виду словные удвоения обсуждаемого здесь типа, — употребляется в русском языке очень редко, но она существует...» [Вежицкая 1999: 257]) сказываются на непоследовательности лексикографического отображения подобных образований. Однако полный анализ материалов Сводного словаря современной русской лексики под редакцией Р. П. Рогожниковой, объединяющего словники 14-ти важнейших словарей современного русского языка (от Толкового словаря русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова до Словаря-справочника «Новые слова и значения» под редакцией Н. З. Котеловой), дополненный изучением словников Толкового словаря русского языка конца XX века под редакцией Г. Н. Скляревской, Русского семантического словаря под редакцией Н. Ю. Шведовой, анализом материалов русской разговорной речи и материалов исторических словарей (Словаря древнерусского языка XI—XIV вв., Словаря русского языка XI—XVII вв., Словаря русского языка XVIII в., «Материалов...» И. И. Срезневского), позволяет уловить некоторые тенденции.

Наиболее регулярно отражаются в словарях удвоенные наречия, местоимения, звукоподражательные слова и междометия. Второе место по частоте лексикографирования занимают удвоенные имена существительные. Единичными примерами представлены в лексикографических изданиях удвоенные предикативные слова, прилагательные, частицы. Приведенные



данные не совпадают, конечно же, с реальной употребительностью удвоенных слов в пределах той или иной части речи, ср., например, наблюдения о нехарактерности полного удвоения имен существительных в русском языке и о продуктивности удвоений в кругу качественных имен прилагательных, см.: [Голда, Матвеева 1986; Пахолок 1996: 187]. Однако показания лексикографических источников — наглядное свидетельство того, в каком качестве осознаются удвоенные слова тех или иных частей речи — как единицы воспроизводимые (единицы словаря) или как единицы, регулярно, подобно синтаксическим структурам, производимые в речи.

Словарные материалы показывают, что в настоящее время прием словного удвоения осознается как способ образования новых слов, обладающий определенной продуктивностью в лексико-грамматических классах наречия, местоимения, междометия и в некоторых группах существительных. Удвоенные же частицы, прилагательные, предикативы, а также удвоенные существительные с префиксальным осложнением существуют, по всей видимости, в языковом сознании как единицы конструктивные, свободно производимые носителями языка в процессе речевой деятельности в соответствии со сложившимися моделями. Таковы образования типа *большой-большой, белый-белый, синий-синий, ходишь-ходишь, ехали-ехали, самый-самый* и т. п., регулярно приводимые в учебной и научной литературе в качестве наиболее характерных примеров редупликации в русском языке. Таковы также префиксально или суффиксально осложненные удвоения прилагательных, существительных, глаголов, причастий, предикативов типа *густая-разгустая, один-разъединственный, ученые-преученые, знакомый-перезнакомый, пьяный-распьяный, толстый-претолстый, доктора-раздоктора, фронтовик-расфронтовик, ленивица-разленивица, умник-переумник, дела-делишки, ходить-похаживать, шуметь-пошумливать, наказаны-перенаказаны, руганный-переруганный, видано-перевидано, езжено-переезжено, хождено-перехождено, читано-перечитано, штопано-перештопано, мал-малехонек / мал-малешенек, один-одинехонек / один-одинешенек, рад-радехонек / рад-радешенек. Подобные образования продуктивны в разговорной речи [см.: Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Виноградова 1984; Голда, Матвеева 1986], но, как правило, отсутствуют в словарях. Отдельные случаи лексикографической фиксации такого рода удвоений обусловлены только лишь потребностями орфографии.*

Таким образом, неравномерное отражение удвоенных слов в словарях русского языка связано с тем, что удвоенные слова разных частей речи обнаруживают неодинаковую степень лексикализованности (воспроизводимости). В одних случаях словные удвоения свободно конструируются в речи в соответствии с действующими в языке продуктивными словопроизводственными моделями (такие образования, как правило, не лексикографируются), в других случаях удвоенные слова имеют статус устойчивых, воспроизводимых языковых единиц, извлекаемых из памяти в готовом виде (такие единицы фиксируются в словарях).

Остановимся далее на характеристике моделей и функций тех типов словного удвоения, которые кодифицированы современной русской лексикографией в качестве единиц, обладающих статусом слова. На их фоне яснее очерченными окажутся типы и функции удвоенных образований, воспринимаемых как не вполне лексикализованные единицы, близкие по характеру своего образования к синтаксическим конструкциям.

В словарных источниках русского языка отражено четыре типа удвоения наречий: 1) удвоенные наречия, образованные по моделям полного (*далеко-далеко*), 2) дивергентного (*белым-бело*), 3) осложненного (*крепко-накрепко*) и 4) дивергентно-осложненного (*мало-помалу*) удвоения.

Среди наречий, образованных по моделям дивергентного удвоения, выделяются две группы: а) удвоения с дивергентной финальной частью и б) удвоения с дивергентной инициальной частью. Изменение финалий компонентов наречных удвоений чаще всего связано с заменой наречного суффикса *-о* элементом *-ым*: *белым-бело*, *давным-давно*, *полным-полно*, *пьяным-пьяно*, *поздным-поздно*, *раным-рано*, *светлым-светло*, *темным-темно*, *черным-черно*. В группе наречных удвоений с дивергентными инициальными частями отсутствуют сколько-нибудь регулярные модели. Ср.: *сикось-накось*, *тяп-ляп*, *шаляй-валяй*, *так-сяк*, *там-сям*.

Удвоение наречий может сопровождаться аффиксальным осложнением. Здесь выделяются две, хотя и малопродуктивные, модели: а) с осложнением второго компонента префиксом *на-* (*крепко-накрепко*, *мелко-намелко*, *перво-наперво*, *прямо-напрямом*, *строго-настрогим*, *туго-натуго*, *чисто-начистом*) и б) с осложнением второго компонента уменьшительно-ласкательными суффиксами *-еньк-*, *-ехоньк-/ешеньк-* (*рано-раненько*, *рано-ранехонько*, *рано-ранешенько*).

При образовании удвоенных наречий возможно также сочетание аффиксального осложнения второго компонента с дивергентным преобразованием в составе первого или, реже, второго компонента. Так образуются дивергентно-осложненные удвоенные наречия: *видным-виднешенько*, *раным-раненько*, *раным-ранехонько / раным-ранешенько*, *скромным-скромнехонько*, *мало-помалу*.

Модели удвоения местоименных наречий и местоименных менее разнообразны. Здесь выделяется две структурные разновидности: а) полное удвоение вопросительно-относительных местоимений и наречий (*кто-кто*, *что-что*, *где-где*) и б) префиксально осложненное (отрицательной приставкой *ни-*) удвоение местоимений и наречий того же лексико-грамматического разряда (*кто-никто*, *что-ничто*, *какой-никакой*, *чей-ничей*, *сколько-нисколько*, *как-никак*, *где-нигде*, *когда-никогда*, *куда-никуда*, *откуда-ниоткуда*, *докуда-нидокуда*, *почему-нипочему*, *зачем-низачем*). Дивергентное удвоение имеет место лишь при образовании определительного местоимения *такой-сякой*.

Основное значение, передаваемое удвоенными наречиями, — значение интенсивности признака. Ср.: *много-много* — ‘очень много’; *далеко-далеко* — ‘очень далеко’; *крепко-накрепко* — ‘очень крепко’; *перво-наперво* —

‘прежде всего, в самую первую очередь’; *точь-в-точь* — ‘совершенно точно, без всяких отклонений’, ‘совершенно так же’; *черным-черно* — ‘очень черно’; *светлым-светло* — ‘очень светло’; *раным-рано* / *раненько* / *ранехонько* / *ранешенько* — ‘очень рано’; *видным-виднешенько* — ‘очень хорошо видно’.

Удвоенные наречия и местоимения с дивергентными инициальными частями служат для выражения отрицательной оценки или, реже, значения неопределенности, также осложненного отрицательной коннотацией. Ср.: *сикось-накось*, *так-сяк*, *тяп-ляп*, *шаляй-валяй* — ‘кое-как, с грехом пополам, небрежно’; *такой-сякой* — употребляется взамен оценочных характеристик (обычно бранных); *там-сям* — ‘кое-где, в разных местах’.

Все полноудвоенные и префиксально осложненные удвоенные местоименные наречия и местоимения относятся к разряду неопределенных. Они передают значение, сходное с семантикой неопределенных местоимений и наречий с суффиксами *-то*, *-нибудь* или приставкой *кое-* (*кто-то*, *кто-нибудь*, *кое-кто*, *где-то*, *где-нибудь*, *кое-где* и т. п.). Ср. функционирование подобных образований: [Мерзляков] *написал од, в коих где-где блистают искры могучего таланта* (Белинский. Литературные мечтания). *Зачем-низачем, а вечерком заглянет; О ком ни о ком, а поговорим; Чья-ничья, а все-таки помошь; Какой-никакой, а подарок; Почему-нипочему, а ведь решил на такое дело* (примеры из «Русского семантического словаря»).

Однако коммуникативная целесообразность удвоенных наречий и местоимений не ограничивается семантикой интенсивности или неопределенности. Удвоенные наречия и местоимения отличаются от синонимичных им сочетаний с наречиями степени (*очень много*, *совершенно точно* и под.) или от синонимичных образований с элементами *-то*, *-нибудь*, *кое-* дополнительным ярковыраженным эмоциональным компонентом, функциональную значимость которого А. Вежицкая сформулировала следующим образом: «Я чувствую нечто, думая об этом» [Вежицкая 1999: 239]. Ярким эмоциональным компонентом характеризуются единицы, образованные на основе дивергентного удвоения и существующие часто только в удвоенной форме: *сикось-накось*, *тяп-ляп*, *шаляй-валяй*.

Удвоение со значением интенсивности характеризуется, кроме того, компонентом достоверности: «Я говорю это еще раз, потому что я хочу, чтобы ты знал, что это правда» [Там же: 234]<sup>6</sup>. Удвоенные наречия и местоимения со значением неопределенности подчеркивают коммуникативную целесообразность этого значения, намеренное его использование в акте коммуникации. Коммуникативная значимость таких образований, думается, может быть определена с помощью метаязыкового выражения: «Я использую удвоенную форму для выражения неопределенности, чтобы подчеркнуть, что определенность в данном случае не имеет никакого значения».

<sup>6</sup> Функцию достоверности отмечает у удвоенных существительных и прилагательных французского языка Н. М. Штейнберг. Удвоение в таких случаях заменяет эпитеты «настоящий», «подлинный», например, *rose-rose* — это настоящий, чисто розовый, а не красновато-, лиловато-, оранжевато-розовый цвет [Штейнберг 1969: 32].

Емкими в семантическом плане единицами являются полноудвоенные местоименные наречия и местоимения, они выступают как бы аббревиатурами целых высказываний. Ср. примеры Н. Ю. Шведовой: *Где-где, а в деревнях побывал* (т. е. 'может быть, где-нибудь в других местах не бывал...'); *Кто-кто, а я-то сумею* ('может быть, кто-нибудь другой не сумеет...'); *Чем-чем, а здоровьем могу похвастаться* ('может быть, чем-то другим и не могу...').

Описывая прием удвоения как способ словообразования, характеризующийся достаточной продуктивностью в лексико-грамматических классах наречия и местоимения, следует, однако, принять во внимание тот факт, что только лишь менее половины из всех приведенных нами удвоенных наречий и местоимений имеют более или менее прочные позиции в лексикографии, т. е. фиксируются несколькими или хотя бы двумя толковыми словарями. К таким признанным общеупотребительными удвоениям относятся: *видимо-невидимо, давным-давно, мало-помалу, перво-наперво, так-сяк, там-сям, точь-в-точь, шаляй-валяй, белым-бело, где-где, как-никак, крепко-накрепко, крест-накрест, полным-полно, темным-темно*.

Как видим, в круг «признанных» единиц словаря практически не попадают наиболее продуктивные модели наречного и местоименного удвоения — модели полного и префиксально осложненного удвоения со значением интенсивности или неопределенности признака. Этот факт свидетельствует о конструктивной природе названных моделей, четких в структурно-семантическом отношении и поэтому легко заполняющихся лексическим материалом в процессе речепроизводства.

Абсолютное большинство удвоенных наречий не имеет сколько-нибудь длительной лексикографической традиции. Почти все они впервые зарегистрированы в качестве единиц словаря только лексикографическими источниками XX в. В лексикографию XVIII и XIX вв. такие образования попадали единично: *точь-в-точь* [Вейсм. Лекс. 1731], *мало-помалу* [Лекс. 1762], *видимо-невидимо, давным-давно* [СлРЯ XVIII в., Соколов, Слов. 1834], *где-где* [СлРЯ XVIII в., Слов. Акад. 1847], *перво-наперво* [Доп. к Опыту обл. слов. Акад. 1858]. При этом большинство удвоенных наречий, включенных в словари прошлых столетий, осознавалось, скорее, в качестве фразеологизированных тавтологических конструкций. Об этом свидетельствуют, в частности, их написания: *точь в точь, мало помалу, мало по малу и мало-по-малу, давным давно*. Ср. употребление выражения *видимая с невидимым* в значении 'видимо-невидимо' в XVIII в.: [*Крохоборов:*] *Наварено, напечено, нажарено, напряжено, настряпано, видимая с невидимым* [СлРЯ XVIII в.]. По наблюдениям И. Г. Галенко, в XVIII в. образования типа *видимо-невидимо, давным-давно* «хотя и имели устойчивый характер, однако не принадлежали еще к сложным словам из-за слабой степени слияния компонентов: краткие прилагательные в это время в некоторых стилях литературного языка еще изменялись по падежам». И лишь в дальнейшем «в связи с потерей краткими прилагательными склонения, составные части анализируемых единств цементируются, предлог превращается в приставку, флексия — в со-

ставную часть основы, и все образование воспринимается как сложное наречие» [Галенко 1955: 51; об образовании наречий типа *давным-давно* из фразеологических сочетаний см. также: [Очерки... 1958: 227; Евгеньева 1963: 216; Ломов 1967].

Среди удвоенных имен существительных, зафиксированных современной лексикографией, выделяется две структурные группы: существительные с полным и дивергентным удвоением.

В группу существительных с полным удвоением входят: *тамтам*, *диви-диви*, *иланг-иланг*, *кава-кава*, *киви-киви*, *марш-марш*, *пото-пото*, *фифти-фифти*, *чау-чау*, *ча-ча-ча*, *бери-бери*. Наибольшее число субстантивных удвоений, бытующих в русском языке, представляет дивергентное удвоение с заменой начального согласного первого компонента губно-губным согласным в составе второго компонента. Словари русского языка содержат следующие удвоенные существительные названного типа: *тары-бары*, *фигли-мигли*, *фокус-покус*, *хотпель-попель*, *хурда-мурда* / *хурда-бурда*, *шалтай-болтай*, *шахер-махер*, *шуры-муры*, *шурум-бурум*. Другие случаи дивергентного удвоения единичны: *флик-фляк* 'акробатический прыжок', *хали-гали*.

Многие удвоенные имена существительные представляют собой заимствования из разных языков. Заимствованными являются все включенные в словари полноудвоенные существительные, ср.: *тамтам* 'ударный музыкальный инструмент' (из франц. *tam-tam*); *киви-киви* 'нелетающая птица Новой Зеландии' (из англ.); *диви-диви* 'плоды дерева, растущего в Центральной и Южной Америке'; *кава-кава* 'кустарник, растущий на островах Полинезии и на Новой Гвинее'; *ча-ча-ча* 'быстрый танец латиноамериканского происхождения'; *бери-бери* 'болезнь обмена веществ' (сингальск. *beriberi*) и т. п. Будучи экзотизмами, многие такие существительные не включаются, как правило, в толковые словари русского языка, а фиксируются либо в энциклопедических словарях, либо в ортологических изданиях. К заимствованиям относится также и большинство попавших в словари дивергентных удвоений, ср.: *хали-гали* 'групповой танец американо-канадского происхождения; музыка к этому танцу'; *хотпель-попель* 'быстрый парный танец финского происхождения'; *фигли-мигли* (из польск. *figle-migle*); *фокус-покус* (в XVIII в. — *гокус-покус* из нем. *Hokuspokus*); *хурда-мурда* (из перс. *xurda-murda*); *шахер-махер* (из нем. *Schacher und Macher*).

Прием рифмованных удвоений имеет в русском языке достаточно длительную традицию. Почти все рифмованные отзвучия, фиксируемые современными толковыми словарями, были отмечены еще В. И. Далем в его знаменитом словаре-тезаурусе.

Однако дивергентные удвоения существительных с рифмующимися компонентами значительно шире, чем это отражено в лексикографии, распространены в просторечии, разговорной и жаргонной речи. Исследователи русской разговорной речи уже неоднократно обращали внимание на «слова-эхо» («слова-отзвучия») как яркое экспрессивное средство, проявление языковой игры, украшения речи в неофициальном общении носителей русско-

го языка. Среди удвоенных «слов-отзвучий» можно выделить две хронологические группы: народно-поэтические удвоения, возникшие в языке очень давно (типа *чудо-юдо*, *коза-дереза*, *трава-мурава*), и устно-разговорные образования, появившиеся во второй половине XIX — начале XX в.<sup>7</sup>

В работах, посвященных изучению русской разговорной речи, и в Словарных материалах «Новое в русской лексике» приведено немало примеров русских рифмованных отзвучий разных типов (со знаменательными, десемантизированными и собственно «отзвучными» компонентами в их составе), не включенных в лексикографические издания, например: *жигули-шмыгули*, *шараш-монтаж*, *танцы-рванцы*, *танцы-шманцы*, *персики-мерсики*, *каракуля-маракуля*, *закон-макон*, *мастер-ломастер*, *страсти-мордасти*, *трава-мурава*, *коза-дереза*, «*Настя-Клоунастя*» (название спектакля), *Сергей-воробей*, *Валера-холера*, *ножечки-кошечки*, *варенье-сыренье*, *злодейка-разлучейка*, *ребята-веселята*, *пеленки-меленки*, *коржики-моржики*, *тети-мети* (о деньгах), *хухры-мухры* и др. Ср. также другие дивергентные удвоения, отмеченные нами в неофициальной речи образованных людей: *культура-мультаура* (в телепередаче, о предполагавшемся выступлении ансамбля «На-На» в Госдуме), *выборы-мыборы*, *шоу-муёу* (в выступлении Е. Петросяна), *фигня-мигня* (*Да, это все фигня-мигня*), *джинсы-мынсы* (*Ну что, джинсы-мынсы пойдём покупать?*), *Павсаний-Мавсаний* (*— Не забудь взять книги в библиотеке. — А, Павсаний-Мавсаний*). Имеется в виду книга древнегреческого ученого Павсания и другие книги).

Подобные примеры, а также постоянное появление новообразований, соответствующих рассматриваемой модели, свидетельствуют об определенной продуктивности рифмованного дивергентного удвоения и о свободном конструировании «слов-отзвучий» в разговорной речи.

Лексикографическое описание удвоенных звукоподражаний и междометий отличается от лексикографического представления словных удвоений других частей речи. Основная часть удвоенных междометий и звукоподражательных слов находит последовательное отражение в современных толковых словарях. Эта ситуация объясняется, по всей видимости, тем, что в отличие от удвоенных слов других частей речи удвоенная форма соответствующих

<sup>7</sup> Явление рифмованного удвоения широко распространено в тюркских языках, где подобные образования являются стилистически нейтральными производными словами [Дмитриев 1962: 133], входят в состав общеупотребительной лексики и могут быть образованы «абсолютно от всех слов предметного значения и даже от имен собственных» [Орузбаева 1964: 260]. Тюркские рифмованные удвоения служат для передачи множества смысловых оттенков: собирательности, конкретности, усиления, обобщения, многократности и повторности действия, пренебрежительности, интенсивности, разделительности и т. д. [Кайдаров 1958: 8]. Под влиянием тюркских языков прием рифмованного удвоения стал использоваться во многих современных языках. «Эхо-удвоение» является, например, одним из распространенных приемов окказионального словообразования в современных английском и французском языках [Ашурова 1991: 12; Штейнберг 1969].

междометий и звукоподражаний является единственной или основной формой их существования.

Указанная особенность междометных и звукоподражательных удвоенных обусловила и то, что многие из них не являются лексикографическим новшеством, они фиксируются словарями XIX в., а некоторые — и словарями XVIII в. Ср.: *ти-ти-ти*, *улюлю*, *тю-тю*, *хи-хи*, *трах-тарарах*, *ха-ха-ха* [Даль]; *хруп-хруп*, *цып-цып* [Слов. Акад. 1847]; *трень-брень*, *чур-чура* [Опыт обл. слов. Акад. 1852]; *трюх-трюх* [Доп. к Опыту обл. слов. Акад.]; *дин(ь)-дин(ь)*, *дин(ь)-дон*, *пиф-паф* [Слов. Акад. 1895]; *ей-ей*, *хо-хо* [Поликарпов, Лекс. 1704]; *бреке-ке-ке*, *буль-буль*, *бум-бум*, *гуль-гуль-гуль*, *Дон Дон Дон*, *ей-ей* [СлРЯ XVIII в.]. На давность образования удвоенных форм междометий и звукоподражаний указывает наличие производных от них (ср.: *хихикнуть*, *хахоньки*, *хихоньки*, *улюлюкать*, *хохотать*, *гогокать*, *гоготать*, *татакать*, *шушукаться*, *гагакать*), распространявшихся, как отмечает И. Г. Галенко, в разговорном стиле русского литературного языка со второй половины XVIII в. [Галенко 1955].

Вместе с тем для некоторых звукоподражательных слов и междометий удвоенная форма является исторически вторичной, производной. Об этом свидетельствует лексикографическая история этих удвоений. Так, если в «Материалах» И. И. Срезневского фиксируется *ei* в значении 'да', то в Лексиконе Поликарпова 1704 г. дается форма *ей-ей* (СлРЯ XVIII в. отмечает три варианта употребления этого междометия: не удвоенный — *ей*, удвоенный — *ей-ей* и в повторе — *ей*, *ей*). Аналогично: *кап* [Даль] — *кап-кап* [БАС]; *ни* [Срезн.] — *ни-ни-(ни)* [Ушак.]; *ох* [Срезн.] — *ох-ох-ох* [Ушак.]; *тега* [Даль] — *тега-тега* [Ушак.]; *хрю* [Слов. Акад. 1794] — *хрю* и *хрю-хрю* [Ушак.]; *цып* [Слов. Акад. 1794] — *цып-цып* [Слов. Акад. 1847]; *чух* [Слов. Акад. 1794] — *чух-чух* [БАС].

Абсолютное большинство удвоенных междометий и звукоподражаний современного русского языка представляет собой полноудвоенные основы типа *бип-бип*, *га-га-га*, *динь-динь-(динь)*, *ей-ей*, *кап-кап*, *ни-ни-(ни)*, *ох-ох-ох*, *тега-тега*, *ути-ути*, *ха-ха-(ха)*, *цып-цып-(цып)*, *чух-чух*, *шу-шу-шу*.

Небольшую группу образуют междометия и звукоподражательные слова с неполным (частичным) удвоением: *куд-кудах*, *тра-та-та*, *трах-тарарах*, *улю-лю*, *цоб-цобе*, *чик-чирик*, *чур-чура*, *э-хе-хе*. Единично встречаются образования с дивергентным и осложненным удвоением. Ср.: *дин(ь)-дон*, *тик-так (тики-так)*, *трень-брень*, *пиф-паф* и *ей-же-ей*, *охохоньки / охохонюшки / охохохоньки / охохошеньки*.

Удвоенные звукоподражательные слова передают звуки живой и неживой природы, а также, наподобие глагольных удвоенных слов, могут иконически обозначать длительность действия с различными оттенками (интенсивности, многократности, непрерывности), ср. примеры из народных сказок: *А колокольчик в лесу динь-динь... а она... только с Змеем Змеевичем ши-ши-ши* (примеры из [Белкина, Милехина 1980]).

Удвоенные междометия используются как для выражения эмоциональных состояний, так и в побудительной функции. Эмоциональные междометия в зависимости от интонации передают чувства сожаления, досады, печали, горя, боли, удивления, одобрения, восхищения (*ох-ох-ох, те-те-(те), хе-хе-хе, э-хе-хе, го-го*), выражают согласие, подтверждение (*ей-ей / ей-же-ей, ну-ну*). С помощью побудительных (императивных) междометий обозначаются различные виды побуждений и запретов: *улю-лю* — ‘побуждение к преследованию’, *цоб-цобе* — ‘возглас погоняющего волон’, *ни-ни-(ни)* — ‘категорическое запрещение делать что-либо’, *ш-ш* — ‘призыв к тишине, молчанию’, *чур-чура* — ‘призыв соблудности какой-л. уговор, какое-л. условие’. К побудительным междометиям относятся и удвоенные подзывные слова: *гуль-гуль-гуль, кис-кис, тега-тега, ти-ти-ти, ути-ути, цып-цып-(цып), чух-чух*.

Таким образом, анализ словарных материалов показывает, что в качестве воспроизводимых в настоящее время осознаются словные удвоения в лексико-грамматических классах междометий и звукоподражательных слов, местоимений и местоименных наречий, а также дивергентные и дивергентно-осложненные наречные удвоения и полноудвоенные заимствованные существительные.

Наречия, прилагательные, предикативы с полным или префиксально осложненным удвоением (образования типа *хорошо-хорошо, грустно-грустно, большой-большой, ходишь-ходишь, работай-работай, весело-превесело, толстый-претолстый, читано-перечитано*), удвоенные существительные с рифмованными и префиксально осложненными вторыми компонентами (образования типа *джинсы-мынсы, коржики-моржики, доктора-раздктора, умник-переумник, фронтовик-расфронтовик*) существуют, по всей видимости, в языковом сознании не как инвентарные единицы, а как единицы конструктивные, как своеобразные речевые производные слова, свободно (подобно синтаксическим структурам) производимые носителями языка в процессе речевой деятельности.

Однако, несмотря на то что удвоенные слова разных частей речи и разных словообразовательных моделей неодинаковы с точки зрения соотношения воспроизводимости и производимости, это обстоятельство не может, на наш взгляд, служить аргументом в пользу синтаксического, а не словообразовательного характера удвоенных слов (обсуждение этого вопроса см. в разделе I данной статьи), поскольку баланс воспроизводимости и производимости — это сущностное свойство любых производных слов, соотносимых с действующими на данном этапе развития языка словообразовательными моделями. Вполне естественно поэтому, что в разных группах производных это соотношение может быть сдвинуто в ту или другую сторону. Производные слова, отвечающие языковому стандарту (узусу), всегда воспроизводимы и производимы одновременно. При этом чем больше слово соответствует языковому стандарту, т. е. основным параметрам словообразовательной модели, чем продуктивнее модель, тем меньше причин у носителей языка запоминать и воспроизводить такое слово и тем больше вероятности, что оно



всякий раз производится заново в соответствии со сложившейся в языке словопроизводственной моделью.

### Список сокращения языков

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| англ.— английский   | польск.— польский       |
| бирм.— бирманский   | сингальск.— сингальский |
| корейск.— корейский | таг.— тагальский        |
| нем.— немецкий      | франц.— французский     |
| перс.— персидский   | япон.— японский         |

### Список словарных источников

1. Новое в русской лексике. Словарные материалы 1977—1988. М., 1980—1996.
2. Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х гг. / Под ред. Н. З. Котеловой, Ю. С. Сорокина. М., 1971.
3. Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х гг. / Под ред. Н. З. Котеловой. М., 1984.
4. Русский семантический словарь / Под ред. Н. Ю. Шведовой. Т. 1. М., 1998.
5. Сводный словарь современной русской лексики / Под ред. Р. П. Рогожниковой. Т. 1—2. М., 1991.
6. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Т. 1—4. М., 1988—1991.
7. Словарь русского языка. 2-е изд., испр. и доп. Т. 1—4. М., 1981—1984.
8. Словарь русского языка XI—XVII вв. Т. 1—24. М., 1975—1996.
9. Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Складневской. СПб., 1998.

### Сокращения

- БАС — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.; Л., 1948—1965.
- Вейсм. Лекс. 1731 — Э. Вейсман. Немецко-латинский и русский лексикон. СПб., 1731.
- Даль — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. I—IV. СПб.; М., 1880—1882.
- Доп. к Опытю обл. слов. Акад.— Дополнение к Опытю областного великорусского словаря. СПб., 1868.
- Лекс. 1762 — И. Ф. Лихтен. Лексикон российской и французской, в котором находятся почти все российские слова по порядку российского алфавита. Ч. 1—2. СПб., 1762.
- Опыт обл. слов. Акад. 1852 — Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.
- Поликарпов, Лекс. 1704 — Ф. П. Поликарпов. Лексикон трехязычный. М., 1704.
- СлРЯ XVIII в.— Словарь русского языка XVIII в. Т. 1—7. Л., 1984—1992.

Соколов, Слов. 1834 — П. П. Соколов. Общий церковнославяно-русский словарь, или Собрание речений. Ч. 1—2. СПб., 1834.

Слов. Акад. 1794 — Словарь Академии Российской. Ч. 1—6. СПб., 1789—1794.

Слов. Акад. 1847 — Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук. Т. 1—4. СПб., 1847.

Слов. Акад. 1895 — Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук. Т. 1. Вып. 1—3. СПб., 1891—1895.

Срезн.—И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1—3. СПб., 1893—1903.

Ушак.—Толковый словарь русского языка / Под. ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1935.

### Литература

Аврорин 1961 — В. А. Аврорин. Грамматика нанайского языка. Т. 2. М.; Л., 1961.

Аганин 1959 — Р. А. Аганин. Повторы и однородные парные сочетания в современном турецком языке. М., 1959.

Алиева 1980 — Н. Ф. Алиева. Слова-повторы и их проблематика в языках Юго-Восточной Азии // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980. С. 3—22.

Ашурова 1991 — Д. У. Ашурова. Производное слово в свете коммуникативной теории языка. Ташкент, 1991.

Белкина, Милехина 1980 — З. В. Белкина, В. И. Милехина. Парные тавтологические сочетания в немецком и русском языках // Лексическая и синтаксическая семантика. Барнаул, 1980. С. 3—12.

Вежбицкая 1999 — А. Вежбицкая. Редупликация в итальянском языке: кросс-культурная прагматика и иллокутивная семантика // Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. С. 224—259.

Виноградов 1975 — В. В. Виноградов. О формах слова // В. В. Виноградов. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. М., 1975. С. 33—50.

Виноградова 1984 — В. Н. Виноградова. Стилистический аспект русского словообразования. М., 1984.

Галенко 1955 — И. Г. Галенко. Из наблюдений над удвоением корней, основ и слов // Вопросы языкознания. Кн. 1. Львов, 1955. С. 42—55.

Голда, Матвеева 1986 — Л. А. Голда, Т. В. Матвеева. Структурно-семантическая классификация лексикализованных повторов // Слово в системных отношениях на разных уровнях языка. Свердловск, 1986. С. 95—104.

Глебова, Ситникова 1980 — И. И. Глебова, А. Н. Ситникова. Грамматическая классификация неосложненных повторов в современном вьетнамском языке // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980. С. 48—75.

Дмитриев 1962 — Н. К. Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Евгеньева 1963 — А. П. Евгеньева. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XX вв. М.; Л., 1963.

Земская, Китайгородская, Ширяев 1981 — Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев. Русская разговорная речь. М., 1981.

Кайдаров 1958 — А. Кайдаров. Парные слова в современном уйгурском языке. Алма-Ата, 1958.

Кудайбергенов 1957 — С. Кудайбергенов. Подражательные слова в киргизском языке. Фрунзе, 1957.

Ломов 1967 — А. Г. Ломов. Сравнительно-историческое изучение тавтологических образований русских летописей // Вопросы языкознания. Материалы XXIV науч. конф. проф.-препод. состава СамГУ им. А. Навои. Самарканд, 1967. С. 65—70.

Макаренко 1970 — В. А. Макаренко. Тагальское словообразование. М., 1970.

Морев 1980 — Л. Н. Морев. Удвоение в тайских языках // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980. С. 155—164.

Оглоблин 1980 — А. К. Оглоблин. Материалы по удвоению в мадурском языке // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980. С. 165—177.

Орузбаева 1964 — Б. О. Орузбаева. Словообразование в киргизском языке. Фрунзе, 1964.

Очерки... 1958 — Очерки по сравнительной грамматике восточнославянских языков. Одесса, 1958.

Пахолок 1996 — З. А. Пахолок. Семантическая корреляция лексического контактного повтора и редупликации // Семантика языковых единиц: Докл. V Межд. конф. Т. 2. М., 1996. С. 187—188.

Перцов 1996 — Н. В. Перцов. Грамматическое и обязательное в языке // Вопросы языкознания. 1996. № 4. С. 39—61.

Плунгян 2000 — В. А. Плунгян. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000.

Ревзин 1980 — И. И. Ревзин. Два способа выражения идеи предметности и проблема удвоения // Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980. С. 208—215.

Успенский 1965 — Б. А. Успенский. Структурная типология языков. М., 1965.

Хроленко 1972 — А. Т. Хроленко. Сеялки-веялки // Русская речь. 1972. № 4. С. 31—35.

Шанский 1968 — Н. М. Шанский. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968.

Шмелев 1964 — Д. Н. Шмелев. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.

Штейнберг 1969 — Н. М. Штейнберг. Редупликация в современном французском языке. Л., 1969.

Т. Е. ЯНКО

## РУССКАЯ ИНТОНАЦИЯ В ЗАДАЧАХ И ПРИМЕРАХ<sup>1</sup>

### Введение

Предмет исследования в данной работе — русская интонация и ее функции. При построении композиции статьи мы решили отойти от традиции. Более привычный способ изложения проблем предполагает, чтобы в начале работы ставилась общая задача, предъявлялись примеры, иллюстрирующие резонность ее постановки, предлагались методы для решения задач, а в конце статьи — давались бы ответы на поставленные в начале статьи вопросы. Специфика анализируемого материала такова, что мы решили начать не с постановки задачи, а с анализа примеров в надежде на то, что сам материал подскажет, какие следует ставить задачи и какие методы применять, потому что при анализе каждого примера возникают отдельные конкретные вопросы и пример обрастает неожиданными проблемами. Обобщения будут сделаны после разбора примеров.

На некоторых априорных установках нашей работы мы все же коротко остановимся. Традиционен анализ русской интонации путем сопоставления минимальных пар. Этот метод используется в большинстве работ по интонации: см. [Русская грамматика, т. 1: 97—101; Николаева 1989: 3—4; Николаева 2000: 214; Кодзасов 1997: 157; Pierrehumbert 1980: 7—8] и многие другие. Ср. *Вася пришел vs. Вася пришел?* С разбора интересных примеров и анализа минимальных пар мы и начнем. В дальнейшем же к анализу минимальных пар будут присоединены и другие методы.

Далее, в данной работе мы предполагаем придерживаться принципа «от значения к форме», т. е. интонационные фигуры будут анализироваться с учетом системы значений, которые они выражают. Во всяком случае, мы не намерены рассматривать движения тона (и другие коммуникативно значимые просодические явления, например гортанные смычки, изменения темпа (растяжки, аллегро)) автономно от интонационной конструкции в целом и ее

---

<sup>1</sup> Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 02-04-00065а) и Программы фундаментальных исследований «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте» (проект 5.19).

Автор благодарен Е. Рудницкой и рецензенту журнала за ценные замечания.

значения<sup>2</sup>. Здесь заметим, что чисто «фонетический» метод интонационной транскрипции текстов — не всегда непосредственно связанный со значением — применяется весьма часто и с большим успехом. При таком подходе отражаются не только коммуникативно релевантные движения тона, но и многие чисто позиционные различия, акцентные сандхи, влияние сегментного материала, а единая интонационная фигура не отличается от комбинации двух. В частности, представляется, что в этом основное отличие так называемого автосегментного подхода Дж. Б. Пьерхамберт, весьма удобного для целей фонетической интонационной транскрипции и завоевавшего фонетический мир, от, скажем, подхода Е. А. Брызгуновой, оперирующей более крупными и значимыми единицами. В связи с автосегментным подходом см. диссертацию [Pierrehumbert 1980] и сравнительный анализ подхода Дж. Б. Пьерхамберт и Е. А. Брызгуновой в работах С. Одэ (например, [Одэ 2003]). Другой интересный подход, примиряющий подходы Е. А. Брызгуновой и Дж. Б. Пьерхамберт в применении к русскому языку, мы видим в работах О. Ц. Йокоямы, фактически переведшей интонационные конструкции Е. А. Брызгуновой на язык высоких H (high) и низких L (low) тонов Дж. Б. Пьерхамберт [Yokoуama 2001; Йокояма 2003].

Еще одно положение, которое в существенной степени должно определить анализ русской интонации — как в данной работе, так и в интонологии вообще,— это внимание к *носителю акцента*. Акцент — коммуникативно релевантное движение тона и другие сопутствующие движению тона фонетические феномены; здесь термин «акцент» используется как замена термина «интонационная конструкция» по Е. А. Брызгуновой. Наша цель — показать, что носители коммуникативно релевантных акцентов выбираются не случайным образом. Напротив, их выбор подчинен особым принципам. Заметим здесь, что во многих работах при анализе просодии носитель акцента эмпирически берется из текста, и вопроса, почему акцент фиксируется именно на этой словоформе, а не на другой, обычно не возникает. Безусловно, существуют работы, в которых так или иначе обсуждается проблема выбора акцентоносителя тем и рем и линейное расположение акцентоносителя в предложении. Однако решение этой задачи еще далеко от полного завершения<sup>3</sup>.

Итак, начнем с анализа примеров.

---

<sup>2</sup> Показания используемых в работе программ и процедурный анализ звучащей речи не всегда заслуживает полного доверия. Поэтому мы предполагаем придерживаться здесь принципа «от значения к форме» и обращаться к данным приборов только после тщательного семантического (здесь будет точнее сказать функционального) анализа звучащих образцов речи и анализа на слух. Таким образом, кривые тонограмм и графики интенсивности в данной работе — это вспомогательное средство, к которому мы обращаемся, только когда оно не вступает в противоречие с нашими семантическими и акустическими гипотезами и если показания приборов повторяются на большом массиве семантически идентичных примеров и на разнообразном сегментном материале.

<sup>3</sup> Одно из решений этой задачи, которое включает алгоритм выбора акцентоносителя в синтаксической составляющей типа S (т. е. цельного предложения), приведено нами в работах [Янко 1991; Янко 2001: 190]. Однако традиционно это решение в других

## 1. Разбор примеров

### 1.1. Выбор акцентоносителя

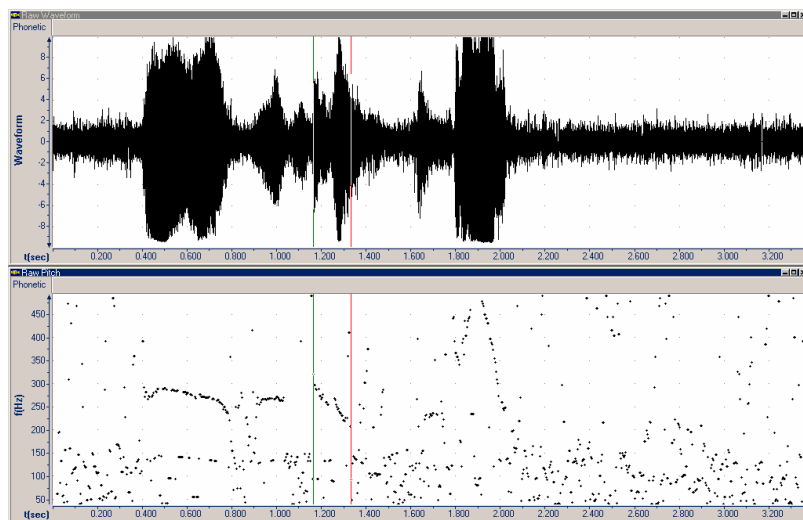
Рассмотрим задачу, вопрос которой — объяснить выбор слова-носителя коммуникативного релевантного акцента.

Мы предлагаем рассмотреть пример из фрагмента типично разговорного стиля речи. Перед нами рассказ ребенка восьми лет о том, какой он видел сон. Записи стали доступны нам благодаря усилиям группы исследователей детской речи (группой руководят В. И. Подлеская и А. А. Кибрик, см. [Кибрик, Подлеская 2003]).

- (1) *Стоял я с тетей Наташей возле двери, а мышь вот эта вот была в подвале. Да, около подвала, ну вот. Она на меня как поползла, я ее ногой хотел убить, а потом,— это — рукой прихлопнуть. Она меня вот сюда вот укусила, мне тетя чё-то сказала... Укус это ...чё-то там надо ...чё-то... уколы делать.*

Выделим из текста предложение

- (2) *Она меня вот **сюда** \ вот укусила / ...*



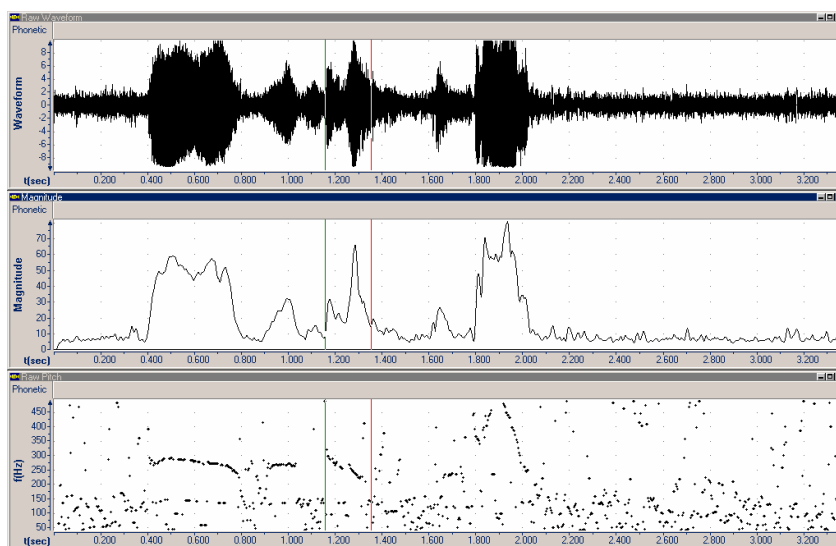
*Она меня вот **здесь** \ вот укусила / ...*

более поздних работах не используется. Авторы, обсуждающие эту проблему, скорее следуют работам [Bonnot, Fougeron 1982; Bonnot, Fougeron 1983]. Между решением, принятым в работах [Bonnot, Fougeron 1982; Bonnot, Fougeron 1983], о том, что в нерасчлененных предложениях синтаксической структуры S акцентоносителем служит подлежащее, и решением, которое принимается в [Янко 1991; Янко 2001: 190] и в соответствии с которым акцентоноситель выбирается по специальным правилам, имеются существенные расхождения. В частности, мы показываем, что в результате выбора подлежащее оказывается акцентоносителем далеко не всегда.

Тонограмма<sup>4</sup> показывает, что в этом предложении имеется два тональных пика: на словоформе *сюда* — падение и на словоформе *укусила* — подъем. Подъем на *укусила* весьма существенный. Он приходится на ударный слог словоформы *укусила*. На заударном слоге *-ла* резкое падение. Эта фигура — типичный акцент ИК-3 по Е. А. Брызгуновой [Русская грамматика, т. 1: 98, 103—106]. Оба акцента весьма сильные по интенсивности<sup>5</sup> и представляют собой существенные изменения частоты тона. Возникает два вопроса: что означают эти акценты и почему акцентоносителями каждого из них служат именно эти словоформы?

<sup>4</sup> Здесь и ниже приводимые графики отражают показания компьютерной системы анализа устной речи Speech analyzer. Верхний график — осциллограмма — изображает след, который оставляет на материале (например, на бумаге) игла, возбужденная звуковыми волнами. Этот рисунок отражает структуру слога и паузацию. График, который расположен ниже, представляет собой тонограмму — изменение частоты звука в герцах. По нему мы следим за движением тона в рассматриваемых предложениях.

<sup>5</sup> График интенсивности предложения (2) мы помещаем в сноске, а не в основном тексте, потому что известно, что показателям интенсивности в системе Speech analyzer, которой мы пользуемся, не всегда можно доверять, особенно когда речь идет о словоформах, содержащих глухие, в особенности свистящие и шипящие (ср. словоформы *сюда* и *укусила*). Дискуссия по поводу доверия системам анализа устной речи известна. Она развернулась на страницах журнала Известия ОЛЯ, см. статьи [Венцов 2003] и [Кодзасов 2003]. Однако график интенсивности как раз для анализируемого предложения выглядит внушающим доверие: все подъемы интенсивности находятся именно на тех местах, где их и следует ожидать, т. е. в местах акцентных пиков. Курсорами выделен подъем интенсивности на словоформе *сюда*. График интенсивности расположен между осциллограммой и тонограммой.



Она меня вот сюда вот укусила

Первое, что приходит в голову при столкновении с сильными — интенсивными — акцентами, — это проверить, не означают ли они контраста<sup>6</sup>. Однако, когда мальчик говорит, что мышь его укусила «сюда», это не значит, что он хочет подчеркнуть, что она укусила его именно сюда, а не в другое место. В этом предложении мы не видим никаких противопоставлений или сопоставлений — ни наличествующих в тексте, ни подразумеваемых. Чтобы показать это, мы привели здесь существенный фрагмент текста. Малыш просто сообщает о том, куда укусила его мышь. Если это просто сообщение, то естественно возникает гипотеза о том, что словоформа *сюда* — это сообщаемая часть предложения, или рема: акцентоноситель ремы выбран здесь в полном соответствии с правилами выбора акцентоносителей в ремах с определенной синтаксической структурой. На этих правилах мы здесь не останавливаемся; в этом же разделе ниже будут приведены некоторые примеры. Во всей полноте правила для составляющих различной синтаксической структуры приводятся в наших работах [Янко 1991; Янко 2001: 190], о выборе акцента см. также [Ковтунова 1976: 65, 146; Русская грамматика, т. 2: §2286—2457; Николаева 1982: 9; Светозарова 1993: 190—191; Bonnot, Fougeron 1982; Bonnot, Fougeron 1983; Фужерон 1993: 182; Кодзасов 1993: 183; Кодзасов 1995: 233; Кодзасов 1996: 195]. Акцент на словоформе *сюда* — как это и должно быть у ремы — нисходящий. Это ИК-1 по Е. А. Брызгуновой [Русская грамматика, т. 1: 98, 109]. Остается предположить, что перед нами рема, а словоформа *сюда* — ее акцентоноситель. Для подкрепления этого решения можно сравнить теперь это предложение с нейтральным предложением (3), где акцентоноситель ремы расположен там, где он должен быть, т. е. в конце предложения.

(3) *Она укусила меня вот сюда* \.

Действительно, акценты и акцентоносители рем в предложениях (2) и (3) совпадают.

Нисходящий тон типа ИК-1 по Брызгуновой мы обозначаем здесь стрелкой вниз \. Соответственно, восходящий тон по типу ИК-3, т. е. с подъемом на ударном слоге акцентоносителя и резким падением на заударных, если таковые имеются, обозначается стрелкой вверх /. ИК-3 — это не единственный восходящий тон русского языка. Например, ИК-6 — это тоже подъем, который, достигнув пика, сохраняется на заударных слогах, а не падает вниз, как при ИК-3. Об ИК-6 см. [Русская грамматика, т. 1: 98, 118]. Наша гипотеза состоит в том, что в сознании носителей русского языка если и имеется понятие

<sup>6</sup> Определения модифицирующих коммуникативных значений — контраста, эмпазы и верификации — см. в нашей работе [Янко 2001: 47, 65], а здесь поясним, что контраст традиционно связывается с выбором из некоего известного заранее говорящему и слушающему множества, а эмпаза — с выражением говорящим сильных чувств по поводу ненормативных явлений жизни. Приведем примеры контрастных коммуникативных составляющих. В предложении *Его новая книга нравится мне больше предыдущей* контрастная тема *новая*. В предложении *Это Вася пришел, а не Маша* контрастная рема *Вася*. В предложении *А какое оборудование завод Продмаш производит серийно?* контрастный несобственно вопросительный компонент вопроса словоформа *серийно*.



о восходящей интонации, то ее «прототипом» служит именно ИК-3 с характерным резким заударным падением тона. У такой гипотезы есть и некоторые «системные» свидетельства: ИК-3 маркирует тему и *да-нет*-вопрос, т. е. компоненты основных типов речевых актов, а акцент ИК-6 обычно связан либо с уникальными (не основными) типами речевых актов (*И куда? они запропас-тились...; А я колбаски? купила...*) или с результатами преобразований линейно-акцентных структур (ср. предложение *Посадил? дед репку*, которое служит результатом трансформации базового предложения *Дед? посадил репку*, т. е. само не является базовым). Восходящий тон типа ИК-6 мы здесь и ниже обозначаем ломаной стрелкой ↑, которая должна отразить, что после подъема тон не падает на заударных, как при ИК-3, а продолжает держаться на достаточно высоком уровне, весьма часто — на том же самом уровне, который был достигнут в результате первоначального подъема. Иногда он несколько падает по естественным причинам, потому что произносится на выдохе: для поддержания интонации на высоком уровне к концу предложения, по-видимому, требуются специальные усилия. О трансформациях (преобразованиях) коммуникативных и о соответствующих им линейно-акцентных структур см. [Ковтунова 1976: 157—158; Падучева 1984; Янко 2001: 137—231].

Вернемся к предложению (2). Рассмотрим глагол *укусила*. Почему носителем восходящего тона здесь служит глагол, и что обозначает восходящий тон? Рассмотрим известные случаи коммуникативно релевантной ударности глагола. Ударность глагола весьма часто выражает верификацию: когда заранее известно, в чем именно состоит положение дел, но неизвестно, имело это положение дел место или не имело, то, когда оно наконец наступает, говорят *-таки укусила, уже укусила* или просто интенсивное *укусила*. Так, когда мы говорим *Вот Вася пришел, и мы все пошли гулять*, это значит, что приход Васи ожидался, и, когда он наконец наступил, мы пошли гулять. Здесь перед нами верификативная тема, о верификации см. [Адамец 1978: 101—103; Янко 2001: 61—62]. Но, как кажется, в предложении (2) значение верификации отсутствует. Ни о каком событии, которое ожидалось бы или о котором говорилось бы в предположительном смысле, ни в самом тексте, ни в экстралингвистическом контексте речи нет. Кроме того, если мы имеем дело с верификацией, то акцент на акцентоносителе верификативной ремы в предложении единственный, а в предложении (2) два акцента: на *руку* и на *укусила*. Значит, акцент на *укусила* не обозначает верификации.

Верификация — это частный случай контраста: выбор между «да» и «нет», «истина» и «ложь». Попробуем предположить, здесь перед нами не верификация, а простой контраст типа *укусила, (а не поцеловала)*. Как кажется, такого значения здесь тоже нет. Таким образом, известные возможности объяснить восходящий тон на глаголе в контексте после нисходящего акцента на именной группе не дают результата.

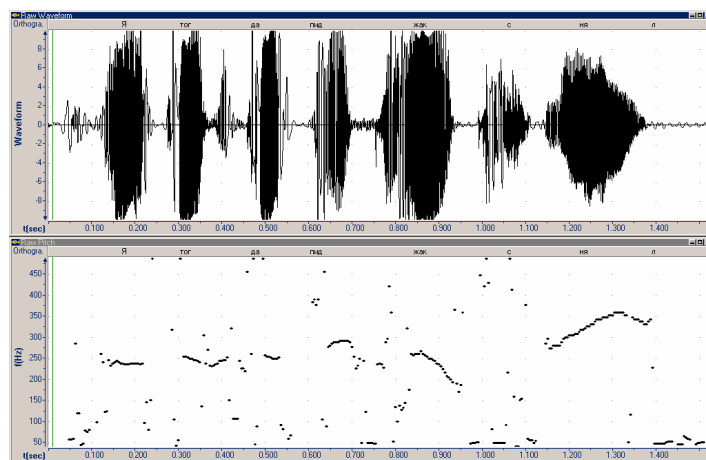
Остается обратиться к более широкому языковому материалу. Переход от анализа *in vivo* к анализу *in vitro* оказывается одним из тех методов, которые навязывают нам наш материал: нам не удается проанализировать структуру,

которая встретилась в тексте, пока мы не выявим интонационные структуры, интонационно и семантически идентичные ей, но реализованные в ином сегментном материале. Здесь параллельно возникает проблема интонационной идентичности, ибо сегментный материал, естественно, влияет на реализацию интонационных структур. Пока мы оставим этот трудный вопрос в стороне, полагаясь на семантическую (функциональную) идентичность, которую мы — предположительно — умеем распознавать путем интроспекции.

Перейдем к подбору примеров с той же интонационной и коммуникативной структурой, что и предложение (2). Действительно, такие примеры найти нетрудно: *Сорока-ворона кашу\ варила\, деток\ кормила\*... Рассмотрим также пример (4).

(4а) *Я тогда пиджак\ снял\*, (4б) *на почту\ поскорее побежал\*, (4с) *жене телеграмму о снижении цен на фрукты\ дал\*. (Потому что личный покой прежде всего.)

Предложение (4а) *Я тогда пиджак\ снял\* устроено в отношении сегментного материала более просто<sup>7</sup>, чем предложение (2), но реализует ту же коммуникативную и линейно-акцентную структуру. Поэтому мы предлагаем рассмотреть также тонограмму предложения (4а). На тонограмме ясно виден подъем на *снял* в конце предложения и падение на словоформе *пиджак*.



Я тогда пиджак снял

Если сравнить предложения (4) с их нейтральными коррелятами, то нетрудно заметить, что носители нисходящего акцента и в других предложениях примера (4) совпадают с акцентоносителями ремы в нейтральных предложениях (5):

<sup>7</sup> Простота сегментного материала, из которого строится предложение (4а), состоит в отсутствии заударных слогов у двух расположенных один за другим носителей интересующих нас акцентов: *пиджАк снял*. ИК-3 при отсутствии заударных слогов подвергается усечению, т. е. заударное падение тогда отсутствует.

(5a) Я тогда снял **пиджак**; (5b) Я побежал на **почту**; (5c) Я дал жене телеграмму о снижении цен на **фрукты**.

Что же касается восходящего тона в предложениях (4), то он фиксируется опять же на глаголе, как и в (2). Итак, наша гипотеза в отношении предложений (2) и (4) состоит в том, что ударность глагола указывает здесь на то, что текст еще не кончился, т. е. функция подъема на глаголе не локальная, а дискурсивная. Ударность глагола направлена на связь с текстом. Поэтому предложение (2) интересно сравнить с предложением (6), в котором никакого указания на то, что продолжение следует, нет:

(6) Она меня вот **сюда** укусила.

И глагол здесь, соответственно, безударен.

Остается вопрос, почему ударность именно глагола служит указанием на незавершенность текста? Наша гипотеза состоит в следующем: глагол здесь выбирается по «остаточному» принципу. Поясним. Все именные группы предложения — это потенциальные акцентоносители тем и рем, т. е. они заняты выполнением других — локальных — функций.

Выше уже говорилось, что существуют правила, которые определяются синтаксически обусловленной иерархией права члена предложения на роль акцентоносителя, а также и другими факторами, прежде всего фактором активации, см. [Янко 1991; Янко 2001: 190]. В соответствии с этими правилами, если именные группы в коммуникативном компоненте с синтаксической структурой S соотносятся с неактивированным референтом, т. е. обозначают новое, преимущественное право на роль акцентоносителя имеет, скажем, второе дополнение, если в предложении есть также подлежащее и первое дополнение. Ср. в предложении *Мышь укусила мальчика в **руку*** акцент на втором дополнении. При изменении порядка слов акцентоноситель, естественно, сохраняется: *Мышь мальчика в **руку** укусила*. На втором месте в иерархии первое дополнение: *Мышь укусила **мальчика***. На третьем — подлежащее: *Настала **ночь***.

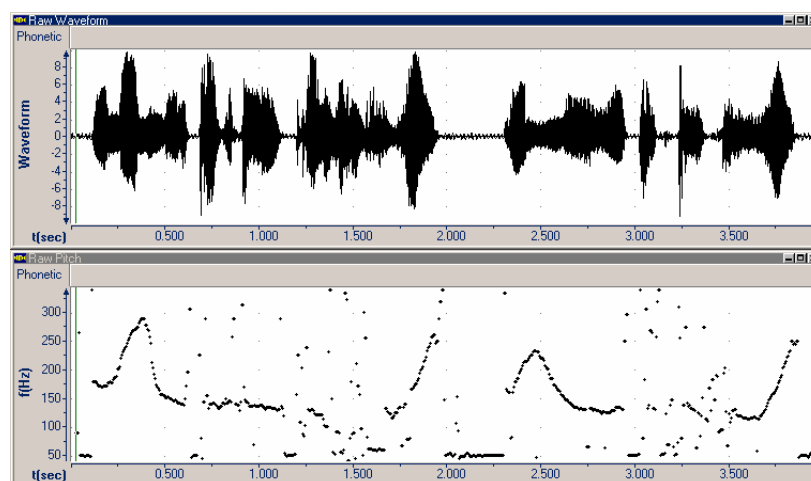
Таким образом, иерархия именных групп в предложении в соответствии с их правом играть роль акцентоносителя соответствует обратному порядку иерархии актантов: при наличии в предложении *n* упорядоченных актантов акцентоносителем служит *n*-ный, если он неактивированный; о нумерации актантов см. [Мельчук 1976: 136].

Всех правил мы здесь не приводим, но приведенных примеров, видимо, достаточно для того, чтобы показать, что ударность именных групп имеет локальную функцию, т. е. выражает коммуникативную структуру предложения. Нетрудно показать, что коммуникативные компоненты предложения, представляющие собой именные группы (NP) и глагольные группы (VP) с дополнениями, в качестве акцентоносителей в большинстве имеют опять же не глагол, ср. примеры из книги [Ковтунова 1976: 146]: *скрылся за ближним **лесом***; *пишет друзьям длинные **письма***; *натюрморт с зеленой лампой на фоне **ночного неба***. Поэтому роль «окна» в текст приходится на глагол. Заметим, что глагол, вообще говоря, тоже может быть акцентоносителем ремы, если неактивированных именных групп в предложении нет: *⟨В консерваторию он не*

попал.} *Пел* \ плохо; *Она меня тогда укусила* \. Но, в принципе, глагол, во всяком случае в отсутствие в предложении контрастов, — это наиболее свободный от локальных акцентов компонент предложения. Таким образом, мы предполагаем, что в предложениях типа (2) и (4) акцент на глаголе «работает» не на предложение, а на текст.

Для полноты картины заметим, что если глагол в предложении связан одновременно и с локальной функцией, т. е. он акцентоноситель ремы, и с дискурсивной, т. е. он имеет и катафорическую функцию, то на нем фиксируется композиция обоих акцентов — одновременно и нисходящий (или низкий ровный), и восходящий, предвещающий продолжение текста, т. е. в сумме — нисходяще-восходящий акцент. Существенно, что ударный слог — низкий, а повышение приходится на заударные слоги, если они есть. Если их нет, на глаголе фиксируется нисходяще-восходящий тон:

(7) *Она меня тогда укусила* \ /; *Он ее мне тогда дал* \ /.



*Она меня тогда укусила; Он мне ее тогда дал*

Акцент, у которого заударная часть находится выше ударной, а при отсутствии заударной нисходяще-восходящее движение тона приходится на ударный слог, Е. А. Брызгунова описывает как ИК-4, см. [Русская грамматика, т. 1: 98—99, 107, 115]<sup>8</sup>.

Стратегия интонационного поддержания связности текста в разговорной речи, которую мы только что рассмотрели, не единственная в своем роде. Существуют и другие языковые техники для выражения связности

<sup>8</sup> ИК-4 представляет собой фигуру, которая подвергается компрессии (англ. compression) в отсутствие заударных слогов, в отличие, например, от ИК-3, которая подвергается усечению (англ. truncation), потому что ИК-3 теряет нисходящий компонент тональной кривой, если заударная часть отсутствует.

текста. К ним мы обратимся ниже. Здесь же мы покажем, что уместная в разговорной речи демонстрация того, что текущий речевой акт выражает лишь звено в цепи событий, т. е. что текст имеет продолжение, не всегда годится для возвышенного стиля. Ср. предложение высокого стиля (8):

(8) *Природа жаждущих степей / Его в день гнева\ породила.*

В примере (8) акцентоноситель ремы — словоформа *гнева*. Это лишь одно из возможных прочтений этого предложения. Возможны и другие трактовки, например, очень часто чтецы придерживаются исполнения, при котором коммуникативное членение вообще не отражается: стихотворный текст читается на ровном тоне. Важно, что прочтение (8), которое мы показываем с помощью интонационной разметки, возможно.

Известно, что у этого предложения есть продолжение. Значит, рассмотренная выше стратегия поддержания когерентности текста как будто бы должна быть приложима к предложению (8):

(9) *Природа жаждущих степей / Его в день гнева\ породила^.*  
*И зелень мертвую ветвей / И корни ядом напоила* (Пушкин).

Представляется, однако, что такое исполнение не соответствует стилю текста (но не семантике предложения и не структуре текста). Более высокий стиль заставляет нас не смотреть с нетерпением вперед, а остановиться на текущем предложении (8) и подумать. Неуместность прочтения (9) может служить свидетельством в пользу того, что рассмотренная стратегия принадлежит сугубо разговорному стилю, ср. также: *И он к устам моим приник^ / И вырвал грешный мой язык* (Пушкин).

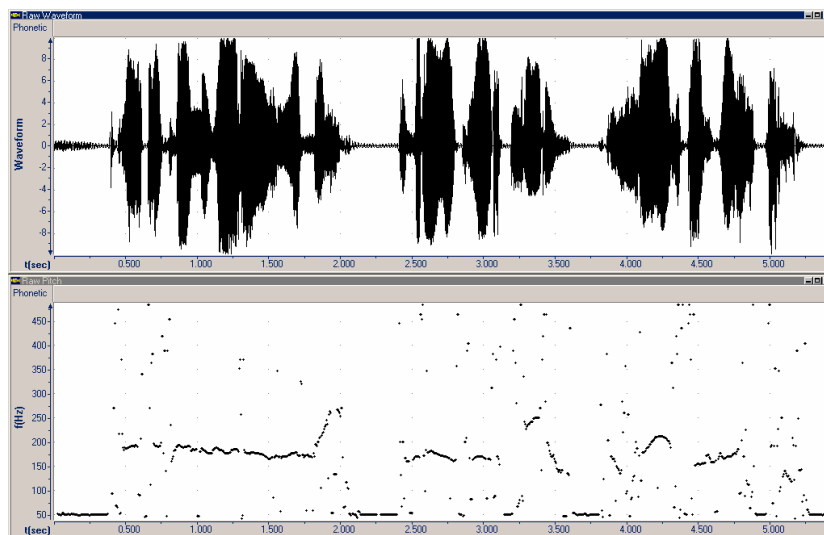
Кроме того, можно видеть, что в рамках известной лексико-синтаксической структуры и прагматического контекста коммуникативные и, соответственно, интонационные стратегии могут быть разные: говорящий может указывать на то, что его повествование еще не кончилось, а может не указывать. Контекст, безусловно, может навязывать говорящему тот или иной выбор, но решающую роль играет коммуникативный замысел говорящего, его план реализации речевого акта.

Какова специфика данной стратегии по сравнению с другими стратегиями поддержания когерентности текста? Наша гипотеза состоит в том, что стратегия с конечным ударным глаголом применяется для повествования о чередовании событий, каждое из которых рассматривается как отдельное, законченное и продвигающее повествование вперед.

Стратегия с конечным глаголом не единственная в своем роде. Рассмотрим другие способы поддержания когерентности текста. Одна из таких стратегий строится по типу множественных тем, т. е. каждое предложение представляет собой тему, а последнее предложение представляет собой ремю, ср. (10); см. след. стр.:

(10) *Я тогда наварила еды^, убрала квартиру^ и села ждать гостей\.*

Акцентоносители таких тем выбираются по тем же правилам, что приводились выше как правила выбора акцентоносителя рем. Фактически рассмотренные

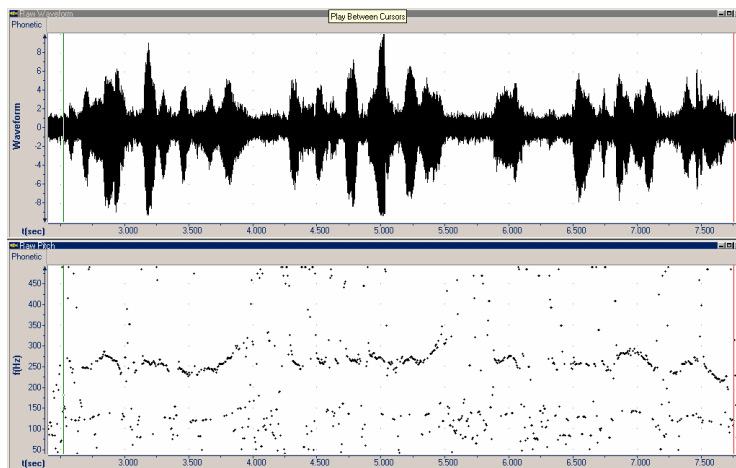


*Я тогда наварила еды, убрала квартиру и села ждать гостей.*

примеры правил касаются выбора акцентоносителя в любой коммуникативной составляющей (как темы, так и ремы), которая имеет синтаксическую структуру типа S. Нетрудно видеть на тонограмме предложения (10), что акцентоносители тем — словоформы *еды* и *квартиру* — несут на себе «тематический» акцент ИК-3.

Рассмотрим пример применения подобной стратегии в детской речи. Здесь, как и в примере (1), ребенок пересказывает содержание своего сна:

(11) *За мной бегала Баба-Яга, в общем, я от нее бегу и думаю: «Куда же мне побежать?»»*



*За мной бегала Баба-Яга, в общем я от нее бегу, и думаю: «Куда же мне побежать?»»*

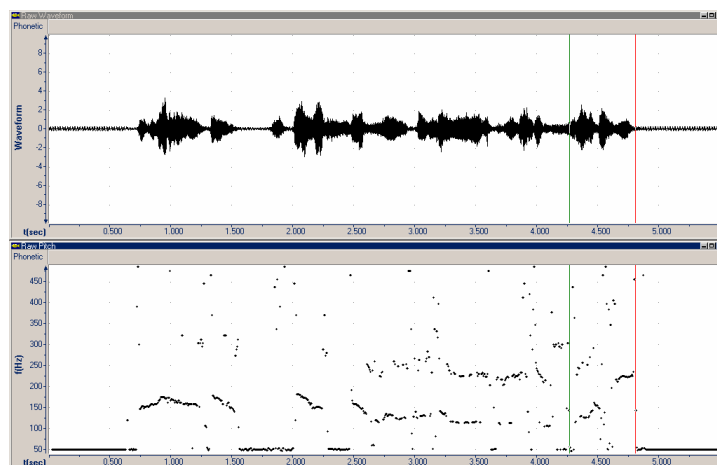
Тонограмма примера (11) показывает, что на словоформах *Баба-Яга* и *бегу* — акцентоносителях неконечных предложений фрагмента текста — фиксируется «тематический» акцент ИК-3, а на конечной словоформе *побежать* мы находим нисходящий акцент ИК-1, характерный для вопроса с вопросительным словом. На вопросительном слове *куда* тоже имеется нисходящий акцент, что вполне укладывается в рамки просодической структуры вопроса с вопросительным словом, ср. [Русская грамматика, т. 1: 99].

Примеры показывают, что все интонационные фигуры должны рассматриваться совместно с принципами выбора акцентоносителя и что у коммуникативных составляющих с разными принципами выбора акцентоносителя коммуникативные и интонационные структуры разные. На это, как правило, в работах по интонации внимание не обращается. В крайнем случае говорится, что ударно самое важное, самое существенное и т. д. Однако нетрудно показать, что акцентоносители тем и рем вычислимы сугубо формально.

Для полноты картины упомянем еще две известные нам стратегии, указывающие на то, что продолжение повествования следует.

Одна из стратегий состоит в подъеме последнего заударного слога акцентоносителя ремы, если акцентоноситель ремы расположен в абсолютном конце предложения и если у него имеется заударный слог. Ср. тонограмму фрагмента телепередачи «Принцип домино», предложение (12). Здесь на двух конечных заударных слогах предложения в словоформе *женщиной* (слоги *-щиной*) фиксируется существенный подъем. Он выделен курсорами (вертикальными линиями на фонограмме). Несмотря на некоторое эхообразное зашумление, зафиксированное системой на более высокой частоте, чем частота анализируемого текста, подъем прекрасно виден на тонограмме.

(12) *Мы говорим о том, что есть суть взаимоотношений между мужчиной и женщиной* ↘ ↗.

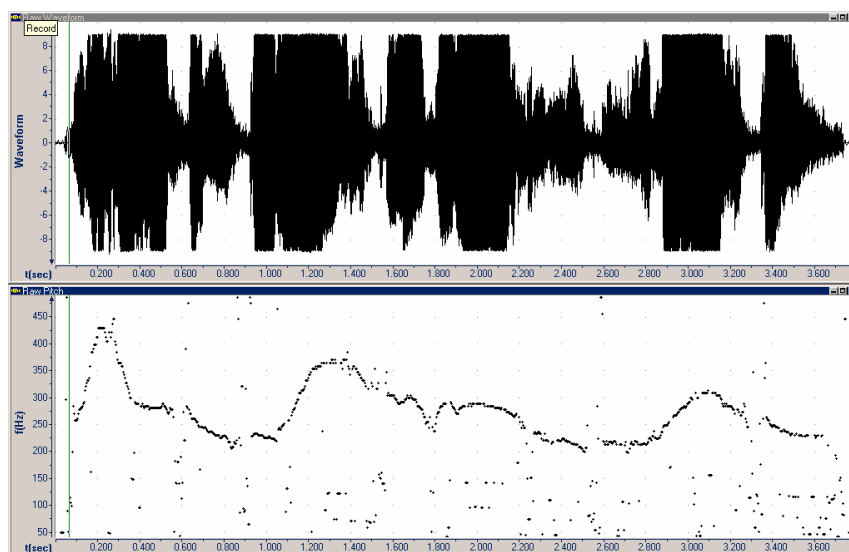


*Мы говорим о том, что есть суть взаимоотношений между мужчиной и женщиной*

Если заударных слогов нет и последний слог ударный, то на нем может фиксироваться нисходяще-восходящий акцент ИК-4. Подобная стратегия встречается в подготовленной речи образованных людей. Для бытовой речи она нехарактерна. Заметим также, что если акцентоноситель ремы — глагол, данная стратегия становится неотличимой от стратегии, которую иллюстрируют примеры (7).

И последний акцентный тип, весьма часто использующийся в контексте незавершенности текста, а также незавершенности предложения — в ряду однородных членов, выражает не собственно незавершенность, а другое значение, о котором пойдет речь ниже, в разделе 1.6. В данном случае интонация моделирует процесс припоминания и перечисления объектов или событий по мере припоминания. Эта интонация может отражать не только припоминание, но мыслительные процессы вообще. Обратимся к предложению из массива примеров детской речи.

(13) *Мы заехали на поля-янку на березовую, погуля-яли там.*



*Мы заехали на поля-янку на березовую, погуля-яли там*

Тонаграмма показывает, что на словоформах *полянку* и *погуляли* фиксируется особый акцент. Это пологий подъем, т. е. совершающийся в длительных временных интервалах, с последующим ровным или слегка нисходящим тоном, который не падает до базового уровня. Этот подъем существенно отличается от «тематического» подъема ИК-3, который можно видеть на этой же тонаграмме на словоформе *мы*. На *мы* фиксируется крутой подъем с падением до базового уровня на последующем слоге *за-* в словоформе *заехали*, а на словоформах *полянку* и *погуляли* можно наблюдать растяжение



ударного слога и растяжение заударного фрагмента, который держится довольно высоко вплоть до конца предложения<sup>9</sup>. Ударный слог имеет существенно более длительное время звучания, чем у словоформы *мы*. Слог *мы* длится 0,154 сек, а слог *ля* в *погуляли* — 0,344 сек. В терминах интонационных конструкций этот тип подъема следует определять как ИК-6, однако у ИК-6 есть и другие реализации, когда подъем и фрагмент, следующий за ним, не растянут, как в примере (13), а имеет нормальную длительность, ср. примеры (14) и (20) ниже. Можно заключить, что в предложении (13) реализуется особый акцент, т. е. в том, что мы используем для обоих акцентов один значок (Г), есть доля условности. «Растянутый» акцент мы дополнительно помечаем удвоением гласной акцентоносителя: *погуля-ялиГГ*. О выборе акцентоносителя в предложениях типа (13) будет сказано ниже в разделе 1.6. Данная стратегия очень частотна в русской речи.

Итак, подводя итоги обсуждения примера (2) и другого сопутствующего материала, отметим, что в русском языке существует не один, а несколько интонационных показателей незавершенности текста. Каждая из стратегий, выражающих незавершенность, имеет свою специфику. Пример (2) демонстрирует стратегию разговорной речи, которая соотносится с цепочкой законченных событий, упоминание о каждом из которых продвигает повествование вперед. Средства выражения — ИК-3 на глаголе в финали предложения при сохранении «рематического» акцента ИК-1 на акцентоносителе *ремы*. Примеры (10) и (11) выражают незавершенность по принципу множественных тем. Такая стратегия применяется не только в тексте, но и внутри простого предложения, причем не только в контексте однородных членов, но и в контексте разнородных тем (скажем, детерминанта и подлежащего в роли двух и более последовательных тем). Акцентоносители тем выбираются согласно правилам выбора акцентоносителя в коммуникативном компоненте с соответствующей синтаксической структурой (именной или глагольной группой, целым предложением). Это универсальная стратегия разговорной речи. Пример (12) иллюстрирует незавершенность, которая выражается подъемом последнего безударного слога в предложении. В разговорной речи эта стратегия используется редко. Она имеет своего рода «театральный» оттенок. И наконец, пример (13) иллюстрирует весьма частую в русской разговорной речи стратегию, моделирующую припоминание говорящим череды событий или объектов. Средство выражения — акцент ИК-6 плюс существенная растянутость ударной и заударной части. Эта стратегия весьма характерна для речи женщин и детей.

Для понятия незавершенности оказывается существенным различие по признаку «локальная незавершенность / дискурсивная незавершенность». Дискурсивная незавершенность характерна для стратегий, проиллюстриро-

<sup>9</sup> То падение на заударных, которое мы наблюдаем на тонограмме предложения (13), можно объяснить физиологией произнесения предложения на выдохе. При известном усилии этого падения может и не происходить, ср. тонограмму примера (15) ниже.

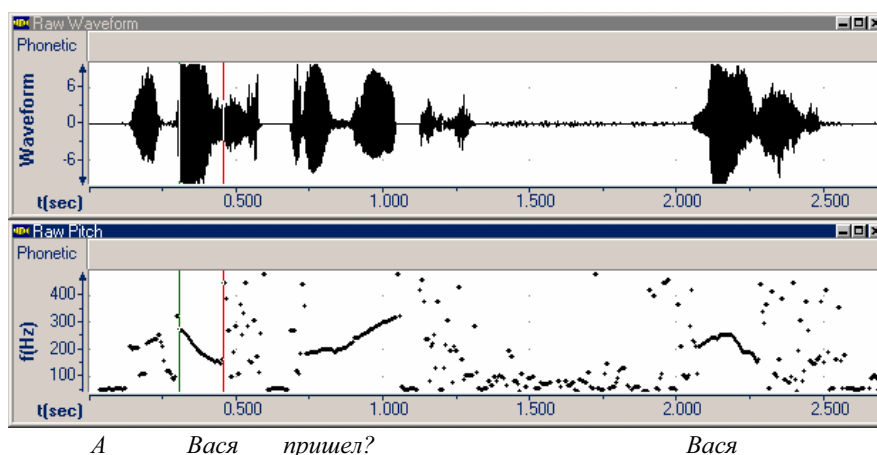
ванных примерами (2) и (12), а в примерах (10)—(11) и (13) фигурирует незавершенность, которая также реализуется и в рамках предложения. Таким образом, мы видим, что некоторые типы незавершенности могут использоваться и локально, и в рамках дискурса.

Незавершенность в контексте повествовательного предложения оказывается связанной с подъемом тона, однако вывод о том, что подъем тона — это показатель незавершенности вообще, был бы преждевременным, потому что в контексте вопроса локальная незавершенность, напротив, выражается падением тона: *А Вася\ пришел?*<sup>10</sup> Более вероятно, что начальный коммуникативный компонент типа темы или несобственно вопросительного компонента вопроса несет тон, противоположный тону, который маркирует собственно иллокутивный компонент — рему или собственно вопросительный компонент.

Рассмотренные выше предложения показывают, что выбор акцентоносителя (см., например, обсуждение примеров (2) и (4)) служит отличительным признаком коммуникативных и, соответственно, просодических стратегий говорящих при совершении ими речевых актов.

С методологической точки зрения анализ разобранных примеров говорит о том, что при атрибуции типов акцентов, типов интонационных структур (последовательностей коммуникативно релевантных акцентов) и их значений нам приходится идти по пути расширения сегментного материала, т. е. подбирать примеры, которые — предположительно — связаны с той же коммуникативной функцией, что и исходное анализируемое предложение. Существенную роль также играют эксперименты, связанные с из-

<sup>10</sup> На тонограмме ниже зафиксирован вопрос *А Вася\ пришел?* и одиночная реплика *Вася* в функции ремы. Как мы видим, у начала вопроса (несобственно вопросительного компонента) *А Вася* (выделено курсорами) та же интонационная кривая, что и у реплики *Вася*.

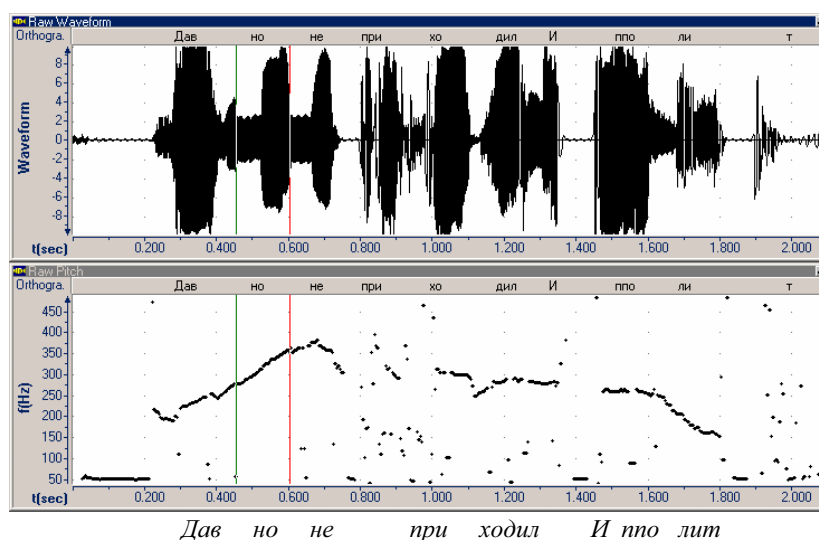


менением порядка слов, стиля, жанра, таксономической категории глагольных групп<sup>11</sup>. Таким образом, при анализе звучащей речи оказывается, что одних только «натуральных» образцов бывает недостаточно, и мы неминуемо обращаемся к подбору искусственно сконструированных или специально подобранных примеров, которые помогают идентифицировать наблюдаемые феномены.

### 1.2. Просодические свойства лексем

Рассмотрим квазиминимальную пару (14) и (15); см. след. стр.<sup>12</sup>.

(14) Давно↑ не приходил Ипполит↘;

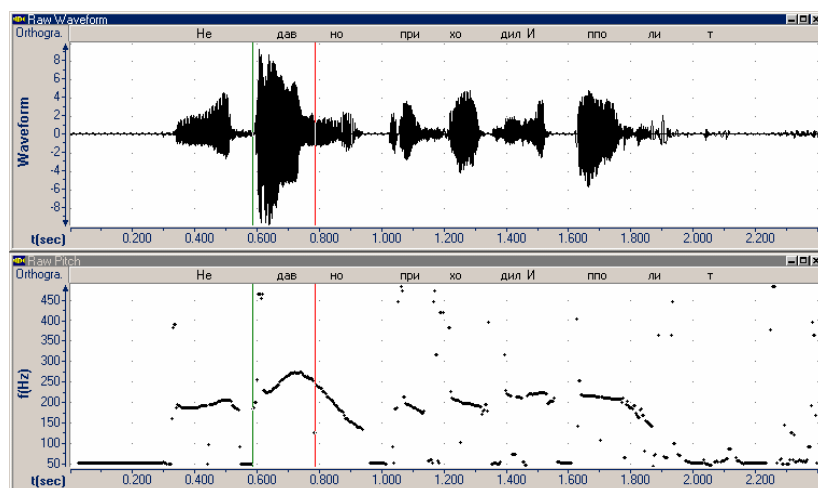


(15) Недавно↗ приходил Ипполит↘.

Вопрос. Чем и почему отличаются акцентные кривые предложений (14) и (15)?

<sup>11</sup> Поскольку положение о корреляции между таксономической категорией и интонационной структурой осталось в данном разделе непроиллюстрированным, приведем следующий пример. Коммуникативная структура предложений (и соответствующая ей просодическая структура) нарративного стиля с препозитивным глаголом типа *Посадил дед ретку, Снесла курочка яичко, Сидит чукча на барже и Возвращается муж домой* не сочетаются с таксономической категорией свойств: \*Тонет в воде железо; \*Растворяется в воде сахар (см. более детально [Янко 2001: 214]).

<sup>12</sup> Нам уже приходилось неоднократно обращаться к анализу примеров из данного и следующего разделов для иллюстрации различных феноменов коммуникативных структур, см. [Янко 2001]. Здесь мы снова обращаемся к этим примерам для анализа их просодических структур.



*Не    дав    но    при    хо    дил    Ипполит*

Ответим на первый вопрос: чем они отличаются? Мы видим, что концы предложений одинаковые: на ударном слоге словоформы *Ипполит* в обоих примерах фиксируется акцентное падение. Мы уже говорили выше, что это типичный акцент ремы ИК-1. Обратимся к началу предложений. В (14) мы видим подъем на ударном слоге словоформы *давно* и ровное течение тона на заударных вплоть до падения на акцентоносителе ремы словоформе *Ипполит*. В предложении же (15) подъем, который фиксируется на ударном слоге словоформы *недавно*, завершается очевидным падением на заударных по типу ИК-3.

Акцент на *давно*, который характеризуется подъемом на ударном слоге с последующим ровным тоном или несущественным падением на заударной части, видимо, следует понимать как ИК-6. Однако здесь перед нами иной акцент, чем «растянутый» акцент в примере (13). В связи с этим сравним (14) и (16). В (16) фигурирует растянутый акцент, тоже характеризующийся подъемом и ровной заударной частью, но сопровождающийся также существенным удлинением ударного слога и последующей заударной части.

(16) *Что-то Ипполи-итΓ давно не приходил.*

Удлинение мы помечаем удвоением гласной растянутого слога. Сравнительный анализ примеров (14) и (16) — это дополнительное свидетельство в пользу того, что под ИК-6 скрывается два акцента: такой, как в (14) *ДавноΓ не приходил Ипполит*, и такой, как в (16) *Что-то Ипполи-итΓ давно не приходил*. Существенно также, что в предложениях типа (14) и в предложениях типа (16) различный выбор носителя акцента ИК-6.

Вернемся к анализу примеров (14) и (15).

Различие в акцентах на *недавно* и *давно* отражает различие коммуникативных функций у препозитивных *недавно* и *давно*. В примере (14) *давно* — это фрагмент ремы, но не собственно рема (не акцентоноситель ремы),

а все предложение в целом — это нерасчлененная рема со словоформой *Ипполит* в роли акцентоносителя ремы. В предложении же (15) препозитивное наречие *недавно* — это тема, а *приходил Ипполит* — рема.

Различие коммуникативных функций у препозитивных *недавно* и *давно* связано, в свою очередь, с различием толкований *недавно* и *давно*. Значение у *давно* таково, что оно не позволяет этой лексеме быть нормальной ортотонической темой. На эту особенность *давно* впервые обратила внимание Е. В. Падучева [Падучева 1997]. *Давно* может также играть роль заударной темы, т. е. темы, расположенной после другой — начальной — темы: *Я давно не видела Васю*. Здесь словоформа *я* — тема, *давно* — заударная тема, а *не видела Васю* — рема. То, что *давно* не бывает полноценной темой, имеет интонационное свидетельство: на препозитивном *давно* не может фиксироваться типично «тематический» акцент ИК-3. Действительно, акцентная кривая предложения (15) не применима к предложению (14):

(17) \**Давно* / не *приходил Ипполит* \.

Попутно следует отметить, что ИК-3 темы в контексте повествовательного предложения, вообще говоря, заменимо на ИК-6, т. е. ИК-3 в беглой речи дает ИК-6, но, как мы видим, не наоборот: фонологический акцент ИК-6 не имеет в качестве своего фонетического варианта акцент ИК-3<sup>13</sup>.

Почему *давно* не бывает ортотонической темой? Ответ на этот вопрос состоит в следующем. В отличие от *недавно*, *давно* имеет референцию к событию, по времени далекому от говорящего. Между тем тема, будучи отправной точкой высказывания, как правило, обозначает то, что находится близко. О другой паре лексем с аналогичной коммуникативной и просодической «полярностью» *далеко* и *недалеко* см. нашу работу [Янко 2001: 263—266]; там же литература по теме.

У *давно* есть еще одна интересная особенность: в контексте видо-временных форм, соотношенных с прошлым, *давно* — не только не тема, но и еще и обязательно — рема предложения:

(18) *Давно* \ *приходил Ипполит*.

Более детально коммуникативные и просодические особенности слова *давно* и проблема, почему *давно* не бывает темой, а его синонимы *давным-давно* и *когда-то давно* свободно играют роль полноценных тем, обсуждаются в [Янко 2001: 255—271].

Итак, мы ответили на вопрос: чем и почему отличаются акцентные кривые предложений (14) и (15) с препозитивными наречиями *давно* и *недавно*? Параллельно мы познакомились с тремя основными акцентами и их функция-

<sup>13</sup> В связи с обсуждением фонологического статуса акцентов ИК-3 и ИК-6 и их фонетических вариантов приведем следующую аналогию из сегментной фонологии. Фонема /o/ имеет в качестве своих фонетических реализаций звуки [a] и [o], между тем фонема /a/ не имеет [o] в качестве своего фонетического варианта. Аналогично ИК-3 имеет ИК-6 в качестве своего фонетического варианта, но ИК-6 не имеет ИК-3 в качестве своего фонетического варианта.

ми — одним нисходящим — ИК-1 и двумя восходящими — ИК-3 и ИК-6. ИК-1 — это типичный акцент ремы, ИК-3 — темы и *да-нет-вопроса*<sup>14</sup>. Акцент ИК-6 (нерастянутый) — показатель того, что рема еще не кончилась. Это акценты, которые формируют основные типы русских речевых актов, либо базовые, либо получаемые из базовых путем стандартных трансформаций. (Пример трансформации коммуникативной и, соответственно, линейно-акцентной структуры предложения приводится в следующем разделе.)

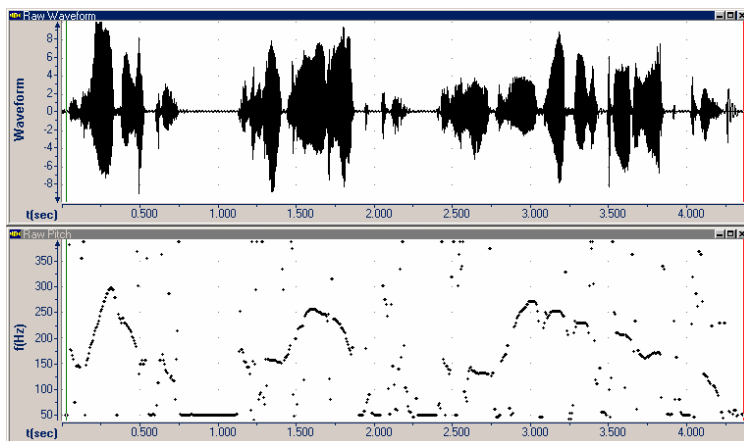
Результат анализа примеров (14) и (15) состоит в следующем. Во-первых, мы привели дополнительные (по сравнению с предыдущим разделом, см. обсуждение примера (13)) аргументы в пользу того, что ИК-6 имеет смысл разделить на два акцента. Во-вторых, было показано, что акцент ИК-6 бывает не заменим на ИК-3, т. е. не имеет ИК-3 в качестве фонетического варианта. И наконец, была продемонстрирована просодическая оппозиция, связанная с оппозицией лексической семантики.

### 1.3. Трансформации коммуникативной структуры и соответствующие линейно-акцентные преобразования

Чтобы проиллюстрировать понятие трансформации в применении к коммуникативным структурам, рассмотрим пару предложений (19) и (20).

(19) Дед ↗ посадил репку ↘.

(20) Посадил ↗ дед репку ↘.



Дедушка<sup>15</sup> посадил репку      Посадил дедушка репку

<sup>14</sup> Попутно ответим на вопрос: как отличить *да-нет-вопрос* от темы? За ИК-3 темы неминуемо следует ИК-1 ремы, как в предложении (11) **Недавно** ↗ приходил *Ипполит* ↘, а ИК-3 вопроса — это конечный акцент: **Недавно** ↗ приходил *Ипполит*?; *Ипполит* ↘ **давно** ↗ приходил?

<sup>15</sup> Мы намеренно меняем здесь словоформу *дед* на словоформу *дедушка*, чтобы избежать глухого согласного на конце словоформы-акцентоносителя ИК-6.

В предложении (19) тема *дед*, а рема — *посадил репку*. Рема здесь состоит из двух словоформ *посадил* и *репку*. При трансформации, результатом которой оказывается предложение (20), рема расщепляется на два фрагмента *посадил* и *репку*, а тема помещается в образовавшуюся при разрыве ремы нишу. Эта трансформация впервые была выделена И. И. Ковтуновой [Ковтунова 1976: 122] под именем дислокации ремы. Результатом и целью этой трансформации оказывается помещение темы между началом и концом предложения в позицию Ваккернагеля. Тема уходит на второе место, а глагол, соответственно, выходит на первое, но темой при этом не становится, а оказывается в той же коммуникативной функции, что и препозитивное наречие *давно* в примере (14), т. е. играет роль фрагмента ремы, предшествующего акцентоносителю ремы. Акцент ИК-6 на препозитивном глаголе говорит о том, что рема еще не кончилась. Существенно, что произнесение с акцентом темы на глаголе — во всяком случае при условии сохранения тех семантических свойств, которыми обладает начальное предложение русской народной сказки, невозможно — такая процедура меняет значение предложения:

(21) *Посадил* / *дед репку*, *(а выкопал ананас)*.

В предложении (19) тема *дед* (или *дедушка* на тонограмме) несет типичный акцент темы ИК-3, а в предложении (20) — на препозитивном глаголе акцент, который мы — с некоторой долей условности — назвали ИК-6 (нерастянутый). Тема *дедушка* отведена на второе место и коммуникативно подавлена, с чем связан и семантический эффект данной трансформации. Если начальная ортотоническая тема в предложении отсутствует, предложение лишается привычной точки отсчета для совершения иллокутивного акта и говорящий сразу погружается в гущу событий. Говорящий отказывается от привычного старта речевого акта — темы, на роль которой здесь претендует известный дед. Тем самым преодолевается бинарный принцип коммуникативной структуры повествовательного предложения. Перед мысленным взором коммуникантов возникает цельная картина прошлого (или будущего, ср. *Поеду* / *я завтра на дачу*). В предложениях *Посадил* / *дед репку* или *Возвращается* / *Петька из разведки* создается впечатление, что событие, которое разворачивалось вне восприятия говорящего и слушающего, происходит как будто у них перед глазами. Между тем к сообщению о событии, которое действительно разворачивается перед глазами, эта структура неприменима. Мы говорим *Выходит* / *на площадку нападающий Иванов*, только если действие происходило вчера и говорящий вспоминает, как это было. А в комментарии к футбольному матчу, т. е. в жанре репортажа, можно только сказать *На площадку* / *выходит нападающий Иванов* с темой на привычном месте. Это тема *на площадку*. Более подробно см. [Янко 2001: 197—226].

Анализ квазиминимальной пары (19)—(20) иллюстрирует изменение линейно-акцентной структуры, сопровождающее изменение коммуникативной структуры, и семантический эффект такого преобразования. Мы также получаем дополнительное свидетельство того, что акцент ИК-6 в начале предложения может быть не заменим на ИК-3. Один из выводов здесь

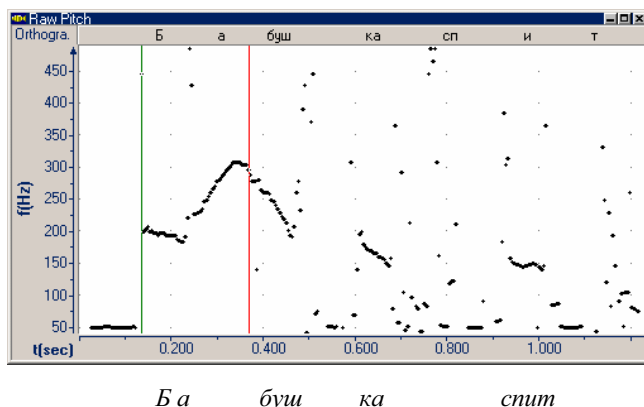
такой. Поскольку ИК-3 и ИК-6 различаются только своей заударной зоной, это значит, что для русского языка движение тона на заударной области служит дифференциальным признаком акцентов: мы видели, что при взаимозамене этих акцентов может меняться значение. Отсюда следует, что автосегментная модель интонации Дж. Б. Пьерхамберт [Pierrehumbert 1980], которая строит цепочку акцентов (pitch accents) исходя из ударных слогов в предложении, не может быть в неадаптированном виде приложена к анализу русского языка. Это, впрочем, не значит, что русский язык не может использовать нотацию, разработанную в работах Дж. Б. Пьерхамберт: заударные слоги могут быть описаны в терминах фразовых акцентов (phrase accents), которые следуют за ударными. Однако важен принцип, на котором строится модель и который был разработан для описания другого языка (американского варианта английского).

#### 1.4. Роль сегментного материала

Рассмотрим еще один поучительный пример, который иллюстрирует обманчивость объективных данных тонограмм и необходимость, во-первых, постоянно апеллировать к фактору значения, а во-вторых, учитывать позицию акцентоносителя в кругу сегментного материала.

В работе Г. И. Ивановой-Лукьяновой [Иванова-Лукьянова 1989] акцентоносители в примерах *Вы мою сестру не судите*, *Вы же ничего не записали*, *Вы все перепутаете* рассматриваются как несущие тон ИК-3, т. е. восходящий. Заметим, что если бы это действительно был акцент ИК-3, то тогда повествовательное предложение и императив интонационно не отличалось бы от *да-нет*-вопроса. Аналогично в американской традиции примеры типа *John died* 'Джон умер' как ответ на вопрос *Why are you looking so glum?* 'Почему ты такой мрачный?' иногда рассматриваются в нотации как высокие — Н (Дж. Хиршберг, устное сообщение). Действительно ли в рассматриваемых предложениях имеет место фонологический восходящий акцент? Обратимся к примерам.

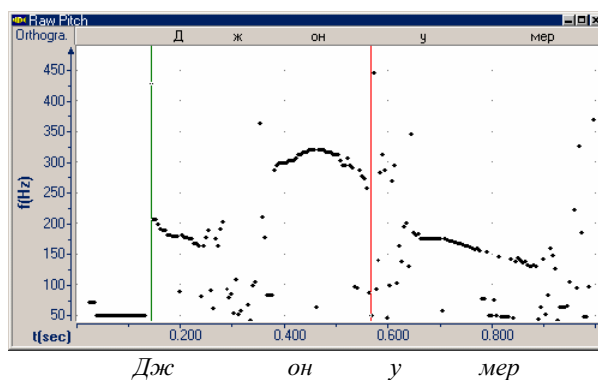
(22) *(Тише). Бабушка спит.*





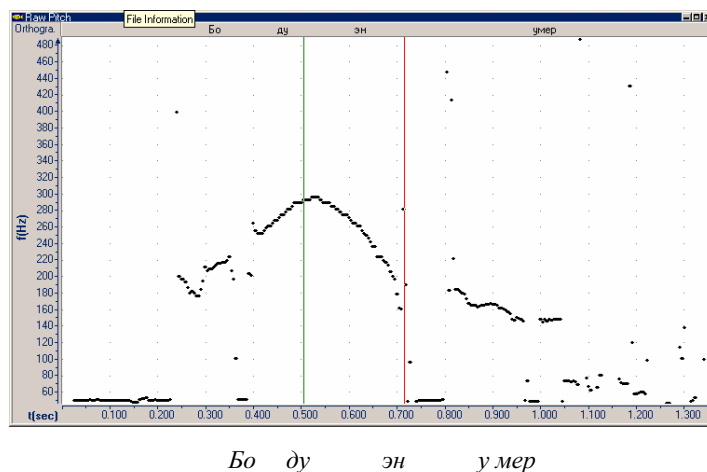
Действительно, нельзя не признать, что тон на ударном слоге в словоформе *бабушка* — он здесь выделен курсорами — чрезвычайно похож на тот, который мы наблюдали у темы в предложении (15) с *недавно*. Обратимся к более широкому языковому материалу. Расширим круг анализируемых предложений. Рассмотрим тонограмму предложения (23):

(23) *Джон умер.*



Мы видим, что здесь ударный слог несколько больше смещен в сторону нисходящего склона кривой. Еще один пример, у которого ударный слог еще больше смещен к нисходящему движению тона по сравнению с предложениями (22) и (23), — это предложение (24):

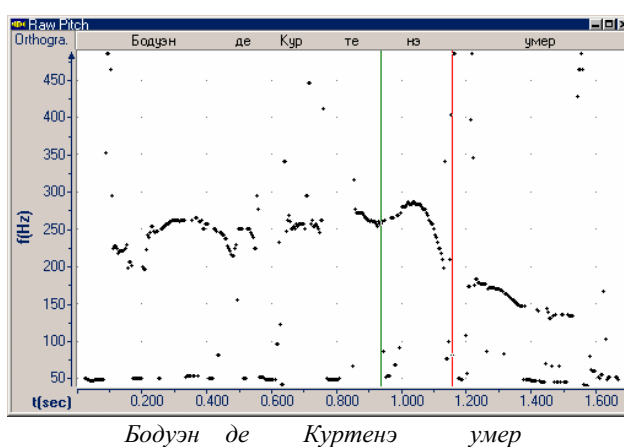
(24) *Бодуэн умер.*



В примере (24) на ударный слог приходится полностью нисходящий склон кривой. Однако трудно предположить, чтобы у предложений *Джон умер* и *Бодуэн умер* могла быть разная с фонологической точки зрения интонация. Поэто-

му возникает гипотеза о том, что тон, который обслуживает данный смысл, — фонологически нисходящий, но в отсутствие предупредного сегментного материала на ударном слоге он должен реализовать на себе и существенный подъем — для того, чтобы «набрать высоту» и чтобы нисходящему тону было откуда падать. Эту гипотезу подтверждает пример (25) с обширным предупредным началом, на которое и приходится необходимое восходящее движение тона:

(25) *Бодуэн де Куртене умер.*

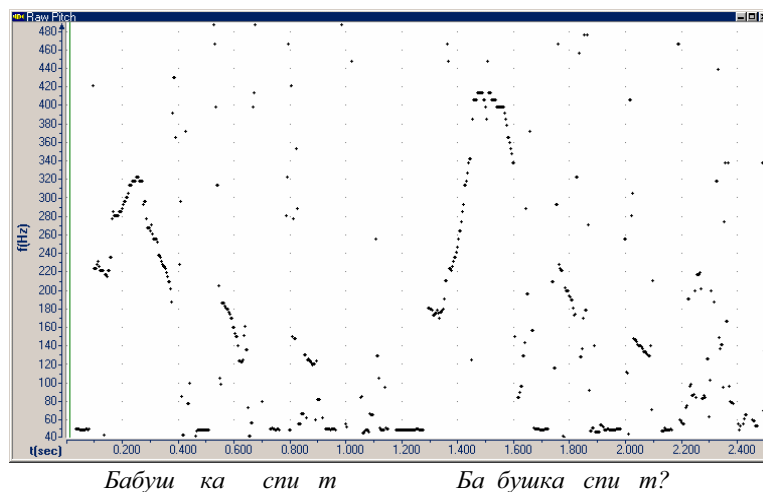


Можно также заметить, что в примере (25) некоторое восходящее движение наблюдается и внутри самого ударного слога. Ударный слог выделен курсором. Можно предположить, что для данного акцента в русском языке характерен так называемый поздний тайминг, т. е. в определенных сегментных условиях нисходящее движение тона, которое составляет фонологическую сущность данного акцента, приходится на завершающий фрагмент ударного гласного, а также на закрывающие слог согласные. А судя по примеру (22), нисходящий тон может сдвигаться даже на соседний слог. Заметим, что если бы мы приняли точку зрения Г. И. Ивановой-Лукьяновой [Иванова-Лукьянова 1989] (ср. ее пример *Вы все перепутаете*), считающей данный акцент восходящим, то тогда бы речь могла идти о раннем тайминге, так как восходящее движение тона приходится на начало слога или даже на предшествующие слоги, при том что завершается слог движением вниз.

И последняя тонограмма показывает, что даже в предложении с лексико-синтаксической структурой (22), у которого акцентоноситель отличается отсутствием предупредных слогов, рассматриваемый акцент отличается от ИК-3 темы или вопроса. Акцент, который фиксируется на акцентоносителе примеров (22)—(25), в терминах Е. А. Брызгуновой мы бы определили как ИК-2 — фонологически нисходящий интенсивный. В дальнейшем ИК-2 мы будем обозначать жирной стрелкой **➤**. Об ИК-2 см. [Русская грамматика, т. 1: 98—99]. К обсуждению акцента ИК-2 мы вернемся в разделе 1.5.

Рассмотрим сравнительную тонограмму предложения (22) *⟨Тихо⟩. Бабушка ↘ стит* и вопроса (26) с той же лексико-синтаксической и линейной структурой:

(26) *Бабушка ↗ стит?*



Можно видеть, что подъем у ИК-3 вопроса более крутой, чем у ИК-2 в отсутствие предупредного начала, т. е. подъем на ИК-3 совершается в меньшую единицу времени, и он более высокий, т. е. он реализуется в большем диапазоне частот.

Итак, апелляция к фактору значения и анализ широкого сегментного материала позволяет нам уточнить интерпретацию фонологической сущности акцента. Соответственно, удастся проиллюстрировать феномен наличия у одной интонационной единицы нескольких фонетических вариантов. Это говорит о том, что при анализе интонационных единиц как двусторонних сущностей языка одной только фонетической транскрипции недостаточно.

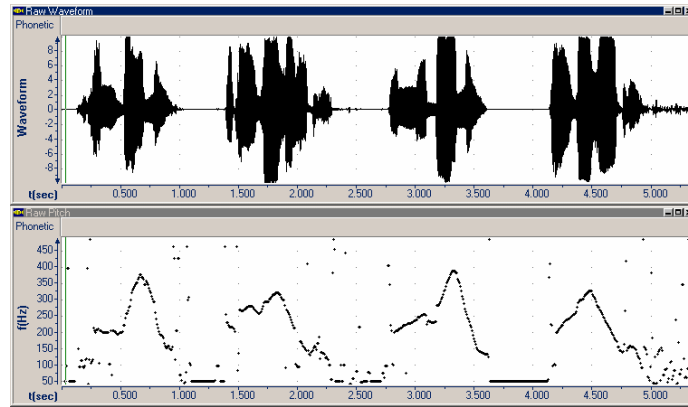
### 1.5. Взаимодействие сегментных и суперсегментных единиц при формировании речевого акта

Интересную задачу ставят перед нами альтернативные вопросы. Рассмотрим их просодическую структуру. Сравним альтернативный вопрос (27) и повествовательное предложение (28); см. след. стр.:

(27) *Он дома ↗ или у Володи ↘?*

(28) *Он не дома ↗, а у Володи ↘.*

Повествовательное предложение содержит в себе контраст, поэтому на первом члене оппозиции фиксируется акцент ИК-3, характерный для контраста на теме, а на втором члене оппозиции фиксируется акцент, который в соответствии с классификацией Е. А. Брызгуновой следовало бы определить



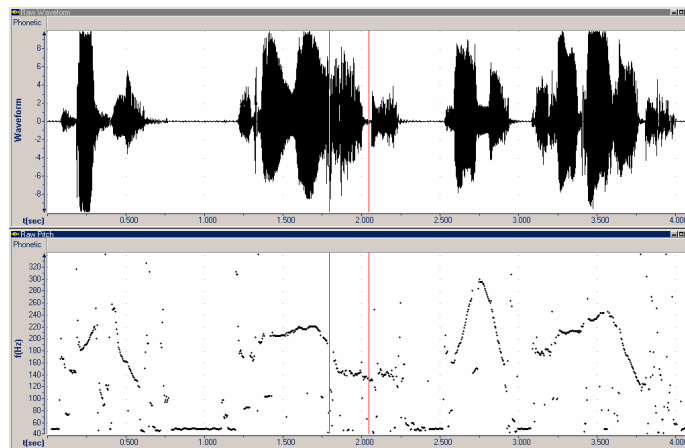
*Он до ма или у Володи? Он не дома, а у Во ло ди*

как ИК-2<sup>16</sup>. Присутствие здесь ИК-2 также объясняется контрастом. Таким образом, получается, что у альтернативного вопроса (27) и повествовательного предложения (28) практически одинаковая просодическая структура, если отвлечься от уточнения, вынесенного в сноску. Эта структура характеризуется последовательностью акцентов ИК-3 — ИК-2.

Рассмотрим теперь минимальную пару — повествовательное предложение и альтернативный вопрос с одинаковой лексико-синтаксической структурой и посмотрим, чем они различаются. Предположим, что (29) — это ответ на вопрос *Где же Вася?*, а (30) — это альтернативный вопрос:

(29) *Дома ↗ или у Володи ↘.*

(30) *Дома ↗ или у Володи ↗?*



*До ма или у Во ло ди. Дома или у Володи?*

<sup>16</sup> Ранее в [Янко 2001: 92—96] мы высказали гипотезу о том, что ИК-2, как в примерах (27)—(28), отличается от ИК-2, как в примерах (22)—(25) из предыдущего разде-

Мы видим, что тонограммы повествовательного предложения и альтернативного вопроса очень похожи. В чем же различие? Наша гипотеза состоит в том, что эти два предложения отличаются только тем, что в альтернативном вопросе (30) большая крутизна падения в конце предложения. Такое падение совершается в малую единицу времени, т. е. это очень быстрое падение с существенным перепадом частот. В повествовательном же предложении (29) падение более пологое. Это ИК-1. Ударный слог второго дизъюнктивного члена в (29) выделен курсорами.

Мы также видим, что различаются и сопутствующие признаки. В вопросе начальный акцент ИК-3 (вопросительный) выше, чем ИК-3 темы в ответе на вопрос. Такие различия — норма для русского языка. Кроме того, в повествовательном предложении пауза между дизъюнктивными членами более существенная. Возможно, есть и еще какие-то различительные признаки. И таких тонких просодических оппозиций русскому уху оказывается достаточно, чтобы различить вопрос и ответ: эксперименты показывают, что замена конечного акцента ИК-1 в повествовательном предложении, включающем союз *или*, на ИК-2 немедленно превращает его в альтернативный вопрос.

Таким образом, в контексте союза *или* комбинация акцентов ИК-3 — ИК-2 дает нам вопросительное предложение — альтернативный вопрос. В контексте другого союза — *а не* — этого не происходит: там мы имеем дело с повествовательным предложением. При этом последовательность акцентов ИК-3 — ИК-1 в контексте союза *или* дает нам повествовательное предложение. Значит, союз *или* — это сегментный показатель альтернативного вопроса, поддержанный особой просодией. Взятые по отдельности — союз *или* и комбинация акцентов ИК-3 — ИК-2 — не различают вопроса и сообщения.

На примерах данного раздела мы показали, что существуют комбинированные — лексическая единица плюс комбинация акцентов — средства выражения иллюкативных значений.

### 1.6. Интонация ментальных состояний

При анализе дискурсивных показателей в разделе 1.1 мы уже столкнулись с коммуникативной и соответствующей интонационной структурой, которая в примере (13) *Мы заехали на поля-янку!*, *погуля-яли!* там выражает припоминание, а при анализе более широкого материала оказывается, что она выражает и мыслительный процесс вообще. Соответствующий акцент характеризуется подъемом тона и существенной растянутостью ударного слога. Вся заударная область ровная (иногда с небольшим естествен-

---

ла, и выделили ряд признаков, которые различают эти акценты. Примеры (22)—(25) иллюстрируют, по нашему мнению, собственно ИК-2, а примеры (27)—(28) — акцент ИК-1 контрастный (интенсивный). Однако в настоящем контексте данное различие несущественно, и мы с известной долей условности помечаем и тот и другой акцент жирной стрелкой **▶**, предназначенной для ИК-2.

ным падением, как в примере (13)), высокая и растянутая. Предударная зона ровная и низкая. Этот акцент мы обозначаем значком для ИК-6 (Г) плюс удвоение гласного ударного слога. (Об этом уже говорилось при обсуждении примера (13).) Такая структура может отражать припоминание (*Мы заехали на поля-янкуГ, погуля-ялиГ там; Там еще роди-ителиГ собрались, знако-омыеГ там*), мечтательность (*А я колба-аскиГ купила*), недоумение (*Куда-то мои очкиГ запропалились, не знаю*), передачу чужой речи: *Тетя чё-то сказала: Надо чё-то уко-олыГ делать*.

Нетрудно показать, что в повествовательных предложениях такого типа акцентоноситель выбирается по правилам для синтаксических структур типа S, см. раздел 1.1 выше (акцентоносители выделены жирным шрифтом): *Надо уко-лыГ делать; Мышь мальчика в рукуГ укусила; Там тогда еще мышь какого-то ма-альчикаГ укусила; Но-чьГ настала*.

Итак, перед нами коммуникативная структура, существенно семантически нагруженная,— она отражает размышление, припоминание (включая контекст перечисления, ср. пример (13)), мечтательность, предвкушение, передачу чужой речи. При передаче чужой речи говорящий не копирует интонацию того, чья речь передается, а придает соответствующему фрагменту речи просодию припоминания. Интонация демонстрирует ментальное усилие говорящего, протяженное во времени, говорящий «шевелит мозгами».

Данная акцентная фигура применима не только к повествовательным предложениям, но и к вопросам, которые в контексте подобной интонации становятся вопросами-недоумениями. Можно сказать, что недоумение — этот своего рода вопрос, растянутый во времени. Носителем же акцента в таком вопросе служит вопросительное слово, ср. минимальную пару (31)—(32):

- (31) *Куда-то мои очки-иГ запропалились;*  
 (32) *Куда-аГ мои очки запропалились?*

С точки зрения лексико-синтаксической структуры различие между (31) и (32) только в частице *-то*, присутствующей в повествовательном предложении. Но переход от повествовательного предложения к вопросу практически с тем же значением немедленно меняет акцентоноситель. Им становится вопросительное слово. Что касается косвенных вопросов, они могут следовать обеим моделям выбора акцентоносителя: если глагол пропозициональной установки служит в предложении вершиной, акцентоноситель в придаточном выбирается по правилам для повествовательных предложений:

- (33) *Не знаю, куда мои очки-иГ запропалились.*

Если же глагол рассматривается как вводное слово, акцентоносителем становится вопросительное слово:

- (34) *Куда-аГ мои очки запропалились, не знаю.*

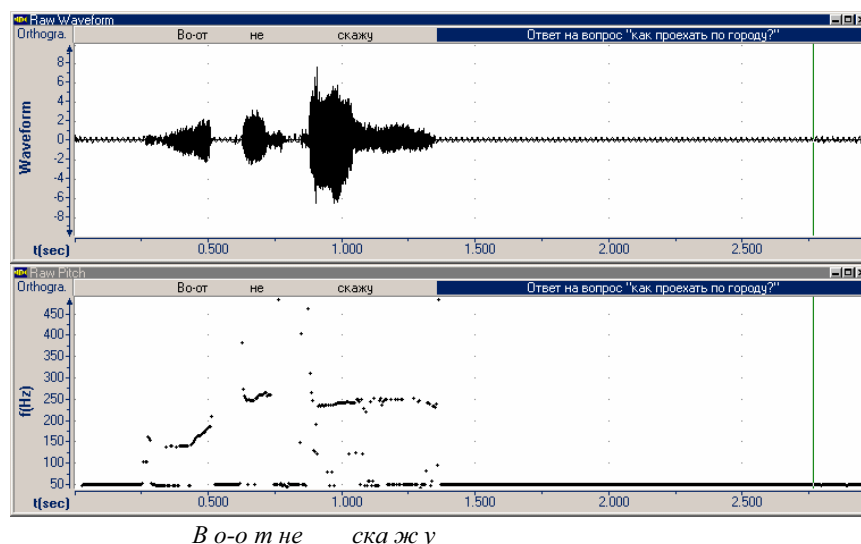
Особый выбор акцентоносителя, который не охватывается правилами, сформулированными для синтаксической составляющей типа S, у предложений недоумения с *во*: *Во-отГ не скажу* (в ответе на вопрос *Как проехать по Москве?*); *Во-отГ не знаю*; *Во-отГ дела!* Здесь мы полностью

вступаем на путь иллокутивной лексикографии, когда не удастся выделить общих правил выбора акцентоносителя и многие выражения приходится фиксировать в своего рода иллокутивном словаре коммуникативных идиом — фразеологических и фразеологизованных речевых актов, ср. пару с разным выбором акцентоносителя и разными акцентами: **Во-от** дела! — *Вот так дела-а\!*

На реплику *Во-от не скажу* как на выражение сомнения и неуверенности в отличие от реплики агрессии *А вот и не скажу* обратила внимание Р. Ратмайр [2002: 182—197].

Тонограмма показывает подъем на *во* с последующим ровным тоном на последующих слогах вплоть до конца предложения.

(35) **Во-от** не скажу.



*В о-о т не ска жу*

Пример (35) будет служить переходом от данного раздела к следующему, который посвящен уникальным речевым актам и их интонационному выражению.

Результат анализа состоит в следующем. Было показано, сколь абстрактные значения могут быть переданы интонацией. Были также приведены дополнительные свидетельства в пользу того, что минимальные пары с разным значением могут быть образованы только за счет выбора акцентоносителя коммуникативно релевантного акцента.

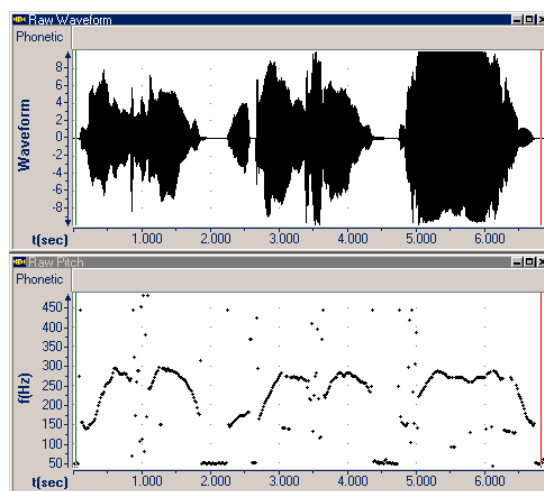
### 1.7. Уникальные иллокуции

В предыдущих разделах мы знакомились с примерами предложений, относящихся к крупным классам, таким как повествовательное предложение и *да-нет*-вопросы. Эти типы способны подвергаться синтаксическим

трансформациям, соединяться с контрастом с образованием контрастных тем, контрастных рем, контрастных компонентов вопросов и императивов, они подчиняются регулярным законам выбора акцентоносителя, вступают во взаимодействие с дискурсивными показателями незавершенности. В данном же разделе мы познакомимся с некоторыми частными иллюкуциями, которые не принадлежат иллюкутивной грамматике языка. Они не подвержены трансформациям, не соединяются с контрастом, некоторые из них даже нечувствительны к выбору акцентоносителя и влиянию сегментного материала. Таким образом, мы обращаемся к сфере иллюкутивных идиом — фразеологическим и фразеологизованным речевым актам, которые фиксируются в своего рода иллюкутивном словаре.

К такого рода иллюкуциям принадлежат известные нам вокативные контуры русского языка. Первый из анализируемых интонационных типов обслуживает ситуации существенной удаленности говорящего от слушающего<sup>17</sup>. Тоннограмма показывает, что независимо от сегментного материала, на имени адресата фиксируется одна и та же акцентная кривая, которая занимает примерно одинаковое время звучания независимо от длины слова. Перед нами интонационный тип, который ложится на сегментный материал подобно музыке («as when chanted», по выражению Дж. Б. Пьерхамберт [Pierrehumbert 1980: 87—88]).

(36) *Ва-а-ся-я!; Ната-ааа-а!; Джо-он!*



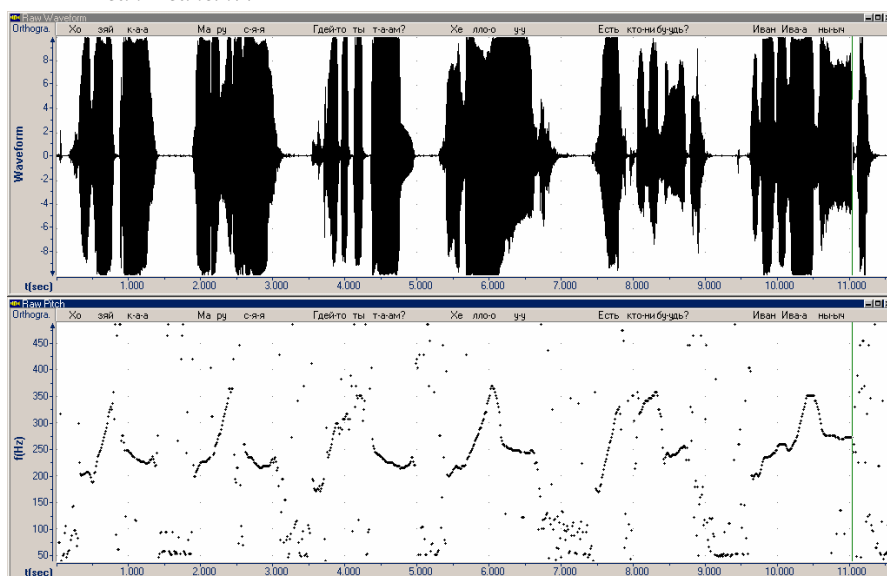
*Ва-а-ся-я    На та-а ша-а    Джо-о-н*

<sup>17</sup> Контекст близости говорящего и слушающего представлен помещением обращения в позицию Ваккернагеля с характерным для русского языка усечением последней гласной: *Подвинься, Зин; Я, Вань, такую же хочу* (Высоцкий). Об обращениях в позиции Ваккернагеля см. [Renou 1936: 61]; [Gonda 1971: 146—147].



Другой вокативный интонационный контур следует тому же принципу «выпевания». Так, интересный акцентный контур, который иллюстрирован примерами (37), практически не зависит от структуры сегментного материала, в частности от распределения ударных и безударных слогов. Он представлен в ситуации зова адресата, когда слушающий не знает, находится ли адресат в пределах слышимости. Это зов-вопрос. Говорящий может обратиться с призывом к невидимому адресату, например в пустой или темной комнате, в прихожей дома, когда неизвестно, на месте ли хозяева, говорящий может обратиться к спящему, не будучи полностью уверенным в том, что спящий его слышит. Рассмотрим тонограмму.

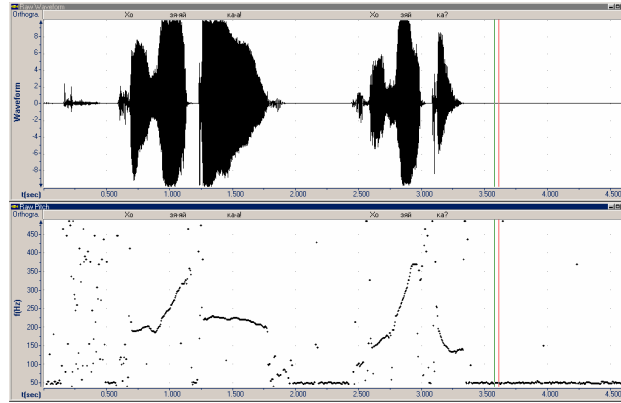
(37) *Хозяйка?!; Маруся?!; Гдей-то ты там?!; Хеллоу?!; Есть кто-нибудь?!  
Иван Иванович?!*



*Хозяйка-а?! Маруся-я?! Гдей-то ты та-ам?! Хеллоу-у?! Есть кто-нибудь?!Иван Иваны-ыч?!*

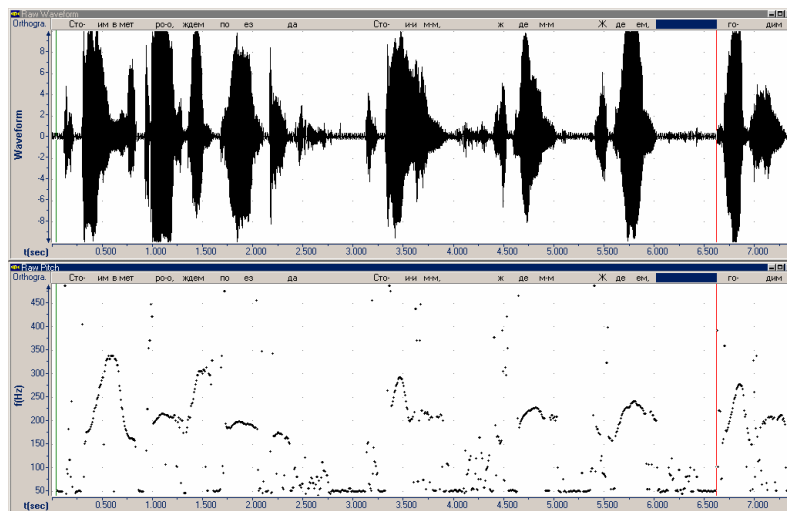
Здесь мы наблюдаем ровный тон, за которым следует существенный подъем, тяготеющий к ударному слогу (в этом выражается некоторая зависимость данной просодической структуры от структуры сегментного материала). Затем, независимо от сегментного наполнения, наблюдается падение тона. Оно может приходиться и на изначально ударные, и на безударные слоги. Завершается контур растянутым, ровным и достаточно высоким тоном на уровне, который был достигнут в результате падения. Терминальный тон также не зависит от сегментного наполнения: несущий материал может быть получен за счет растяжения последнего гласного звука.

Минимальная пара (37а) «зов vs. да-нет-вопрос» ниже иллюстрирует различие между рассматриваемым акцентом и акцентом ИК-3 в да-нет-вопросе. Бросающееся в глаза различие — уровень произнесения последнего слога: в вокативной конструкции он гораздо выше и более длителен, чем в вопросе.

(37а) *Хозяйка-а?! vs. Хозяйка?*

*Хозяик а - а?!      Хо зяй ка?*

Еще одну интонационную структуру, которая относится к сфере иллокутивного лексикона, ибо она не состоит из известных компонентов, а реализуется, как песня, в готовом виде, мы предлагаем называть структурой, выражающей циклическую нецелесообразную деятельность. Обратимся к примерам (38). Они подобраны по принципу постепенной минимизации сегментного материала. Таким способом мы надеемся показать, что лежащий в основе данной иллокуции интонационный контур реализуется даже в условиях односложных сегментных единиц, ср. словоформу *ждем* в примерах (38b) и (38с).

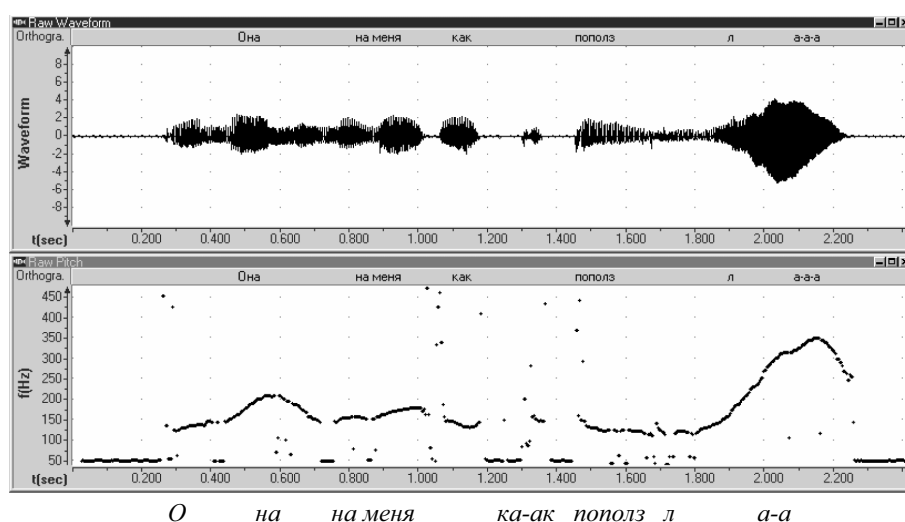
(38а) *Стоим в метро, ждем поезда; (38b) Стоим, ждем-м; (38с) Ждем-м, годим-м.*

*Стоим в метро, ждем поезда. Стоим, ждем-м. Ждем-м, годим-м.*

Независимо от сегментного материала на каждом из компонентов структуры, реализующейся в условиях повтора, фиксируется восходяще-нисходящий тон, который завершается ровным, высоким тоном. Затем фигура повторяется, ср. также другие предложения, требующие того же «унылого» контура: *Махнула раз, вышел нос, махнула два, вышли губы; Сунулся туда, сунулся сюда.*

И наконец, последний пример частной иллокуции включает особый акцентный контур, который взаимодействует с уникальной структурной схемой предложения.

(39) *Она на меня ка-ак поползла-а!*



Структурная схема предложения включает частицу *как* и глагол совершенного вида (ср. *А она на меня как поползет!*).

Вывод раздела состоит в следующем. Существуют уникальные интонационные контуры, которые хранятся в памяти говорящих в готовом виде. Эти структуры весьма многочисленны, и они могут заслонять от исследователя системный характер основных русских иллокуций. Задача данного раздела состояла в том, чтобы отделить один тип (грамматический) от другого (словарного). Можно также предположить, что между этими двумя типами существует множество переходных случаев.

## 2. Некоторые обобщения

Рассмотренные примеры показывают, что в русском языке существуют два основных иллокутивных типа в отношении к интонационным средствам выражения. Это основные иллокуции, такие как сообщения и вопросы, и уникальные иллокуции. Первые описываются русской иллокутивной

грамматикой, а вторые служат предметом своего рода иллокутивной лексикографии. Между грамматикой и лексиконом есть еще масса промежуточных типов.

Есть еще третий тип, которого мы здесь не касались. Это жалобы, угрозы и упреки, выраженные изнемогающим голосом, жалостным, приказным тоном, слезами и металлом в голосе, угрожающей интонацией. Этот последний тип выражается тембром и не принадлежит к собственно языковым явлениям. Сообщения и вопросы, произнесенные просительным тоном или грозным голосом, не утрачивают своей первичной иллокутивной функции и остаются сообщениями и вопросами. О тоне и голосе см. работы [Светозарова 2000; Крейдлин 2000]. Этот тип мы здесь оставляем в стороне.

Основные же и уникальные иллокуции обладают рядом признаков, присущих одному типу и не присущих другому. Некоторые из этих признаков были проиллюстрированы примерами, приведенными в первой части работы.

### 2.1. Иллокутивная грамматика

К основным — системным — типам иллокуций мы относим сообщение, *да-нет*-вопрос, вопрос с вопросительным словом и императив<sup>18</sup>. Свойства системных типов речевых актов, по которым их можно противопоставить уникальным — не-системным — типам иллокутивных актов, состоят в следующем.

Важнейшее свойство системных речевых актов состоит в том, что они не атомарны. Они имеют свою внутреннюю структуру, которая включает в себя не только собственно иллокутивный — конституирующий речевой акт — компонент, такой как рема, но и несобственно иллокутивный компонент, такой как тема, который в речевом акте может отсутствовать и роль которого в том, чтобы создавать разгон для старта речевого акта, ср. пример (19) *Дед* / *посадил репку* \ с темой *дед* и ремой *посадил репку*.

Итак, в повествовательном предложении — сообщении — собственно иллокутивный компонент — это рема, а несобственно иллокутивный — тема. В вопросах и императивах тоже есть или может быть такой — несобственно вопросительный и несобственно императивный — компонент. Так, в вопросе *Где Вадик познакомится с Марусей?* вопросительное слово *где* — это собственно вопросительный компонент, а *Вадик познакомится с Марусей* — несобственно вопросительный компонент. Основное средство выражения системных иллокуций — это комбинации интонационных конструкций ИК-1 и ИК-3.

<sup>18</sup> В вопросах с вопросительным словом и в императивах имеются сегментные средства для выражения иллокутивных значений. В вопросах с вопросительным словом это вопросительное слово, а в императивах — это наклонение. Поэтому в этих типах речевых актов интонация не выражает тип иллокуции, а играет только делимитативную роль, отделяя один речевой акт от другого или один компонент речевого акта — собственно иллокутивный — от другого — несобственно иллокутивного. Ср. в вопросе *А Вася где?* / *А Вася* — это несобственно вопросительный компонент, а *где* — собственно вопросительный компонент.

Повествовательное предложение, включающее тему и ремю, маркируется комбинацией ИК-1 — ИК-3 (*Вася<sup>↑</sup> пришел<sup>↘</sup>*), а *да-нет*-вопрос — комбинацией акцентов ИК-3 — ИК-1 (*Вася<sup>↘</sup> пришел<sup>↑</sup>?*) или одиночным акцентом ИК-3 (*Вася<sup>↑</sup> пришел?*).

Следующее важное свойство системных типов речевых актов состоит в том, что они подвержены трансформациям. Коль скоро у речевого акта компонентов два, эти компоненты могут меняться местами, несобственно иллокутивный компонент может опускаться (ср. предложение без темы *Пришла весна*), кроме того, рема может расщепляться на две части, пропуская тему в образовавшуюся при разрыве ремы нишу, как в предложении (20) *Посадил<sup>↑</sup> дед реку<sup>↘</sup>*. При трансформациях — расщеплении рем и опущении тем — на сцену выходит акцент ИК-6 (нерастянутый), ср. примеры (14) *Давно<sup>↑</sup> не приходил Ипполит<sup>↘</sup>* и (20) *Посадил<sup>↑</sup> дед реку<sup>↘</sup>*.

Поскольку основные иллокуции подвержены трансформациям, можно выделить базовые последовательности собственно иллокутивных и несобственно иллокутивных компонентов и производные. Так, предложение (19) *Дед<sup>↑</sup> посадил реку<sup>↘</sup>* — базовое, а предложение (20) *Посадил<sup>↑</sup> дед реку<sup>↘</sup>* — его производное. У базовых структур вклад коммуникативной структуры в семантическую минимальный. Это идея принадлежит Е. В. Падучевой [Падучева 1984]. Структуры, служащие результатом трансформаций, характеризуются приращениями смысла, ср. пример (20), где создается эффект умозрительного образа действительности (раздел 1.3).

Далее. Основные типы речевых актов подвержены не только синтаксическим трансформациям, т. е. изменениям линейно-акцентных структур, но и трансформациям, которые состоят в соединении собственно иллокутивных и несобственно иллокутивных коммуникативных значений с контрастом, верификацией, эмфазой с образованием контрастных, верификативных и эмфатических компонентов. Такие трансформации мы называем семантическими. Контрастные темы и контрастные ремы образуются в предложении одна независимо от другой, т. е. в предложении может быть, скажем, контрастная тема и простая рема, контрастная рема и простая — не-контрастная — тема, а также и тема и рема контрастные. Такая независимость композиций тем и рем, а также компонентов других речевых актов — вопросов и императивов — с контрастом и эмфазой служит дополнительным свидетельством в пользу того, что системные типы речевых актов не элементарны, т. е. представляют собой единство собственно иллокутивного и несобственно иллокутивного компонента. Попутно заметим, что так называемые «тона» и «голоса» тоже композиционно накладываются на текст, но они соединяются не с темами и ремами покомпонентно, а аморфно «растекаются» по большим фрагментам текста: *Ну дедушка, ну миленький, ну дай, пожалуйста* (пример заимствован из книги Н. Д. Светозаровой [Светозарова 1982: 23, 55], см. также [Кодзасов, Кривнова 1977: 209] и там же литература по теме).

Итак, системные типы речевых актов бинарны, подвержены трансформациям, соединяются с дискурсивными показателями когерентности текста и с точки зрения метаязыка описания представимы в виде стройного исчисления,

которое охватывает сочетаемость коммуникативных компонентов с контрастом и эмфазой, а также систему регулярных синтаксических трансформаций. Значит, можно заключить, что системные типы речевых актов описываются *операционально* в отличие от уникальных типов речевых актов, к которым следует применять *инвентаризационные* методы описания.

### 2.2. Иллокутивный лексикон

Уникальные иллокутивные акты имеют разнообразные способы выражения. Один из типов — это огромное количество интонационных изысков, ср., например, вокативные контуры и интонацию безрезультатной деятельности (раздел 1.7).

К другому типу мы относим речевые акты, имеющие неинтонационные средства выражения. Это фразеологические и фразеологизованные структурные схемы уникальных типов речевых актов: *Раз-два, взяли; Три-четыре!*; *Гулять так гулять*. Попутно они могут иметь свою идиоматичную интонацию, ср. *Раз-два, взяли; Три-четыре*.

Уникальные иллокуции идиоматичны и плохо переводимы с языка на язык. Они, как правило, атомарны, т. е. неделимы на компоненты, и, соответственно, не подвержены синтаксическим трансформациям. Частные иллокуции не совместимы ни с контрастом, ни с эмфазой, ни с показателями незавершенности. Они служат объектом «иллокутивной лексикографии».

### 2.3. Промежуточные случаи

К промежуточным случаям мы, в частности, относим иллокуции, рассмотренные в разделах 1.4. и 1.6. Иллокуции такого типа сохраняют чувствительность к акцентоносителю, а его выбор подчиняется правилам, наблюдаемым в системных типах. Между тем данный тип проявляет ригидность в отношении к трансформациям и не соединяется с показателями незавершенности. Такие предложения достаточно семантически нагружены. Здесь были рассмотрены такие образцы данного типа, как ответы на вопрос *Чем ты так расстроен?* — *Джон* умер (раздел 1.4) и предложения ментального состояния, как (31) *Куда-то мои очки-и* запропались (раздел 1.6). Предложение *Джон* умер и предложение (31) следуют правилам выбора акцентоносителя для синтаксических составляющих типа S. Их интонационная структура строится на базе акцентов ИК-2 и ИК-6 (растянутого) соответственно.

### 2.4. Параметры интонационных конструкций

Рассмотренный материал показывает, что для интонационных конструкций (или акцентов), выражающих иллокутивные силы, релевантны следующие признаки, которые составляют основу описания системных иллокуций в рамках иллокутивной грамматики, а также основу словарной статьи для уникальной иллокуции в рамках иллокутивного словаря.

- 1) Значение (коммуникативная, или иллокутивная, функция).
- 2) Вхождение в одно- vs. двухкомпонентные конструкции (ср. предложение (19) *Дед посадил репу*, включающее тему и рему, и предложение (23) *Джон умер*, включающее только одну рему).
- 3) Привязка коммуникативного релевантного пика к определенному акцентоносителю (ср. примеры (37) и (38), нечувствительные к акцентоносителю).
- 4) Следование определенной системе правил выбора акцентоносителя.
- 5) Тональные параметры — форма частотной кривой, интенсивность, длительность, уровень (ср. примеры (37) и (37а) с различным уровнем произнесения конечного слога), крутизна (совершенство движения тона в единицу времени, ср. крутой акцент ИК-2 с более пологим ИК-1 в предложениях (29) и (30)), тайминг и сопутствующие признаки, такие как паузация.
- 6) Отношение к сегментному материалу, ср.: в зависимости от структуры сегментного материала интонационный тип может подвергаться компрессии, как ИК-4 (раздел 1.1, обсуждение примера (7)), а может усекается, как ИК-3 (обсуждение примера (4а)).
- 7) Способность сочетаться с показателями модифицирующих коммуникативных значений (контрастом, эмфазой) и дискурсивными показателями незавершенности.

### Заключение

В русском языке существуют акцентные средства, выражающие многочисленные иллокутивные значения. Часть таких средств принадлежит области иллокутивной грамматики, а часть составляет обширный список уникальных иллокуций, которые мы предлагаем фиксировать в своего рода иллокутивном словаре. Наша речь изобилует уникальными иллокуциями, «тонами», «голосами», повышением тона, происходящем при сильной агитации, и случаями неразличения коммуникативных компонентов, скажем, в поэтической речи или в речи человека, который сдерживает слезы. Все эти явления служат возмущающими контекстами для стройной системы основных иллокуций, и они могут заслонять от исследователя ее регулярный характер. Нашей целью было показать, что иллокутивная грамматика существует.

Рассмотренный материал навязывает нам и некоторые методологические приемы: сочетание метода *in vivo* с методом *in vitro*, рассмотрение минимальных пар, комплексный анализ коммуникативных функций иллокуций и структуры дискурса, семантических свойств слов и конструкций, анализ интонации с точки зрения значений и функций, которые она выражает.

### Литература

Адамец 1978 — П. А д а м е ц. Образование предложений из пропозиций в русском языке // Acta Universitatis Carolinae Philologica. Monographia LXIX. Praha, 1978.

- Венцов 2003 — А. В. Венцов. Что такое «скрытая фонетика» // Известия АН. Сер. лит. и яз. 2003. Т. 62. № 4. С. 33—44.
- Иванова-Лукьянова 1989 — Г. И. Иванова-Лукьянова. Суперсегментная фонетика в функционально-стилистическом аспекте // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1989. С. 33—43.
- Кибрик, Подлесская 2003 — А. А. Кибрик, В. И. Подлесская. К созданию корпусов устной русской речи // Научно-техническая информация. 2003. Сер. 2. № 10. С. 5—12.
- Ковтунова 1976 — И. И. Ковтунова. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.
- Кодзасов 1993 — С. В. Кодзасов. Интонация предложений с дискурсивными словами. Группы: едва, действительно, вообще, совсем, прямо // А. Н. Баранов, В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М., 1993. С. 182—204.
- Кодзасов 1995 — С. В. Кодзасов. О семантике одного акцентного различия // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова). М., 1995. С. 229—235.
- Кодзасов 1996 — С. В. Кодзасов. Законы фразовой акцентуации // Просодический строй русской речи. М., 1996. С. 181—199.
- Кодзасов 1997 — С. В. Кодзасов. Интонация // Русский язык: Энциклопедия. М., 1997. С. 157—158.
- Кодзасов 2003 — С. В. Кодзасов. Проблемы исследования просодии // Известия АН. Сер. лит. и яз. 2003. Т. 62. № 4. С. 45—55.
- Кодзасов, Кривнова 1977 — С. В. Кодзасов, О. Ф. Кривнова. Фонетические возможности гортани и их использование в русской речи // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977. С. 180—209.
- Крейдлин 2000 — Г. Е. Крейдлин. *Голос и тон* в языке и речи // Язык о языке. М., 2000. С. 453—501.
- Мельчук 1976 — И. А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ⇔ Текст». М., 1976.
- Николаева 1982 — Т. М. Николаева. Семантика акцентного выделения. М., 1982.
- Николаева 1989 — Т. М. Николаева. Об одном сходстве славянской и финно-угорской фразовой интонации. Просодия. М., 1989. С. 3—16.
- Николаева 2000 — Т. М. Николаева. От звука к тексту. М., 2000.
- Одэ 2003 — С. Одэ. Перспективы описания и транскрипции русской интонации в корпусах звучащих текстов // Проблемы и методы экспериментально-фонетических исследований. К 70-летию профессора Л. В. Бондарко. СПб., 2003.
- Падучева 1984 — Е. В. Падучева. Коммуникативная структура предложения и понятие коммуникативной парадигмы // Научно-техническая информация. 1984. Сер. 2. № 10. С. 25—31.
- Падучева 1997 — Е. В. Падучева. *Давно и долго* // Логический анализ языка. Язык и время. М., 1997. С. 253—266.
- Ратмайр 2002 — Р. Ратмайр. Лингвистические задачи изучения межкультурной коммуникации (на материале деловых переговоров) // Русский язык в научном освещении. 2002. № 1 (3). С. 182—198.
- Русская грамматика, Т. 1 — Русская грамматика: В 2 т. Т. 1. М., 1982.
- Русская грамматика, Т. 2 — Русская грамматика: В 2 т. Т. 2. М., 1982.
- Светозарова 1982 — Н. Д. Светозарова. Интонационная система русского языка. Л., 1982.



Светозарова 1993 — Н. Д. Светозарова. Акцентно-ритмические инновации в русской спонтанной речи // Проблемы фонетики. Вып. 1. М., 1993. С. 189—199.

Светозарова 2000 — Н. Д. Светозарова. Интонация в художественном тексте. СПб., 2000.

Фужерон 1993 — И. Фужерон. Организация информации в высказывании и его связь с контекстом // Вопросы фонетики I. 1993. С. 181—188.

Йокояма 2003 — О. Ц. Йокояма. Нейтральная и не-нейтральная интонация в русском языке: автосегментная интерпретация системы интонационных конструкций // Вопросы языкознания. 2003. № 5. С. 99—122.

Янко 1991 — Т. Е. Янко. Коммуникативная структура с неингерентной темой // Научно-техническая информация. Сер. 2. № 7. С. 27—32.

Янко 2001 — Т. Е. Янко. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.

Bonnot, Fougeron 1982 — Ch. Bonnot, I. Fougeron. L'accent de phrase non-final en russe. Est-il toujours un signe d'expressivité ou de familiarité? // Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. T. 77. Paris, 1982. P. 309—330.

Bonnot, Fougeron 1983 — Ch. Bonnot, I. Fougeron. Accent de phrase non-final et relations interenonciatives en russe moderne // Revue des études slave. T. 55. Paris, P. 611—626.

Gonda J. 1971 — J. Gonda. Die Indischen Sprachen: Erster Abschnitt: Old Indian. Leyden; Cologne. 1971.

Pierrehumbert 1980 — J. B. Pierrehumbert. The Phonology and Phonetics of English Intonation. PhD thesis. MIT. Published by the Indiana university linguistic club, 1980.

Renou 1936 — Renou L. Études de grammaire sanscrite. Paris, 1936.

Yokoyama 2001 — O. T. Yokoyama. Neutral and Non-neutral Intonation in Russian: A Reinterpretation of the IK System // Die Welt der Slaven. 46. 2001. S. 1—26.

М. ВАНХАЛА-АНИШЕВСКИ (Йоэнсуу)

## **ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ СКРЕП В РУССКОЙ И ФИНСКОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ**

### **1. Введение**

При создании текста любого жанра важно обращать внимание на то, как смыслы и смысловые отрезки, а затем предложения сочетаются между собой, образуя цельное и связное целое. Связность научного текста играет особо важную роль: для обеспечения передачи однозначной информации язык изложения должен быть последовательным, точным, логичным. В нем почти отсутствуют субъективные и экспрессивные элементы; для него более характерны эксплицитные показатели развития содержания информации, которые не только обеспечивают адекватный синтез целого читателем, но и помогают самому автору конкретно и иерархически организовать высказывание. Эти текстообразующие элементы становятся в последнее время все более универсальными (см. [Ventola, Maaranen 1990; 1992]), поскольку научные тексты все чаще пишутся не только для специалистов определенной, «своей» языковой среды, но и для более широкого международного научного сообщества. Однако, несмотря на возрастающую тенденцию к универсальности, в научном изложении любого автора отражаются также конвенции, свойственные лишь данной культурной и языковой среде. Эти конвенции образуют общность определенного стиля изложения, которая обеспечивается единым обучением правилам письма, начинающимся уже в школе [Duszak 1997].

Особенности какого-либо стиля изложения и правил письма наиболее ярко проявляются в метатексте. Под метатекстом в широком смысле понимается «текст в тексте», т. е. выражения, которые прямо не участвуют в организации пропозиционального содержания текста. Его функция, с одной стороны, заключается в расчленении и структурировании смысловой стороны текста, в облегчении его восприятия читателем. Это текстообразующая функция метатекста. С другой стороны, метатекст выполняет и интерперсональную функцию, т. е. с его помощью автор выражает свое субъективное отношение к сообщаемому (см. [Halliday 1973; Vande Kopple 1985]).

Необходимо отметить, что разные языки могут иметь различные метатекстовые стратегии. Так, сопоставляя использование метатекста в английской и финской научной речи, Вентола и Мауранен [Ventola, Mauranen 1990: 34—41] отмечают, что финские ученые прибегают к метатексту намного реже. Показательно, что в научных работах финских исследователей, написанных на английском, также почти отсутствуют метатекстовые элементы.

Среди метатекстовых показателей, выполняющих текстообразующие функции, выделяется особая группа слов, которая выступает на стыке самостоятельных предложений, объединяя их в связные текстовые отрезки и целостные сверхфразовые единства. Это различные союзы, вводно-модальные слова и логические частицы, которые мы будем называть текстовыми скрепами (см. [Дымарская-Бабалян 1988: 43]). Данная статья посвящена изучению функционирования этих скреп в русской и финской письменной научной речи (см. также [Vanhala-Aniszewski 1999]). Цель статьи — описать общую картину употребления скреп, выявить и проанализировать семантические и прагматические отношения, выражаемые скрепами в каждом из языков.

Для исследования были созданы два отдельных текстовых корпуса. Основной исследовательский материал состоял приблизительно из 300 страниц научного текста по лингвистике на русском и 300 страниц на финском языке. Это означает, что в русский корпус входило 32 статьи, а в финский — 24. Для получения общего представления о частотности скреп на основе этого текстового материала были составлены две выборки, одна на русском, другая на финском языке. Однако, поскольку объемы страниц в данных статьях не были в каждом случае соизмеримы, в качестве исходной единицы для подсчетов была выбрана не страница, а строка. Вследствие этого каждая выборка состояла из четырех тысяч строк, т. е. из 240 тысяч знаков (на строке в среднем 60 печатных знаков). Это количество строк, в свою очередь, соответствует 100 страницам текста на русском языке (двенадцать статей) и 109 страницам текста на финском языке (восемь статей).

На основе выборок были подсчитаны некоторые количественные данные о частоте текстовых скреп, не позволяющие, однако, делать широких обобщений. Следует подчеркнуть, что данное исследование представляет собой скорее всего качественное, дескриптивное изучение функционирования текстовых скреп, а количественные показатели дают лишь общую картину их употребления в русской и финской научной речи, в частности в лингвистических текстах.

## 2. Роль скреп в организации связности текста

Связность текста создается при помощи разнообразных языковых средств. Она может возникать лишь на основе линейного и иерархического развития информации, когда отдельные предложения, следуя друг за другом, образуют смысловую и структурную соотнесенность. Кроме самой линейности содержания, связность текста достигается, во-первых, при помощи специаль-

ных лексико-грамматических средств, например анафорических местоимений, лексических повторов, синонимов и т. д., и, во-вторых, посредством особых союзных элементов, т. е. текстовых скреп. Последние участвуют в формировании целостности как макроструктуры, так и суперструктуры текста. Работая на стыке самостоятельных предложений как сцепляющие элементы, они не входят в смысловое содержание пропозиций, а лишь конкретизируют и дополняют их основную информацию, организуя «содружество предложений» [Дымарская-Бабалян 1988: 43; Enkvist 1975: 89—93].

С морфологической точки зрения скрепы представляют собой неоднородную группу<sup>1</sup>. Это частицы (*даже, и, ведь, однако*), союзы (*но, и, а*), наречия (*поэтому, напротив, затем*), а также модальные слова (*во-первых, итак, в частности*) [Дымарская-Бабалян 1988: 42—77; Лосева 1980: 15—17]. В Русской грамматике [1980, I: 715] эти слова называются «аналогами союзов». По мнению ван Дейка [van Dijk 1977: 52], скрепы (*connectives*) образуют синтаксическую категорию, состоящую из союзов (*and, or, because, for, so*), наречий (*sentential adverbs yet, nevertheless, consequently*), предлогов (*in spite of, as a result of*), междометий и частиц и пр. Белошапкова и Лозано [Белошапкова, Лозано 1996: 187—194] говорят о словах, которые являются промежуточными между союзами и модальными словами.

Задача скреп заключается в экспликации смысловых отношений между предложениями. Подобно союзам, они выражают соотношение пропозиций и более крупных сверхфразовых единств; являются показателями следующих смысловых отношений: присоединительно-пояснительных (*и, при этом*), противительных (*но, однако, напротив*), причинно-следственных (*поэтому*), временных (*вначале, потом, между тем, в то же время*), иллюстративных (*например, так*), обобщающе-резюмирующих (*значит, итак, следовательно, таким образом*) и т. д. [Halliday, Hasan 1976: 227; Ventola, Mauranen 1990: 31]. Некоторые скрепы многозначны, например, *же* выражает не только противительное отношение, но и выполняет усилительную, выделительную функцию. Кроме глобальной, сверхфразовой текстовой функции, большинство из этих сцепляющих элементов способно обеспечить и локальную, т. е. внутрифразовую функцию. Однако есть такие скрепы (например, *итак*), которые используются лишь для сверхфразовой связности.

Основная текстообразующая функция скреп заключается, как было сказано выше, в эксплицитном структурировании текста, в усилении и уточнении следования и организации информации между двумя самостоятельными предложениями. В семантическом отношении, они, однако, не всегда играют решающую роль, так как предложения могут быть переплетены между собой уже другими средствами связи (коррелятивностью, линейностью ин-

<sup>1</sup> Обсуждая подобные скрепы (*next, so, yet*), Хэллидей и Хасан употребляют понятие 'connector' [Halliday, Hasan 1976: 227], см. также коннекторы в [Дымарская-Бабалян 1988: 45] и [Дымарский 1999: 22], *discourse markers* в [Schiffrin 1986; 1987], *pragmatic connectives* в [van Dijk 1977: 52—58; van Dijk 1979].

формации и т. п.). Как подчеркивается в Русской грамматике (1980), задача этих сцепляющих элементов заключается, скорее всего, лишь в конкретизации связи между отдельными предложениями. Тем не менее установлено, что «несмысловые» элементы, в частности скрепы, способны вскрыть тончайшим образом неочевидные смысловые связи [Николаева 2000: 462—468].

Кроме семантической функции связывания предложений, многие скрепы реализуют и определенные прагматические цели, связанные с данной коммуникативной ситуацией и с интенциями говорящего. Ван Дейк, говоря о семантической и прагматической функциях скреп, приводит следующие примеры: 1) *Peter had an accident, so he is in hospital*; 2) *Peter had an accident. So, he is in hospital* [van Dijk 1977: 206—210], (см. также [van Dijk 1979: 448—450]). В первом предложении скрепа *so* (так называемая *interclausal connective*) выражает лишь каузативное отношение между данными пропозициями. Это значение становится понятным и без скрепы, т. е. на основе линейной организации информации: *Peter had an accident. He is in hospital*. Во втором примере скрепа *so* выражает не только каузативное значение, но и отношение говорящего к данной ситуации. Данная межфразовая скрепа, выражая отношения между двумя актами речи, придает сообщению добавочный прагматический оттенок констатации следствия [van Dijk 1979: 453—454]. При таком употреблении скрепа нередко сопровождается различными фонетическими (особая интонация и пауза после нее) и синтаксическими (инициальная позиция) показателями. Хэллидей и Хасан [Halliday, Hasan 1976: 239—241] семантическую и прагматическую функции называют экстернальной и интернальной.

### 3. Текстовые скрепы в русской и финской научной речи

Не существует единого мнения по вопросу о том, насколько обоснованно использование скреп в научных текстах, если цельность может достигаться и другими средствами связи. Исследуя научный дискурс английского и финского языков, Вентола и Мауранен [Ventola, Mauranen 1990] пришли к выводу, что текстовые скрепы повышают читаемость текста (см. также [Carrell 1987: 54; Vuoriniemi 1976: 203—205]). С их помощью автор как бы ведет за руку читателя, организуя развертывание текста в определенной логической последовательности. Вместе с тем существует и противоположное мнение [Meyer et al. 1980]: частое использование скреп, как и вообще метатекста, не помогает читателю, а может, наоборот, отстранить от основного смысла сообщения. Использование скреп в разных языках, однако, основано на традициях научного стиля изложения, на манере и правилах письма, которые могут очень различаться в разных культурах: в одной культуре и языке предпочитают преимущественно эксплицитные текстовые стратегии и средства выражения, а в другой — имплицитные.

В результате анализа собранного нами материала были выявлены интересные факты. Любопытно, что корпусы одинакового объема текстов в ис-

следуемых языках сильно отличаются количеством предложений: в русском языке в данной выборке насчитывается 1128 самостоятельных предложений, а в финской выборке — 1670<sup>2</sup>. Несмотря на большую разницу в количестве всех предложений, частота предложений с текстовой скрепой, однако, почти одна и та же. Это соотношение зафиксировано в таблице 1.

Таблица 1. Абсолютная и относительная частота предложений со скрепой и без нее в выборках финских и русских научных текстов

|                        | Русские тексты |      | Финские тексты |      |
|------------------------|----------------|------|----------------|------|
|                        | всего          | %    | всего          | %    |
| Предложения со скрепой | 253            | 22,4 | 263            | 15,7 |
| Предложения без скрепы | 875            | 77,6 | 1407           | 84,3 |
| Всего                  | 1128           | 100  | 1670           | 100  |

Согласно данным таблицы 1, текстовые скрепы используются в русских текстах в 22,4 % предложений (253), а в финских текстах они встречаются соответственно в 15,7 % предложений (263). Это означает, что относительная частота скреп в финском языке меньше, чем в русском языке. Для получения более точных доказательств этого достоверность различий между процентными долями определялась с помощью показателя соответствия  $\chi^2$  (см. [Nolan 1994: 322—338]), который используется для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости исследуемого признака. Для данных таблицы 1 величина критерия  $\chi^2$  составила 19,98. Это означает, что полученные различия значимы, достоверны и неслучайны: в русской выборке научных текстов доля скреп статистически значительно больше, чем в финской выборке.

В русских текстах скрепы занимают чаще всего абсолютное начало предложения (см. примеры ниже), т. е. 81,4% всех скреп открывает предложение, а в финских текстах они тяготеют к началу в 64,5 % предложений. Кроме того, в финских текстах межфразовые скрепы появляются после второго компонента предложения в 21,3 % случаев. В русских текстах это наблюдается лишь в 3,6 % предложений. Это вызвано тем, что в обоих языках встречаются скрепы, которые избегают инициальной позиции пред-

<sup>2</sup> Несмотря на то что в финском языке количество самостоятельных предложений намного больше, чем в русском языке, соотношение количества предикативных единиц (всего их в русском языке 1891, а в финском — 2903) в одном предложении почти такое же, т. е. 1,7 (в русском языке 1,67, а в финском — 1,73). Разница в количестве самостоятельных предложений объясняется, по нашим предварительным наблюдениям, тем, что в русской научной речи довольно частотны полупредикативные конструкции, т. е. причастные, деепричастные, адъективные и подобные обороты, распространяющие предложения. В финском языке, как правило, отдается предпочтение более коротким предложениям без длинных полупредикативных распространителей.

ложения (например, в русском языке *же*, а в финском — *siis* ‘значит’, *kuitenkin* ‘однако’).

В нашем материале наиболее частотными межфразовыми скрепами в русском языке оказались *и*, *но*, *однако*, *так*, *таким образом*. Они составляют 47 % употребления всех скреп. Таким образом, основные смысловые отношения, выражаемые ими, — это присоединительные, противительные (или противительно-уступительные), пояснительные, а также отношения обобщения и вывода. Эти отношения характеризуют научный текст как аргументированный тип текста, которому свойственно не только введение аргументов ‘за’ и ‘против’ (*и*, *но*, *однако*), но и их иллюстрация (*так*), а также резюмирование полученных результатов (*так*, *таким образом*). Приведем примеры использования названных скреп в письменной научной речи:

- (1) *Если называть моделью управления то, что дано курсивом... то количественно реально функционирующие модели конечны... И не только теоретически, но и практически составление полного... набора-списка реально функционирующих моделей, вероятно, не столь уж и необозримая задача* [Григорян 1996: 79];
- (2) *Во втором случае приставочный глагол СВ рассматривается как перфектный коррелят к бесприставочному глаголу НСВ. Но этот последний имеет особый имперфективный вариант, образованный путем суффиксации* [Гак 1996: 65].

В первом примере *и* соединяет два самостоятельных предложения нейтрально, не играя в семантическом плане значимой роли, т. е. союз лишь конкретизирует рядоположенность предложений, которая понятна уже на основе линейной устроенности их содержания. Во втором примере *но* выражает отношение противопоставления, точнее противительно-ограничительную связь открываемого им предложения с предыдущим. По сравнению со скрепой *и* (см. подробнее ниже), функция *но* в научной речи более узкая и конкретная. Она используется в экстернальной функции, т. е. для конкретизации и уточнения определенного семантического отношения между пропозициями. То же самое касается и скрепы *однако* (пример 3), выражающей противительное отношение открываемого ей предложения по отношению к предыдущему предложению, а также скрепы *так* (4), имеющей иллюстративное значение (о скрепе *так* более подробно см. [Белошапкина, Лозано 1996: 187—194]:

- (3) *Этот подход весьма распространен и имеет свои серьезные резоны. Однако нам ближе другая точка зрения относительно данной ситуации* [Григорян 1996: 76];
- (4) *Ритм фрагмента создается порядком слов при синтаксическом параллелизме (полном или неполном). Так, повествуя о матери, о ее горестной судьбе, Гоголь пишет: <...>* [Арват 1996: 308].

В приведенных примерах скрепы используются, скорее всего, для выражения семантических отношений между пропозициями. Скрепы уточняют, конкретизируют связь между ними. Однако, как мы отметили выше, некото-

рые скрепы способны выступать и в интернальной, прагматической функции, т. е. они, помимо изначального семантического значения, выражают также субъективно-модальное отношение говорящего к сообщаемому. Из указанных самых частотных скреп именно *и* и *таким образом* используются нередко и для выражения оценки сообщения говорящим, например:

- (5) *Словари не «безлики»: они знакомят нас не только с современным состоянием и историей языка, но и со своими авторами. И это естественно: <...>* [Агафонова 1996: 44];
- (6) *И вместо вывода—дилемма: 1)—допустить <...>; 2) утверждать, что <...>* [Агафонова 1996: 49].

В первом примере (5) скрепа *и* соединяет открываемую пропозицию с предыдущей, но, кроме того, с ее помощью говорящий имплицитно конклюдентно относит акты речи, т. е. значение подытоживания, обобщения, результата. Во втором примере (6) говорящий при помощи скрепы *и* передает оттенок терминативности (*наконец*), т. е. завершенности, закрытости мысли, обозначая именно завершение обсуждения темы, приведенной в предыдущем контексте.

В начале абзаца *и* нередко придает значение добавочного присоединения-распространения, как видно в следующем примере (7). С прибавлением *и* говорящий как бы более интенсивно приковывает внимание читающего к сообщаемому и к тому, что хочет еще что-то добавить к первому акту, продолжить начатую в нем мысль:

- (7) *И еще: можно ли быть уверенным в том, что <...>* [Григорян 1996: 79].

В примере (8), на наш взгляд, ярко проявляется модальное значение скрепы *и*: автор с ее помощью выражает свою уверенность ‘это, конечно, касается не только русского языка’:

- (8) *Впрочем, здесь есть над чем подумать, хотя потребность в упорядоченном представлении управлений весьма актуальна. И не только в приложении к русскому языку* [Григорян 1996: 79].

Скрепа *таким образом*, выступая на стыке предложений, осуществляет в первую очередь прагматическую функцию, выражая закрытие темы: автор, присоединяя предложения или переходя от одной мысли к другой, тем самым делает выводы, подводит итоги. Она как бы подчеркивает их обусловленность и тем самым помогает читателю прийти к аналогичным выводам. В нашем исследовательском материале *таким образом* чаще всего занимает место в начале абзаца, например:

- (9) *Таким образом, мы видим, что интерпретация автономных употреблений имен не исчерпывается умением их обнаруживать и <...>* [Шмелев 1996: 179].

В проанализированных финских текстах межфразовые скрепы используются, как было отмечено выше, несколько реже, чем в русских текстах. Самые частотные среди них — это *myös* ‘также’, ‘и’, *kuitenkin* ‘однако’, *esimerkiksi* ‘например’, ‘так’, *-kin* ‘также’, ‘и’, ‘тоже’ и *siis* ‘значит’. Их употребление



составляет примерно 50 % всех скреп, встреченных в нашем материале. Рассмотрим примеры (в русских переводах скрепы и связанные с ними элементы обозначены дословно):

- (10) *⟨...⟩ että monien eurooppalaisten vähemmistökielten edustajat ovat voimakkaasti sitoutuneet niiden säilyttämiseen ja elvyttämiseen. **Myös** Euroopan kansalliskielten ja kulttuurien toimikunta piti eurooppalaisuuden olennaisena piirteenä maanosamme monikielisyttä ja -kulttuurisuutta* [Takala 1992: 35];  
 ‘...что представители языков многих национальных меньшинств Европы приняли на себя обязательство сохранения языков. **Кроме того** [досл. также], Европейский комитет по национальным языкам и культурам считает многоязычие и многообразие культур нашего континента существенной чертой европеизма’;
- (11) *Joissakin maissa oppilaiden taidot olivat vielä selvemmin eriytyneet, mikä kertoo kulttuurisista painotuksista. **Esimerkiksi** Kreikan ja Kyproksen koululaiset olivat hyviä kertomusten tulkitsijoita, mutta ⟨...⟩* [Linnakylä 1992: 23];  
 ‘В некоторых странах умения учеников были еще более дифференцированы, что говорит об их значении для данной культуры. **Так**, школьники Греции и Кипра отличались способностью хорошо интерпретировать прочитанное, но ⟨...⟩’;
- (12) *Lukutaidon on oletettu olevan yhteydessä koko kansan yleisivistyksen ja kulttuurin tasoon, koulutettavuuteen, jopa taloudellisen kasvun mahdollisuuksiin. Yhteys ei **kuitenkaan** ole suoraviivainen* [Linnakylä 1992: 21]  
 ‘Согласно предварительным данным, умение читать связано с уровнем общей образованности и культуры народа, с его восприимчивостью к обучению и даже с возможностями экономического роста. **Однако** связь эта не является прямолинейной’.

Как видно, использование скреп во втором (11) и третьем (12) примерах совпадает с функциями русских скреп *так*, *например* (в значении иллюстрации предшествующих рассуждений) и *однако* (в данном случае в противительно-ограничительном значении) в русском языке. Их функция заключается в установлении смысловой связи между пропозициями. Скрепа *myös* ‘также’, ‘и’ (10), которая является весьма частотной в финском языке, объединяет пропозиции присоединительной связью. Кроме того, она придает последнему предложению добавочное значение: распространяя определенный элемент предыдущего предложения (в данном случае компонент *edustajat*), скрепа выделяет его, и рематический элемент переносится в начальную позицию предложения. Данные скрепы, кроме выделительной функции у скрепы *myös*, не передают особых субъективно-модальных значений. Адекватно русской *таким образом* ведет себя и скрепа *siis* ‘значит’, имеющая конклюдзивное значение.

Особое внимание следует обратить на скрепу *-kin* ‘также’, ‘и’, которая представляет собой так называемую клитическую частицу. Она, однако,

выполняет в предложении чаще всего именно текстообразующую функцию, являясь нередко синонимом названной скрепы *myös*, ср.:

- (13) *Eryityisesti sanomalehtiä ja sarjakuvia suomalaislapsset lukivat muita innokkaammin. Kirjaukin ilmoitti 9-vuotiaista suomalaislapsista lukeneensa koeviikolla 70 % kansainvälisen vaihtelun ollessa 45 %—80 %* [Linnakylä 1992: 28];

*‘Финские школьники читали газеты и комиксы чаще, чем дети других стран. На той неделе, на которой проводился эксперимент, читали, по собственному признанию, 70 % финских детей девятилетнего возраста также и книгу. В других странах соответствующая цифра колебалась от 45 % до 80 %’.*

В данном примере (13) скрепа *-kin* имеет присоединительное, добавочное к предыдущей информации значение, фокусируя слово *книгу*. Но к тому же она, особенно при глаголе, приобретает субъективно-модальное значение [Hakulinen, Karlsson 1979: 328], соотнося акты речи с оттенком констатации следствия, ожидаемого на основе предыдущей деятельности (*поэтому*) (14), либо с оттенком особого усиления, выделения (*действительно*) (15):

- (14) *Viime vuosina on pisimmälle kehittyneissä maissa erityisesti vaadittu kriittisen—yksilöä ja kulttuurista vapauttavan sekä taloudellista kasvua vauhdittavan—lukutaidon edistämistä.—Kansainväliseen arviointiin liitettiin kansallisia tehtäviä, joissa voitiin...* [Linnakylä 1992: 30]

*‘В последние годы в развитых странах нередко выдвигались предложения обучать критическому чтению, способствующему как свободе личности и культуры, так и ускорению экономического роста.—В международный тест были включены также [досл.: были включены + скрепа] задания национального характера, с помощью которых можно было...’;*

- (15) *Useimmiten tämä on myös se kieli, jota korkeassa sosioekonomisessa asemassa olevat ihmiset käyttävät. Onkin todettu, että urallaan eteenpäin pyrkivät ihmiset helposti muuttavat puhettaan standardikielen mukaiseksi* [Nevalainen, Raumolin-Brunberg 1992: 39];

*‘Именно на таком языке говорят чаще всего люди образованные и материально хорошо обеспеченные. Установлено также [досл.: вспомогательный глагол есть в 3 л. ед. ч. + скрепа + установлено], что люди, стремящиеся сделать карьеру, легко переходят на нормированную речь’.*

Если в последнем примере устранить скрепу, предложение приобретает обобщенное, нейтральное значение *установлено, что*. Зато включением скрепы говорящий, кроме усиления, имплицитно, что открываемое им сообщение как бы является естественным, даже в каком-то смысле «ожиданным» умозаключением после предыдущей пропозиции.

#### 4. Заключение

Сопоставление функционирования межфразовых скреп в русской и финской научной речи выявило как сходства, так и различия. Они интересны не только в теоретическом плане, но и с точки зрения преподавания

русского языка в иностранной аудитории, особенно в финской. Результаты исследования показали, что скрепы используются в русской научной речи чаще, чем в финской: в проанализированных русских текстах почти в каждом четвертом предложении используются скрепы как эксплицитные показатели межфразовой связи, а финские тексты в данном отношении более имплицитны (скрепа встречается в среднем в каждом шестом предложении). Далее, в русских текстах скрепы чаще занимают инициальную позицию в предложении (81,4 % а в финских текстах соответственно 64,5 %), хотя как в русском, так и финском языке встречаются межфразовые скрепы, избегающие абсолютного начала предложения.

Семантические отношения, выражаемые наиболее частотными скрепами, в основном совпадают в обоих языках. Это, как нам представляется, объясняется универсальными требованиями как к общей структуре, так и к упорядоченности содержания научного текста, отражающимися, естественно, и во многих сходных языковых приемах научных работ.

Тем не менее в каждом из сопоставляемых языков встречаются и особые, лишь для него характерные черты. Как мы видели, в русской научной речи скрепа *и* частотна и многозначна. Кроме основного присоединительного значения, она способна передавать и различные субъективные отношения говорящего к сообщаемому, в частности значение подытоживания, обобщения, результата, закрытости темы, а также модальное отношение уверенности.

В финской научной речи скрепы, аналогичной русской *и*, нет, и передаваемый ею оттенок выражается чаще всего линейной организацией информации. Кроме того, для финской научной речи характерен, во-первых, инициальный *tuös*, который, связывая предложения, чаще всего соотносит компонент открываемого им предложения с каким-либо элементом предыдущего контекста. Вследствие этого, повышая ранг речематического компонента высказывания, говорящий придает ему особое выделительное значение. Во-вторых, интересной скрепой в финской научной речи является также комплекс со скрепой — клитической частицей *-kin*, выражающей, кроме присоединительного значения, и различные субъективно-модальные оттенки, в частности значение ожидавшегося действия-следствия.

С точки зрения преподавания русского языка как иностранного в финской аудитории названные различия в функционировании скреп наглядно объясняют, в частности, то, почему финские студенты-русисты ошибочно употребляют в русской научной речи (в курсовых и дипломных работах) скрепу *также*: аналогично финскому языку она ставится в начальную позицию предложения. Это означает, что при обучении текстообразованию на иностранном языке, в данном случае на русском языке, следует обращать внимание не только на «крупные» линии, общие принципы формирования связности текста, но и на незначительные на первый взгляд элементы, в частности на скрепы, служащие мостиками между предложениями, смыслами, и нередко отражающие особенности субъективно-модальных значений, свойственных данной культуре и языковой среде.

### Литература

- Белошапкива, Лозано 1996—В. А. Белошапкива, М. А. Лозано. Функционирование слова *так* и *например* в письменной научной речи // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 187—194.
- Дымарская-Бабалян 1988—И. Н. Дымарская-Бабалян. О связности текста. Семантический и грамматический аспект. Ереван, 1988.
- Дымарский 1999—М. Я. Дымарский. Проблемы текстообразования и художественный текст. СПб., 1999.
- Лосева 1980—Л. М. Лосева. Как строится текст. М., 1980.
- Николаева 2000—Т. М. Николаева. От звука к тексту. М., 2000.
- Русская грамматика 1980—Русская грамматика. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. М., 1980.
- Carrell 1987—P. Carrell. Text as Interaction: Some Implications of Text Analysis and Reading Research for ESL Composition // Writing Across Languages: Analysis of L2 Text Ed. by U. Connor, R. Kaplan. Reading (Mass.), 1987. P. 47—56.
- van Dijk 1977—T. A. van Dijk. Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. N. Y., 1977.
- van Dijk 1979—T. A. van Dijk. Pragmatic Connectives // Journal of Pragmatics. 1979. № 3. P. 447—456.
- Duszak 1997—A. Duszak. Cross-Cultural Academic Communication: a Discourse-community View // Culture and Styles of Academic Discourse / Ed. by A. Duszak. Berlin; N. Y., 1997. P. 11—39.
- Enkvist 1975—N. E. Enkvist. Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä. Jyväskylä, 1975.
- Hakulinen, Karlsson 1979—A. Hakulinen, F. Karlsson. Nykysuomen lauseoppia. Helsinki, 1979.
- Halliday 1973—M. A. K. Halliday. Explorations in the Functions of Language. London, 1973.
- Halliday, Hasan 1976—M. A. K. Halliday, R. Hasan. Cohesion in English. London, 1976.
- Meyer et al. 1980—P. J. F. Meyer, D. M. Brandt, G. J. Bluth. Use of the Top-level Structure in Text: Key for Reading Comprehension of Ninth Grade Students // Reading Research Quarterly. 1980. № 16. P. 72—103.
- Nolan 1994—B. Nolan. Data Analysis. An Introduction. Cambridge, 1994.
- Schiffrin 1986—D. Schiffrin. Functions of *and* in Discourse // Journal of Pragmatics. 1986. № 10. Vol. 1. P. 41—46.
- Schiffrin 1987—D. Schiffrin. Discourse Markers. Cambridge, 1987.
- Vande Kopple 1985—W. Vande Kopple. Some Exploratory Discourse on Metadiscourse // College Composition and Communication. 1985. № 36. P. 63—94.
- Vanhala-Aniszewski 1999—M. Vanhala-Aniszewski. Konnektiivit venäläisessä tieteen retoriikassa // Fachsprachen und Übersetzungstheorie. VAKKI-Symposium XIX. Vaasa. 1999. № 25. P. 374—385.
- Ventola, Mauranen 1990—E. Ventola, A. Mauranen. Tutkijat ja englanniksi kirjoittaminen. Helsinki, 1990.
- Ventola, Mauranen 1992—E. Ventola, A. Mauranen. Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi: tekstilingvistinen näkökulma opetukseen // Reports from the Language Centre for Finnish Universities. Jyväskylä, 1992. № 42.
- Vuoriniemi 1976—J. Vuoriniemi. Konnektorit tekstin strukturoijina // Virittäjä. 1976. № 80. P. 192—215.

### Источники приведенных примеров

- Агафонова 1996 — Л. Л. А г а ф о н о в а. К проблеме лексического значения слова («Дней связующая нить») // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 44—49.
- Арват 1996 — Н. Н. А р в а т. Синтаксис и ритм в художественной прозе (повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба») // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 305—315.
- Гак 1996 — В. Г. Г а к. Функциональные видовые пары в русском языке // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 62—71.
- Григорян 1996 — В. Г. Г р и г о р я н. Слово и его подчиняющие свойства // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 72—82.
- Шмелев 1996 — А. Д. Ш м е л е в. Именование и автономность имени // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996. С. 171—179.
- Linnakylä 1992 — P. L i n n a k y l ä. Kansainvälisistä juurista kansainväliseen osaamiseen // Kulttuurin tuulia ja teitä / Ed. by L. Bloom, M. Leminen. Helsinki, 1992. P. 19—32.
- Nevalainen, Raumolin-Brunberg 1992 — T. N e v a l a i n e n, H. R a u m o l i n - B r u n b e r g. Sociolingvistiikan haaste kielihistoriassa // Kulttuurin tuulia ja teitä / Ed. by L. Bloom, M. Leminen. Helsinki, 1992. P. 39—65.
- Takala 1992 — S. T a k a l a. Kulttuuri ja viestintä // Kulttuurin tuulia ja teitä / Ed. by L. Bloom, M. Leminen. Helsinki, 1992. P. 33—46.

О. И. ОНАЦКАЯ

### **ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ. ДЕФИС В «СЛОВАРЕ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ»**

Появление первого академического толкового словаря — знаменательная веха в развитии русской филологической науки и русской культуры в целом. Во вступительной статье переизданного Московским гуманитарным институтом имени Е. Р. Дашковой в 2001 г. «Словаря Академии Российской» утверждается необходимость изучения текста словаря: «„Словарь Академии Российской“ как книга, появившаяся благодаря деятельности многих людей, как текст, отражающий эпоху, общественную организацию мысли, коллективный лексикографический разум и волю личности, заслуживает научного изучения со всех названных сторон» [Филиппович 2001: 10]. Мы поставили перед собой цель изучить орфографию словаря в его двух изданиях, а именно область слитного, полуслитного (дефисного) и раздельного написания. До XVIII в. словарей, которые стремились бы охватить весь живой лексический состав русской книжной и в определенной степени разговорной речи, не было. А следовательно, не было и каких-либо зафиксированных нормативных написаний слов. Создаваемые своды орфографических правил носили рекомендательный характер, раздельное, дефисное и слитное написание определялось индивидуальным «чутьем» пишущих, а академический словарь претендовал на определенную нормативность и широкий круг пользователей — носителей языка. Представляется интересным выявить некоторые тенденции дефисного написания слов, предположить возможные варианты исторического развития правописания, определив основные функции дефиса в словарях.

«Словарь Академии Российской», отобразивший лексику тех слоев общества, «которые вырвались с Петром Великим к построению новой России» [Филиппович 2001: 12], явился закономерным результатом эпохи русского Просвещения. Действительно, реформы Петра I, поставившего цель «в Европу прорубить окно», вызвали небывалый взлет научной мысли, для которой требовалась и соответствующая научная терминология: ведь в XVIII веке исследования велись на латинском языке.

«Словарь Академии Российской» 1789—1794 гг. в шести томах, заключающий в себе 43257 слов, знаменует новый этап в историческом развитии русской лексикографии. Это первый русский толковый словарь, заглавные слова

в котором расположены не по алфавиту слов, а по алфавиту корней, вокруг которых группируются слова «гнездами». В «Словарь...» не входят следующие слова: «1) собственные имена людей, земель, городовъ, морей, рѣкъ, озеръ и проч. 2) Слова и реченія Наукъ и Художествъ, которыя не входят въ общее употребленіе. 3) Всѣ слова, благопристойности противныя. 4) Всѣ слова старинныя, вышедшія изъ употребленія. 5) Всѣ областныя слова. 6) Всѣ иностранныя слова, введенныя безъ нужды» [Словарь 1789—1794, т. 1, с. IX]. За образец написания слов авторы «Словаря...» взяли нормы церковнославянского языка: «Хотя Россійское правописаніе въ краткихъ содержится правилахъ, однако много въ ономъ зависитъ отъ употребленія... Академія почла за нужное слѣдовать в Словарѣ своемъ правописанію книгъ церковныхъ, пока сей же самый трудъ откроетъ ей довольные способы къ утверженію единожды навсегда правилъ правописанія» [Словарь 1789—1794, т. 1, с. XIII]. Это, конечно, в большей степени касается слов «высокого» стиля, а слова-неологизмы, ставшие общеупотребительными в конце XVIII в., требовали новых ориентиров в орфографии, процесс оформления которой виден при анализе слов, написанных полуслитно (через дефис), а также слитно и раздельно, но которые по современным правилам пишутся через дефис. Особый интерес к этой проблеме вызван тем, что дефис — явление для русского письма новое, получившее некоторое распространение не раньше 20-х гг. XVIII в.

Второе издание, «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный», было основано на лексическом материале «Словаря Академии Российской» и дополнено приблизительно восемью тысячами слов, которые в начале XIX в. расположили по алфавиту слов. Словарь состоит из шести частей: первая часть (А—Д) издана в 1806 г., вторая (Д—К) — в 1809 г., третья (К—Н) — в 1814 г., четвертая (О—П), пятая (П—С) и шестая (С—Я) — в 1822 г. Каждая часть содержит от 1200 до 1500 страниц. После толкования значения заглавного слова даются примеры, иллюстрирующие его употребление в речи. В качестве примеров приводятся фразы, наиболее употребительные сочетания слов, взятые из различных источников, которые не указываются авторами словаря. Наличие церковнославянских цитат позволяет нам предполагать широкий временной охват словника, включающий период и до начала XVIII в.

В двух изданиях «Словаря Академии Российской» благодаря разнообразию источников представлена наиболее объективная по сравнению с произведениями одного автора картина состояния русской орфографии того времени. Это очень важно, так как по правописанию отдельных писателей XVIII в. судить о данной области орфографии в целом не представляется возможным из-за субъективного отношения автора к дефисному написанию. Например, в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790 г.) А. Н. Радищева нами не обнаружено ни одного слова с дефисным написанием, хотя дефис уже широко использовался другими писателями и поэтами, к примеру В. К. Тредиаковским. Сопоставление и анализ слов с полуслитным (дефисным) написанием в 1-м и 2-м изданиях «Словаря...» позволяют проследить динамику дефисного написания на протяжении довольно длительного периода (33 года). Были проанализированы словники

двух изданий «Словаря...». Методом сплошной выборки мы отбирали слова, которые были написаны через дефис, а также слова, написанные слитно или раздельно, но по современным правилам требующие дефисного написания. Выбранные слова, сгруппированные по частям речи, рассматриваются в соответствии с современными правилами, ссылка на которые приводится в скобках. Таким образом, сравнивая современное правописание с написанием в толковых словарях XVIII—начала XIX в., мы видим становление системы правил орфографии в области слитного, дефисного, раздельного написания слов.

Рассмотрим правописание разных частей речи.

**1. Имена существительные.** В обоих изданиях словаря отмечены **дефисные и раздельные** написания слов, обозначающих воинские звания и чины: *генераль-адмираль* (I, ч. 6)<sup>1</sup>, *генераль-лейтенанть* (II, ч. 1), *генераль-майорь* (I, ч. 4, с. 16), *генераль-прокурорь* (II, ч. 1), *капитань порутчикь* (I, ч. 3, с. 432). Изначально же, на протяжении XVIII в., сложные имена существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединенных без помощи соединительных гласных *о* и *е*: *генераль адмираль*, *генераль лейтенанть*, *генераль фельдь маршаль*, *капитань порутчикь*, *маеоровь капитановь*, *порутчикь генераль*, — воспринимались как два самостоятельных слова и писались раздельно. Дефисное написание в начале XVIII в. обнаружено только в одном слове — *генераль-фельдцейхмейстерь*.

Сравним с современным правописанием таких слов, которое регулируется § 79 п. 1 «Правил русской орфографии и пунктуации» (1956 г.): «Пишутся через дефис сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединенных без помощи соединительных гласных *о* и *е*». Начиная со второй части второго издания словаря подобные слова пишутся только через дефис.

К этой группе примыкают слова, первой составной частью которых являются иноязычные элементы *обер-*, *унтер-*, *лейб-*, *штаб-*, *вице-*, *экс-* и др. [Правила 1956, § 79, п. 13]: *оберь-гофмейстерь* (I, ч. 1, с. XVII), *штабсь-офицерь* (I, ч. 4, с. 669), *унтерь-офицерь* (I, ч. 6; II, ч. 3, с. 61). В продолжение XVIII в. указанные элементы в большинстве своем воспринимаются как самостоятельное слово и пишутся раздельно: *оберь аудиторь*, *оберь секретарь*, *стабсь лѣкарь*, *Юстиць Коллегія*, *ундерь офицерь*, *штатъ и оберь офицеровь* и др. (Конечно, встречаются и другие написания, например: *оборкоменданть*, *Оберь-фискаль* (из «Духовного регламента, тцанием и повелением всепресветлейшаго, державнейшаго Государя Петра Перваго» 1722 г. и газеты «Ведомости».) В «Словаре Академии Российской» обнаружены три слова с раздельным и слитным написанием элементов *обер-* и *вице-*: *оберь егермейстерь* (I, ч. 5, с. 636), *вицеадмираль*, *вицеканцлерь* (II, ч. 1), с дефисными написаниями выявлено двенадцать

<sup>1</sup> Ниже примеры из первого издания «Словаря Академии Российской» приводятся за римской цифрой I, из второго издания — за цифрой II. Номера страниц по томам указываются только в тех случаях, когда слова взяты из толкования других слов.



слов, поэтому можно сделать вывод о том, что после 1806 г. эта группа имен существительных достигла уровня устойчивого дефисного написания.

Критерием дефисного написания таких слов является их происхождение. Если слово или его часть осознается как иностранное и недавно вошло в активное употребление, то такое слово пишется через дефис: *Оберъ-Гоф-мейстеру*, *штыкъ-юнкеръ*, *Генераль-профосъ*, *почтъ-амтъ*. Заимствованные части слов, хорошо усвоенные носителями языка, начинают восприниматься как префиксы и писаться слитно (*вицеадмираль*, *вицеканцлеръ*), наряду, конечно, с полуслитным написанием (*вице-президентъ*). Прочно закрепившиеся в русском языке заимствованные слова, обозначающие звания, чины, пишутся раздельно (*Генераль Адмираль*, *Генераль Лейтенантъ*, *Генераль Майоръ*). Однако постепенно первая часть начинает восприниматься не как отдельное слово, а как элемент сложного слова по аналогии с элементами *обер-*, *штаб-*, *экс-* и писаться **через дефис**.

Составные фамилии, образованные из двух личных наименований [Правила 1956, § 79, п. 6], также писались **через дефис**. И хотя имена и фамилии не включены в корпус самого словаря, они встречаются в предисловии, где выражается благодарность за помощь в составлении и издании словаря: *Потемкинъ-Таврической* (I, ч. 1, с. XVII), *Голенищевъ-Кутузовъ* (там же).

Написание составных географических названий имело неустойчивый характер: встречались и **слитные** (*Санктпетербургъ*; I, ч. 1, с. 68; II, ч. 1, титульный лист), и **дефисные** написания (*Остъ-Индія*; II, ч. 4, с. 88).

Элемент *пол-* с последующим родительным падежом существительного, начинающегося с гласной [Правила 1956, § 79, п. 12], также пишется по-разному: обнаружены два **раздельных** написания (*поль имения*; I, ч. 4; II, ч. 4) и три **слитных** (*поларшина*; I, ч. 1, с. 54; ч. 2, с. 343; II, ч. 1, с. 334). Этот словообразовательный тип только формируется: слова с элементом *пол-*, начинающиеся с согласной, еще не встречаются, вместо него используется слово *половина*.

**Слитно** писались названия промежуточных стран света [Правила 1956, § 79, п. 4]: *юговостокъ* (I, ч. 6), *югозападъ* (I, ч. 6; II, ч. 6).

Последовательное **раздельное** написание встречается в словах, обозначающих названия растений [Правила 1956, § 79, п. 5]: *иванъ да марья* (I, ч. 3, с. 179), *мать и мачеха* (I, ч. 4, с. 62), *нетронь меня* (I, ч. 4, с. 519; II, ч. 3, с. 1371), *перекати поле* (I, ч. 4), *царь трава* (I, ч. 6; II, ч. 6), хотя обнаружено по одному слитно и полуслитно написанному слову: *перекатиполе* (II, ч. 4), *устели-поле* (I, ч. 6)<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Интересен тот факт, что в английском языке для разговорного названия растений также используется дефис, выполняющий семантическую функцию разграничения «термина» и «нетермина». В 1942 г. ученые Г. Келси и У. Дейтон в своей книге «Стандартные названия растений» предлагают писать через дефис просторечные названия растений, если в их состав входят слова, обозначающие вид данного растения, а само растение к этому виду не принадлежит, например: *white-cedar* переводится как «белый кедр», но дерево не относится к данному виду, это его народное название. (См.: Г. Келси, У. Дейтон. Стандартные названия растений. Harrisburg (PA), 1942.)

Раздельно писались определяемые слова со следующими непосредственно за ними однословными приложениями [Правила 1956, § 79, п. 14]: *ангелъ хранитель* (I, ч. 1), *шапка невидимка* (II, ч. 3, с. 1283), *Ананій посадникъ*, *Марфа посадница* (II, ч. 5, с. 23), *лошади скакуны* (II, ч. 5, с. 436), *человека ратника* (II, ч. 5, с. 1021), которые писались так же и в разных источниках первой половины XVIII в.: П. П. Шафиров. Дедикация или приношение, 1722; «Ведомости», 1703—1714; Б. Фонтенель. Разговор о множестве миров, перевод А. Кантемира, 1740: *Бусурманы татары*, *Дунай рѣка*, *Двина рѣка*, *Нѣва рѣка*, *Нил рѣка*, *Сестра рѣка*, *Эльбы рѣки*, *Одер рѣка* и др. Из этого ряда выделяется сочетание *баталіонъ-каре* (I, ч. 5, с. 888; II, ч. 6, с. 549), вторая часть которого представляет собой несклоняемое существительное.

Появляется и так называемый «**висячий**» дефис после первой части сложного существительного при сочетании двух сложных имен существительных с одинаковой второй частью, в первом из которых эта общая часть опущена [Правила 1956, § 79, п. 16]: *четыре-, пяти-, шести- и многоугольникъ*, *пяти-, шести-угольникомъ* (I, ч. 6, с. 409).

Кроме слов, написание которых регулируется современными орфографическими правилами, выявлены слова, дефисное написание которых не соответствует современным нормам: *имя-рекъ* (I, ч. 3, с. 298; II, ч. 2, с. 1144), *почтъ-амтъ* (I, ч. 4; II, ч. 5), *траго-комедія* (II, ч. 6). О неустойчивости дефисного написания свидетельствует разное написание в одном и том же предложении, например: «*Имя-рекъ, т. е. назвать по имени. Такой-то (имярекъ) проситъ на такого-то (имярекъ)*» (II, ч. 2).

Из общего числа рассмотренных имен существительных (81), среди которых были выделены следующие разряды: сложные имена существительные, сочетания с однословными приложениями, имена существительные с первыми частями *вице-, лейб-, обер-* и др., сочетания с *пол-* форм родительного падежа имен существительных, с дефисным написанием представлено 30 слов (I—15, II—15), с раздельным — 42 (I—18, II—24), слитным — 8 (I—3, II—5). Существенных различий динамики написаний имен существительных в I и II изданиях словаря не отмечается: через дефис написано одинаковое число существительных.

**2. Имена прилагательные.** Намного больше отмечено в словаре сложных имен прилагательных — 597 слов (в том числе написанных через дефис — 217, написанных раздельно в соответствии с современным дефисным написанием — 141, слитно в соответствии с современным дефисным написанием — 222 и слов с дефисным написанием, не соответствующим современным правилам, — 17). Большинство этих образований служит для описания растений и животных, например: «*Бабки волчьи. Трава. Плодъ, включающій два ореха кругло-продолговатыхъ*» (II, ч. 1, с. 75).

Всего обнаружено 103 сложных прилагательных терминологического характера [Правила 1956, § 81, п. 4, прим. 1]. Они в первой основе имеют суффиксы *-чат-, -оват-, -ист-, -ик-* и др. Преобладают **дефисные** написания (58 слов): *продолговато-круглыхъ* (I, ч. 2, с. 85), *дорожчато-углова-*

*той* (I, ч. 5, с. 156), *круглопродолговато-копиевидными* (II, ч. 5, с. 1251), *ветвисто-разложистой* (II, ч. 5, с. 1037), *конико-цилиндрическихъ* (II, ч. 3, с. 244). Количество дефисных написаний прилагательных терминологического характера в I издании словаря увеличивалось: в 1—3 частях всего 4 слова, а в 4—6 — уже 30. Во II издании число дефисных написаний было стабильным: в каждой части выявлено примерно по 3 примера. Количество слитных написаний в I издании уменьшалось, а во II издании было стабильным. Раздельных написаний прилагательных данного типа во II издании не отмечено. Таким образом, можно сделать вывод о преобладании **дефисного написания** прилагательных терминологического характера.

Суффикс *-оват-* начинают использовать и в прилагательных, обозначающих оттенки цвета, они также пишутся **через дефис**: *жиловато-сѣрые* (I, ч. 6, с. 847), *желтовато-сѣрые* (II, ч. 6, с. 1332).

Сложные прилагательные с соединительной гласной, обозначающие насыщенность цвета, в основном писались **слитно**: *сѣтлозеленые* (I, ч. 1, с. 20), *блѣдноалый* (I, ч. 1, с. 26), *темнорыжеватой* (I, ч. 2, с. 762), *темнокрасное* (II, ч. 6, с. 690). В XIX в., по данным Р. Й. Кочубей, наблюдается тенденция к дефисному написанию сложных имен прилагательных с первыми компонентами *темно-*, *сѣтло-*, *блѣдно-* и др. Преобладание дефисного написания таких слов Р. Й. Кочубей связывает с «наречностью первых компонентов», которые поэтому необходимо отделить от второй части подобных сложений: «Естественно, что... для оформления на письме сомнительных языковых явлений пишущие предпочитали полуслитный способ написания» [Кочубей 1991: 82].

Словосочетания, состоящие из предлога *изъ*, краткого прилагательного в родительном падеже и полного прилагательного в именительном падеже, писались преимущественно **раздельно**: *изъ сѣра красную* (I, ч. 2, с. 188), *изъ зелена бурая* (I, ч. 5, с. 296), *изъ красна желтая* (II, ч. 1, с. 135), *изъ зелена меднаго* (II, ч. 4, с. 1141). Однако в ряде случаев прилагательные в таких сочетаниях написаны через дефис: *изъ черна-темные* (I, ч. 2, с. 952), *изъ зелена-желтыя* (I, ч. 6, с. 754), *изъ сѣра-каштановаго* (II, ч. 2, с. 1157), *изъ зелена-золотоцветная* (II, ч. 6, с. 1097); их почти столько же, сколько с раздельным написанием, и это позволяет предположить, что пишущие стремились соединить их, написать слитно, как было принято писать сложные прилагательные с первыми компонентами *темно-*, *сѣтло-*, *блѣдно-* и др., обозначающие насыщенность и яркость цвета с соединительной гласной. В одном из примеров *а* после первой основы заменено соединительной *о*: *изъ красно-бурою* (II, ч. 6, с. 603).

Постепенно под давлением дефисного написания этих двух групп вся масса прилагательных, обозначающих оттенки цвета, принимает современное дефисное написание: *сѣро-бѣлые* (I, ч. 5, с. 409), *черно-бѣло-пеструю* (I, ч. 5, с. 702), *блѣдно-голубаго* (II, ч. 1, с. 188), *ржаво-чернобурое* (II, ч. 6, с. 671).

Наблюдаются колебания в написании прилагательных, обозначающих равноправные понятия [Правила 1956, § 81, п. 2]: *славено-россійская* (I, ч. 1, с. 1), *немецко-французскій* (I, ч. 2, с. 288), *славенороссійскій* (I, ч. 1, с. 3), *грекороссійская* (I, ч. 1, с. VII), *славено-россійской* (I, ч. 2, с. 436).

Также малочисленна и неустойчива в написании группа прилагательных, образованных от существительных, пишущихся через дефис,— названий промежуточных стран света, городов, а также от сложных слов с первой составной частью *камер-, обер-, штаб-, унтер-*: *югозападный* (I, ч. 6, с. 1009), *оберъ-прокурорская* (II, ч. 4, с. 33), *санктпетербургскій* (II, ч. 5, с. 115), *северо-западной* (II, ч. 6, с. 1038), *юговосточный* (II, ч. 6, с. 1422).

Слова, первой составной частью которых являются элементы *сам-, сама-* [Правила 1956, § 81, п. 4, прим. 2], воспринимаются как два самостоятельных слова и пишутся в большинстве своем **раздельно**: из десяти отмеченных слов одно слово написано слитно и одно через дефис (в первом издании словаря), остальные — раздельно: *Вдвоемъ. Самъ другъ, одинъ с другимъ* (II, ч. 1, с. 413). *Самъ третьей; Сама третья. Говорится о человѣкѣ, имѣющемъ при себѣ еще двоихъ. Отправился въ дорогу самъ третьей* (II, ч. 6, с. 776).

Выявлено две группы имен прилагательных с дефисным написанием, не соответствующим современным правилам письма (девять слов — в первом издании и восемь — во втором): 1) сложные прилагательные, первая часть которых выражена числительным: *Суховерики. Трава. Съменовѣстилице четыре-раздѣльное...* (II, ч. 6, с. 609). *Щерботъ. Нарочитой величины четырехъ-весельное судно* (II, ч. 6, с. 1401); 2) сложные прилагательные, части которых находятся в подчинительной связи, употребляющиеся в научном стиле: *Фиалка. Трава ежегодно возраждающаяся отъ корня нитко-образнаго...* (II, ч. 6, с. 1112). *Фаготъ. Мусикійское толсто-голосовое орудіе* (II, ч. 6, с. 1097).

**3. Имена числительные.** Числительные, написанные цифрами с грамматическим окончанием, писались **через дефис и раздельно**: *1-мъ* (II, ч. 4, с. 178), *2-хъ* (II, ч. 4, с. 1478), *9-го* (II, ч. 6, с. 714), *34-ая* (II, ч. 6, с. 1415); *2 хъ* (I, ч. 4, с. 48), *3 хъ* (I, ч. 3, с. 535), *4 хъ* (I, ч. 3, с. 157), *5 ти* (I, ч. 4, с. 48), *7 ми* (I, ч. 3, с. 157; ч. 5, с. 969), *11 ти* (II, ч. 3, с. 481). Как видно из примеров, в первом издании «Словаря...» такие числительные писались раздельно, а во втором — через дефис. Таким образом, дефисные написания числительных, написанных цифрами с грамматическим окончанием, начинают принимать устойчивый характер.

**4. Наречия.** В обоих изданиях словаря выявлено только одно **дефисное** написание наречий: *мало-мальски* (I, ч. 4).

Наречия, образованные от прилагательных и местоимений, начинающиеся с *по-* и оканчивающиеся на *-ки, -ому, -ему*, писались **раздельно и слитно**, т. е. группа таких наречий еще орфографически не оформилась. Они определялись или как прилагательные с приставкой, или как прилагательные с предлогами: *Звѣака, который безъ нужды, по пустому... теряетъ время* (I, ч. 2, с. 100). *Прорыскалъ цѣлый день по пустому* (II, ч. 5, с. 618). *Покаковски это сделано* (II, ч. 3, с. 395). *Быть по вашему, делайте по вашему* (II, ч. 1, с. 395). *Слеза... безпрестанно истекающая... по видимому изъ слезной железки...* (II, ч. 6, с. 216). *Повидимому. Наречіе какъ кажется* (II, ч. 4). Во втором издании словаря качественного отличия в написании таких наречий нет, увеличивается их общее количество: 40 слов во втором

издании по сравнению с 25-ю в первом. Наречия, добавившиеся в 1-й, 2-й, 3-й части 2-го издания словаря, имели в основном раздельное написание: *по Россійски* (II, ч. 1, с. 10), *по деревенски* (II, ч. 2, с. 55), *по Французски* (II, ч. 3, с. 549), а в 4-й, 5-й, 6-й части — слитное: *подомашнему* (II, ч. 4, с. 1310), *поприятельски* (II, ч. 5, с. 483), *посвински* (II, ч. 6, с. 59).

**Раздельно** писались наречия, образованные повторением того же самого слова или той же основы: *Золотуха. Болѣзнь... начинающаяся желваками мало помалу увеличивающимися... Подъ симъ названіемъ разумѣются такъ же опухоли и остроты соковъ мало по малу скопляющіяся въ членныхъ составахъ...* (II, ч. 2). *Чуть чуть дышетъ* (II, ч. 6, с. 1328).

**5. Предлоги.** Составные предлоги *из-за* и *из-под* писались **раздельно**: они только начинают оформляться в одно слово. В первом издании словаря обнаружено по одному раздельному написанию, а во втором издании — уже 6 и 7 соответственно. При этом встречаются слитные написания второй части составного предлога с последующим существительным, например: *Высвободенный изъ подстражи...* (II, ч. 1, с. 950). Они свидетельствуют о том, что основной принцип слитного и раздельного написания слов — выделение на письме отдельного слова — в начале XIX в. последовательно не соблюдался.

**6. Междометия и звукоподражания.** Отмечены **дефисные и раздельные** написания сложных междометий и звукоподражаний: *Баюканье. Повтореніе словъ: баю-бай. Баюкать. Стараться усыпить младенца, приговаривая: баю бай* (II, ч. 1). Иногда слова этих частей речи писались через запятую, например: *Ба, ба, ба! Откуда ты взялся?* (II, ч. 1). *Го, го, го. Употребляется къ выраженію гусинаго крика* (II, ч. 1). Таким образом, написание междометий и звукоподражаний носило неустойчивый характер.

**7. Частицы и постфиксы.** Входит в употребление частица *-де*, встречаются пока еще единичные случаи ее **раздельного и дефисного** написания: *я де* (I, ч. 2, с. 572), *угрозъ де* (II, ч. 2, с. 44), *той-де* (II, ч. 5, с. 109).

Приставка *кое-, кой-* пишется **раздельно**: *кое какъ* (II, ч. 1, с. 774), *кой чего* (II, ч. 1, с. 857).

Постфикс *-нибудь* с дефисным написанием не обнаружен, со слитным — отмечены два случая. Преобладающие **раздельные** написания этого постфикса выявлены в обоих изданиях словаря (в первом — 19, во втором — 35 слов). Наряду с *-нибудь* использовались постфиксы *-либо* и *-то*. Постфикс *-либо* в основном писался **раздельно**, но в 6-й части второго издания (1822 г.) начинают встречаться и дефисные написания. Однако эти словообразовательные типы развиты еще недостаточно; нередки употребления местоимений *кто, что, какой* в значении неопределенности без постфиксов: *Выходитъ тайкомъ изъ какаго места; Высвободить кого изъ подъ стражи; Заказать крепко накрепко не делать чего; Поступить съ кемъ круто; Написать критику на какую книгу, поэму; Крупица, самая мелкая часть чего нежидкаго.*

Прослеживается тенденция к **дефисному** написанию постфикса *-то*, выражающего неопределенность: в I издании через дефис написано всего три слова, а во II — уже 31 при семи раздельно написанных словах в I и 17-ти — во II из-

дании. Таким образом, во втором издании словаря отмечается устойчивый динамический рост числа дефисных написаний. Один раз отмечена и омонимичная усилительная частица *-то*, написанная через дефис: «*Да, да, да, теперь-то я вспомнил*» (I, ч. 2, с. 1).

**8. Иностранные слова.** Иностранные слова, сохраняющие свой иноязычный «облик» и звучание, пишутся в словаре **через дефис**: *Аллилуйя*. Слово несклоняемое, происходящее от еврейского Галлелу-иагъ, составлено из глагола галлелу, значущего хвалите и имени иагъ, что есть сокращение слова Иеговагъ, т. е. Господь сый (I, ч. 1, с. 22); *Баркотъ*. Отъ Голландскаго рѣченія барк-гоуть. Доска шириною въ полтора фута, которая обшивается около всего судна по краю сверхъ обшивныхъ досокъ... (I, ч. 1, с. 103).

Традиция дефисного написания заимствованных слов идет с начала XVIII в. Это прежде всего касается восточных имен собственных, в которых с помощью дефиса указывается на социальное положение или родственные отношения чело-в.: *Алаи-бегъ, Синанъ-Паши, Янычаръ-Эффенди, Зингисъ-Ханъ* (из книги: Военное состояние Оттоманския империи Графа де Марсильмъ, перевод В. К. Третьяковского. СПб., 1737). Дефисное написание таких слов зафиксировано в «Правилах русской орфографии и пунктуации» (М., 1956): «Пишутся через дефис... восточные (тюркские, арабские и т. п.) личные наименования с начальной или конечной составной частью, обозначающей родственные отношения, социальное положение и т. д.» (§ 79, п. 7). Другую группу составляют иноязычные словосочетания, являющиеся именами собственными — географическими названиями [Правила 1956, § 79, п. 11]. О написании подобных слов мы можем судить из перевода В. К. Третьяковского «Военное состояние Оттоманския империи Графа де Марсильмъ»: *Татаръ-Станъ, Бакчи-Сарай, Буаръ-Исаръ, Джесанъ-Каделика, Куршумъ-Магалассы* и др.

**Раздельно** в словарях писались следующие разряды слов:

1) **сочетания синонимического и антонимического**, а также **ассоциативного характера**: *Спасибо тому, кто поитъ и кормитъ, а вдвое тому, кто хлѣбъ соль помнитъ* (II, ч. 6);

2) **сочетания-повторы**, в которых одна из частей осложнена начальным или конечным элементом: *Онъ убрался по добру по здорову* (II, ч. 2); *Живетъ одинъ однихонекъ* (II, ч. 4).

Проанализировав данные словарей, можно сделать вывод о двух основных функциях дефиса в языке науки конца XVIII — начала XIX в.: функции соединения, благодаря которой пишущий указывает на семантическую общность обеих частей сочетания (например, в сложных существительных без соединительной гласной, в составных фамилиях, в именах прилагательных терминологического характера и в именах числительных, написанных цифрами с грамматическим окончанием), и функции разделения, когда при помощи дефиса подчеркивается семантическая значимость каждой части слова (например, в именах прилагательных, обозначающих оттенки цвета с первыми компонентами *темно-, светло-, бледно-*).

В целом нельзя не заметить, что многие слова, которые в современном русском языке пишутся через дефис, в словаре написаны отдельно: *шапка невидимка, мать и мачеха, самъ другъ, гладко на гладко, чуть чуть, по добру по здорову, изъ за угла, по прежнему*. Это связано с тем, что каждая часть такого слова сама по себе может являться самостоятельной лексической и грамматической единицей. Если грамматическое значение слова полностью не ясно, например, не понятно, к какой части речи относится слово, то в подобных группах слов наблюдается орфографическая вариативность. Разное написание однотипных слов встречается в одном и том же предложении: *Земляная мышь... тело изкрасна бурое съ проседью... съ исподи изъ желта-свѣтлосѣрое* (II, ч. 2).

Нередко используются разделительный союз *или* и запятая в случаях, когда по современным нормам употребляется дефис: *Тако пребывшему ему лета два или три единому в молчаніи и въ безмолвіи* (I, ч. 1); *Два, три портища [дюжины] пуговиць...* (I, ч. 5); *Пила, рыба* (I, ч. 4).

Таким образом, рассмотренные первые академические толковые словари русского языка фиксируют начальный период усвоения дефиса русской орфографией. Анализ этого материала показал, что дефисные написания встречались в именах существительных, прилагательных, числительных, междометиях и звукоподражаниях, а также частицах *-то* и *-либо*. Не выявлено дефисных написаний наречий (кроме одного случая), сложных предлогов, частицы *-нибудь* и приставки *ко-*, *кой-*. Большинство дефисных написаний носит еще неустойчивый характер. Тенденция к устойчивому дефисному написанию отмечается у числительных, написанных цифрами с грамматическим окончанием (их дефисные написания отмечены во втором издании словаря), а также у двух групп сложных прилагательных: во-первых, обозначающих оттенки цвета и, во-вторых, терминологических прилагательных с первыми компонентами, содержащими суффиксы *-оват-*, *-ист-*, *-чат-*. Устойчивое дефисное написание во второй (1809 г.) и последующих частях словаря приобрели имена существительные, первой составной частью которых являются иноязычные элементы *обер-*, *унтер-*, *штаб-* и *вице-*.

## Л и т е р а т у р а

Кочубей 1991 — Р. Й. К о ч у б е й. Сложные имена прилагательные в русском литературном языке XIX — XX вв. (Словообразовательный и орфографический аспекты): Канд. дисс. М., 1991.

Правила 1956 — Правила русской орфографии и пунктуации. М., 1956.

Филиппович 2001 — Ю. М. Ф и л и п п о в и ч. О переиздании «Словаря Академии Российской» // Словарь Академии Российской 1789—1794. М., 2001.

Словарь 1789—1794 — Словарь Академии Российской. Спб., 1789—1794.

Словарь 1806—1822 — Словарь Академии Российской. Спб., 1806—1822.

А. А. ГИППИУС

## СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА: ОПЫТ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ. II\*

§ 16. Полагая, что элемент автобиографии с самого начала присутствовал в «Поучении», мы должны теперь рассмотреть вопрос: что представляла собой автобиографическая часть исходного текста (ПВМ1)<sup>1</sup> и какие изменения она претерпела на последующих этапах его формирования?

Приступая к рассказу о своей жизни, Мономах собирается описать свои «пути и ловы». Можно не сомневаться, что описание «ловов», как и описание «путей», читалось в ПВМ1 — ведь именно этот эпизод напрямую связывает «Поучение» с «Заветом Иуды» как его литературным образцом. С другой стороны, такая формулировка программы автобиографии делает более чем вероятным, что перечень миров, заключенных Мономахом с половцами, а также отпущенных и убитых им половецких князей, в первоначальном тексте отсутствовал. О том же говорит и содержание этого фрагмента: большая часть перечисленного в нем явно относится ко времени после 1101 г., когда русскими князьями был одержан ряд крупных побед над степью. Поставленный вопрос поэтому фактически сводится к тому, в каком объеме читалась в ПВМ1 «летопись путей» Мономаха (далее — «Летопись»).

После всего сказанного ответ на этот вопрос может показаться лежащим на поверхности: в исходном тексте «Поучения», написанном Мономахом зимой 1099/1100 или 1100/1101 г. по пути в Ростов, «Летопись» заканчивалась упоминанием самой этой поездки, т. е. словами *се нынѣ иду Ростову*. Именно так представлялось дело М. П. Погодину, считавшему продолжение «Летописи» вставкой позднейших переписчиков. По мысли А. А. Шахматова, это продолжение (начиная со слов *И пакы с Стополкоꙗ гонихоꙗ по Боллцѣ*) принадлежит Мстиславу Владимировичу, в окружении которого создавалась в 1117 г. третья редакция «Повести временных лет», включившая отредактированный текст «Поучения» [Шахматов 1916: XXXIX].

\* Начало см. в: Русский язык в научном освещении. 2003. № 2 (6). Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, грант № 04-0400245а.

<sup>1</sup> Согласно выводам, к которым привел нас анализ композиции «Поучения» и содержащихся в нем датирующих указаний, сложение текста памятника прошло три этапа, которые мы обозначаем соответственно как ПВМ1, ПВМ2 и ПВМ3. Первые два этапа мы относим к 1099—1101 гг., третий датируем 1117 г.



Развиваемое нами представление об истории текста «Поучения» заставляет сомневаться в справедливости такого решения. Согласно нашей реконструкции, «Поучение» в его исходном виде обладало ясной и хорошо продуманной композицией. «Летопись», хаотически сочетающая однообразное перечисление путей с обрывками более подробных воспоминаний, в эту композицию вписывается плохо даже с усеченным окончанием.

Исходя из этого общего ощущения, попробуем найти альтернативное решение вопроса, оперевшись на такой нейтральный инструмент, как анализ языковой организации текста.

В текстах такого типа, как наш, т. е. представляющих собой описание последовательности однородных действий в прошлом или простое их перечисление, организующая роль принадлежит синтаксическим и лексическим соединительным средствам (коннекторам), при помощи которых осуществляется переход от одного пункта к другому. В «летописи путей» основными коннекторами являются: 1) союзы *и*, *а*, *та*, *то* и; 2) наречия *пакы*, *по томь*; 3) разного рода хронологические формулы (*на зиму*, *той же зимѣ*, *по Велицѣ дни* и т. д.). К ним можно добавить 4) лексический повтор (...*Смоленску*, *а из Смоленска*...) и 5) местоименное наречие *оттуда*. Эти элементы могут выступать в различных комбинациях. Так, сообщение о поездке из Смоленска в Ростов может быть оформлено более чем десятью способами: \**И Ростову идохъ*. \**Та идохъ Ростову*. \**То и пакы идохъ Ростову*. \**И потомь идохъ Ростову*. \**И пакы идохъ Ростову*. \**И потомь пакы идохъ Ростову*. \**И-Смоленска идохъ Ростову*. \**Оттуда идохъ Ростову*. \**И на зиму идохъ Ростову*. \**И пакы на зиму идохъ Ростову* и т. д.

Рассматривая «Летопись» Мономаха с точки зрения состава используемых коннекторов, можно заметить, что некоторые из них (как союз *и* или наречие *пакы*) распределены по тексту относительно равномерно, в то время как другие представлены лишь на определенных участках текста. По данному признаку выделяются прежде всего две непересекающиеся зоны. В первой ведущими коннекторами являются союзы *та* и *то*. *Та* встречается 10 раз в интервале [7—23]<sup>2</sup>, *то* — 5 раз (из них 4 в сочетании *то и*)<sup>3</sup> в интервале [4—20]. Таким образом, области употребления этих союзов в целом совпадают; вместе они очерчивают компактный интервал [4—23], занятый перечислением путей с 1068 по 1078 г. За пределами данного интервала эти союзы в «летописи путей» не встречаются и вообще принадлежат к числу редких в древнерусских памятниках: большинство примеров у Срезневского взяты из Мономаха.

<sup>2</sup> Текст автобиографической части «Поучения», разделенный на содержательные фрагменты, приведен в Приложении III. При ссылках в скобках указываются номера фрагментов.

<sup>3</sup> Единственный раз без *и* этот союз представлен в [5]: *то и-Смолинська*, однако данное исключение лишь подтверждает правило: отсутствие *и* здесь явно объясняется фонетическим слиянием союза с предлогом *из* (который, в свою очередь, фонетически сливается с существительным). Это позволяет рассматривать *то и* у Мономаха как одну синтаксическую единицу.

Существенно более протяженной является вторая зона, в которой в качестве главного коннектора выступает (15 раз) сочетание *и по томь* [38—77]. Нижнюю временную границу этой зоны определить трудно: походы, перечисляемые в этой части текста, по ПВЛ неизвестны, но, вероятнее всего, относятся к первой половине 1080-х гг. Последний из упоминаемых таким образом путей — это поход на Ярослава Святополчича 1117 г., которым заканчивается «Летопись».

Примечательно, что отрезок текста, разделяющий зону «та~то» и зону «по томь», также имеет присущую только ему примету: ею является сочетание *на ту зиму (осень)*, четырежды встреченное в интервале [24—32]. Легко заметить, что начало этого интервала в точности совпадает с концом зоны «та~то», конец же его отделен от начала зоны «по томь» фрагментом [33—37], занятым подробным рассказом о походе на половцев к Прилуку и Белой Веже. Таким образом, фактически «Летопись» членится на три непересекающихся, но в то же время плотно подходящих один к другому отрезка. Обозначим их соответственно как зоны «А», «В» и «С». Последнюю имеет смысл разделить на отрезки «С1» и «С2», проводя границу между ними после фразы *Се нынѣ иду Ростову*.

От сочетаний *на ту зиму (осень)*, представленных исключительно в зоне «В», необходимо отличать, с одной стороны, обороты без местоимения *на зиму, на лѣто*, а с другой — обороты с отождествительным *же* — *той же зимы, томь же лѣтѣ, в то же лѣто* и т. д., характерные для языка летописания. Первые встречаются в разных местах «Летописи», тогда как формулы «летописного» типа представлены только в зонах «А» (4 раза) и «В» (1 раз) и полностью отсутствуют в зоне «С». Отметим также, что на зону «А» приходятся оба случая употребления в «Летописи» наречия *оттуда*.

§ 17. Что стоит за этой весьма выразительной, как представляется, картиной? В принципе, ее можно трактовать как результат сознательного или же непровольного чередования приемов в единовременно созданном тексте — такая точка зрения уже высказывалась в литературе. На изменения в составе сочинительно-начинательных союзов на протяжении «летописи путей» обратил внимание Б. А. Ларин, заметивший по этому поводу, что «Мономах употребляет разные союзы для стилистического разнообразия» [Ларин 1975: 143]. Такая точка зрения, однако, исходит из презумпции текстологической цельности «Летописи», которую мы не разделяем; с другой стороны, ссылка на «стилистическое разнообразие» в качестве основного фактора вариативности представляет собой в отношении средневековых текстов ничем не обоснованное допущение.

Отмеченные различия можно было бы объяснить в духе гипотезы Б. А. Рыбакова, видевшего в «летописи путей» Мономаха именно летопись, писавшуюся «от одной надобности к другой», в несколько этапов. Исследователь объединяет «пути» Мономаха в шесть хронологических групп, полагая, что первый раз Мономах «подвел некоторые итоги, когда утвердился в Чернигове в 1078 г.» [Рыбаков 1963: 271]. Тот факт, что с этим хронологическим рубежом совпадает конец нашей зоны «А», казалось бы, отлично согласуется с данным предполо-

жением. Однако гипотеза Б. А. Рыбакова не объясняет имеющихся в тексте «Летописи» хронологических противоречий и содержательных дублировок, на которых мы остановимся ниже и которые, на наш взгляд, весьма ярко показывают, что «Летопись» Мономаха, не представляя собой единовременно созданного текста, в то же время не является и результатом простого накопления автобиографических записей, но устроена более сложно. Как отражение этого устройства и следует, по-видимому, рассматривать описанную выше языковую картину.

Попробуем интерпретировать эту картину в рамках развиваемого нами представления об истории текста «Поучения» в целом. Отказавшись признать входившим в ПВМ1 весь текст «Летописи», заканчивающийся словами *се нынѣ иду Ростову* (т. е. текст зон «А», «В» и «С1»), мы ищем в пределах этой части «Автобиографии» фрагмент, который по своим литературным характеристикам мог бы претендовать на эту роль. Не является ли этим фрагментом зона «А», охватывающая события 1068—1078 гг. и построенная при помощи коннекторов *то и* и *та*?

Из этих союзов особенно примечателен второй. В отличие от *по томъ*, определяющего специфику зоны «С» и придающего тексту характер простого перечня, *та* является приметой разговорного дискурса, чем и объясняется его редкая встречаемость в книжных текстах (ср., между тем, совр. укр. *та*). Помимо «Поучения» данный союз систематически представлен только в Ипатьевской летописи (см., например: *И поидоша туда на вятичѣ, и тако взяша та, та на Мценскѣ, ѿтуда же идоша на Спашь, та на Глуховѣ* 1152 г., л. 164); один раз, в контексте с прямой речью, он зафиксирован в Синодальном списке НПЛ (*а вы роздравше, та прочь* 1228 г., л. 105); находим его и в новгородской берестяной грамоте №109 (XI/XII): *а се ти хочю, коне коупивъ и кнѣажь моружь въсадивъ, та на своды*.

Особенно близок к «Поучению» следующий контекст из Ипат. (1159 г., л. 179 об.): *Кнѣгини же бѣжа к зѣти Глѣбови Переяславлю и ѿтоудѣ ѿха на Городокъ, та на Глѣблѣ, та на Хороборѣ, та на Ропескѣ*. Ср. у Мономаха: *Та ѿтуда Турову, а на весну та Переяславлю, таже Турову* [12]; *Тѣм же путѣмъ по Всеславѣ, пожегъ землю и повоевавъ до Лукамла и до Логожьска, та на Дръютскѣ воюю, та Чернигову* [23]. Как в Киевской летописи, так и в «Летописи» Мономаха повторением союза подчеркивается быстрота перемещений, осуществляемых одно за другим, почти без остановки. Именно к этому эффекту и стремился автор, развертывая перед читателем «Поучения» картины собственной жизни как образцы неустанного княжеского труда — *на воинѣ и на ловѣхъ, ночь и днь, на зною и на зимѣ, не даи собѣ оупокота* [251. 24—26].

За пределами зоны «А» мы не находим в «летописи путей» ничего похожего: за редкими исключениями (о которых см. ниже) «пути» более не объединяются в блоки, но перечисляются по отдельности. Здесь перед нами перечень с вкраплениями нарратива, тогда как в зоне «А» нарративное начало господствует. Заключаем на этом основании, что зона «А» «Лето-

писи» Мономаха как раз и представляет ту ее часть, которая читалась уже в ПВМ1, т. е. входила в «Поучение» с момента его создания.

Как часть первоначального «Поучения», этот фрагмент должен был обладать относительной композиционной завершенностью. Напомним, что зона «А» заканчивается описанием похода 1078 г., в котором Мономах после гибели Изяслава Ярославича получил черниговский стол. Заканчивают эту часть текста только что процитированные слова: *та на Дрьютъскъ воюга, та Чернигову* [23].

Полагаю, что прямым продолжением этих слов в ПВМ1 был пассаж, которым «летопись путей» заканчивается и в ее окончательном виде: *А и-Щерьнигова до Кыева нестишь ѳзди<sup>ѣ</sup> ко ѿцю, днемъ есмь переѳздишь до вечерни. А всѣ<sup>ѣ</sup> путии ·п· и ·г· велики<sup>ѣ</sup>, а прока не испомню менши<sup>ѣ</sup>* [78, 79]. На ее нынешнем месте фраза о поездках к отцу из Чернигова не обнаруживает никаких связей с предшествующим текстом, тогда как предлагаемая реконструкция эту связь восстанавливает (...*та Чернигову. А и-Щерьнигова...*)<sup>4</sup>.

Общий счет «путей» в исходном тексте должен был быть, естественно, иным. Однако, какой бы ни была эта цифра, чтобы получить ее, Мономаху нужно было составить письменный перечень своих походов. Именно в этом вспомогательном перечне, не решавшем никаких литературных задач, и использовалась, как можно думать, модель *и по томь*. Этот перечень и должен был заканчиваться фразой *се нынѣ иду Ростову*.

Характерно, что состав используемых коннекторов не претерпевает на этом рубеже никаких изменений. Можно думать, что при редактировании «Поучения» в 1117 г. перечень 1099/1100 г. был продолжен, чтобы получить актуальное число «путей». Однако, в отличие от первого этапа сложения текста, на данном этапе дополненный перечень сам послужил текстуальной основой продолжения «Летописи», подвергшись при этом определенной литературной обработке. Предполагать такую обработку заставляет бросающаяся в глаза литературная гетерогенность этой части текста — в рамках нашей реконструкции она может быть объяснена чередованием фрагментов, восходящих к вспомогательному перечню и вышедших из-под пера редактора 1117 г.

§ 18. Анализ соотношения фрагментов этих двух типов удобнее начать с зоны «С2», т. е. заключительной части «Летописи», охватывающей походы, совершенные Мономахом после поездки в Ростов, о которой он говорит в настоящем времени. Этот участок начинается упоминанием двух погонь за Боняком, не имеющих надежной хронологической привязки [63, 64]. Далее [65—69] в хронологическом порядке излагаются события с конца 1106 г. по начало 1108 г., большая часть которых описана в ПВЛ под 6615 г. (смерть «Гюргеовой матери» — второй жены Мономаха — 7 мая; победоносный поход на половцев

<sup>4</sup> Косвенным подтверждением такой реконструкции может служить сходство этой «связки» с читаемой несколькими строками ниже в описании «ловов» Мономаха: *А се тружяхъ с лова двѣта, понеже сѣдо<sup>ѣ</sup> в Черниговѣ... а и-Щерьнигова выше<sup>ѣ</sup> и до (се)го лѣта*. Вокняжение в Чернигове и здесь использовано как рубеж, отделяющий подробный рассказ об одном периоде жизни автора от суммарной характеристики другого.

за Сулу — 12 августа; мир с Аепой и женитьба Юрия на его дочери — 4 января; см.: [ПВЛ: 119—120]). Женив сына на дочери Аепы, Мономах, согласно «Автобиографии», направляется в Смоленск [69], оттуда — в Ростов [70]. Следующая фраза выглядит прямым продолжением предыдущей: *Прише<sup>ѣ</sup> из Ростова, пакы идо<sup>ѣ</sup> на половци, на Оурубѣ, с Стополко<sup>м</sup>, и Бѣ ны поможсе* [71]. Однако за внешней связностью изложения кроется хронологический сбой: «Уруба», как неоднократно отмечалось, может быть лишь искаженной формой имени *Урусоба* — половецкий князь с таким именем был убит в ходе похода на половцев в 1103 г [ПВЛ: 118]. В этом можно было бы усомниться, если бы данное сообщение было единственным, нарушающим хронологическую последовательность. Между тем это нарушение продолжается и в следующей фразе: поход «на Боняка к Лубну» [72] с полным основанием отождествляется Ивакиным с уже названным походом «за Сулу» [68], описанным в ПВЛ под 6615 г.<sup>5</sup>

Такое расположение сообщений И. М. Ивакин [1901: 259] объяснял тем, что отдельные записи и группы записей были перепутаны местами самим Мономахом, в результате чего события в этой части «летописи путей» оказались описаны вне общей хронологической последовательности. Такую же путаницу Ивакин предполагал и еще в ряде мест «Летописи», считая, в частности, что погони за Боняком [63, 64] имели место в 1096 г. и лишь по недоразумению оказались описаны не на своем месте.

Принципиально иначе подошел к делу С. В. Цыб. Разбор хронологических показаний статьи 6615 г. ПВЛ на фоне относительной хронологии «Почтения» служит для исследователя отправным пунктом в глобальном пересмотре хронологии начального древнерусского летописания. По мнению С. В. Цыба, правильную последовательность событий отражает «Летопись» Мономаха, тогда как хронология ПВЛ в одной только статье 6615 г. демонстрирует совмещение «как минимум четырех систем учета времени» [Цыб 1995: 16].

На наш взгляд, соотношение текстов не дает никаких оснований для столь далеко идущих выводов. Доверие к относительной хронологии «Автобиографии» зиждется на представлении о текстологической однородности этого памятника, в действительности обладающего намного более сложной организацией.

Анализ структуры текста в зоне «С2» обнаруживает совмещение в ней двух совершенно разных нарративных моделей. Это, с одной стороны, уже знакомая нам модель перечня походов, построенного при помощи коннекторов *и по томь, и пакы*. Два других признака этой модели — отсутствие каких-либо хронологических указаний, а также смысловых переходов между отдельными пунктами перечня, которые бы представляли их как звенья

<sup>5</sup> Данное упоминание лучше соответствует описанию ПВЛ, согласно которому половцы во главе с Боняком *сташа около Лубьна* [ПСРЛ 1962: 282]. Выше в «Летописи» Мономаха сказано, что Боняк *приде со всѣми половци къ Къснятиню* [68]. Можно не сомневаться, однако, что речь идет об одном и том же походе: упоминаемый Мономахом *Къснятинь* отождествляется с современным с. *Снітин* Лубенского р-на Полтавской обл. [Стрижак 1985: 76].

одной цепи. Таким образом устроены фрагменты [63, 64] и [72—77], т. е. начало данного участка и его заключительная часть.

На этом фоне выделяется фрагмент [65—71], построенный как связный рассказ о последовательности событий, включающей, наряду с «путями» Мономаха, также факты его семейной жизни — смерть жены и женитьбу сына. Связность этого рассказа создается лексическими повторами и использованием коррелянтных глаголов движения (*Смолинску идохъ. И-Смоленска... выидо<sup>х</sup>...; Перетиславлю пришедъ... идохо<sup>м</sup>... ис Перетиславля; идо<sup>х</sup> Ростову. Прише<sup>т</sup> из Ростова...*), а также введением в текст абсолютных хронологических указаний (*по Велицѣ дни, на лѣ<sup>т</sup>, по Ржѣтвѣ*), отсутствующих во фрагментах первого типа.

Такое чередование нарративных моделей само по себе не свидетельствует о редактировании — оно может объясняться и колебаниями «масштаба» повествования в однородном по происхождению тексте. Однако сопровождающая его хронологическая и композиционная путаница вряд ли может быть истолкована иначе, как следствие неумелой редакции. Логику действий редактора несложно понять. Фрагмент [65—71] имеет своим композиционным центром поход на Сулу [68], тождественный походу «на Боняка к Лубну» [72]. По сути дела, он представляет собой расширенное описание победоносного похода 1107 г. в его ближайшем историческом и автобиографическом контексте. Исключив из текста фразы [65—70], а также начало фразы [71] (*Прише<sup>т</sup> из Ростова...*), мы восстанавливаем хронологически последовательный перечень походов Мономаха с 1101—1102 гг. (которыми, вероятно, следует датировать безуспешные погони за Боняком [63, 64]) по 1117 г.:

*И паки с Стѣполко<sup>м</sup> гонихо<sup>м</sup> по Боняцѣ, но ли ѡли оубиша, и не постигохо<sup>м</sup> ихъ.*

*И пото<sup>м</sup> по Боняцѣ же гонихо<sup>м</sup> за Росъ и не постигохо<sup>м</sup> ѡго.*

[...]

*[И] паки идо<sup>х</sup> на половци, на Оурубѣ, с Стѣполко<sup>м</sup>, и Бѣны поможе.*

*И пото<sup>м</sup> паки на Боняка к Лубну, и Бѣны поможе.*

*И пото<sup>м</sup> ходихо<sup>м</sup> в воину с Стѣполко<sup>м</sup>.*

*И пото<sup>м</sup> паки на Донѣ идохо<sup>м</sup> с Стѣполко<sup>м</sup> и с Дѣдѣмъ, и Бѣны поможе.*

*И к Выреви блѣху пришли Аепи и Бонякъ, хотѣша взяти и, ко Ромну идо<sup>х</sup> со Улгомъ и з дѣтми на нь, и ѡни ѡчитивше бѣжаша.*

*И пото<sup>м</sup> к Мьньску ходихо<sup>м</sup> на Глѣба, ѡже ны блше люди запаль, и Бѣны поможе, и створихо<sup>м</sup> свое мышленое.*

*И пото<sup>м</sup> ходихо<sup>м</sup> къ Володимерю на Юрославца, не терпаче злобъ ѡго.*

Хронологическая путаница возникла в результате неумелого внесения в текст редакторской вставки. Виновником этой путаницы, скорее чем автора «Поучения», следует признать выполнявшего его указания писца («технического редактора» Мономаха, см. о нем выше, § 7)<sup>6</sup>. Дополняя автобиографи-

<sup>6</sup> Поскольку точно разделить компетенции «литературного» и «технического» редактора не всегда удастся, мы будем иногда говорить просто о «редакторе», памятуя, однако, о принципиальной двойственности этой роли.

ческую часть «Поучения», этот писец располагал, с одной стороны, перечнем походов (в котором Мономахом могли быть отмечены места вставок), а с другой — отдельно записанными под диктовку Мономаха текстами этих вставок. В данном случае, чтобы правильно произвести редактуру, он должен был заменить краткое упоминание похода 1107 г. [72] распространенным текстом [65—70], т. е. переписать текст вставки после известия о походе на Урусобу [71] и не переписывать фразу о походе на Боняка к Лубну [72]. Вместо этого он сделал вставку перед записью о походе на Урусобу, а последующий текст переписал без изменения. Чтобы замаскировать редактуру, создав иллюзию связности текста, писец добавил в конце вставки слова *Прише<sup>т</sup> из Ростова*, парадоксальным образом связав поход на Урусобу 1103 г. с возвращением Мономаха из Ростова в 1108 г.

Вполне вероятно, что в зоне «С2» имеются и другие следы редактирования первоначального перечня. Такое подозрение падает в первую очередь на фразу [75], которая, в отличие от других пунктов этой части перечня, имеет специальную «экспозицию», излагающую причины похода. Примечательно, что в этой экспозиции говорится о приходе половцев к Вырю, тогда как в сообщении о походе в качестве его цели указан Ромен. Ср. сообщение о том же походе в ПВЛ под 1113 г.: *слышавше же Половиць смерть Стѣполчу и совокутивше сѧ и придоша къ Выры. Володимеръ же совокутивъ сѣны свои и сыновиць, иде къ Выру...* [Ипат., л. 102 об.]. Такое же расхождение мы только что наблюдали между двумя дублирующими друг друга упоминаниями о походе на Боняка в 1107 г., где в одном случае в качестве географического ориентира указан Коснятинь, а в другом — Лубно. Все это дает основание предполагать, что во вспомогательном перечне «путей» этот пункт был сформулирован более кратко, примерно так: *\*[И пакы] къ Ромьноу идохъ съ Улгомы и съ дѣтьми*. Характерно, что, как и в случае с походом 1107 г., фрагмент, возводимый к вспомогательному перечню, указывает в качестве ориентира более крупный населенный пункт (Ромен ~ Лубны), тогда как текст, появившийся при редакции, содержит более точное указание (Вырь ~ Коснятинь).

§ 19. Фрагменты тех же двух типов — перечень путей и связный рассказ о событиях — представлены и в зоне «С1». Формальные признаки, которые мы считаем характерными для вспомогательного перечня, здесь «в чистом виде» демонстрируют отрезки [38—43] и [54—58]. Можно предположить, что эти фрагменты были без изменений перенесены в «Летопись» из перечня, тогда как остальной текст этой зоны отредактирован или полностью написан в 1117 г.

Подтвердить это предположение позволяет анализ формул божественного покровительства, которым Мономах в «Летописи» нередко объясняет свои успехи. Чаще всего эту функцию выполняет формула *Бѣ ны поможет*. Пять из восьми ее употреблений сосредоточены в зоне «С2», где данная формула один раз выступает в тексте вставки [68] и четырежды — в основном перечне «путей» [71—73, 76]. Таким образом, на данном участке эта формула является нейтральным средством указания на успех похода.

За пределами зоны «С2» эта и аналогичные формулы представлены только три раза. Два примера приходятся на рассказ о походе к Прилуку [34—37], отделяющий зону «В» от зоны «С», и описание перехода из Чернигова в Переяславль [46—51]. Оба эпизода не только резко выделяются на окружающем фоне своей подробностью, но и демонстрируют одинаковое обыгрывание дневных дат (*И заутра на Г<sup>ѣ</sup> жинь днь идох<sup>ѣ</sup> к Бѣлѣ Вежи, и Бѣ ны поможє и стѣга Бѣга* [37]; *И внидох<sup>ѣ</sup> на стѣга Бориса днь ис Чернигова ... Бѣ и стѣги Борисъ не да имъ мене в користь* [51]), что делает несомненной принадлежность их одному и тому же текстовому пласту.

Неординарен и третий пример, выступающий в контексте, непосредственно продолжающем рассказ о переходе в Переяславль: *И сѣдѣхъ в Переяславли Г<sup>ѣ</sup> лѣта и Г<sup>ѣ</sup> зимы и с дружиною своею, и многы бѣды притах<sup>ѣ</sup> ѿ рати и ѿ голода. И идох<sup>ѣ</sup> на вои ихъ за Римовъ, и Бѣ ны поможє: избиша и, а другита поимаша. И пакы Итлареву чадѣ избиша, и вежи ихъ взлх<sup>ѣ</sup>, шедше за Голтавомъ* [52—54].

Останавливает на себе внимание сочетание *на вои ихъ* во втором предложении. Хотя понятно, что имеются в виду половцы, синтаксическая ущербность фразы заставляет предполагать какое-то искажение текста. Логика развертывания текста восстанавливается, если изменить порядок следования фраз, перестроив их следующим образом: *\*И пакы Итлареву чадѣ избиша, [и идох<sup>ѣ</sup> на вои ихъ за Римовъ, и Бѣ ны поможє: избиша та, а другита поимаша]; и вежи ихъ взлх<sup>ѣ</sup>, шедше за Голтавомъ*<sup>7</sup>. Этот порядок мог быть нарушен только по одной причине: если заключенная в скобки фраза [53], содержащая интересующий нас оборот, представляла собой добавление к первоначальному перечню, по ошибке внесенное писцом в текст чуть раньше, чем это было предусмотрено Мономахом.

Можно понять, отчего произошла эта ошибка. Предыдущая фраза о трехлетнем сидении в Переяславле [52] выглядит очень «литературно» (*...и многы бѣды притах<sup>ѣ</sup> ѿ рати и ѿ голода*) и, скорее всего, завершала текст вставного рассказа о переходе в Переяславль. Очевидно, в записи вставок, которые писец должен был внести в текст, ее продолжала фраза *И идох<sup>ѣ</sup> на вои ихъ...*, которую писец и переписал вместе с предыдущим текстом. С похожей ошибкой писца, осуществлявшего редактуру, нам пришлось столкнуться и в зоне «С2».

В тех же фрагментах зоны «С1», которые по формальным признакам могут быть возведены к первоначальному перечню, формула *Бѣ ны поможє* отсутствует, даже там, где речь бесспорно идет об успешных военных предприятиях (см., в частности, [41, 42]). Это позволяет видеть в данной формуле текстовую примету продолжения перечня, созданного в 1117 г., относя ее использование в «Летописи» до рубежной фразы *Се нынѣ иду Ростову* за счет произведенного тогда же редактирования текста.

<sup>7</sup> С историко-географической точки зрения такая перестановка кажется вполне допустимой: Римов, как принято считать, находился на Суле, т. е. между Переяславлем (где совершилось избиение Итларевой чады) и Голтвой.



Рассмотрим теперь заключительный фрагмент зоны «С1», представляющий особый интерес, поскольку именно в нем содержится важнейшая для датировки памятника фраза:

<sup>55</sup>*И Стародубу идохо<sup>м</sup> на Улга, зане сѧ блѧше приложилъ к половце<sup>м</sup>.*

<sup>56</sup>*И на Бѣ<sup>м</sup> идохо<sup>м</sup> с Стополко<sup>м</sup> на Бонѧка за Росъ.*

<sup>57</sup>*И Смолинску идохо<sup>м</sup>, с Дѣдѣмъ смирившесѧ.*<sup>58</sup>*Паки идохо<sup>м</sup> другое с Вороницѣ.*

<sup>59</sup>*Тогда же и торци придоша ко мнѣ ис половецъ и Читѣвичи, идохо<sup>м</sup> противу имъ на Сулу.*

<sup>60</sup>*И потомъ паки идохо<sup>м</sup> к Ростову на зиму,* <sup>61</sup>*и по ·Г· зимы ходихо<sup>м</sup> Смолинску.*

<sup>62</sup>*И се нынѣ иду Ростову.*

Считая (как это делает И. М. Ивакин), что походы Мономаха перечислены здесь в хронологической последовательности, их можно выстроить в следующий ряд. Первые два похода на основании ПВЛ надежно датируются 1096 г. Поход в Смоленск после примирения с Давыдом практически единодушно связывается исследователями с решениями Любечского съезда 1097 г.<sup>8</sup> Вторая поездка в Смоленск (*другое с Вороницѣ*) имела место, видимо, зимой 1098/1099 г.<sup>9</sup> Упоминаемый далее поход на Сулу можно в таком случае датировать 1099 г., названную за ним поездку в Ростов — зимой 1099/1100, а три последующих поездки в Смоленск — соответственно зимами 1100/1101, 1101/1102 и 1102/1103. Путь к Ростову, о котором Мономах говорит в настоящем времени, И. М. Ивакин, исправляя фразу указанным выше образом, считает прямым продолжением поездки в Смоленск (*и-Смольньска идохъ Ростову*); как самостоятельная поездка этот путь может быть, в рамках данной схемы, датирован самое раннее зимой 1103/1104 г.

Существенно иначе понимает текст Б. А. Рыбаков. Фразу *и по ·Г· зимы ходихо<sup>м</sup> Смолинску* он трактует как «продолжение того суммарного счета, которым обозначено и сидение в Переяславле, т. е. три года было проведено безвыездно на юге, а на протяжении трех последующих лет по зимам (когда собирают дани) Владимир ездил в Ростов и в Смоленск» [Рыбаков 1963: 271]. Если эта фраза действительно суммирует уже упомянутые поездки в Смоленск и Ростов (путь в который также лежал через Смоленск), то *нынѣ иду Ростову* могло быть написано зимой 1100/1101 гг.

Обе точки зрения предполагают, что перед нами однородный по происхождению текст. Между тем анализ структуры нарратива на данном участке

<sup>8</sup> Особняком и здесь стоит мнение С. В. Цыба [1995: 134], считающего, что имеется в виду примирение с Давыдом Игоревичем в 1099 г. Справедливую критику этой точки зрения см.: [Хрусталева 2002: 104].

<sup>9</sup> Правильную трактовку этой фразы дает И. М. Ивакин [1901: 200]: «Думаю, что „другое“, т. е. в другой раз после Любечского съезда (значит, в 1098 г.), Мономах отправился в Смоленск тоже на зиму». Смысл наречия *другое*, указывающего на *вторую* поездку в прямо не названный здесь Смоленск, ускользнул от последнего комментатора этого фрагмента Д. Г. Хрусталева [2002: 103—104], в хронологических расчетах которого этот «путь» Мономаха вообще отсутствует, отчего хронология следующих путей оказывается смещенной на один год (поездка в Ростов датируется зимой 1098 г. и т. д.).

«Летописи» свидетельствует об обратном. Начало фрагмента [54—58], как уже было сказано, демонстрирует все признаки простого перечня; специфичным для него, но тем не менее полностью вписывающимся в ту же модель является преобладание в качестве коннектора одиночного *и*. Иначе построены фразы [59—61]. Первая вводится необычным *тогда же*, более в «Летописи» не встречающимся, но структурно близким оборотам типа *тогда же лѣтъ*, представленным только в зонах «А» и «В». Необычна для перечня и «экспозиция» фразы, напоминающая [75], где, как мы предположили выше, аналогичная экспозиция появилась при редакции; отметим также, что упоминание полков Читеевичей содержательно связывает эту фразу с пунктом [31] в зоне «В». Фразу [60] выделяет из общего ряда наличие в ней указания на время (*на зиму*), связывающего ее с [61] (*и по ·Г· зимы*). С другой стороны, вводящий ее «сдвоенный» коннектор *и потомъ пакы*, не представленный более в зонах «А»—«С1», дважды встречается в зоне «С2» [72, 74]. Что же касается фразы [61], то она, будучи «сцеплена» с [60] упоминанием зимы (... *на зиму, и по ·Г· зимы...*), в то же время, по справедливому наблюдению Б. А. Рыбакова, переключается с [52], а также с [26] в зоне «В».

Если, таким образом, фрагмент [59—61] не принадлежал вспомогательному перечню, то как он соотносится с предыдущим и последующим текстом? Ответ на этот вопрос подсказывает комментарий И. М. Ивакина, согласно которому поход Мономаха на Сулу [59] «был не после, а до пути в Смоленск — он [Мономах.— А. Г.] пошел туда, уладив свои дела на Суле» [Ивакин 1901: 200]. Это предположение верифицируется идентификацией Вороницы с селом Воронинцы на р. Слепород, неподалеку от Сулы [Там же]<sup>10</sup>. Наши наблюдения над структурой текста позволяют полностью согласиться с такой трактовкой, признав, что фраза [59] сообщает о том же походе, который в скрытой форме упомянут в предыдущей фразе. Начало вставки, таким образом, компенсировало чрезмерную лапидарность вспомогательного перечня.

Рассуждая далее в том же ключе, следует предположить, что и фраза [60] содержательно дублирует один из пунктов вспомогательного перечня, а именно рубежную фразу [62] *И се нынѣ иду Ростову*. Очевидно, что грамотно произведенная редакция должна была бы с необходимостью изменить настоящее время этой фразы на прошедшее, и то, что в «летописи путей» она читается в первоначальном виде, может объясняться лишь редакторским недосмотром. С однотипной ошибкой мы столкнулись в зоне «С2», где новое описание похода на Боняка в 1107 г. должно было заменить упоминание о нем во вспомогательном перечне, но в результате это последнее оказалось переписано вместе с текстом вставки.

Таким образом, интересующий нас фрагмент перечня «путей» мог первоначально иметь следующий вид:

<sup>10</sup> Несмотря на это, Д. С. Лихачев в своем комментарии отмечает, что «местоположение Вороницы не ясно» [ПВЛ 1996: 526], а словарь летописных географических названий южной Руси [Стрижак 1985] даже не включает ее в свой словарь.

<sup>57</sup>*И Смолиньску идохо<sup>ѣ</sup>, с Дѣдмь смирившес.л.*

<sup>58</sup>*Паки идохо<sup>ѣ</sup> другое с Вороницѣ.*

<sup>62</sup>*И се нынѣ иду Ростову.*

В отредактированном тексте «Летописи» этот фрагмент оказался разорван вставкой фраз [59—61], частично дублирующих его содержание. В результате хронология походов была спутана. Об одной и той же поездке в Ростов оказалось сказано дважды — второй раз после упоминания трех поездок в Смоленск, совершенных после нее.

Точно восстановить хронологию походов, упоминаемых в этой части «Летописи», по-видимому, нереально, но если брать самые ранние возможные даты, то картина выглядит следующей: две поездки в Смоленск — зимы 1097/98 и 1098/99 гг. (в промежутке между ними — поход на Сулу (к Воронице)); поездка в Ростов — зима 1099/1100 г.; три поездки в Смоленск — зимы 1100/01, 1101/02, 1102/03 гг.

§ 20. Специфичный для зоны «В» оборот *на ту зиму (осень, весну)* — лишь одна из хронологических формул, в изобилии представленных на данном участке текста. Временные указания имеются при всех названных здесь походах, кроме [28]. В этом отношении к зоне «В» примыкает, составляя с ней единое целое, рассказ о походе на половцев за Супой к Прилуку и Белой Веже [33—37]. Обращают на себя внимание общие черты в построении этого рассказа и открывающего зону «В» рассказа о разгроме половцев на Десне и под Новгородом-Северским [24—25]: упоминание имен неизвестных по другим источникам половецких князей и загадочных *семцов*. Сходны и формы указания на время (*на заоутрѣв ~ заоутра*), а оборот *тоя ночи* без ожидаемого *же* напоминает характерную для зоны «В» формулу *на ту зиму*.

Все это позволяет рассматривать зону «В» (вместе с рассказом о походе к Прилуку и Белой Веже, т. е. отрезок [24—37]) как отредактированный и дополненный в 1117 г. текст — в отличие от начала зоны «С1» [38—43], воспроизводящего текст вспомогательного перечня в исходном виде.

Понимая таким образом устройство текста на данном участке, можно предложить объяснение для еще одной загадки «Летописи». Мы имеем в виду три упоминания о контактах Мономаха с Ярополком, два из которых находятся в зоне «В» [28, 32] и один — в зоне «С» [43]. Первый раз Мономах упоминает о Ярополке в связи с погоней за «Изяславичами», в которых исследователи единодушно видят Ростиславичей, выгнавших весной 1084 г. Ярополка из Владимира-Волынского [ПВЛ 1996: 87]. В том же году Мономах, согласно ПВЛ, «посади Ярополка Володимери», чему, очевидно, и предшествовала встреча с ним на Бродах. Однозначно трактуется и третье сообщение: речь безусловно идет о восстановлении Мономахом Ярополка на владимирском столе незадолго до его смерти в 1086 г.

Попытка прочесть текст, разделяющий эти два сообщения, как хронологически последовательное описание походов Мономаха наталкивается на непреодо-

лимые препятствия. Второе сообщение о встрече Владимира с Ярополком, оформленное с особой торжественностью (*и любовь велику створихо<sup>11</sup>*), не вписывается в исторический контекст междукняжеских отношений этих лет, каким его — вполне последовательно — изображает ПВЛ. Цепочка хронологических указаний, связывающих это известие с упоминанием первой встречи (*на ту весну — том же лѣтѣ — на ту осень — на ту зиму*), преподносит события как совершившиеся в пределах одного года, заставляя относить вторую встречу с Ярополком к зиме 1084/1085 г. Доверяя этой схеме, И. М. Ивакин предположил, что Мономах в 1084 г. дважды встречался с Ярополком, причем после первой встречи Ярополк почему-то остался в Польше и только после второй вернулся на Русь<sup>11</sup>. Непонятные причины этого промедления — не единственное, что смущает в таком объяснении. «Великой любви» между Владимиром и Ярополком должно было предшествовать размирье. Оно и в самом деле имело место, однако уже после возвращения Ярополка на Русь в 1084 г. Согласно ПВЛ, вернувший себе владимирский стол при помощи Мономаха Ярополк сразу же стал замышлять против Всеволода, чем вызвал на себя поход Владимира, от которого и бежал в Польшу. Об этом походе в «Автобиографии» не упоминается — как отмечает Д. С. Лихачев, «Мономаху важно было подчеркнуть свои добрые отношения с Ярополком» [ПВЛ 1996: 524]. Примирение Ярополка с Мономахом и его очередное возвращение во Владимир — это уже предмет третьего сообщения. К чему в таком случае относится второе?

С другой стороны, доверяя внутренней хронологии «летописи путей», мы должны были бы предположить, что все пять походов на половцев, перечисленные во фрагменте [38—44], имели место в течение одного года — с осени 1085 г. (которой при таком подходе приходится датировать победу при Белой Веже) по осень 1086 г. (смерть Ярополка), что маловероятно.

Выход из положения заключается, на наш взгляд, в том, что встреч Мономаха с Ярополком было в действительности не три, а две, причем вторая, имевшая место в 1086 г., оказалась описанной дважды — в зонах «В» и «С1», между которыми имеется частичное хронологическое наложение. Действительно, указание *на ту зиму* во втором сообщении вполне соответствует времени второго посажения Ярополка во Владимире (за «мало дней» до его смерти 22 ноября 1086 г., см. [ПВЛ 1996: 87]), тогда как слова о «великой любви» хорошо подходят к ситуации преодоления конфликта.

Таким образом, временные рамки зоны «В» и начального фрагмента зоны «С» отчасти пересекаются. Можно представить себе, каким образом возникло это пересечение. Выйдя за пределы периода, описанного в исходном тексте «Поучения» (т. е. зоны «А»), редактор оказался один на один с лишенным хронологических указаний вспомогательным перечнем «путей». Желая не

<sup>11</sup> Д. С. Лихачев [ПВЛ 1996: 524] приписывает И. М. Ивакину представление о дублировке между первым и вторым сообщениями о встречах Мономаха с Ярополком. Это недоразумение: согласно Ивакину, встреч было три.

только дополнить этот текст подробностями наиболее важных походов, но и как-то организовать его во времени, он часть известий опустил, а оставшиеся связал обладающей внешним правдоподобием цепочкой хронологических указаний. В том, что хронологическая связность изложения может быть в «летописи путей» иллюзией, создаваемой редактурой, мы уже имели возможность убедиться на примере с Урусобой, поход против которого 1103 г. Мономах, согласно «Летописи», совершает в 1108 г., «пришедъ из Ростова».

Дойдя до похода к Прилуку и Белой Веже и описав его, редактор, видимо, осознал неудобства избранной тактики и просто переписал далее «пути», не вместившиеся в связное изложение; вместе с этими «отходами» зоны «В» оказалась переписана и первоначальная запись о втором посажении Ярополка во Владимире и его смерти<sup>12</sup>.

Специально остановимся на важном следствии, вытекающем из только что сказанного для трактовки одного из наиболее дискуссионных мест «Летописи» Мономаха, каким является начало фразы [33]: *И на весну посади мѧ ѡць в Переяславли передъ братьею...* С. М. Соловьев [1988: 677] полагал это место испорченным на том основании, что ко времени, о котором здесь идет речь, Мономах уже сидел в Чернигове, занимавшем в иерархии княжеских столов более высокое место, чем Переяславль. Поддержавший его И. М. Ивакин исправляет *посади* на *посла* (эту конъектуру разделяет и Л. Мюллер [Muller 2001: 353], тогда как Е. Ф. Карский [ПСРЛ 1962: 248] задается вопросом: не следует ли вместо *передъ братьею* читать: *передъ ратию*? Против этих попыток справедливо выступил Д. С. Лихачев. Чтение Лаврентьевской летописи он объясняет, исходя из засвидетельствованной в XII в. практики занятия переяславского стола предполагаемым кандидатом на киевский стол после его освобождения: «Переяславль — это своеобразное „преддверие Киева“... Под „братьею“ Мономах разумеет, очевидно, всех русских князей. Вероятно, он хочет подчеркнуть, что был посажен отцом в Переяславле, чтобы облегчить ему занятие киевского стола после смерти Всеволода, и выделен тем из всех русских князей, поставлен впереди всех русских князей» [ПВЛ 1996: 524].

В трактовке Д. С. Лихачева данное известие оказывается, вообще говоря, одним из самых ярких свидетельств существования на Руси в эту эпоху практики десигнации — передачи власти в обход традиционной системы престолонаследия. Показательно, однако, что А. В. Назаренко, посвятивший порядку престолонаследия на Руси X—XII вв. специальное исследование [Назаренко 2000], вообще не упоминает этого эпизода; молчат о нем и другие исследователи. Причина этого очевидна: в ситуации 1085—1086 гг., предшествовавшей

<sup>12</sup> О том, что исходным «материалом» для зоны «В» послужил перечень типа представленного во фрагменте [38—44], свидетельствует фраза [28] (*И пакы по Изяславичихъ за Микулинъ, и не постигохо<sup>ст</sup> ихъ*), единственная, лишенная хронологического указания и как будто выхваченная из данного фрагмента. Особенно характерно отсутствие в этой фразе глагола — в исходном перечне опущенный глагол (*гонихомъ*), видимо, заключался в предыдущей фразе (ср. [38—40]).

смерти Ярополка, попытка десигнации Владимира Всеволодом не находит себе места и выглядит неправдоподобной — настолько, что это заставляет предлагать конъектуры для абсолютно ясно читаемого пассажа.

Развиваемое нами представление об устройстве текста «Летописи» снимает исторические препятствие к принятию точки зрения Д. С. Лихачева. Оно позволяет датировать акт Всеволода весной 1087 г., связав его, с одной стороны, со смертью Ярополка (прямым следствием которой он, очевидно, и был), а с другой — с переходом в следующем 1088 г. Святополка из Новгорода в Туров [ПВЛ 1996: 88]. Получение Владимиром вдобавок к черниговскому столу еще и переяславского княжения выглядит при этом одним из звеньев политического процесса, вызванного смертью старшего Изяславича.

§ 21. Движение от конца «Летописи» к ее началу возвращает нас к зоне «А», текст которой, согласно нашей гипотезе, составляет, вместе с описанием охот Мономаха, «ядро» автобиографической части «Поучения». Этот предварительный вывод нам теперь предстоит уточнить, ответив на вопрос: однороден ли по своему происхождению текст зоны «А», или же редакторские вставки 1117 г. имеются и здесь? Такая постановка вопроса, на наш взгляд, обладает значительной объяснительной силой.

Общепризнанно, что первый самостоятельный поход юного Владимира в Ростов «сквозь вятичѣ» имел место осенью 1068 г., когда, после киевского восстания 15 сентября, Всеволод с сыном должны были искать убежища в своих окраинных владениях. Следующий однозначно датируемый «путь» — это поход Мономаха в Польшу, упомянутый в Повести временных лет под 1076 г. [ПВЛ 1996: 85]. Относительно датировки «путей», названных между двумя этими походами, мнения расходятся. Исследователи XIX — первой половины XX в. более или менее равномерно распределяли эти «пути» в указанном временном промежутке. Однако пошедший наперекор традиции В. А. Кучкин [1971] предположил, что все они имели место в течение короткого времени с конца 1068 г. по лето 1069 г.

Особый интерес для нас сейчас представляет фрагмент [3—6], следующим образом прокомментированный В. А. Кучкиным: «Датировка второго „пути“ Мономаха концом 1068 — началом 1069 г. вполне объясняет, почему с юным княжичем действовал служивший Изяславу Ставко Скордятич. Отец Мономаха Всеволод бежал после 15 сентября 1068 г. из Киева вместе с Изяславом. Судя по тому, что Всеволод пошел в Курск и направил сына в Ростов, князья рассчитывали не отсидеться от половцев в удельных центрах, а собрать там новые войска. В таких условиях помощь подростку Мономаху (ему было тогда 14 лет) со стороны опытного боярина, который представлял интересы действовавшего заодно с Всеволодом Изяслава, была вполне уместна. Владимир и Ставко удалось собрать какую-то дружину. С частью ее Ставко присоединился к Изяславу и ушел, как давно догадывался Соловьев, в Польшу. Часть же дружины осталась у Мономаха, и, видимо, с нею он несколько позднее охранял Берестье. Посылка его туда двумя братьями также вполне объясняется

обстановкой на Руси в конце 1068 — начале 1069 г., когда, после бегства Изяслава, в русских землях остались только два сына Ярослава Мудрого: Святослав и Всеволод» [Кучкин 1985: 30—31].

Восстанавливается, таким образом, следующий ход событий. Из Ростова Мономах осенью-зимой 1068—1069 г. отправляется в Смоленск со Ставкой Гордятиничем и где-то на пути встречается с Изяславом; далее Ставка Гордятинич отправляется с Изяславом через Берестье в Польшу, а Мономах продолжает свой путь в Смоленск. Сразу отметим некоторую странность этого маршрута: кратчайший путь из Ростова в Берестье лежал через Смоленск, и не очень понятно, где должен был Мономах, направлявшийся из Ростова в Смоленск, встретить Изяслава, чтобы затем их пути разошлись указанным образом. Изложенное понимание дела вызывает и другие вопросы.

К кому относятся слова *а мене посла Смолинську*? Синтаксически субъект *у посла* должен быть тот же, что и у *отиде*, т. е. Ставка Гордятинич. Однако, как справедливо заметил И. М. Ивакин [1901: 147], «трудно допустить, чтобы боярин (каковым, наверное, был Ставка), воевода Всеволодов ли, Изяславов ли — все равно, мог послать не только князя, но и княжича, куда бы то ни было». Маловероятно сам по себе, такой смысл кажется вдвойне неуместным в контексте данного эпизода «Поучения», призванного продемонстрировать самостоятельность автора, проявляющуюся им с младых ногтей. По мнению И. М. Ивакина, «направить Мономаха в Смоленск мог только Изяслав» [Там же]. Однако и в этом случае возникает вопрос: почему Владимир, посланный в Ростов Всеволодом, действует далее, подчиняясь воле Изяслава и в сопровождении его воеводы? И что делает сам Всеволод Ярославич, пока его четырнадцатилетний сын пересекает просторы Руси с северо-востока на юго-запад в условиях военной опасности? Отсиживается в Курске?

Предложение Ивакина неприемлемо и в языковом отношении. Приводимые исследователем примеры из «Поучения», оправдывающие трактовку форм *отиде* и *посла* как относящихся к разным лицам, не достигают своей цели, так как все представляют собой случаи «цепного нанизывания» относительно самостоятельных предикативных единиц, осуществляемого при помощи союза *и*. Между тем союз *а*, если за ним не следует новое подлежащее, регулярно соединяет в книжных текстах только однородные сказуемые, обозначающие действия одного лица (ср. далее в «Летописи»: *разгнахомъ силны вои Белкатгина, а семечи и полонъ весь ѡт ѡхотѣ* [23]; *избиша и, а иньти поимаша* [53] и др.). Нужно признать, что, вопреки логике вещей, логикой грамматики в Смоленск Мономаха посылает именно Ставка Гордятинич. Точнее — то лицо, о котором выше сказано: *то и пакы ѿиде к Берестю со Изяславомъ*.

До сих пор, как кажется, ни у кого из исследователей не возникало сомнений в том, что к Берестью с Изяславом отправился Ставка Гордятинич. Эта уверенность во многом поддерживалась трактовкой отрезка *то и пакы* как содержащего форму им. ед. муж. указательного местоимения *тъ* (> *тъи* > *тои*). Характерен комментарий к этому месту И. М. Ивакина [1901: 151]: «*Той* — конечно, Ставка, но почему сказано *и пакы*?». С этим

согласен А. С. Орлов [1946: 141] и современные переводчики «Поучения» (Д. С. Лихачев [ПВЛ 1996: 240]: ‘который затем пошел к Берестью с Изяславом...’; Л. Мюллер [Müller 2000: 351]: ‘Dieser wiederum zog mit Izjaslav fort nach Brest...’). Между тем в Лаврентьевской летописи данная форма местоимения нигде более не выступает не только в виде *тои*, но и в виде *тыи* — она записывается только как *ть* или, с прояснением редуцированного, *то*<sup>13</sup>; с другой стороны, синтаксически здесь следовало бы ожидать не *ть*, а *онъ*, как в следующем контексте: *а на другую зиму с Стополкомъ подъ Полтескъ, ѡжгоша Полтескъ, ѡнъ иде Новугороду, а та с половици на Удрьскъ воюя, та Чернигову* [16, 17]. Все это заставляет видеть в рассматриваемой фразе не местоимение *тои*, а один из случаев употребления характерного для зоны «А» союза *то и*. Таким образом, подлежащее при *отиде* отсутствует точно так же, как и при *посла*, хотя грамматически оно здесь требуется, ср. *ѡнъ иде* в только что приведенной фразе.

Все эти грамматические и смысловые неувязки, порождаемые традиционным пониманием текста, заставляют внимательнее присмотреться к фразе: *И пакы ѡвѣ к Смолинъску со Ставкомъ с Кордѣтичемъ*. Употребленное здесь наречие *второе* формально коррелирует с *первое*, открывающим «летопись путей». Но в отличие от *первое*, совсем не обязательно требующего продолжения нумерации (ср. употребление его Мономахом в начале «княжеского зерцала»: *Первое, Ба дѣла и дѣла своѣта, страѣ имѣте Би в срѣци своѣмъ...*), *второе*, записанное к тому же цифрой, такое продолжение предполагает. Между тем ожидаемых «3-е», «4-е» и т. д. мы далее не находим. Похоже, что, задумав дать нумерованный перечень своих путей, Мономах (или его «технический редактор») затем отказался от этого намерения. Важно только понять, к какому этапу работы над текстом относится этот незавершенный замысел.

Как уже говорилось, синтаксический каркас зоны «А», пределами которой мы ограничиваем исходный вид «летописи путей», создает повторение союзов *та* и *то и*, сообщающее изложению особую динамичность. На этом фоне «путь» к Смоленску со Ставком Гордятиничем с его изолированным номером выглядит инородным вкраплением, попыткой перестроить начало автобиографии на новых основаниях. Исключив эту фразу, мы получаем предельно ясный по структуре и содержанию текст: *\*Первоѣ к Ростову идохъ сквозѣ Вѣтичѣ: посла ма ѡцѣ, а самъ иде Курьску; то и пакы ѡиде к Берестю со Изяславомъ, а мене посла Смолинъску*.

Эта операция самым решительным образом меняет привычное представление о ходе событий осени-зимы 1068—1069 гг. Оказывается, что поход к Берестью с Изяславом и посылка Мономаха в Смоленск были действиями не Ставка Гордятинича, а самого Всеволода, что более чем естественно: первые

<sup>13</sup> Формы им. ед. муж. *тыи*, *тои*, вызванные аналогией со стороны членных форм прилагательных, нехарактерны и для других древнерусских памятников северо-восточного происхождения, представляя собой инновацию преимущественно западного распространения (см. примеры в [Шахматов 1957: 176]).



два «пути» Мономаха предстают таким образом как проделанные им по указанию отца и скоординированные с перемещениями самого Всеволода. Из охваченного восстанием Киева Всеволод направляется в Курск, посылая сына еще дальше на северо-восток — в Ростов; затем сам Всеволод (очевидно, собрав войско в Курске) отправляется с Изяславом к Берестью, приказав Владимиру двигаться также в западном направлении — к Смоленску. Этот второй путь Мономаха из Ростова в Смоленск, проделанный со Ставком Гордятиничем (очевидно, боярином Всеволода, а не Изяслава), и оказался продублирован сделанной в иной манере вставкой.

Сделав этот вывод, можно по-новому понять и продолжение текста [5—7]: *То и-Смолинська идохъ Володимерю. Тое же зимы то и посласта Берестию брата на головнѣ, иде блѣху пожгли, то и ту блюдь городъ тихъ, та идохъ Перегиславлю ѿю*. Новейшие исследователи и комментаторы «Поучения» единодушно утверждают, что названные здесь братья — это Святослав и Всеволод и что в Берестье Мономах был послан ими после того, как город подвергся нападению поляков. Представление о том, что Берестье сожгли поляки, нашло самое яркое выражение в коньктуре И. М. Ивакина, предложившего вместо *иде блѣху пожгли* читать *иде блѣху ляхове пожгли*. Примечателен комментарий исследователя к этому месту: «Выжечь город в случае начатия военных действий дело, конечно, обычное в те времена (да и только ли в те?), но пылкие ляхи, видимо, занимались этим особенно усердно — иной раз даже во вред себе» [Ивакин 1901: 151]. С легкой руки Ивакина «пылкие» *ляхове* прочно утвердились в изданиях «Поучения», а факт сожжения ими Берестья навсегда вошел в историю города (см., например: [Лысенко 1985: 21]). Д. С. Лихачев, приняв коньктуру И. М. Ивакина, в комментарии к этому месту задается вопросом: «Почему и когда поляки могли пожечь Берестье?» [ПВЛ 1996: 522]. На наш взгляд, вопрос следует ставить иначе: кто пожег Берестье?

Предложенная выше трактовка первых двух путей Мономаха позволяет предположить: Берестье было выжжено отправившимися туда Изяславом и Всеволодом, которые затем послали юного Мономаха охранять устроенное ими пожарище. Неупоминание имен братьев, пославших Мономаха в Берестье, странное при общепринятом понимании данного места, оказывается в таком случае совершенно естественным: ведь имена этих братьев были только что названы в связи с их собственным походом к Берестью (ср.: *то и пакы и ѿиде к Берестию со Изяславомъ ~ посласта Берестию брата на головнѣ*). Можно думать, что эта экспедиция носила карательный характер и была вызвана тем, что Берестье последовало за мятежным Киевом, отказавшись признавать власть Изяслава, которому по праву принадлежало. Роль, которую Мономаху, по поручению Изяслава и Всеволода, пришлось исполнять в Берестье (после того, как Изяслав ушел в Польшу за поддержкой, а Всеволод вернулся в Переяславль), заключалась не в защите города от внешнего врага, а в восстановлении внутреннего порядка после учиненного самими братьями разорения. На это вполне отчетливо указывают слова *блюдь городъ тихъ*. Анализируя летописное словоупотребление, легко

заметить, что *тишина*, в отличие от *мира*, устойчиво ассоциировалась с отсутствием усобиц и мятежей, а не внешних вторжений. Ср. примеры у Срезневского: *Оуста оусобица и м.атежь и бы<sup>с</sup> тишина велика в земли Лавр., 1026 г.; Того же лѣта даль Богъ во Псковѣ хлѣбъ и все сполу дешево, а со всѣхъ сторонъ мирно и тишина велика Псков. I л., 1469 г.; повелѣ всадити ихъ въ порубѣ людии дѣла, абы утишилс.а м.атежь Лавр., 1177 г.*

Предлагаемое прочтение текста подтверждает, на наш взгляд, правоту В. А. Кучкина, относящего первые семь путей Мономаха ко времени с осени 1068 г. по лето 1069 г. Вместе с тем оно довольно существенно меняет представление об исторической ситуации этого драматического момента в истории Руси XI в., с которым совпало начало княжеской карьеры Мономаха.

§ 22. Продолжим разбор зоны А «летописи путей» с точки зрения возможного наличия в ней следов редактирования первоначального текста. Обратим внимание на необычный синтаксис фразы, сообщающей о посылке Мономаха в Берестье: *Тое же зимы то и посласта Берестию брата на головнѣ* [6]. В отличие от других случаев употребления союза *то и*, в этом контексте он не начинает синтагмы, но следует за хронологическим указанием *тое же зимы*. Это, вообще говоря, делает данный союз избыточным, поскольку функцию коннектора успешно выполняет само хронологическое указание. Видимо, имея это в виду, Л. Мюллер в новом немецком переводе «Поучения» членит текст иначе, относя *тое же зимы* к предыдущей фразе [Müller 2001: 351]. Однако подобные формулы, характерные, как уже говорилось, для языка летописания, всегда располагаются в начале фразы. Таким образом, как и *то и*, *тое же зимы* претендует на первую позицию в синтагме, из чего можно заключить, что одна из этих связей представляет собой редакторскую вставку. Учитывая уже неоднократно отмеченную органичность *то и* контексту зоны «А», таковой следует признать *тое же зимы*. По-видимому, отказавшись от попытки «пронумеровать» свои походы, Мономах, редактируя текст, решил все же внести в него некоторые хронологические уточнения, используя с этой целью формулы «летописного» типа.

Подтверждение этому находим и в [14]: *а и-Смолинська тои же зимѣ та к Новгороду на весну Глѣбови в помочь*. Поскольку речь здесь явно идет об одном походе («к Новгороду на помощь Глебу»), хронологические указания *тои же зимѣ* и *на весну* дублируют друг друга. При этом второе органично вплетается в общую нарративную схему зоны «А» (ср. прямое продолжение фразы: *на лѣ<sup>с</sup> со шѣмъ подѣ Полтескъ*, а также *ѣтуда пакы на лѣ<sup>с</sup>то Володимерю шп.а<sup>т</sup>ь...*, а *на весну та Перетиславлю*), тогда как *тои же зимѣ* и здесь занимает не свойственную таким оборотам позицию в середине фразы. То же можно сказать и относительно четвертого случая употребления данной формулы в зоне «А»: *То и пакы ходихомъ том же лѣ<sup>с</sup> со шѣмъ и со Изславомъ битъс.а Чернигову с Борисомъ* [20]. Следует полагать, что в обоих случаях, как и в рассмотренном выше, мы имеем дело с «уточняющими» редакторскими вставками. Аномальное на фоне стандартного летописного употребления расположе-

ние оборота объясняется тем, что его приходилось вставлять в уже готовую синтаксическую структуру с занятой первой позицией.

Тот факт, что три из четырех представленных в зоне «А» формул «летописного» типа обнаруживают так или иначе свое позднейшее происхождение, позволяет отнести на счет редактирования и наиболее важный второй пример: *И в то же лѣтѣ и дѣтѣ сѣ роди старѣишее новгородское* [11]. В отличие от других случаев здесь, по-видимому, вставкой следует признать всю фразу, которая и в других отношениях выглядит аномально. Во-первых, она резко выделяется на фоне перечисления путей Мономаха своим содержанием (ср. упоминание о семейных делах Мономаха в имеющем также вставное происхождение фрагменте [65—70]). Во-вторых, продолжающее фразу *та ѿтуда Турову* никак с ней не связано и имеет смысл лишь как продолжение текста, прерванного вставкой: *ходивъ за Глоговы, до Чешскаго лѣса, ходивъ в земли ихъ ·дѣ· мѣсѣци, ... та ѿтуда Турову, а на весну та Переяславлю, таже Турову*. Вполне возможно, впрочем, что вставкой является и указание на четыре месяца, которые продолжался поход (ср. повтор *ходивъ за Глоговы... ходивъ в земли ихъ...*), и что первоначальный текст имел вид: \**ходивъ за Глоговы, до Чешскаго лѣса, та ѿтуда Турову*.

Помимо уже указанных, вероятными вставками в первоначальный текст представляются также фрагменты [18] и [19]. При том, что характерные для зоны «А» союзы *та* и *то* и в этих фрагментах отсутствуют, оба они используют одну и ту же модель с глаголом *прити* (*накы и-Смолинска къ ѿцю притѣ* [18], *И накы и-Смолинска же притидь...* [19]). Не представленная более в зоне «А», эта модель дважды встречается между тем во фрагменте зоны «С2», признанном нами дополнением 1117 г. (*Переяславлю притидь... Притидь из Ростова...* [67, 71]. Фрагмент [18] выделяется в зоне «А» и содержательно: путь из Смоленска в Чернигов важен не столько сам по себе, сколько как повод для упоминания пира в честь Олега и переданных отцу 300 гривен золота.

§ 23. Результатом нашего анализа зоны «А» является следующая реконструкция исходного вида «летописи путей» в составе ПВМ1 (в квадратных скобках указаны места вставок):

*А се вы повѣдаю, дѣти мои, трудъ свои, ѿже сѣ ѿсмь тружалъ, пути дѣти и ловы ·гѣ· лѣтѣ. Первое к Ростову идохъ сквозѣ Вѣтичѣ: посла мѣ ѿцѣ, а самъ иде Курьску; [...] **то** и накы и ѿиде к Берестию со Изяславомъ, а мене посла Смолинску; *то* и-Смолинска идохъ Володимерю; [...] **то** и посласта Берестию брата на головнѣ, иде блѣху пожгли, **то** и ту блюдь городъ тихъ, **та** идохъ Переяславлю ѿцю, а по Велицѣ днѣ ис Переяславлѣ **та** Володимерю на Сутеиску мира творить с Лѣхы, ѿтуда накы на лѣто Володимерю ѿплатъ.*

*Та* посла мѣ Стѣславъ в Лѣхы, ходивъ за Глоговы, до Чешскаго лѣса, [...] **та** ѿтуда Турову, а на весну **та** Переяславлю, таже Турову. И Стѣславъ оумре, и тазъ накы Смолинску, а и-Смолинска [...] **та** к Новгороду на весну Глѣбови в помощь, а на лѣтѣ со ѿцѣмъ подѣ Полтескъ, а на другую зиму с Стѣпол-

комъ подѣ Полтескъ, ѡжгоша Полтескъ, ѡнѣ иде Новугороду, а та с половици на Удрьскѣ воюя, **та** Чернигову.

[...] **То** и пакы ходихомъ со ѡцѣмъ и со Изяславомъ битьсѧ Чернигову с Борисомъ, и побѣдихомъ Бориса и Улга, и пакы идохомъ<sup>сѧ</sup> Переяславлю и стахомъ<sup>сѧ</sup> во ѡбровѣ. И Всеславъ Смолнескъ ѡжъже, и азъ всѣдѣ с черниговци ѡ двою коню, и не застахомъ<sup>сѧ</sup> въ Смолиньскѣ. Тѣмъ же путе<sup>сѧ</sup> по Всеславѣ, пожегъ землю и повоевавъ до Лукамла и до Логожьска, **та** на Дръютъскѣ воюя, **та** Чернигову.

А и-Щерьнигова до Кыева нестишь ѡзди<sup>хѣ</sup> ко ѡцѣю, днемъ есмь переѡздишь до вечерни. А всѣ<sup>хѣ</sup> путии [...] велики<sup>хѣ</sup>, а прока не исполню менши<sup>хѣ</sup>.

Реконструируемый текст невелик по объему и хорошо вписывается в общую композицию первоначального «Поучения». Кроме объявленного рассказа о «путях», он не содержит никакой «лишней» информации (вроде сообщений о рождении Мстислава или черниговском обеде в честь Олега). «Пути» не перечисляются подряд, но образуют цепочки, охватывающие несколько наиболее насыщенных походами лет жизни автора в период с 1068 по 1078 г. Выделяется три таких последовательности практически равной длины. Первая называет походы с осени 1068 г. по лето 1069 г. и рисует впечатляющие своим размахом перемещения только что вступившего во взрослую жизнь Владимира. Вторая, отделенная от первой шестилетним интервалом, описывает «пути», совершенные автором в промежуток между осенью 1075 г. и весной 1078 г. Третью последовательность, которую от второй отделяют весна-лето 1078 г., составляет описание похода, с которым связано вокняжение Мономаха в Чернигове (битва на Нежатиной ниве 8 октября 1078 г.), а также первых походов Владимира в качестве черниговского князя. Этот цикл, как и предыдущий, завершается возвращением в Чернигов, что позволило автору, через упоминание многочисленных поездок из Чернигова к отцу (в Переяславль), выйти на подведение общего итога своих «великих» и «малых» путей.

§ 24. Подытоживая наши наблюдения над «Автобиографией» Мономаха, историю этого текста в составе «Поучения» можно реконструировать следующим образом.

Автобиографический рассказ о «путях и ловах» присутствовал уже в исходном варианте «Поучения» (ПВМ1), написанном по пути в Ростов зимой 1099/1100 или 1100/1101 г. Описание «путей» первоначально представляло собой сжатый рассказ о трех «циклах» походов, предпринятых Мономахом с 1068 по 1078 г., т. е. с начала его княжеской карьеры по год вокняжения в Чернигове. Указывалось также общее число походов, совершенных автором к моменту написания «Поучения». Для этого Мономахом был составлен вспомогательный перечень «путей», в котором походы перечислялись по отдельности и без каких-либо хронологических указаний.

На втором этапе работы Мономаха над «Поучением», следовавшем вскоре за первым, на обратном пути из Ростова, в текст было внесено описание встречи на Волге с послами братьев, однако «летопись путей», по видимому, затронута не была.



наславла та Володимерю на Сутеиску мира творить с Ляхы, <sup>9</sup>ѿтуда паки на лѣто Володимерю ѡплатъ.

<sup>10</sup>Та посла мѧ Стославъ в Ляхы, ходивъ за Глоговы до Чешьскаго лѣса, ходивъ в земли ихъ ·д· мѣсѧци. <sup>11</sup>И в то же лѣтѣ и дѣтѧ сѧ роди старѣишее новгородское. <sup>12</sup>Та ѿтуда Турову, а на весну та Переяславлю, таже Турову.

<sup>13</sup>И Стославъ оумре, и назъ паки Смолинску, <sup>14</sup>а и-Смолинска тои же зимѣ та к Новгороду на весну Глѣбови в помочь, <sup>15</sup>а на лѣтѣ со ѡцѣмъ подѣ Полтескъ, <sup>16</sup>а на другую зиму с Стополкомъ подѣ Полтескъ, ѡжгоша Полтескъ, <sup>17</sup>ѡнѣ иде Новгороду, а на с половци на Удрьскѣ воюя, та Чернигову.

<sup>18</sup>И паки и-Смолинска къ ѡцѣмъ придо<sup>х</sup> Чернигову, и Улегъ приде, из Володимерѧ выведенъ, и возва<sup>х</sup> и к собѣ на ѡбѣдѣ со ѡцѣмъ в Черниговѣ на Краснѣмъ дворѣ, и вдахъ ѡцѣмъ ·т· гри<sup>ѣ</sup> золота.

<sup>19</sup>И паки и-Смолинска же пришедъ, и проидо<sup>х</sup> сквозѣ половечьскыи вои быасѧ до Переяславла, и ѡца налѣзохъ с полку пришедше.

<sup>20</sup>То и паки ходихомъ том же лѣтѣ со ѡцѣмъ и со Изаславомъ битѣсѧ Чернигову с Борисомъ, и побѣдихомъ Бориса и Улга, <sup>21</sup>и паки идохо<sup>м</sup> Переяславлю и стахо<sup>м</sup> во ѡбровѣ.

<sup>22</sup>И Всеславъ Смолнескъ ѡжже, и азъ всѣдъ с черниговци ѡ двою коню, и не застахо<sup>м</sup> въ Смолинскѣ. <sup>23</sup>Тѣм же путе<sup>м</sup> по Всеславѣ, пожегъ землю и повоевавъ до Лукамла и до Логожска, та на Дрютьскѣ воюя, та Чернигову.

<sup>24</sup>А на ту зиму повоеваша половци Стародубъ весь, и азъ шедъ с черниговци и с половци, на Деснѣ изымахо<sup>м</sup> князи Асадука и Саоука, и дружину ихъ избиша.

<sup>25</sup>И на заоутреѣ за Новымъ Городемъ разгнахомъ силны вои Белкатгина, а семечии <sup>14</sup> полонъ весь ѡтѧхо<sup>м</sup>.

<sup>26</sup>А въ вѣтичи ходихо<sup>м</sup> по двѣ зимѣ на Ходоту и на сѣна ѣго, <sup>27</sup>и ко Корьдну ходихъ ·а·ю зиму.

<sup>28</sup>И паки по Изаславичихъ за Микулинь, и не постигохо<sup>м</sup> ихъ. <sup>29</sup>И на ту весну къ Юрополку совкуплатѣсѧ на Броды.

<sup>30</sup>Том же лѣтѣ гонихо<sup>м</sup> по половъцихъ за Хороль, иже Горошинъ взаша.

<sup>31</sup>И на ту ѡсень идохо<sup>м</sup> с черниговци и с половци с Читѣвичи к Мѣнску, излѣхахо<sup>м</sup> городъ, и не ѡставихо<sup>м</sup> оу него ни челадина ни скотины.

<sup>32</sup>На ту зиму идохо<sup>м</sup> къ Юрополку совокуплатисѧ на Броды, и любовь велику створихо<sup>м</sup>.

<sup>33</sup>И на весну посади мѧ ѡцѣ в Переяславли передѣ братьею, и ходихо<sup>м</sup> за Супой. <sup>34</sup>И ѣдучи к Прилуку городу, и срѣтоша ны внезапно половечьскѣ князи ·й· тысячь, и хотѣхо<sup>м</sup> с ними ради битисѧ, но ѡружье бѧхомъ оуслали напередѣ на повозѣхъ. <sup>35</sup>И внидохо<sup>м</sup> в городъ, толко семцю наша ѡдиного живого, ти смердъ нѣколько, а наши ѡнѣхъ боле избиша и изымаша. <sup>36</sup>И не смѣша ни конѧ поати в рудѣ, и бѣжаша на Сулу тое ночи. <sup>37</sup>И заоутра на Гѣжинѣ днѣ

<sup>14</sup> Такое словоделение, предполагающее наличие в тексте словоформы вин. ед. м. *семечии* (прилагательное к *семьца* [35]), кажется предпочтительным по сравнению с вариантами *се мечи* и *полонъ* [ПСРЛ 1962: 248] и *семечи* и *полонъ* [ПВЛ 1996: 102]. Относительно возможного значения др.-р. *семьца* см.: [Гиппиус 1997].

идохо<sup>м</sup> к Бѣлѣ Вежи, и Бѣ ны поможе и стѣна Бѣа: избиша ·Ц· половець, и два князѣ наша, Багубарсова бра<sup>т</sup>, Асинѣ и Сакзѣ, а два мужа толко Ѹтекоста.

38И потомъ на Стославль гонихо<sup>м</sup> по половци<sup>х</sup>, 39и потомъ на Торческый городъ, 40и потомъ на Гюргевь по половци<sup>х</sup>.

41И паки на тои же сторонѣ оу Красна половци побѣдихо<sup>м</sup>. 42И потомъ с Ростиславом же оу Варина вежѣ въздохо<sup>м</sup>.

43И пото<sup>м</sup> ходивъ Володимерю, паки Кюрополка посади<sup>х</sup>, и Кюрополкъ оумре.

44И паки по ѡтни смѣрти и по Стополцѣ на Сулѣ бившесѣ съ половци до вечера, быхо<sup>м</sup> оу Халѣпа, 45и пото<sup>м</sup> миръ створихо<sup>м</sup> с Тугорканомъ и со инѣми князи половецьскими, и оу Глѣбови чади поахо<sup>м</sup> дружину свою всю.

46И пото<sup>м</sup> Улегъ на мѣ приде с половецьскою землею к Чернигову, и бишасѣ дружина моя с нимъ ·И· днии ѡ малу (греб)лю, не вдадуче имъ въ ѡстрогъ.

47(Съ)жаливѣси хѣъаны<sup>х</sup> дѣшъ и селъ горѣши<sup>х</sup> и монастырь, и рѣхъ: «не хвалитисѣ поганы<sup>м</sup>», и вдахъ брату ѡца своего мѣсто, а самъ иде<sup>х</sup> на ѡца своего мѣсто Перенаславлю. 50И внидохо<sup>м</sup> на стѣго Бориса дѣнь ис Чернигова, и вѣахо<sup>м</sup> сквозѣ полкы половецьскы не въ ·р· дружинѣ, и с дѣтми и с женами. И ѡблизахутсѣ на на<sup>ц</sup> акы волци стоѣще и ѡ перевоза и з горѣ. 51Бѣ и стѣи Борисъ не да имъ мене в користь, неврежени доидохо<sup>м</sup> Перенаславлю.

52И сѣдѣхъ в Перенаславли ·Г· лѣта и ·Г· зимы и с дружиною своею, и многы бѣды приахо<sup>м</sup> ѡ рати и ѡ голода.

53И идехо<sup>м</sup> на вои ихъ за Римовъ, и Бѣ ны поможе: избиша и, а другина поимаша.

54И паки Итлареву чадь избиша, и вежи ихъ въздохо<sup>м</sup>, шедше за Голтавомъ.

55И Стародубу идехо<sup>м</sup> на Волга, зане сѣ блѣше приложилъ к половецѣ<sup>м</sup>.

56И на Бѣ идехо<sup>м</sup> с Стополко<sup>м</sup> на Бонѣака за Рось.

57И Смолинску идехо<sup>м</sup>, с Дѣдмѣ смирившесѣ.

58Паки идехо<sup>м</sup> другое с Вороницѣ.

59Тогда же и торци придоша ко мнѣ ис половець и Читѣевичи, идехо<sup>м</sup> противу имъ на Сулу.

60И потомъ паки идехо<sup>м</sup> к Ростову на зиму, 61и по ·Г· зимы ходихо<sup>м</sup> Смолинску.

62И се нынѣ иду Ростову.

63И паки с Стополко<sup>м</sup> гонихо<sup>м</sup> по Бонѣацѣ, но ли ѡли оубиша, и не постигохо<sup>м</sup> ихъ.

64И пото<sup>м</sup> по Бонѣацѣ же гонихо<sup>м</sup> за Рось и не постигохо<sup>м</sup> ѣго.

65И на зиму Смолинску идехъ. 66И-Смоленска по Велицѣ дѣни выидо<sup>х</sup>, и Гюргева мѣти оумре. 67Перенаславлю пришедъ на лѣ<sup>т</sup>, собра<sup>х</sup> бра<sup>т</sup>ю. 68И Бонѣакъ приде со всѣми половци къ Кснѣатиню, идехо<sup>м</sup> за не ис Перенаславля за Сулу, и Бѣ ны поможе, и полкы ихъ побѣдихом, и князи изымахо<sup>м</sup> лѣпшии. 69И по Ржѣтвѣ створихо<sup>м</sup> миръ с Апою, и поимъ оу него дщерь, идехо<sup>м</sup> Смоленску. 70И пото<sup>м</sup> иде<sup>х</sup> Ростову.

71Прише<sup>т</sup> из Ростова, паки иде<sup>х</sup> на половци, на Оурубубу, с Стополко<sup>м</sup>, и Бѣ ны поможе.

72И пото<sup>м</sup> паки на Бонѣака к Лубьну, и Бѣ ны поможе.

73И пото<sup>м</sup> ходихо<sup>м</sup> в воину с Стополко<sup>м</sup>. 74И пото<sup>м</sup> паки на Донъ идехо<sup>м</sup> с Стополко<sup>м</sup> и с Дѣдмѣ, и Бѣ ны поможе.

75И к Выреви блѣху пришли Аепа и Бонѣкъ, хотѣша взати, и ко Ромну идо<sup>х</sup> со Улгомь и з дѣтми на нь, и они очитивше бѣжаша.

76И пото<sup>х</sup> к Мѣньску ходихо<sup>х</sup> на Глѣба, оже ны бѣше люди зааль, и Бѣ ны по-  
може, и створихо<sup>х</sup> свое мышленое.

77И пото<sup>х</sup> ходихо<sup>х</sup> къ Володимерю на Юрославца, не терпаче злюбь его.

78А и-Щерънигова до Києва нестишь ѣзди<sup>х</sup> ко оцю, днемь есмь переѣздить до  
вечерни. 79А всѣ<sup>х</sup> путии ·п· и ·г· велики<sup>х</sup>, а прока не испомню менши<sup>х</sup>.

80И мировь есмь створиль с половечьскими князи безь одиного ·к·, и при  
оци, и кромѣ оца, а даа скота много, и многы порты своѣ. 81 И пустиль есмь  
половечскы<sup>х</sup> князь лѣпши<sup>х</sup> изь оковь толико: Шаруканѣ ·в· брата, Багубарсо-  
вы ·г·, Увчины бра<sup>т</sup> ·д·, а всѣ<sup>х</sup> лѣпши<sup>х</sup> князи инѣхъ<sup>15</sup> ·р·, а самы князи Бѣ  
живы в руцѣ даа. 82 Коксусь с снмь, Аклань Бурчевичь, Таревьскыи князь Аз-  
гулуи, инѣхъ кметии молоды<sup>х</sup> ·е· — то тѣхъ, живы ведь, исѣкъ, вметахъ в ту  
рѣчку, въ Славли. 83 По череда<sup>х</sup> избьено не съ ·с· в то времѣ лѣпши<sup>х</sup>.

84А се тружахъсѣ ловы дѣа, понеже сѣдо<sup>х</sup> в Черниговѣ, а и-Щернигова выше<sup>х</sup>,  
и до (се)го лѣта. 85По сту оуганиваль (Бѣ)имь<sup>16</sup> даро<sup>х</sup>, всею силою, кромѣ иногo  
лова, кромѣ Турова, иже со оцмь ловиль ѣсмь всѣкъ звѣрь.

86А се в Черниговѣ дѣаль ѣсмь: 87конь дики<sup>х</sup> своима рукама свѣзаль ѣсмь въ  
пуша<sup>х</sup> ·г· и ·к· живы<sup>х</sup> конь, 88а кромѣ того иже по рови ѣзда, ималь ѣсмь свои-  
ма рукама тѣ же кони дикиѣ. 89Тура мѣ ·в· метала на розѣ<sup>х</sup> и с конемь, 90олень  
мѣ одинь боль, а ·в· лоси, одинь ногами топталъ, а другыи рогама боль.

91Вепрь ми на бедрѣ мечь ѿталъ, 92медвѣдь ми оу колѣна подьклада оукусиль,  
93лютыи звѣрь скочиль ко мнѣ на бедра, и конь со мною поверже. 94И Бѣ невре-  
жена мѣ съблюде. 95И с конѣ много пада<sup>х</sup>, голову си розби<sup>х</sup> дважды, и руцѣ и  
нозѣ свои вереди<sup>х</sup>, въ оуности своен вереди<sup>х</sup>, не блюда живота своѣго, ни щада  
голови своѣа.

## Литература

Гиппиус 1997 — А. А. Г и п п и у с. «Вожжей оленьих 28...» (Об одной число-  
вой модели в древнерусских текстах) // Живая старина. 1997. № 3. С. 21—23.

Гиппиус 2002 — А. А. Г и п п и у с. О критике текста и новом переводе-рекон-  
струкции Повести временных лет // Russian Linguistics. 26. 2002. P. 63—126.

Ивакин 1901 — И. М. И в а к и н. Князь Владимир Мономах и его Поучение. Ч. 1.  
Почтение детям; письмо к Олегу и отрывки. М., 1901.

Ипат.— Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М.,  
1962.

Кучкин 1971 — В. А. К у ч к и н. «Почтение» Владимира Мономаха и русско-  
польско-немецкие отношения 60—70-х гг. XI в. // Советское славяноведение. 1971.  
№ 2. С. 21—34.

Кучкин 1985 — В. А. К у ч к и н. «Слово о полку Игореве» и междукняжеские  
отношения 60-х гг. XI в. // Вопросы истории. 1985. № 11. С. 19—35.

<sup>15</sup> Очевидно, описка, вместо *и нѣ съ ·р·* ('около ста'). См. ниже [83]: *не съ ·с·*.

<sup>16</sup> Обоснование данной конъектуры см.: [Гиппиус 2002: 117]



Ларин 1975 — Б. А. Л а р и н. Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1972.

Лысенко 1985 — Н. Ф. Л ы с е н к о. Берестье. Минск, 1985.

Назаренко 2000 — А. В. Н а з а р е н к о. Порядок престолонаследия на Руси X—XII вв.: наследственные разделы, сеньорат и попытки десигнации // Из истории русской культуры. Т. 1: Древняя Русь. М., 2000. С. 500—519.

НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

Орлов 1946 — А. С. О р л о в. Владимир Мономах. М.; Л., 1946.

ПВЛ 1996 — Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; Под. ред. В. А. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. / Подгот. М. Б. Свердлов. СПб., 1996.

ПСРЛ 1962 — Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. М., 1962.

Рыбаков 1963 — Б. А. Р ы б а к о в. Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963.

Соловьев 1988 — С. М. С о л о в ь е в. Сочинения: В 18 кн. Кн. 1. М., 1988.

Срезн.— И. И. С р е з н е в с к и й. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1—3. СПб., 1893—1903.

Стрижак 1985 — Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Видп. ред. О. С. Стрижак. Київ, 1985.

Хрусталеv 2002 — Д. Г. Х р у с т а л е в. Разыскания о Ефреме Переяславском. СПб., 2002.

Цыб 1995 — С. В. Ц ы б. Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». Барнаул, 1995.

Шахматов 1916 — А. А. Ш а х м а т о в. Повесть временных лет. Т. 1. Пг., 1916.

Шахматов 1957 — А. А. Ш а х м а т о в. Историческая морфология русского языка. М., 1957.

Müller 2001 — Die Nestorchronik: die altrussische Chronik, zugeschrieben dem Mönch des Kiever Höhlenklosters Nestor, in der Redaktion des Abtes Sil'vestr aus dem Jahre 1116, rekonstruiert nach den Handschriften Lavrent'evskaja, Radzivilovskaja, Akademičeskaja, Troickaja, Ipat'evskaja und Chlebnikovskaja, ins Deutsche übersetzt von Ludolf Müller (= Forum Slavicum; Bd. 56). München, 2001.





влиянием графики и орфографии протографа, а индивидуальными навыками писцов. Использование трех юсов в таких разных по своим графико-орфографическим характеристикам памятниках, как Мстиславово евангелие, Житие Кондрата или Житие Феклы, подтверждает этот тезис.

Этимологически правильно буквы *ж*, *ѣ* используются в БСП<sup>2</sup> 244 раза: *ищезнѣть* 45, *пѣть* 45, *мжжѣствѣмь* 45 об., *ржгатица* 94, *вждѣуть* 102 и др. Этимологически неправильно буквы *ж*, *ѣ* используются 98 раз: *вжрнѣ* 131, *вжрл* 48 об., *тжка* 42 об., *роукж* дв. род., 86 и др. На месте этимологических *ж*, *ѣ* буквы *оу*, *ѡ*, *ю*, *оѣ*, *ѣ* встречаются около 670 раз: *вждѣу* 110 об., *оѣпю* ю 42 об., *люю* ж. вин. ед., 49, *тоуждѣю* 1 л. ед., 89 об., *троуѣнѣмь* 130 и др. Вместо буквы *ж* (или *ѣ*) дважды не в конце строки написана буква *ѣ*: *вѣ* *нѣ* 55 об., *раздѣлѣу* 133 об.

#### Особенности употребления буквы *ѣ*

Рефлексы сочетаний *\*tert/\*telt*. В отличие от БСП<sup>1</sup>, в БСП<sup>2</sup> в рефлексах сочетаний *\*tert/\*telt* последовательно пишется буква *ѣ* согласно южнославянской огласовке неполногласного сочетания: *потрѣвити* 128 об., *врѣмене* 68 об., *прѣрѣканиѣ* 68, *прѣдѣ* 70 об., 73, 73 об., 74 — 2 раза, 85 об., *прѣмѣстивѣ* 73, *прѣдѣложиша* 73 об., *прѣстолю* 76 об. *sin. slav.* 6/n, 15, *прѣстола* 82 об., *прѣстола* 84, 86, *прѣсликающагася* *sin. slav.* 6/n, 12 об., *врѣмѣ* *sin. slav.* 6/n, 13 об., *прѣподвѣнѣна* 72, 132, *прѣвѣшьниѣ* 131; *плѣнѣ* 71 об., *извѣкѣ* 133, *овѣкоуѣса* 123, *плѣнениѣ* 120, *млѣко* *sin. slav.* 6/n, 11 об. и др. в подавляющем большинстве случаев. Буква *ѣ* отмечена только в 13 случаях: *врѣмѣ* 98, 128 об., *врѣмена* 94, *и-щѣва* 51, *ѣрѣѣ* 134, *посредѣ* 56 об., 89, 89 об., 93 об., 124 об.; *sin. slav.* 6/n, 15 об., *прѣвѣвають* 111, *средѣ* 133 об.

Преобладание буквы *ѣ* в рефлексах праславянских сочетаний *\*tert/\*telt* — орфографическая черта, которая отмечена Н. Н. Дурново в Остромировом евангелии, списке 13-ти слов Григория Богослова (XI в.), Чудовской псалтири, Типографском евангелии № 1 (XII в.), Уставе патриаршей библиотеки № 330 (XII в.), где в рефлексах *\*tert* употребляется исключительно *ѣ*. В первом почерке Архангельского евангелия буква *ѣ* в неполногласных сочетаниях пишется в два раза чаще, чем *ѣ*. В рефлексах *\*telt* написания с буквой *ѣ* преобладают над написаниями с *ѣ* в подавляющем большинстве древнерусских рукописей XI—XII вв. [Дурново 1924—1927: 469—471; Живов 1999].

Несмотря на старательное соблюдение норм южнославянской орфографии в обозначении рефлексов *\*tert/\*telt*, в БСП<sup>2</sup> отмечено два «полногласных» написания, правда с буквой *ѣ* во втором слоге, в результате чего произошло наложение древнерусского и старославянского орфографического узуса: *и-щѣрѣва* 134 об., *жерѣвию* 64 об.

Употребление приставки *при-* вместо *прѣ-*. В БСП<sup>2</sup> отмечено много случаев написания буквы *и* вместо *ѣ* в приставке *прѣ-*, что обусловлено близостью словообразовательного значения обеих приставок (ср. [Максимович 1990]): *припоашѣтсѣ* *:/* (так!) 43, *пригрѣшениѣ* 48, *пригрѣшихъ* 109, *привѣвають* 111, *пригрѣшихъмь* 135 об., *прѣдѣлѣ* 97 (ср.: *прѣдѣлѣ* 97), *приста* 99 об., *вѣ* *вѣкѣ* *привѣвавши* 90 об., *привѣвають* *вѣ* *вѣкѣ* 104, *прѣдѣлѣ* *положи*

игоже не приидѣтъ:— 93 об., законъпристоупьници 111 об. В одном случае ѣ с высокой мачтой написан поверх и: (законъ тѣон) прѣстоупааху 108 об. Другие примеры исправлений, раскрывающие отношение писца к смешению приставок пре(ѣ)- и при- как к нежелательному, не выявлены.

В а р и а н т ы с р ѣ в р - / с р ѣ в р -. Слово *сърѣврѣ* в результате гиперкоррекции в БСП<sup>2</sup> дважды написано с ѣ: *срѣврѣль* 97 об., *срѣвра* 110. Вариант корня *срѣвр-*, по наблюдениям Н. Н. Дурново, несколько раз встречается в Изборнике 1073 г., Чудовской псалтири и один раз в новгородской служебной Минее 1096 г. [Дурново 1924—1927: 473]. Хотя в слове *сърѣврѣ* довольно рано произошла ассимиляция гласных, вызвавшая написание *сърѣврѣ* в Изборнике 1073 г. (наряду с несколькими написаниями *срѣврѣ*), грамоте Мстислава 1130 г., Туровском евангелии и других рукописях, это слово трижды написано в БСП<sup>2</sup> без редуцированного и с буквой ѣ после р: *срѣврѣ* 43 об., *срѣврѣ* 102, 102 об. Такое написание, по свидетельству Н. Н. Дурново, является наиболее распространенным в большинстве древнерусских рукописей XI—XII вв. [Дурново 1924—1927: 437], в канонических памятниках старославянского языка корень *sr̥ebr-* писался только как *сърѣвр-* или *сърѣвр-* [Старославянский словарь: 677].

Буква ѣ в окончаниях дат. ед. личных и возвратного местоимений. В БСП<sup>2</sup> отмечается значительная вариативность в выборе флексии дат. ед. личных местоимений. В отличие от БСП<sup>1</sup>, в БСП<sup>2</sup> употребляются в большом количестве как формы *лѣнѣ* 84 — 2 раза, *тѣѣ* 44 об. — 2 раза, 47, 51, 58 об., 72 об., 73 — 2 раза, 75 — 4 раза, 89, 89 об. — 2 раза, 94 об., 103, 103 об., 105 об., 106, так и форма *тѣѣ* 43 об., 44, 44 об. — 2 раза, 55, 58 об., 84, 96, 105, 121 об., 133 об., 135 — 2 раза. О преобладании какой-либо одной флексии судить трудно. Частое написание буквы ѣ наряду с обычным ѣ в формах дат. ед. личных местоимений Н. Н. Дурново отмечал только в двух рукописях XI в.: в сборнике 13-ти слов Григория Богослова и в первом почерке Архангельского евангелия [Дурново 1924—1927: 470—471]. Наряду с вариативностью ѣ — ѣ во флексиях дат. ед. местоимений дважды отмечено ошибочное употребление флексии ѣ в форме род. ед.: *отъ тѣѣ* 135 об., *воццисиѣ тѣѣ* 110 об.

Обозначение рефлекса \*ēd-. В БСП<sup>2</sup> отмечены несколько написаний, отражающих восточнославянскую огласовку праславянского \*ēd-: *поѣсть* sin. slav. 6/n, 12 об., *ѣдѣнѣ* там же, *ѣдѣсте* / sin. slav. 6/n, 13 об., / *ѣдѣть* sin. slav. 6/n, 16 об. В одной из работ, посвященных БСП, высказано суждение, что в БСП<sup>2</sup> отмечаются «следы ѣ в интервокальной позиции... [указывающие на то, что БСП] имеет связь с глаголической системой правописания» [Годоров 1990: 52]. Однако в БСП формы, где употребляется ѣ «в интервокальной позиции» (точнее, в анлауте), а именно рефлексы корня \*ēd-, отражают восточнославянский диалектизм праславянского происхождения. Иные случаи употребления буквы ѣ в анлауте (ср. *ѣзѣ* в «Сказании о Борисе и Глебе» по списку Успенского сборника [Дурново 1924—1927: 493]), равно как и в позиции между буквами гласных, в БСП отсутствуют, поэтому гипотеза о влиянии глаголицы на орфографию БСП не подтверждается.

Исправления ѣ на ѣ. В БСП<sup>2</sup> отмечены несколько примеров написания буквы ѣ с высокой мачтой (далее *ѣ̆*), исправленной из ѣ, причем

не только в конце строки: *хлѣбѣ*  $\div$  / 130 об.; *сѣнѣсі*  $\div$  / 120 об.; *сѣѣ* 71, *вѣсхотѣхъ* 55, *развѣтѣ* / (так!) *sin. slav. 6/n, 14 об.*; *вѣль/рѣчѣ* там же. Отмечен также один пример исправления *ѣ* на *ь*: *въздыханиѣ* 91 (так!).

Замена *ѣ* на *ь* в древнерусский период известна в новгородских грамотах с XII в. [Зализняк 2004: 25—26], однако данные берестяной письменности нельзя в этом случае привлекать в качестве датирующего фактора, поскольку написание *ь* вместо *ѣ* в грамотах возникает как результат смешения *ѣ* с *ѣ* и затем *ь* с *ѣ*. В БСП<sup>2</sup> мена *ѣ* и *ѣ* не отмечена, следовательно, данные берестяной письменности не могут быть привлечены для объяснения этих написаний. На фоне большого количества описок, отмеченных в БСП<sup>2</sup>, примеры типа *хлѣбѣ* (из *хльбѣ*) нужно рассматривать как описку, вызванную сходством в начертании двух букв, ср.: (*вѣ*) *вѣзьодьнѣ* (вместо *вѣзьодьнѣ* 62), *возвѣсѣдальсѣ* 45. Типологически однородные написания представляют примеры употребления буквы *ѣ* с высокой мачтой, исправленной из *ь*: *вѣрьнѣ* 131, *познаѣнѣ* 44 об., *воскѣ* 86 об., *вѣ всѣ* 97, *гѣдѣни* (так!) *sin. slav. 6/n, 14 об.*, *трѣпетѣ* там же, 17; в заглавии псалма, написанном киноварью: *дѣдѣвѣ* 79. Опиской является и употребление буквы *ѣ* с высокой мачтой, исправленной из *ѣ*, написанной под влиянием предыдущей буквы (*привѣжиѣ* 94), или даже из *ѣ*: (*вѣ*) *совѣтѣ* (*твоеѣ*) 55. Очевидно, в последнем случае писец ошибочно счел, что предлог *вѣ* управляет вин. пад., и написал *ѣ* (= *ѣ*; о многочисленных случаях смешения *ѣ* и *ѣ* см. ниже), впоследствии исправленное на *ѣ*. В БСП<sup>2</sup> отмечены и другие случаи нарушенного согласования грамматических форм: (*ни рѣша не оузрѣтиѣ*) *гѣ*  $\div$  (*ни разоумѣтиѣтѣ бѣ иѣзлѣтѣ*)  $\div$  83 об., (широка) *заповѣди* (*твоѣ зѣло*) 111 об.; / *Вода прѣвѣшьшиѣ нѣсѣ* (так!) *да хѣв/лѣтѣ имѣ гѣ* 131.

Один раз буква *ѣ* с высокой мачтой написана поверх *ѣ*: *стрѣлѣ* *sin. slav. 6/n, 16 об.* (середина строки), и один раз — поверх и или *н*: *кѣ волѣзни* 49 об. Оба последних примера являются результатом «эффекта ожидания», или антиципации. Таким образом, исправления *ь* на *ѣ* в БСП<sup>2</sup> не имеют отношения ни к исторической фонетике, ни к взаимодействию различных графико-орфографических систем и представляют собой описки.

*Обозначение рефлексов праславянских сочетаний \*tj, \*dj, \*pj, \*bj, \*vj, \*mj и \*kti, \*gti*

Обозначение рефлексов *\*tj*. В БСП<sup>2</sup>, так же, как и в БСП<sup>1</sup>, рефлекс праславянского сочетания *\*tj* везде передается с помощью буквы *ѣ* (или буквосочетания *шт*): *тысѣщѣ* 71 об., 110, *тысѣщи* 79, *овращѣ* 72, *пищю* 128 об., *живоуѣжоу* (пропущен последний слог *-жоу*) 118 об., *внѣмлюѣ* 121 об., *отвращѣ* *sin. slav. 6/n, 12*, *вошѣ* 44, *сѣтоуѣжауѣ* 49, *оупѣвауѣ* 72 об. и др. В БСП<sup>2</sup> эта южнославянская орфографическая норма соблюдается даже более последовательно, чем в БСП<sup>1</sup>: буква *ѣ* используется, за единственным исключением (*вюждѣ* 48), также в корне *\*teudj-*: *ѣждѣплеменѣникоу* 133, *ѣждѣнихѣ* 126 об., *sin. slav. 6/n, 12*, *ѣждѣмоу* 68 об.

Обозначение рефлексов \*dj. В обозначении рефлекса \*dj в БСП<sup>2</sup> проявляется бóльшая вариативность, чем в БСП<sup>1</sup>. Буква ж, согласно древнерусской орфографической норме, написана на месте сочетания \*dj 27 раз: исхожаше 45 об., хожааше 45 об., запоѣжь 47, досажениа 70 об., оутвьржение 53, прѣже 56 об., въсхожениа 71, вижь 71 об., 115, съзижж 76, ослажють 102, приврѣжю 77 об., насажение 82 об., съзижеть 90 об., оутвьржение 96, исхожение 97 об., въздажъ 106 об., дажъ sin. slav. 6/n, 17 об., въхожение 117 об., нисхожение 117 об., зижка 129 об., посажю 123, оутвьрженгы 127, оутвьржение 132, вожааше sin. slav. 6/n, 11 об. В написании прѣже 79, 121 об., где южнославянское неполногласие передано с помощью буквы ѣ, рефлекс \*dj тем не менее обозначен согласно древнерусскому узусу. Примерно столько же, 25 раз, на месте праславянского \*dj написано сочетание жд: раждени 47, вюждъ 48, жаждоу 49, съзиждѣтъся 50, даждъ 52 об., 72, въздаждъ 66 об., 83, прѣжде 52 об., оутвьрждениа 54, прѣдаждъ 57, сжждъ 57 об., вижди 67 об., шюждемоу 68 об., прѣхождаахъ 89, одеждю 91, съзиждються 95, хождахъ 108, виждъ 115 об., зиждеиъ 118, зиждоуше 120, жаждъ sin. slav. 6/n, 11, нжждею sin. slav. 6/n, 16, ѡждение sin. slav. 6/n, 16, пов(...)ждъ 17. Показательны три описки, где буква д была сначала пропущена писцом, а затем вставлена им же над строкой: прихожаоу 63, въсажи 83 об., зижени 90 об. То, насколько нетвердо второй писец владел южнославянской орфографической нормой, определяющей письменную передачу рефлекса \*dj, показывает гиперкорректное написание тоуждю 1 л. ед., 89 об., где буквами жд обозначен рефлекс \*gj.

L - epentheticum. В БСП<sup>2</sup>, так же, как и в БСП<sup>1</sup>, везде передается эпентетический л: възлюблена 70 об., застоупление 71, блгословлено 101, противлахъся 104, благословление 121 об., избавлени 119, благословенъ 135 и др. Как и в БСП<sup>1</sup>, единственное исключение сделано для слова со значением умирания — оумьрщвенгынхъ 66 об., 91.

Обозначение рефлекса \*kti, \*gti. В БСП<sup>2</sup>, так же, как и в БСП<sup>1</sup>, рефлексы \*kt, \*gt перед гласной /i/ переданы согласно южнославянской орфографической норме: ноцию 74, 117 об., нощнага 79, нощнагаго 80 об., ноци 109, полжноци 109, плещема<sup>2</sup> 80 об., дъщери 86 об., 127, помощъ 117 об.

#### Буквы для обозначения гласных в начале слога

Б у к в а а. Нейотированная буква а употребляется в начале слога в заимствованных словах, при этом над а, как правило, ставятся надстрочные точка, двоеточие или знак": ѡмонъ 70, ѡгаране 70, зевѣа 70 об., ѡвраѡмле 95 об., ханааню 96, ѡвраѡмоу 95 об., ѡсаѡкови 95 об., ѡронъ 88, аравьсци 53, ѡгглы 64, иѡдѣа 101 об., ѡспидова sin. slav. 6/n, 13, ѡдамовгы sin. slav. 6/n, 11. Нейотированная буква а пишется также в нестяженных формах местоименных прилагательных и имперфекта, преобладающих в БСП<sup>2</sup> над более новыми стяженными формами (отмечены всего две стяженных формы м. ед. род.—

<sup>2</sup> Хотя в этимологии слова *плечо* М. Фасмер считал возможным исходить из праформы \*pletio, следуем более надежной этимологии с исходным \*plektī [Фасмер III: 281].

великаго 26 об., вѣнчающаго 91 об.): хожаше 45 об., глаахъ 59, кльцааше 59 об., раздѣлааше sin. slav. 6/n, 11, обрацаахуца 63, оцѣцающааго 91 об., <...> цѣлающааго 91 об., избавляющааго 91 об., / Исплѣнляющааго 91 об., положьшааго 43 об., давъшааго 43 об., прѣисподьнлаага (так!) 73 об., прѣиспо/дънлааго sin. slav. 6/n, 12 об., оуѣшающааго 49, вѣторааго sin. slav. 6/n, 10 об. и др. Дважды буква а написана на стыке морфем: вѣздаани 83 и окаянства 49. Буква а употребляется также в начале первого слога следующих слов: агньци 101 об., акты 52 об., 53 — 2 раза, 54 — 6 раз, 54 об., 55, 55 об., 118, 119 об. и др., акты 92, 96 об., 120 (ср.: акты 70 об. — 2 раза, акты 70 об.), ада 73 об., адъ 102 об., адъвты (ადო) 103, а (ка́) sin. slav. 6/n, 13, аще 69 и др. В остальных словах с /а/ в начале любого, в том числе первого, слога пишутся буквы ѡ или ѡа.

**Буква ɛ (ѣ).** В соответствии с южно- и западнославянским начальным \*je слова в БСП<sup>2</sup> всегда пишутся буквы ɛ или ѣ: ɛзера 101 об., ɛдиного 131 об.; ѣдинъ 70 об., 71 об., 73 об., sin. slav. 6/n, 11 об., 13, ѣдиного 51 об., 131 об., ѣленьиъ 94 и др.

**Буква оу.** Начальная /u/ почти без исключений передается с помощью букв ж или оу нейотированных, так же, как в БСП<sup>1</sup>, в согласии с восточнославянским узусом. Йотация при этом отсутствует даже в тех случаях, когда ее требует этимология слова и его реальный фонетический облик. Над буквами ж, оу в начале слога ставится надстрочные точка или двоеточие, в ряде случаев, возможно, обозначающие и йотацию: жже ж. вин., sin. slav. 6/n, 10 об., оугъ 62 об., оуга sin. slav. 6/n, 15 об., оугль 120, оутрънюеть sin. slav. 6/n, 17 об., оудли 71, оухо 72 об., оуности 75, оуность 92, наоутри 89 об., оусеница 97, оузгы 103 об., / Оуноша sin. slav. 6/n, 12 об., жгыи 106. Отмечено лишь два исключения: юнцахъ 47, июдѣа 101 об.

#### *Парные йотированные и нейотированные буквы*

**Буква ѡ.** В отличие от БСП<sup>1</sup>, в БСП<sup>2</sup> буква ѡ в начале слога употребляется значительно реже, чем буква ѡа: 91 раз в начале слова (ѡко 45, 46 об., 48 — 2 раза, 51 об., 55, 56, 58, ѡже ср. мн. вин., ѡви 61 об., ѡкоже 64, ѡ м. мн. вин., 64 и др.) и 118 раз в первом слоге, из них пять раз ѡ надписано над словом тѡа в конце строки, например: тѡа / 59 об. и др. Основной позицией буквы ѡ является позиция после буквы согласного, где ѡ встречается чаще, чем ѡа: воура им. ед., 47 об., капла 52 об., ѣнопла(не?) 53, на на 64 — 2 раза и др., всего около 500 раз.

**Буква ѡа** и обозначение исконно палатальных согласных. В отличие от БСП<sup>1</sup>, в БСП<sup>2</sup> в начале слога употребляется, как правило, буква ѡа, которая является основной позицией этой буквы: ѡа 42 об., воаштинса 44, ѣкиа им. ед., 42 об., 46, пьсыа ж. мн. вин., 64 и др., всего 836 раз, из них в первом слоге — 320 раз: ѡагыци 42 об., 44 об., 66 об., ѡагыкы 66, ѡако 42 об., 43, 44 об., 45, 50, 51 об., 52 об., 55 — 2 раза, 56, ѡагыцѣхъ 44 об. и мн. др. Несмотря на частое использование буквы ѡа после согласных, в этой же позиции встречается и буква ѡ, употребляющаяся без исключений только после букв палатальных л, н (из \*lj, \*nj): зѣмла им. ед., 43, 58 об., 60, зѣмла род. ед.,



52, 56 об., на 63, 102, вѣшьнаго 69 об., наковла 68 об., орла 91 об., изгоняхъ 89, гна 46 об., оудалаюциса 55, иомила ж. мн. вин., 56 об., всего 35 примеров. Исконно палатальные согласные обозначаются в БСП<sup>2</sup> не только с помощью йотации, но и с помощью надстрочных знаков (см. ниже).

**Б у к в ы ѣ ж и ж.** Распределение букв ѣ ж и ж в БСП<sup>2</sup> зависит от позиции относительно начала слога. Буква ѣ употребляется только в начале слога: радстиѣж 43, силоѣж 43 об., влѣговѣствоѣжци/илицъ 45 об., твоѣж 128 об. и др. Единственным исключением является написание (въ) землиѣж 134 об., где буква ѣ написана после л, обозначающей палатальную /l/. Буква ж пишется в основном после букв согласных: ищежнжть 45, пжть 45, мжжъствъмь 45 об., ржгатица 94, вждоутъ 102, вжрънъ 131 и др. В нескольких случаях буква ж написана в позиции начала слога, причем она может выступать в этой позиции в качестве эквивалента как оу, так и ю: жма 47 об., жже ед. ж. вин., 96, жже ед. ж. вин., sin. slav. 6/n, 10 об., жетъ sin. slav. 6/n, 14 об., жнъи 106, извавлѣжцоуоулюу 27.

**Б у к в ы ѣ , ѣ.** В БСП<sup>2</sup> буква ѣ используется всегда только в начале слога: ѣго 42 об., 43 — 3 раза, ѣси 42 об., оуготование 42 об., ѣсть 42 об., ѣта 42 об. и др.

Нейотированная буква ѣ используется в основном после букв согласных, однако имеется несколько типов написаний, в которых нейотированная буква ѣ пишется в позиции начала слога. Во многих случаях, всего около 30 раз, буква ѣ пишется в начале слога слов и корней, заимствованных из греческого, как и в описанных выше случаях с буквой а, причем над ѣ ставится надстрочный знак (как правило, точка, реже две точки): ѣдемьскъна sin. slav. 6/n, 10, ѣродово 94<sup>3</sup>, ѣрѣптѣ 96 об., ѣрѣптѣ 64, ѣрѣптѣцѣ 64, ѣрѣпта 67 об., ѣрѣптѣскъ 124 об., ѣрѣпта 101 об., ѣрѣпте зв., 124, ѣрѣпта 87, ѣрѣпта 101 об., ѣрѣптѣ 97 об., ѣрѣн 65, ѣрѣн 123, 124 об., ѣрѣн 123 об., ѣрѣнхъ 88, ѣферемова (так!) 65 об., ѣферемоль 67, ѣлей 82, sin. slav. 6/n, 11 об., ѣлеемъ 77, ѣлеймъ 94, ѣнопѣстни 74, ѣнопѣска sin. slav. 6/n, 16, ѣноплѣ(не?) 53, ѣромонъ 76 об., финѣетъ 99 об., ѣрѣлма 65 об., ѣрѣлѣ 104, ѣрѣлѣ / 118, ѣрѣлѣ / 118, ѣфрантѣ 122 об. В тех же заимствованных корнях буква ѣ встречается гораздо реже, всего три раза: ѣфремови 61 об., ѣрѣптѣцѣни 61 об.—62, ѣнопѣскъмъ (так!) 56 об. В церковнославянских вариантах славянских лексем также часто пишется буква ѣ нейотированная: ѣзера 101 об., ѣдиногъ 131 об. Нейотированная буква ѣ последовательно используется в слове ѣда 59 об., 62, 75 — 2 раза, sin. slav. 6/n, 16. Написания с йотированным ѣ встречаются реже: ѣда 66 об., 72, 94. Систематически слово ѣда пишется без йотации не только в БСП<sup>2</sup>, но и в основной части Остромирова евангелия. А. Мейе считал, что в этом слове, как в начальном слове предложения или синтагмы, протетический йот не развивался, а поэтому в Супрасльской рукописи «главным образом начальное» есе (лат. *esse*) пишется также без йотации, в том числе в тех случаях, когда перед есе находилась буква и: и есе [Мейе 1951: 67].

<sup>3</sup> ѣродовъ, прил. Относящийся к цапле (ср. греч. *ἔρωδιός*). / Тоу ꙗтица гнѣждатъ сѣ ∴ / И ѣродово жилище обладають нимъ (так!) / (тоу ѣродіоу ѣ оікіа ꙗѣтѣтѣ аѣтѣѣѣ). БСП<sup>1</sup> 94. Лексема не отмечена в исторических словарях русского языка, ср. [Старославянский словарь: 210, s. v. ѣродовъ].

В отдельных случаях буква *ѣ* в БСП<sup>2</sup> отмечена в исконно славянских словах и формах, не различавшихся в южнославянских и восточнославянских диалектах, причем в основном во флексиях: *соуѣтѣ* 126 об., *зминѣ* 131, (*гдѣ...*) *обладаетѣ* 53, *привлѣкаетѣ* 134, *величѣемѣ* sin. slav. 6/n, 10, *въздвѣзаетѣ* sin. slav. 6/n, 15, *оуѣстравлетѣ* sin. slav. 6/n, 15, *покрѣетѣ* sin. slav. 6/n, 11 об., *ѣсть* 105 об., *разоумѣетѣ* 82 и др.

И все же гораздо чаще буква *ѣ* используется для обозначения конца строки или стиха (иногда одновременно с употреблением выносных букв): *твоѣі* ∴ / 52 об., *сѣгрѣшаті ѣі* ∴ / 62, *ѣі* ∴ / 84 об., *твоѣго* ∴ / 79, *сѣмѣрениі* ∴ / 79, *въздаетѣ* ∴ / (в середине строки, конец стиха, половина строки осталась незаполненной) sin. slav. 6/n, 11, *твоѣмѣ* ∴ / 71, *твоѣа* ∴ / 90 об., *ѣсть* ∴ / 110 об. (конец стиха, четверть строки осталась незаполненной), *сѣлѣ/тѣ* 108, *повелѣніі* ∴ / 84, *пѣтїі ѣго* / sin. slav. 6/n, 10 об. и др. Всего два раза буква *ѣ* пишется в начале стиха, при этом она написана киноварью и имеет больший размер: / *ѣлемѣ* 77, / *ѣль* 'сколь' 92. Буква *ѣ* четыре раза надписана не в конце строки над словами / *Днѣ* 90 об., *тѣдѣ* 78 об., *ѣ* 67 об., 73 об., где *ѣ* изначально была пропущена и затем вписана над строкой. Такое употребление нейотированной буквы *ѣ* согласуется с написанием «узких» вариантов букв *і*, *ѣ* как в БСП<sup>1</sup>, так и в БСП<sup>2</sup>.

#### *Общие особенности употребления йотированных букв*

Первая характерная особенность в употреблении йотированных букв, которая отличает БСП<sup>2</sup> от БСП<sup>1</sup>, — это употребление йотированных букв *ѣ* и *ѣ* после букв *л*, *н*, обозначающих палатальные согласные, причем йотированные *ѣ* и *ѣ* после каких-либо других букв согласных в БСП<sup>2</sup> не встречаются. Йотация буквы гласного после *л*, *н* является в БСП<sup>2</sup> единственным способом обозначения палатальности (не считая одного написания с диакритическим знаком после буквы согласного и последующим *л*: *въшьнѣааго* 59 об.). Необходимость обозначать на письме палатальные согласные обеспечивала прочное сохранение в графико-орфографической системе БСП<sup>2</sup> йотированных букв, в частности, буквы *ѣ*, поэтому написания с *ѣ* в позиции начала слога для обозначения /*ja*/ значительно превышают количество написаний с *л* и составляют около 90 % из общего числа. Напротив, необозначение на письме палатальности согласных в БСП<sup>1</sup> способствовало тому, что буква *ѣ* употребляется в БСП<sup>1</sup> для обозначения сочетания /*ja*/ в начале слога реже, чем *л*, приблизительно в 34 % случаев. Большая по сравнению с БСП<sup>1</sup> функциональная значимость буквы *ѣ* в БСП<sup>2</sup> стала причиной того, что в графике БСП<sup>2</sup> буква *л* служит только для обозначения гласной /*a*/ после палатализованных согласных и реже употребляется для обозначения /*ja*/ в позиции начала слога. Поэтому в позиции начала слога буква *ѣ* в БСП<sup>2</sup> встречается чаще, чем в БСП<sup>1</sup>. Возможно, что устойчивое положение буквы *ѣ* в графической системе БСП<sup>2</sup>, связанное с необходимостью обозначения палатальных плавных, обуславливает более частое по сравнению с буквой *л* употребление *ѣ* и в позиции начала слога. Напротив, слабая функциональная на-

грузка буквы **ѡ** в БСП<sup>1</sup>, связанная с необозначением ряда палатальных сонорных, привела к вытеснению буквы **ѡ** ее функциональным эквивалентом — буквой **ѡ**. Следовательно, материал БСП<sup>1-2</sup> позволяет судить, что частотность употребления **ѡ** и **ѡ** в позиции начала слога может быть связана с наличием или отсутствием графического обозначения палатальных согласных с помощью йотированных букв. В дальнейшем необходимо сопоставить данные БСП с другими памятниками.

Отмеченная частная закономерность касается только употребления букв **ѡ** и **ѡ**. Написание же в БСП<sup>2</sup> парных йотированных и нейотированных букв **ѣ** — **ѣ**, **ѣ** — **ѣ** подчиняется, в основном, общему правилу: нейотированные буквы пишутся после букв согласных, йотированные употребляются в позиции начала слога. В употреблении букв **ѣ**, **ѣ** исключения из этого правила единичны. Написания с буквой **ѣ** в начале слога в БСП<sup>1</sup> и БСП<sup>2</sup> следует рассмотреть особо.

Употребление древнерусскими писцами буквы **ѣ** в значении /je/ в начале слога объясняется не ее звуковым значением, а тем, насколько каждый из писцов соблюдал старославянский орфографический узус, так как в древнейших южнославянских письменных памятниках, за исключением Супрасльской рукописи, в начале слога употребляется только **ѣ** [Дурново 1924—1927: 496—505] (нужно учитывать, что в глаголической азбуке буквам **ѣ** и **ѣ** соответствует одна буква **ѣ**). Буква **ѣ** вообще не используется в Листках Ундольского, Енинском апостоле, Зографском листке [Тот 1985: 144; Мирчев, Кодов 1965: 207; Ван-Вейк 1957: 119—120]. В БСП буква **ѣ** в позиции начала слога значительно чаще встречается в БСП<sup>2</sup>, чем в БСП<sup>1</sup>, и это не связано только с объемами БСП<sup>1</sup> и БСП<sup>2</sup>. В БСП<sup>1</sup> отмечены 10 написаний на 48 листов, тогда как в БСП<sup>2</sup> — 90 написаний на 99 листов. Однако если написание **ѣ** в БСП<sup>1</sup> объясняется только влиянием старославянской орфографической традиции, то более активное употребление буквы **ѣ** в начале слога в БСП<sup>2</sup> вызвано также действием зрительно-эстетического принципа.

Частое использование диакритических знаков над нейотированными буквами является характерной особенностью БСП<sup>2</sup> и связано с особыми функциями диакритики, подробно рассмотренными ниже. Диакритика одинаково последовательно употребляется как над йотированными, так и над нейотированными буквами, причем над нейотированными буквами в обеих позициях, начала слога и после буквы согласного. Принципы расстановки диакритики в БСП<sup>2</sup> не зависят от принципов распределения йотированных и нейотированных букв.

Таким образом, закономерности употребления **ѡ** и йотированных букв в БСП<sup>2</sup> сложнее, чем в БСП<sup>1</sup>, однако нельзя сказать, что они непосредственно связаны с архаичными системами кириллического письма, не знающих йотированных букв. Скорее всего, эти закономерности обусловлены, во-первых, обозначением на письме палатальных сонорных, сохранявшихся в диалекте писца, и связанной с этим усиленной функциональной нагрузкой букв **ѡ** и **ѣ**, а во-вторых, индивидуальными графическими вкусами и навыками писца, использовавшего букву **ѣ** для обозначения конца строки и стиха.



После буквы *ч* 10 раз встречается *ю* и один раз — после *ц* (в соответствии с общедревнерусским *ч*): *притѣцю* 49, *възвеличю* 49 об., *чюднѣ* 51, *чюдеса* 51 об.— 2 раза, 53 об., 57 об., 59 об., (и *нѣ*) *чюша* 56, *правдѣнничю* 84, *оуѣчюа* (так, вместо *оуѣчюа*) 110. Из нейотированных букв дважды отмечен *ж*: *чждеса* 127 об., *алчжцинигъ* 129 об.

Один раз буква *ю* употребляется после буквы *т*: *тжудъ* 48, ср. *тождъ* (вместо *тоуждъ*) *sin. slav.* 6/n, 11 об. В южнославянских рукописях в слове *тоуждъ* не пишется буква *ю*. Гибридное написание *тжудъ* является результатом совмещения старославянского *тоуждъ* и восточнославянского *чюжъ*.

После буквы *щ* 12 раз отмечена буква *ю*: *пищю* 128 об., 42 об., *ищюцини* 50, 52 об., *ищюцинигъ* 95, *възищють* 106, *възищю* 107, 114, *възвѣщю* 51 об., 75 об., *посѣщю* 77 об., *въсплѣщють* 87 об. Нейотированные буквы после буквы *щ* употребляются всего пять раз, из них один раз встречается буква *оу* и четыре раза — буква *ж*: *възищюутъ* 70 об., *пищж* 130, *щжжде/племенникоу* 133, *щжждиухъ* 12, *тѣсѣщж* 13. После буквы *ц* трижды отмечены нейотированные буквы, из них один раз *оу* и два раза *ж*: *пшеницоу* 43, *лицж* 109, *зѣницж* *sin. slav.* 6/n, 11. Буква *ю* после буквы *ц* употреблена также три раза: *десницю* 78, 80, *sin. slav.* 6/n, 10.

*Общие закономерности употребления букв а, ѓ, љ, оу, ю, ж, љ  
после букв шипящих и ц*

Гласная /а/ в слогах с шипящими в БСП<sup>2</sup>, так же, как и в БСП<sup>1</sup>, в большинстве случаев обозначается с помощью буквы *а*. Исключения касаются, как и в БСП<sup>1</sup>, только слогов с /с/, для обозначения гласной /а/ в которых часто пишется буква *љ*. Следует заметить, что, хотя в диалекте БСП<sup>2</sup> не различались аффрикаты /с/ и /сʃ/, фонема /а/ в слогах с аффрикатами передается по-разному: хотя в основном используется буква *а* после обеих букв, *ц* и *ч*, но после *ц* 16 раз написана буква *љ*, тогда как после *ч* она отмечена лишь однажды. Что касается обозначения гласной /ш/, то здесь в БСП<sup>2</sup> не прослеживаются закономерности, касающиеся остальных букв шипящих и /с/: написания с *ю* незначительно преобладают после букв *ж*, *ч*, *щ*, тогда как после *ш* и *ц* чаще пишутся нейотированные буквы. Иная ситуация прослеживается в БСП<sup>1</sup>, где после всех букв шипящих, кроме *щ*, а также после *ц* пишется исключительно *ю*.

*Принципы распределения эквивалентов ѡ — о — Ѡ, оу — ѡ — у, и — ї*

Буква *ѡ* используется только в диграфе *ѡѡ*, а также иногда в заимствованных словах: *сиѡнъ* 86 об., *миѡуса* 96 об., *миѡси* 100 (ср.: *моисѣѡви* 91), *сиѡна* 124 об., *фараѡна* 124 об., *хънаѡньска* (так!) 124 об. Один раз буква *ѡ* написана в начале стиха и строки: *ѡтѣ* 123.

Буква *Ѡ* употребляется крайне редко и только в конце строки, например: *омиѠтѣхъ* ::/ 75, *ѡскѡдѣша* ::/ 79 об., *повѣгнѡтъ* ::/ 93 об. и др. Два раза буква *ѡ* написана в середине строки из-за пропуска второго элемента диграфа *оу*, в лигатуре *ѡ* отчетливо просматривается нижний элемент, буква *о*, и над-

строчный элемент *v*: *салмонѸ* 70 об., *воудѸтъ* 61 об. Один раз буква *Ѹ* надписана над строкой в составе пропущенного слога: *сѸѸжающага* 126. Отмечено одно исключение: *воудѸтъ* 61 об. (середина строки).

Буква *ї* пишется в двух вариантах: *ї* и *ї̇*. Оба варианта используются только для графического выделения конца строки или стиха, даже если стих заканчивается в середине строки (см. [Кривко 2004а]), или над строкой на месте пропущенной буквы и: *оукрашїи* : / 42 об., *пжстїи* : / 45 об., *блговѸст-воужшїи/или* 45 об., *на нїи* : / 45 об., *корїсть* : / 45 об., *морьскїи* : / 46 об., *крѸвї* : / 46 об.; и *оѸтѸшающаго* *ї* не *оѸтѸхъ* 49. Один раз буква *ї* написана перед разрывом в пергамене, сшитом нитками: *жї-воу/цала* 45 об. Отмечены два исключения: / *И заповѸди* *его* *вѸзиштють* 61 об.; / *І проведє* 62.

Буква *Ѹ* пишется в основном в заимствованных словах в соответствии с греч. *υ*, *οι*, *ου*, *η*: *егуптѸ* 64, *егуптѸцѸ* 64, *асѸръ* (Ασσουρ) 70, *вавѸлона* 74, (иноплеменьници *и*) *тѸри* : / (ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος) там же, *фѸникъ* (φοίνιξ) 82, *скѸмени* 94, *мѸгѸга* 96 об., *тѸмпанъ* 132 об., *кѸвалѸхъ* 132 об., *скѸпѸтъ* (σκῆπτρον) sin. slav. *б/п*, 16 и др. В единственном случае грецизм с исконным *υ* передан с диграфом *оѸ*: *тоѸръ* 70 (ср. Τύρος). Дважды буква *Ѹ* использована после букв палатальных *л*, *н* на месте исконной /*ο*/: *вѸ нї* 55 об.; *ра/здѸлѸ* 133 об. (μερίω) (см. подробно [Кривко 2004б (литература)]).

Употребление букв *Ѹ*, *Ѹ̇*, *Ѹ̈*. Буквы *Ѹ*, *Ѹ̇*, *Ѹ̈* в БСП<sup>2</sup> употребляются всегда этимологически верно в следующих словах: *ѸнопѸсти* 74, *Ѹворъ* 76 об., *даѸлї* : / 99, *ѸфремѸви* 61 об., *ѸниѸсть* 99 об., *ѸфрантѸ* (ср. Ἐφρανθά) 122 об., *носѸфѸгы* 60, *фѸникъ* 82, *ѸараѸна* 24.

Один раз в соответствии с исконным греч. *θ* в БСП<sup>2</sup> написана *т*, что, казалось бы, отражает влияние древнеболгарской письменной традиции, для которой характерна передача греч. *θ* с помощью *т* (наряду с *ф* или даже единичного *з*: *Ѹни* — ἔθνη) [Селищев 2001: 98; Дзидзилис 1990: 46—47]<sup>4</sup>: *ѸфрантѸ* 122 об. (ср. Ἐφρανθά, Ἐφραθά). Кроме БСП<sup>2</sup>, форма *ѸфрантѸ* отмечена в Синайской псалтири, в Захарьинском паремийнике [SJS 11 (1965): 586] и в древнерусском нотированном Стихираре XII в. (БАН 34.7.6, 79 об.: *домѸ ѸфрантовѸ*; ср. в древнерусской сентябрьской служебной Минее РНБ, Q. п. I. 12, 18 об.: *гѸл̆. б̆. п̆. домѸ ѸфрантѸ*.) [Момина 1998: 167]. Для самоподобной стихире *домѸ ѸфрантовѸ* М. А. Момина указала на греческую параллель в минее XII в. (РНБ, Греч. 227/II, 31 об.), где мы встречаем вариант топонима, не отмеченный в славянских исторических словарях: *Ѹкос̆ тоѸ ѸфрантѸ* [Момина 1998: 166]. Следовательно, форма *ѸфрантѸ* 122 об. в БСП<sup>2</sup> отражает не прямое влияние древнеболгарского произношения, а независимую от протографов письменную традицию передачи топонима Ἐφρανθά — Ἐφραθά — Ἐφραντά как *Ѹфранта*, сформировавшуюся не только в результате характерного болгарского соответствия *θ* — *т*, но и вследствие фонетических и графико-орфографических изменений лексемы на греческой почве.

<sup>4</sup> Эти соответствия находят свое продолжение и в современных болгарских диалектах [Дзидзилис 1990: 46—47].

Несмотря на хорошее, по сравнению с БСП<sup>1</sup>, знакомство с орфографией греческих имен собственных, в БСП<sup>2</sup> почти не употребляется буква ψ, которая отмечена шесть раз, из них четыре — в заглавиях псалмов: ψ̂ 47 об., ψ̂ 69, ψ̂ 85, 93; ψ̂ 131 об., ψ̂ 129 об., в остальных же случаях используется буквосочетание пс.

### Буквы ъ, ь. Второе полногласие

Количество морфем, в которых в БСП<sup>2</sup> отмечен пропуск слабых ъ, ь, примерно такое же, как и в БСП<sup>1</sup>; однако две морфемы со слабыми ерами (зъл-, въс-) в БСП<sup>2</sup> гораздо чаще переданы в исконной форме, т. е. с буквами ъ, ь:

а) в корне зъл- последовательно пишется буква ъ: зълѣ 52, зълѣа 54 об., зълѣою 71 об., ѡзълѣвити 77, зълѣаі 80, ѡзълѣвина 83, незълѣвнїи 89, зълѣвнїи // 112 об., зълѣа 117 об., зълѣо 134 и др., всего 17 раз, тогда как буква ъ пропущена в корне зъл- в пяти случаях: зълѣоуѡшаа 84, зълѣѣ 84 об., зѣа 52 об., зѣа прил. 112, ѡзѣлѣнѣ 100;

б) корень кѣ- почти всегда пишется без буквы ъ, так же, как и в БСП<sup>1</sup>: кѣо 76, 79, 84 — 2 раза, 121 об., 130 об., 132, 133 об. и др., ср: кѣѣо 42 об., 58 об., кѣѣа 66 об., кѣѣа 66 об.;

в) в корне мѣног- буква ъ пропущена 21 раз: мѣногѣ 79, 124, ѡмѣножилѣ 42 об., ѡмѣножи 42 об., 99 об., мѣногаа sin. slav. б/п, 14 об., мѣногѣ sin. slav. б/п, 17 и др.; с буквой ъ корень мѣног- написан в 15 случаях: мѣногѣствѣѣ 48 об., мѣногѣствѣмѣ 133 об., мѣногѣѣ 62, мѣногѣшѣдѣ 121, мѣногѣи 115 об., мѣногѣо 122 и др.;

г) в формах дат. ед. и тв. ед. местоимения азѣ буква ъ пропущена в 39 случаях: мнѣ 48 — 2 раза, 48 об. и др., мнѣ ѡ: / 78, мнѣо 73 об., 90, 121; при этом отмечены 28 случаев написания этого корня с буквой ъ: мнѣнѣ 48 — 2 раза, 50 об. — 2 раза, 51 об., 52 и др., мѣногѣо 49, 54 об., 121;

д) в корне въс- буква ь пропущена всего четыре раза: въсѣмѣ 131 об., въсѣ 126, 135 об.; въсѣко 132, в остальных же 110 примерах этот корень пишется с буквой ь: въсѣа 43, 50, 74, 85 об. и др., въсѣи 44, 44 об., 58 об., 78, 87, въсѣю 62, въсѣми 86 об., въсѣи 84 об. и др.;

е) в суффиксе -ѣн- буква ь пропущена 13 раз: воуѣнѣ 68 об., ѡуѣно 49 об., правѣднаго sin. slav. б/п, 15, троуѣнѣ sin. slav. б/п, 13 об. — 3 раза, зѣлѣвнїи / 112 об., прѣпоѣвнїи 123, тѣмнїиѣ 125, поѣвно 128 об., прѣпоѣвнїиѣхѣ 131 об., прѣпоѣвнїи 131 об., въсѣднїиѣ 133, неправѣдна 127, воѣнѣа 101 об.; один раз вместо буквы ь в этой морфеме написан диакритический знак: троуѣнѣ sin. slav. б/п, 13 об. В подавляющем большинстве случаев та же морфема написана с буквой ь: силнѣнѣ 65, заѣнопрѣстоуѣпнїи ѡ: / 89, дѣлоѣнѣрѣноѣ sin. slav. б/п, 11, въсѣднїиѣ 133; sin. slav. б/п, 10 об. и др., всего отмечено 184 однотипных примера, учитывая описку конїиѣхѣ 42 об., где вместо буквы ь написано и в результате графической ассимиляции;

ж) в корне кѣназѣ- буква ѣ пропущена 11 раз: кѣнѣи 46 об. — 3 раза, кѣнѣзѣ 69 об.; sin. slav. б/п, 14, кѣнѣзѣа 70 об., 96 об. — 3 раза, 104 об., 107, тогда как с ером это слово написано четыре раза: кѣнѣзѣа 70 об., кѣнѣзѣмѣ 74, кѣнѣзѣи 10, 131;

з) в корне **пѣт-** гласный никак не обозначен только в двух ненадежных примерах, где плохая сохранность текста позволяет предполагать написанный изначально диакритический знак: **птица** 62 об., **птица** 131, тем более что в пяти случаях этот корень пишется с диакритической точкой вместо буквы **ѣ**: **пѣтица** 71, 119, **пѣтица** 94, **пѣтѣнца** 71; *sin. slav.* 6/n, 11 об.; один раз корень **пѣт-** написан с буквой **ѣ**: **пѣтѣнцемъ** 130;

и) по одному разу отмечены пропуск буквы **ѣ** в корне **рѣпѣт-** (**порѣпѣташа** 99 об.) и в приставке **сѣ-** (**сѣмочитъся** 46 об.).

В отличие от большинства древнерусских и южнославянских рукописей XI—XII вв., в корне **кѣниг-** в БСП<sup>2</sup> всегда пишется буква **ѣ**: **кѣнигъ** 49 об., **кѣнижника** 51 об., **кѣнигахъ** 74.

Сопоставительный анализ данных по утрате слабых еров на материале всех трех почерков БСП проделан в первой части статьи [Кривко 2004а], где определена также значимость описанных данных для датировки рукописи.

Пропуск еров в последнем слове строки. В ряде случаев пропуск букв **ѣ** или **ь** использован в качестве особого графического приема маркирования края строки и стиха перед знаком **∴**, ср.: **припошашѣтъ ∴** 43, **браньн ∴** 47, **члѣцѣ ∴** 65, **пандоут ∴** 76 об., **своин ∴** 78, **твоих ∴** 78 об., **вѣк ∴** 127. В двух случаях одновременно с ненаписанием буквы **ѣ** в конце строки употреблены буквы **ѣ** и **ѣ**: **омѣтих ∴** 75 об., **ѣх ∴** *sin. slav.* 6/n, 12. Кроме букв **ь** и **ѣ**, в конце строки иногда пропускаются также буквы, обозначающие гласные полного образования, а также целые слоги: **сво ∴** 65 об. (позднее вписано **ѣ**), **твоѣг ∴** 79, **сѣ облеу ∴** 82 об., **оумножитъ ∴** 82 об., (**бѣу спѣсу**) **нашем ∴** 84 об., **сыново ∴** 92. Заметим, что тот же прием один раз встречается и БСП<sup>3</sup>: **потребаѣтъ ∴** 13 об. Однотипные примеры пропуска буквы **ѣ** в конце слова отметил Г. Лант [Lunt 1949: 70] в Архангельском евангелии (1092 г.), не указав, однако, что еры пропущены в конце строки: **вѣзнетъ ∴** 44, **повиноуютъ ∴** 60, **двигнѣтъ ∴** 74, **сѣврѣтъ ∴** 74 об.<sup>5</sup>

Примеры сокращенного написания слов в конце строки, отмеченные в БСП<sup>2-3</sup> и в Архангельском евангелии, до сих пор не были описаны в иных древнерусских рукописях. Между тем они встречаются в большом количестве в Ассеманиевом евангелии: **нѣ обѣт.** 2 (1с-23), **сѣвѣдѣтелство** 2 (1с-27—28), **сѣвѣт** 2 (1д-6) и др.<sup>6</sup> Такой способ сокращения слова, недописывание букв, в латинской палеографии называется суспензия [Добиаш-Рождественская 1936: 186—192; Люблинская 1969: 35—44]. Разновидностью суспензии является сокращенное написание под титлами [Осипов 1972: 114]. Примеры БСП и Архангельского евангелия не только позволяют расширить фактическую базу для явления суспензии в древнерусской письменности, но и описать такую ее функцию, как графическое выделение конца строки и стиха.

Смешение букв **ѣ** — **ѣ**, **ѣ** — **ѣ**, **ь** — **ѣ**, **ѣ** — **ь**. Написания **ѣ** вместо **ѣ**: **акъ** 79, **злѣ** (вместо **зѣло**) 86 об., **мѣи** ‘мой’ *sin. slav.* 6/n, 14, **голѣтъ** 130 об.;

<sup>5</sup> Примеры уточнены по изд.: [Архангельское евангелие].

<sup>6</sup> Примеры цитируются по изд.: [Kurz 1955].



о вместо ъ: *завѣхо* 90, (исповѣдантеса ꙗви тако) *блго* 98; (бл҃гнѣ ꙗже не дасть насть въ ловитѣж) *зоубѣлю ихъ* 119 (если это не описка вместо *зоубомѣ ихъ*); в девяти случаях буква ъ исправлена из о: *отъ* 45 об., *призѣвахъ* 103, *благъ* 88 об., *въ домоу* 71 об., *ходящиихъ* 71 об., *сионъ* 74, *исконьвахомъса* 79 об., *полъ* 134, *грознъ* 'виноградная гроздь', *sin. slav. 6/n, 13*; ь вместо е: *искѣушнниа* 85, *камень* 62, *десатъстроунѣ* 81 об. (ср. *десатъестроунѣ* 8), *дѣщери* 100, *дѣщериъ* *sin. slav. 6/n, 12*, (вѣи же...) *падаѣтъ* :— / 69 об., *сѣтворитъ* повелит. 2 л. мн., 98; е вместо ь: *не ѡблѣчите ли* : / 3 л. ед., 83 об., *вънени* *sin. slav. 6/n, 10* об., *избавителе* им. ед., 126 об. Отмечен один пример написания о вместо ъ в составе диграфа ѣ, причем это о исправлено на ѣ с высокой мачтой: *млѣѣѣ* *sin. slav. 6/n, 15*.

Обозначение редуцированных гласных в слабой позиции и неэтимологических редуцированных с помощью диакритики. В БСП<sup>2</sup> исконный редуцированный в абсолютно слабой позиции шесть раз обозначен с помощью диакритической точки или двух точек: *птица* 71, 119, *птица* 94, *птѣнца* 71; *sin. slav. 6/n, 11* об.; *гоѣзжюще* 54 об., *троднѣ* *sin. slav. 6/n, 13* об. Один раз на месте редуцированного ѣ написан паерок: *кѣ томѣ* : / 70.

В БСП<sup>2</sup> дважды отмечены диакритические точки для обозначения неэтимологического редуцированного: *егѣпте* :— / 124 об., *егѣптьскъ* 124 об. В двух случаях корень *егѣп(ь)т-* написан с буквой ь: *егѣптьскъ* 68 об., *егѣптьсѣѣ* 61 об. В остальных многочисленных случаях употребления этого корня неэтимологический гласный не отмечается на письме.

В заимствованных словах, где сонорный плавный стоит перед согласным, в БСП<sup>2</sup> отмечены три написания буквы л с диакритической точкой: *олтарѣ* 71, *ѣлѣѣѣ* 131 об., *псалѣѣскѣѣихъ* 52. Написания корня *ѣлѣ-* с буквой ѣ после л доказывают фонетическую значимость диакритической точки: *ѣлѣѣѣ* 129 об., ср. *варѣварѣ* 101 об. Один раз этот же корень написан в соответствии с исконной греческой формой, т. е. без ера и без надстрочного знака: *псалѣѣѣ* 132. Написание *тѣлѣѣѣ* 68 следует отнести к этой же группе примеров, причем надстрочная черта, по-видимому, представляет собой не самостоятельный надстрочный знак, а слившиеся в результате беглого письма две надстрочные точки.

Второе полногласие. Общие особенности отражения рефлексов праславянских сочетаний типа *\*tbrt* в БСП<sup>2</sup> такие же, как и в БСП<sup>1</sup>. Незначительные различия касаются, во-первых, количественного соотношения различных типов написаний и, во-вторых, особого способа передачи второго полногласия с помощью диакритических знаков, чего нет в БСП<sup>1</sup>.

Согласно южнославянскому узусу в БСП<sup>2</sup> написаны пять словоформ, отражающих рефлекс сочетания типа *\*tbrt*, и семь словоформ, отражающих рефлекс сочетаний типа *\*tblt*: *испѣва* 55 об., *грѣтани* 112, *грѣтани* 132, *грѣтаниъ* 102, *грѣдни* 113 об.; *напѣниса* 57, *напѣнѣ* 81 об., *испѣнѣющаго* 91 об., *хѣлѣѣхъ* 65, *здѣлѣѣѣ* 121, *вѣспопѣѣѣ* 103, *здѣлѣѣѣ* 121. Однако в подавляющем большинстве случаев в БСП<sup>2</sup>, так же, как и в БСП<sup>1</sup>, рефлекс праславянских сочетаний *\*tbrt*/*\*tbrt*/*\*tblt* переданы согласно более распространенному древнерусскому узусу: *вѣлѣѣ* 42 об., *напѣниса* 42 об., *хѣлѣѣ* 43, *скѣѣѣ*

43 об. и др. В БСП<sup>2</sup> отмечен лишь один пример, когда исконное праславянское сочетание *\*tbrt* передается с помощью букв *ѣръ* в конце строки: *скѣръѣ* / 52.

Несмотря на уникальность обозначения второго полногласия буквенными средствами, в БСП<sup>2</sup> имеется ряд примеров употребления диакритических точки или двух точек, обозначающих второе полногласие: */въ скѣръѣхъ* 59, *пѣръѣнѣ* :/ 59, *оутвѣрдитѣ* 95 об., *осквѣрниша* 56, *жѣртвоу* 99 об., *извѣрже* 90 об., *тѣрпѣливъ* 92, *оутвѣрдитъ* 92, *оутвѣрженнѣ* 96, *мѣртвинѣ* 134, *пѣръѣнѣцъ* 97, *мѣръзѣ* 116, *скѣръѣ* 103, *гѣръѣ* (так!) *sin. slav. 6/n*, 12 об., *стѣлпѣ* 57 об., *стѣлпѣ* 88, *мѣлннѣ* 86 об., *зѣлѣи* *sin. slav. 6/n*, 13, всего 17 примеров, из них 13 — в сочетании с буквой *р* и четыре — в сочетании с буквой *л*.

Отражение на письме рефлексов сочетаний типа *\*tbrt/\*tblt* иллюстрирует таблица:

Таблица 1

| Необозначение второго полногласия | <i>*tbrt</i>                      |                  | <i>*tblt</i>     |                  | <i>*tblt</i>     |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | БСП <sup>1</sup>                  | БСП <sup>2</sup> | БСП <sup>1</sup> | БСП <sup>2</sup> | БСП <sup>1</sup> | БСП <sup>2</sup> |
| TRBT                              | 6                                 | 5                | 0                | 0                | 4                | 7                |
| TBRT                              | В подавляющем большинстве случаев |                  |                  |                  |                  |                  |
| Обозначение второго полногласия   | <i>*tbrt</i>                      |                  | <i>*tblt</i>     |                  | <i>*tblt</i>     |                  |
|                                   | БСП <sup>1</sup>                  | БСП <sup>2</sup> | БСП <sup>1</sup> | БСП <sup>2</sup> | БСП <sup>1</sup> | БСП <sup>2</sup> |
| Общее количество примеров         | 0                                 | 3                | 1                | 11               | 4                | 4                |
| а) с помощью букв <i>ѣ, ѣ</i>     | 0                                 | 1                | 1                | 0                | 4                | 0                |
| б) с помощью диакритики           | 0                                 | 2                | 0                | 11               | 0                | 4                |

Таким образом, в БСП<sup>2</sup> при обозначении рефлексов *\*tbrt/\*tblt/\*tblt* южнославянский узус соблюдается не так последовательно, как в БСП<sup>1</sup>. Общее число южнославянских по происхождению написаний в БСП<sup>1</sup> и БСП<sup>2</sup> почти одинаковое: 10 примеров в БСП<sup>1</sup> и 12 примеров в БСП<sup>2</sup>, хотя БСП<sup>2</sup> в два раза превышает БСП<sup>1</sup>. При этом случаев обозначения второго полногласия и слабого редуцированного в БСП<sup>1</sup> и БСП<sup>2</sup> соответственно пять и восемнадцать. Оба основных писца БСП отражают распространенную в древнерусских рукописях XI—XII вв. тенденцию передачи на письме рефлексов *\*tbrt/\*tblt/\*tblt*: написания типа *TBRT* встречаются чаще, чем написания типа *TRBT*, в тех рукописях, которые отражают явление второго полногласия в написаниях типа *TBRBT* — *TBR'T* [Живов 1987: 60].

Обширный фактический материал, собранный В. Н. Сидоровым, показывает, что «редко в каком памятнике» написания *ѣр, ѣр, ѣл* между согласными «проводятся с полной последовательностью», «в XI в. русские написания с *ѣ* и *ь* перед плавными еще не установились в качестве постоянной, последовательно проводимой нормы» [Сидоров 1966: 30, 35]. Имеет смысл сравнить числовые данные БСП с тем, как соотносятся различные написания для передачи рефлексов сочетаний типа *\*tbrt* в других восточнославянских памятниках XI — начала XII в., опираясь на работу В. Н. Сидорова [Сидоров 1966]:

Таблица 2

| Памятники  | Написания (в %) |       |       |      |
|--|-----------------|-------|-------|------|
|  | ТЪРТ            | ТЪР'Т | ТЪРЪТ | ТРЪТ |
| Остромирово евангелие (1-й писец)                | 100             | 0     | 0     | 0    |
| Остромирово евангелие (2-й писец)                | 1               | 26    | 11    | 62   |
| Миней 1096 г.                                    | 43              | 0     | 54    | 3    |
| Миней 1097 г. (1-й писец)                        | 44              | 1     | 12    | 43   |
| Миней 1097 г. (2-й писец)                        | 10              | 76    | 2     | 12   |
| Чудовская псалтирь                               | 0               | 84    | 0     | 16   |
| Архангельское евангелие                          | 100             | 0     | 0     | 0    |
| Июльская миней к. XI — нач. XII века (1-й писец) | 89              | 0     | 0     | 11   |
| Июльская миней к. XI — нач. XII века (2-й писец) | 0               | 0     | 0     | 100  |

Как видно из таблицы, упомянутая выше тенденция более частого написания типа *tъrt*, чем *trъt*, неактуальна для тех рукописей, где второе полногласие не передается вообще (первый почерк Остромирова евангелия, все Архангельское евангелие и первый почерк июльской служебной Миней XI—XII вв.). Возвращаясь к данным БСП, можно заключить, что обозначение на письме рефлексов сочетаний типа *\*tъrt* обоими основными писцами памятника соотносимо с другими рукописями XI—XII вв. и не позволяет более точно датировать БСП, чем вторая половина XI — начало XII вв.

#### Диакритика

В графико-орфографической системе БСП<sup>2</sup> диакритика употребляется последовательно на всем пространстве текста и имеет большое количество функций. Выше были приведены примеры употребления надстрочных знаков для обозначения слабых этимологических и неэтимологических еров, в том числе в рефлексах сочетаний типа *\*tъrt*. Далее рассмотрены другие функции надстрочных знаков.

Диакритика, не связанная с фонемными отношениями. В БСП<sup>2</sup> отмечен ряд написаний, где диакритические знаки служат средством графического выделения графем, используемых преимущественно в грецизмах. В этом случае надстрочный знак, каким может быть точка, две точки или черта, не имеет самостоятельного значения и образует часть графического облика графемы<sup>7</sup>. Надстрочные знаки, как правило две точки, ставятся над буквами *γ* и *ω*: *егѳптъскъ* 124 об., *егѳптѣ* 124 об., *егѳпта* 101 об., *скѳптъры* sin. slav. б/п, 16, *асѳръ* 70; *иакѳвъль* 58 об., *сиѳнгъ* 86 об., *мѳѳсеа* 96 об., *фараѳна* 124 об., *хънаѳньска* 124 об. (так!). По аналогии с обозначением с помощью двух надстрочных точек буквы *γ* в грецизмах дважды отмечен знак

<sup>7</sup> На возможность этого объяснения нам любезно указала В. С. Голышенко. См. также [Голышенко 2002: 47].

из двух точек над диграфом *ou* в исконно славянском слове после буквы твердого согласного: *вѣноуѣ* : / 57, / *роуѣкама* 59. Показательно, что только в греческих заимствованиях почти не происходит смешения двух точек и точки, как во многих приведенных выше примерах употребления диакритических знаков, что указывает на устойчивость графического облика букв *ѡ* и *ѣ*. По образцу написания буквы *у* в грецизмах две надстрочные точки употреблены в исконно славянской лексеме: *вѣ нуѣ* 55 об. (ср.: *раздѣлуѣ* 133 об.).

Один раз над буквой *ф* также поставлен сложный надстрочный знак — точка и черта: *йѡсифѡвѣ* : 60. Как в этом, так и в перечисленных выше примерах надстрочные знаки выполняют орнаментальную, или зрительно-эстетическую функцию, не играя никакой роли для передачи на письме фонологических отношений (см. об этом [Голышенко 2002: 60]).

Знаки, передающие тембр согласного. Палатальное *л* один раз обозначено с помощью диакритического знака апостроф над согласным: *вѣшьнааго* 59 об. Единичность примера связана с тем, что, как было сказано выше, в остальных случаях для обозначения палатальности плавных в БСП<sup>2</sup> используются йотированные буквы (см. выше). Дважды обозначено палатальное *л*: *оуѣдѣлаюуциисѣ* 55, *отѣилюшоуѣ* 59<sup>8</sup>. Кроме того, в двух случаях с помощью диакритической точки или двух точек передана исконная палатальность сочетания *zd'*: *дѣждѣ* 124, *цѣждѣиуѣ* sin. slav. б/п, 12. В одном случае двумя точками обозначен рефлекс праславянского сочетания \**vj*: *оуѣмѣрѣиѣнѣиуѣ* 66. Лишь один раз обозначена палатализованность (или «полумягкость») согласного перед *к*: *Гѣгѣѣѣшиисѣ* sin. slav. б/п, 11 (если это написание не отражает переход *r* в палатальный ряд под влиянием предшествующего *g*, ср.: *гниѣвѣ* (так!) в Изборнике 1073 г. и др. [Дурново 1924—1927: 482—483]).

Следует отметить, что написания с апострофом или с точкой, подобные приведенным выше примерам из БСП<sup>2</sup>, хорошо известны в древнерусских рукописях, например, в Туровских листках: *иждѣнѣть* 1а, *прославлю* 2а, *земля* 7б [Тот 1985: 187] и др.; в Минее Дубровского: *преступление* 8а, *земля* 8а, *матерьниуѣ* 15б, *кѣ ѣноуѣ* 15а и др. [Тот 1985: 195], причем в Минее Дубров-

<sup>8</sup> Аналогичные примеры выявлены в Типографском евангелии XII в. (РГАДА, ф. 381, № 1): *вѣ ѡдѣждѣуѣ* 13в 23, *ѡставляѣтсѣ* 46а 7 и др. [Голышенко 2002: 64]. Использование специальной диакритики, обозначавшей исконно палатальные согласные, наряду с йотированными буквами, хорошо известно в рукописях XI—XII вв. (так, в Изборнике 1073 г. наряду с йотированными буквами используется «крюк»; см.: [Калнынь 1956:138—145]). В результате возникает орфографическая избыточность в передаче на письме смысловозначительных отношений. Причина этого в том, что древнерусские книжники столкнулись с отсутствием единой нормы в обозначении исконно палатальных согласных в старославянских рукописях, где могли использоваться как «крюк» или камора без последующей йотации буквы гласной, так и йотированные гласные без «крюка» или каморы над буквой предшествующего палатального. Написание, при котором используются оба приема, отражает механическое совмещение разных способов обозначения тембра в пределах слога, орфографически избыточное и нецелесообразное, но исторически оправданное.



Диакритика над буквами гласных непереднего ряда. В БСП<sup>2</sup> надстрочные знаки ставятся последовательно над всеми буквами гласных непереднего ряда в неприкрытом слоге, как начальном, так и не- начальном: ѓблѣкѣ 124, ѓтѣ 124, 56 об., оѣмѣла 58 об., оѣстѣ 61, оѣвогѣ 50 об., оѣста 6, градоуцоуоѣмоу 51 об., наоѣчѣтѣсѣ (так!) sin. slav. б/п, 17 об. и др. (см. примеры также выше).

Материал позволяет сформулировать закономерность употребления надстрочных знаков над буквами гласных в БСП<sup>2</sup>: надстрочный знак, независимо от его внешнего облика, ставится над всеми буквами гласных в неприкрытом слоге (кроме ѣ и ѣ) и над всеми йотированными буквами гласных независимо от качества слога. Эта же закономерность распространяется и на употребление надстрочных знаков в БСП<sup>3</sup>.

Тенденция к расстановке надстрочных знаков над буквами гласных во всяком неприкрытом слоге, известная во многих древнерусских рукописях [Кудрявцев 1985], объяснялась как обозначение на письме протетических согласных, причем не только *j*, но и *h* или даже *w* перед *u* или *o* [Кудрявцев 1985; см. также: Шахматов 1915: 54, 57—58, 143]. Современная диалектология собрала и обобщила обширный материал, касающийся протетических согласных в разных славянских диалектах, во многих случаях установлены позиционные условия их появления [Филин 1972: 296—303; Калнынь 1998; 2000]. Однако диалектные данные о протетических согласных нельзя рассматривать как доказательство их существования в раннедревнерусский период. В частности, из закона восходящей звучности, который в работе Ю. С. Кудрявцева используется как основное доказательство наличия протетических согласных перед гласными непереднего ряда, не следует, что в языке были невозможны слоги, состоящие только из одной неприкрытой гласной фонемы, поскольку слог типа *V* не противоречит закону восходящей звучности. Следовательно, в вопросе о надстрочных знаках, обозначающих всякий неприкрытый слог, доказанным является только обозначение йотации в тех словах, в которых йотация передается в других примерах с помощью буквенных средств (йотированных букв). Наличие же или отсутствие фарингальных или гортанных протетических или эпентетических согласных, которые могли бы обозначаться надстрочным знаком, для раннедревнерусского периода остается пока недоказанным.

Исследуя написание славянских диакритических знаков, Х. Миклас обратил внимание на то, что балканские предшественники писца БСП<sup>2</sup> с помощью надстрочных знаков, ставившихся над буквой гласного в подражание греческой графике, маркировали границы слова или слога. Для этой цели могли использоваться также буквы ѡ — ѡ. Х. Миклас назвал такой принцип употребления графических знаков «эстетически-техническим», усматривая его действие в написаниях типа то ѡ ѡбразѣ, се ежѣ етъ, где специальный диакритический знак над буквами ѡ, ѡ, ѣ передает, по мнению Х. Микласа, слоговое деление [Миклас 1993: 5, 7; Миклас 2003]. Такой подход убедительно доказывает, что диакритика служит для обозначения на письме слога как графической единицы и единицы чтения.

При всей убедительности этого толкования оно все же не объясняет расстановку надстрочных знаков над буквами гласных переднего ряда в прикрытых слогах, т. е. после букв исконно палатальных согласных. Очевидно, выявленная в БСП<sup>2</sup> система надстрочных знаков является результатом совмещения разных орфографических традиций. Первая восходит к тому самому «эстетически-техническому принципу» маркирования границ слога как единицы письма и чтения, вторая же — к обозначению йотации и палатальности с помощью надстрочных знаков. Совмещение этих традиций привело к синкретизму фонологической и зрительно-эстетической функций диакритики в написаниях типа *юа̑, съмѣрнѣи̑* и др., где надстрочный знак обозначает и йотацию гласной, и границу слога. То, что древнерусская диакритика XI—XII вв. совмещает в себе разные традиции письма, косвенно подтверждается многофункциональностью надстрочных знаков, отсутствием строгого соответствия между их внешним обликом и выполняемыми функциями, на что уже обращалось внимание [Голыщенко 2002]. Судить о том, какая из этих традиций первична и не является ли правило маркирования неприкрытого слога не чем иным, как распространением правила обозначения йотации с помощью диакритики на все слоги, в том числе без протетического *j*, можно лишь после сплошного исследования старославянской и древнерусской диакритики XI — начала XII в.

Подведем промежуточные итоги наблюдений над диакритикой БСП<sup>2</sup>. Надстрочные знаки в БСП<sup>2</sup> ставятся в трех группах написаний: 1) две точки — над буквами *ω, γ*, употребляющимися преимущественно в грецизмах (изредка встречается точка); 2) точка или две точки — над всеми буквами гласных в неприкрытом слоге и над всеми йотированными буквами гласных независимо от качества слога, при этом надстрочный знак не ставится над буквами *а, ѣ* в любой позиции и над буквами *и, ѣ* в прикрытых слогах; 3) точка или две точки — для обозначения слабых редуцированных, исконных и неэтимологических, а также для обозначения слабого редуцированного в рефлексах сочетаний типа *\*tьrt*. Очевидно, система надстрочных знаков БСП<sup>2</sup> является результатом совмещения разных традиций письма и более ранних графико-орфографических систем.

Диалектные особенности. Единственной, но яркой диалектной чертой БСП<sup>2</sup> является уже отмеченное выше неразличение шипящей и свистящей аффрикат, о котором писал Г. Лант, не приведя, однако, достаточного количества примеров с указанием листов рукописи [Lunt 1976: 261]. К числу примеров, иллюстрирующих цоканье, должны быть отнесены написания с буквой *ц* (в БСП<sup>2</sup> — всегда в соответствии с общедревнерусским *ч*), о которых шла речь выше.

### БСП<sup>3</sup>

Общая характеристика почерка, используемые буквы и варианты, датирующие начертания. Почерк БСП<sup>3</sup> такой же беглый и слегка наклонный, как и в БСП<sup>1</sup> и БСП<sup>2</sup>, единственным ярким отличием является расстояние между буквами, которое в БСП<sup>3</sup> заметно больше, чем в БСП<sup>1</sup> и БСП<sup>2</sup>. Высота букв в БСП<sup>3</sup> примерно такая же, как и в БСП<sup>1</sup> и





л и та стало не уменьшение употребления буквы та вообще, а особое распределение букв л и та в зависимости от позиции по отношению к началу слога. В целом та же закономерность относится и к употреблению букв ѣ и љ.

*Буквы а, та, л, оу, ю после букв шипящих и ц*

Буквы а, та, л. Об особенностях употребления в БСП<sup>3</sup> букв а, л, та после шипящих и аффрикат судить трудно, поскольку материал, представленный на неполных трех листах рукописи, очень ограничен. После ц буквы а и л употребляются по четыре раза: сѣдѣца 13, 14, 16 об., лица 16, лѣшьца 14, лица 16, 16 об., коньца 16 об. После ч один раз отмечена буква л: поочѣлѣса 15. После ш используется только буква а: ница 14, ницазюще 14 об., прѣвѣзносѣса 15 об., вѣсѣса 15 об. После ж также всегда употребляется а, всего 10 раз: извѣкоша 14, напѣгоша 14, сѣкрошѣса 14 — 2 раза, оуѣвѣрѣтъ 14, оупѣваша 16, оуѣнѣша 16, сѣгниша 16 об., хѣжахѣ 16 об., напѣниша 16 об.

Буквы оу, ю. В БСП<sup>3</sup> встречаются только три примера на употребление букв, обозначающих /u/ после шипящих и аффрикат: исѣшютъ 13, спѣшющюмоу 13 об., твѣрѣшюмоу 13 об.

Материал БСП, касающийся обозначения гласных после шипящих и /с/, можно обобщить следующим образом:

Таблица 3

| Позиция | БСП <sup>1</sup> |   | БСП <sup>2</sup> |    |                |   | БСП <sup>3</sup> |   |
|---------|------------------|---|------------------|----|----------------|---|------------------|---|
|         | Буквы            |   | Буквы            |    |                |   | Буквы            |   |
|         |                  |   | Йотированные     |    | Нейотированные |   |                  |   |
| ю       | оу               | ю | ѣ                | оу | ѣ              | ѣ | ю                |   |
| После ш | Везде            | 0 | 12               | 0  | 11             | 4 | 0                | 1 |
| После ж | Везде            | 0 | 10               | 1  | 0              | 4 | Нет примеров     |   |
| После ч | Везде            | 0 | 11               | 0  | 0              | 2 | Нет примеров     |   |
| После ц | 2                | 2 | 12               | 0  | 1              | 4 | 1                | 1 |
| После ц | Везде            | 0 | 3                | 0  | 1              | 2 | Нет примеров     |   |

Данные, приведенные в таблице, согласуются с наблюдением, что в древнерусских рукописях XI—XIV вв. особой нормы относительно употребления букв оу, ю после шипящих не существовало [Зубова 1976: 33—36]. Высказывалось мнение, что это связано с отсутствием у шипящих и /с/ пар по признаку «палатальность — твердость», а значит, и с отсутствием необходимости передавать на письме смысловозначительные отношения по этому признаку, что и вызывало неустойчивость старославянского письменного узуса [Lunt 1949: 37; Kulbakin 1929: 188—206]. По свидетельству А. Вайана, «написания шю, штю и др. и шюу, штюу и др. одинаково употребительны, но почти всегда пишется ша и т. д., за исключением Киевского Миссала, в котором преобладают написания типа шѣ... и Синайской псалтири, в которой они очень часты; все это представляет собой только орфографическое

явление» [Вайан 2002: 76; ср.: Ван-Вейк 1957: 129—131, 185; см. статистические данные: Зубова 1975: 20—21]. Однако нужно учитывать и «отверждение, по крайней мере диалектное, шипящих, групп шт, жд и аффрикат», которое для того же А. Вайана было «несомненно: об этом свидетельствуют написания нашъ, ноштъ, концъ (...), частые в большей группе памятников и обычные в других» [Вайан 2002: 75]. Следовательно, неустойчивость в выборе парных йотированных или нейотированных графем и ѡ после букв шипящих и ц, известная в древнерусских рукописях, отражает неустойчивость старославянского узуса. В связи с этим не имеет под собой оснований предположение, будто в БСП «появление ю после ж, ш, ц, жд [свидетельствует о том,] что БП [БСП] имеет связь с глаголической системой правописания» [Тодоров 1990: 52].

Принципы распределения дублетных букв ѡ — о — Ѡ, оу — ѡ — у, и — ї. Буква ѡ отмечена один раз в предлоге ѡ 15, буква ѡ — один раз в конце строки и стиха: *отъпа/дѣтъ* :./ 13. Буква ї пишется в двух вариантах, ї и ї́, причем только в конце строки или стиха: *лоукавьноуіці/имъ* :./ 13, *лоукавьноваті* :./ 13 об., *гѣкъшнѣка* :./ 13 об., *гѣкъшнѣці* :./ 14, *нѣ* / 15, *кѣдрі* / 15 об.

Диалектные особенности. В БСП<sup>3</sup> отмечено неразличение аффрикат /с/ и /с/: *правѣднѣици (же) наслѣдѣтъ зѣмлю* 15.

### Графика и орфография правки и маргиналий

В своей статье, посвященной отождествлению петербургского и большого синайского отрывков БСП, Г. Лант указал, что над рукописью работали три основных писца, после которых выцветший текст поновлялся русскими и сербскими (по мнению Г. Ланта) правщиками в XII и XIII вв. [Lunt 1976]. Знакомство с подготовленным им фототипическим изданием рукописи показывает, что первоначально написанный тремя основными писцами текст прошел проверку на предмет пропусков и пропущенные фразы были вписаны, как правило, более мелким и аккуратным почерком либо между строк, либо на свободной правой части строки. Бесспорно рукой правщика вставлен текст на лл. 38 об., 114 об., 127 об., 130 об., sin. slav. 6/n, 3. Графико-орфографическая система, которой владел проверявший, отличается от тех, которые использовались в БСП<sup>1</sup>, БСП<sup>2</sup> и БСП<sup>3</sup>. Показательны следующие вставки: *Посълѣтъ слово свой и рѣстѣтъ ѣ* 130 об. (в БСП<sup>1—3</sup> не употребляется буква ѣ для обозначения исконно палатального /й/, не отмечено ни одного случая восточнославянской огласовки в приставке *рѣс-*, отсутствуют формы с ѣ во флексиях мягкого типа склонений имен и местоимений); и *роздрѣшилъ ны и/си* :. 38 об. (второй пример формы с восточнославянским *рѣс-*; элемент ѣ написан с высокой мачтой, как обычно в конце строки); / *Тѣѣ ѡставленъ ѣсть ници* :. sin. slav. 6/n, 3 (единственный в БСП случай употребления о в корне местоимения *тѣи*). Для датировки вставок может иметь значение то, что буква ѣ написана с высокой мачтой, а поперечная линия лежит на верхнем уровне строки, буква ѡ употреблена не в предлоге *отъ*, ее сред-

няя часть доходит со среднего уровня строки. Как уже упоминалось, такие начертания становятся распространенными в древнерусских рукописях только в XII в., однако они встречаются и в основном тексте БСП.

На л. 60 повторно написан 151-й псалом — также древнерусским писцом; этот текст датируется Г. Лантом XII в. К числу характерных поздних начертаний относится **ѣ** с высокой мачтой и поперечной линией на верхнем уровне строки, а также буква **ѡ** со средней частью, доходящей до середины строки, при том, что дуги буквы **ѡ** сходятся к центру. Отмечено два примера с пропущенными **ь**, **ъ**: / **Мний**, **кто**. Йотированные буквы употребляются только в позиции начала слога: **моий**, **ѣго**, **вратниа моа** и др. После **ц** один раз написан **ѡ**: **овьцаѡ**, один раз — **ѡ**, оба раза в форме **ѡѡ**. После **ш** один раз написана **ѡ**: **сѡ/ставиша**, после **щ** — **ю**: **щюжеплеме/ньникоу**. В последнем примере отмечается также единственный пример восточнославянского обозначения рефлекса *\*dj* и один из двух примеров рефлекса *\*telt*, второй пример — **ѣзвѣкъ**. На л. 60 об. используются два надстрочных знака — точка и апостроф, функционально они не различаются и ставятся над всякой буквой гласного переднего ряда, йотированной или нейотированной, если она употреблена в начале слога (примеры см. выше). Один раз точка поставлена для обозначения неэтимологического гласного: **псалтърь**. Приведенные данные подтверждают датировку вставки XII в.

Как полагал Г. Лант [Lunt 1976], поновление выцветшего текста БСП делалось древнерусскими (XII в.) и сербскими (XIII в.) книжниками. Южнославянская правка отмечается на лл. 2 об., 3, 3 об., 4, 6, 11, 19 об., 20 об., 21, 25 об., 27 об., 28, 28 об., 34, 43 об., 75 об., 76; *sin. slav.* 6/n: лл. 1, 2, 3 об., 4 об., 5 об., 6 об. Выцветший текст либо наведен, либо написан на верхних полях заново на л. 5 об. *sin. slav.* 6/n. Гипотеза о сербском происхождении правщиков была высказана на основании одноеревой графики поновленного текста (**въ** (**вѣкъ**) 105 об.; **твоихъ** 106 об. и др.), рефлексации **ѣ** (**ѡ**) как **е** (**ѣ**) (**въ** **врѣме** 51, **посрамляютьъсе** (так, с **ъ**!) 19 об. и др.), **мены** **ъ** на **и** (**вистъ** 105 об., **оуслиша** 105 об. и др.). Сербская фонетика звучит и в небрежно написанной маргиналии на верхнем поле л. 28, представляющей неточную цитату из Ин. 10:9: **азъ есь** (так!) **двръ** (так!) **мною аще кътъко** (так!) **вънидтъ** (так!) / **изидеть ѣ пажит** (так!) **ѡврѣщеть**.

Написание (**изъави ме**) **из-д-ракъ** (**грѣ/шьнааго**) 50 об. позволяет существенно уточнить диалект по крайней мере одного из правщиков. Рефлексация **ѡ** как **а**, **ѣ** как **е** и одноеревая графика характерны для рукописей XIII в., написанных в западноболгарском ареале: Врачанского евангелия, Хлудовского паремейника и македонского евангелия попа Йована [Мирчев 1963: 99—100]. При локализации диалекта южнославянского правщика (или одного из правщиков) БСП нужно исключить не только Сербию, но и северную Македонию. Орфографии рукописей северной Македонии в XIII в. была свойственна мена **ь** на **ѡ** [Бицевска 1989: 25—31], чего не наблюдается в южнославянской правке БСП. Написание **из-д-ракъ** опровергает гипотезу, согласно которой «поновлявший текст писец мог и не быть этническим сербом, а только вос-

точным славянином сербской книжной ориентации» [Страхов 1994: 226]; заметим, что для XII—XIII вв. такая «ориентация» нехарактерна.

Древнерусские приписки отмечены на лл. 4, 6 об., 10 об., 11, 20, 20 об., 25, 27 об., 28, 32 об., 35, 38 об., 39, 39 об., 40, 40 об., 45, 49, 57 об., 58, 61, 69 об., 70, 93, 99, 100 об., 119 об., 123, 123 об; *sin. slav.* 6/n: лл. 3, 7, 8 об., 9. Кроме того, на л. 24 над основным текстом с трудом читается полустертая надпись, и еще одна древнерусская надпись имеется на л. 43 об. Из языковых особенностей древнерусских приписок выделяются характерные восточнославянские формы (пѣтрѣвѣ) ꙗ 99, тобѣ *sin. slav.* 6/n, 3. Показательна форма привлѣжѣтъ 1 об. (наведенные буквы подчеркнуты), отражающее ассимиляцию /t/ и /s/, которая привела к появлению аффрикаты.

К сожалению, многие маргиналии не читаются на фотокопии, настолько сильно выцвел текст. Среди читаемых знаков на полях интересно отметить три примера написания на левом поле глаголической ꙗ (а): *sin. slav.* 6/n, 12, 12 об., 15.

Разнообразные языковые данные, касающиеся как диалектов основных писцов БСП, так и ее правщиков, не позволяют ответить на вопрос, в каком регионе Древней Руси была написана БСП и как она затем попала на юг славянского мира. Диалектные черты основных писцов, не сводимые к общему ареалу (цоканье и «новый ꙗ»), македонская и, возможно, сербская правка относятся практически ко всему ареалу средневековой *Slavia Orthodoxa*. Поэтому нельзя исключать того, что БСП была создана вообще за пределами Руси, например, в одной из славянских общин Афона, Константинополя, Олимпа вифинского или Синая. В этом случае опыт графико-орфографического описания БСП позволяет расширить наши представления о возможности неофициальных культурных контактов среди средневековых славян в международных монашеских общинах и других центрах общения православного монашества [Турилов 2000: 139—140]. В пользу синайского происхождения БСП говорит и сама история памятника, который до второй половины XIX в. целиком хранился именно на Синае<sup>9</sup>.

### Заключение

В результате исследования были получены новые данные по исторической фонетике русского языка древнейшего периода, к их числу относятся прежде всего два примера древнейшей фиксации «нового ꙗ». Установлено, что основные писцы БСП ориентировались на достаточно древний старосла-

<sup>9</sup> Вопрос о славянской книжности Палестины и Синая впервые специально рассматривался М. Н. Сперанским [Сперанский 1927]. Наблюдения М. Н. Сперанского получили дальнейшее развитие в работе А. М. Пентковского и Т. В. Пентковской [Пентковский, Пентковская 2003], посвященной описанию юго-западнорусского апостола XIII в., который хранится в монастыре св. Екатерины на Синае (*sin. slav.* 39). Согласно гипотезе современных авторов, основанной на комплексных данных, памятник мог быть создан в одной из славянских общин, относившихся к синайскому монастырю св. Екатерины.

вянский узус, отражающий раннюю стадию утраты слабых еров, тогда как случаев вокализации сильных еров в БСП не обнаружено. Это дает основания надежно датировать БСП периодом до начала утраты слабых еров в древнерусском языке. В этом случае выявленный в БСП<sup>1</sup> «новый ѳ» позволяет не только удревнить почти на столетия датировку этого явления, но и доказать на материале данных книжного памятника ранее высказанные идеи, что утрата слабых еров проходила через стадию утраты слоговости, причем уже на этой первой стадии процесса происходили явления компенсационного удлинения в предшествующем слоге, вызвавшие появление «нового ѳ». К числу новых данных относится и древнейшая фиксация межслогового тембрового взаимодействия (форма стюдѣньць), на три столетия более ранняя, чем аналогичные формы в Ипатьевской летописи. Достоверность этих данных обеспечивается многоуровневым анализом графики и орфографии БСП с учетом классификации описок, который не позволяет как-либо иначе объяснить рассмотренные явления.

В БСП<sup>1</sup> выявлены приемы графической эмфазы и графической редукции, выделяющие начало и конец строки и стиха, причем показано, что эти приемы не связаны с экономией места. К числу ранее неизвестных приемов маркирования начала строки в БСП<sup>1</sup> относится употребление *w* и надстрочных знаков над буквами гласных в неприкрытых слогах, к числу неизвестных приемов графической редукции относится употребление нейотированного *ѣ* в конце строки и стиха в БСП<sup>2</sup> в словах славянского происхождения. На примере употребления надстрочных знаков в БСП<sup>2</sup> высказано предположение, что древнерусская диакритика XI—XII вв., обозначающая буквы гласного в неприкрытом слоге и буквы гласных переднего ряда в прикрытых слогах, отражает разные южнославянские традиции, связанные с использованием надстрочных знаков с целью обозначения йотации и с целью графического выделения слога.

Совокупность графико-орфографических данных в сопоставлении с показаниями других рукописей позволяет заключить, что в целом в БСП не выявлено таких признаков, на основании которых рукопись можно было бы уверенно датировать XI в., равно как нельзя сказать, что она относится к рубежу XI—XII вв., как полагал Г. Лант. Показано, что при отсутствии палеографических данных, которые можно было бы однозначно истолковать, единственным надежным критерием, позволяющим датировать рукопись в рамках второй половины XI — начала XII вв., является отражение в ней процесса падения еров. При этом, если рукопись не содержит случаев вокализации еров, объяснимых влиянием южнославянской традиции, исследователь в состоянии определить лишь степень того, как следует писец южнославянскому узусу. Остается признать, что пока у нас отсутствуют строгие формальные критерии, позволяющие датировать БСП более точно, чем второй половиной XI — началом XII вв.

Комплексный анализ графико-орфографических систем БСП показал, что в рукописи нет таких явлений, которые можно было бы объяснить прямым влиянием южнославянских протографов. Более того, складывается яс-

ное представление, что графико-орфографические системы, которыми пользовались основные писцы, свободны от прямого влияния южнославянских оригиналов и сложились в результате индивидуального осмысления не протографа, а южнославянского и раннедревнерусского письменного узусов в целом. В связи с этим теряет основания предположение о глаголической традиции, якобы сказавшейся в БСП, которому придавалось большое значение: оно позволяло выдвинуть утверждение о южнославянском происхождении второй редакции Псалтири, древнейшим представителем которой является БСП. Орфография памятника не дает для этого никаких оснований.

БСП — единственная рукопись XI — начала XII вв., над которой работали писцы — носители разных восточнославянских диалектов. Поздняя русская, македонская и сербская правка свидетельствует о проницаемости культурных границ и об интенсивности культурных связей внутри средневековой *Slavia Orthodoxa*.

### Л и т е р а т у р а

Архангельское евангелие — Архангельское евангелие 1092 года / Изд. Румянцева музея. М., 1912.

Бицевска 1989 — К. Бицевска. Од правописните особености во ракописите од северна Македонија: (Правопис на еровите) // Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа в развитокот на славенската просвета. Скопје, 1989. С. 25—31.

Вайан 2002 — А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. 2-е рус. (стереотип.) изд. М., 2002.

Ван-Вейк 1957 — Н. Ван-Вейк. История старославянского языка. М., 1957.

Гольшенко 1982 — В. С. Гольшенко. Немаркированный знак *ѣ* в ранних восточнославянских рукописях // История русского языка: (Памятники XI—XVII вв.). М., 1982. С. 3—29.

Гольшенко 1995 — В. С. Гольшенко. Переднеязычные аффрикаты в графике ранних восточнославянских рукописей // Филологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова. М., 1995. С. 118—126.

Гольшенко 2002 — В. С. Гольшенко. Надстрочные знаки в ранних восточнославянских рукописях // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2001. М., 2002. С. 47—70.

Дзидзилис 1990 — Х. Дзидзилис. Фонетични проблеми при етимологизуване на гръцките заемки в българския език. София, 1990.

Добиаш-Рождественская 1936 — О. А. Добиаш-Рождественская. История письма в Средние века. М.; Л., 1936.

Дурново 1924—1927 — Н. Н. Дурново. Русские рукописи XI—XII века как памятники старославянского языка // Н. Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. С. 391—495.

Живов 1984 — В. М. Живов. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // *Russian Linguistics*. 1984. Vol. 8. С. 251—294.

Живов 1987 — В. М. Живов. Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе: (По поводу книги И. Тота «Русская

редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв.». София, 1985) // Вопросы языкознания. 1987. № 1. С. 46—65.

Живов 1999 — В. М. Ж и в о в. В плъну у анѣлов, на диком бреѣ — ах! // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 1999. С. 777—791.

Зализняк 2004 — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.

Зубова 1975 — Л. В. З у б о в а. Орфографический сдвиг как результат фонемного изменения (на материале Июньской минеи XII в.) // Исследования и материалы по русской и древнеславянской языковой истории. Горький, 1975. С. 13—25.

Зубова 1976 — Л. В. З у б о в а. К вопросу о времени отвердения шипящих в русском языке // История русского языка. Древнерусский период. Вып. 1. Л., 1976. С. 30—37.

Калнынь 1956 — Л. Э. К а л н ы н ь. Развитие категории твердости — мягкости согласных в русском языке // Учен. зап. Ин-та славяноведения АН СССР. 1956. Т. 13. С. 121—225.

Калнынь 1998 — Л. Э. К а л н ы н ь. Протетические согласные перед лабиализованными гласными // Восточнославянские изоглоссы. 1998. Вып. 2. М., 1998. С. 9—28.

Калнынь 2000 — Л. Э. К а л н ы н ь. Протеза как компонент рефлексии инициального \*о (по материалам ОЛА) // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1994—1996: Сб. статей. М., 2000. С. 51—59.

Карский 1979 — Е. Ф. К а р с к и й. Славянская кирилловская палеография. М., 1979.

Колесов 1980 — В. В. К о л е с о в. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.

Кривко 2004а — Р. Н. К р и в к о. Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. I // Русский язык в научном освещении. 2004. № 2 (8). С. 81—124.

Кривко 2004б — Р. Н. К р и в к о. Функции буквы ѣ в древних славянских рукописях (преимущественно на материале Бычковско-Синайской псалтири) // Russian Linguistics. Vol. 28. 2004. № 3. (В печати).

Кудрявцев 1985 — Ю. С. К у д р я в ц е в. Консонантные протезы и звуковое значение диакритических знаков над гласными в древних славянских рукописях // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 719. Функциональные аспекты грамматики русского языка. Тарту, 1985. С. 144—153.

Люблинская 1969 — А. Д. Л ю б л и н с к а я. Латинская палеография. М., 1969.

Максимович 1990 — К. А. М а к с и м о в и ч. Функциональная нейтрализация префиксов прѣ- и при- в ранней славянской письменности // Всесоюзная научная конференция «Закономерности языковой эволюции», Рига, апрель 1990 г. Рига, 1990. С. 158—160.

Мейе 1951 — А. М е й е. Общеславянский язык. М., 1951.

Миклас 1993 — Х. М и к л а с. От Преславския събор до Преславската школа. Въпроси на графематиката // Palaeobulgarica = Старобългаристика. Год. 17. 1993. № 3. С. 3—12.

Миклас 2003 — Х. М и к л а с. Гимнографические памятники и развитие древнеславянских письменных систем: Доклад на II Международной конференции Braslav — Bratislavská slavistika. Братислава, 13.11.2003. Братислава, 2003.

Мирчев 1963 — К. М и р ч е в. Историческа граматика на българския език. София, 1963.

Мирчев, Кодов 1965 — К. М и р ч е в, Х. К о д о в. Енински апостол. Старобългарски паметник от XI в. София, 1965.

- Момина 1998 — М. А. М о м и н а. Самоподобные песнопения (αὐτόμελα) в церковнославянских богослужебных рукописях // Русь и южные славяне: Сборник статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894—1987). СПб., 1998. С. 165—184.
- Осипов 1972 — Б. И. О с и п о в. История русского письма: Дисс. ... докт. филол. наук. Л., 1972.
- Пентковский, Пентковская 2003 — А. М. П е н т к о в с к и й, Т. М. П е н т к о в с к а я. Синайский апостол (Sin. slav. 39: история списка и история текста) // Лингвистическое источниковедение и история русского литературного языка. 2002. М., 2003. С. 121—191.
- Селищев 2001 — А. М. С е л и щ е в. Старославянский язык. 2-е (стереотип.) изд. М., 2001.
- Сидоров 1966 — В. Н. С и д о р о в. Из истории звуков русского языка. М., 1966.
- Сперанский 1927 — М. Н. С п е р а н с к и й. Славянская письменность XI—XIV веков на Синае и в Палестине // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности АН. Т. 32. С. 47—118.
- Старославянский словарь — Старославянский словарь: По рукописям X—XI веков. М., 1994.
- Страхов 1994 — А. Б. С т р а х о в. Филологические наблюдения над берестяными грамотами // Palaeoslavica. Vol. 2. 1994. С. 205—233.
- Тодоров 1990 — А. Т о д о р о в. Псалмы новой части Бычковой псалтири (Sin. 6/N) // Palaeobulgarica = Старобългаристика. Год. 14. 1990. № 1. С. 49—71.
- Тот 1985 — И. Х. Т о т. Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII в. София, 1985.
- Турилов 2000 — А. А. Т у р и л о в. После Климента и Наума: (Славянская письменность на территории Охридской архиепископии в X — первой половине XIII в.) // Б. Н. Ф л о р я и др. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. М., 2000. С. 76—162.
- Фасмер I—IV — М. Ф а с м е р. Этимологический словарь русского языка. 3-е рус. изд. Т. I—IV. М., 1996.
- Филин 1972 — Ф. П. Ф и л и н. Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.
- Шахматов 1915 — А. А. Ш а х м а т о в. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
- Щепкин 1999 — В. Н. Щ е п к и н. Русская палеография. 3-е изд. М., 1999.
- Янин, Зализняк 2000 — В. Л. Я н и н, А. А. З а л и з н я к. Новгородские грамоты на бересте. Т. X. Из раскопок 1990—1996 гг. М., 2000.
- Kulbakin 1929 — S. K u l b a k i n. Le Vieux Slave. Paris, 1929.
- Kurz 1955 — Evangeliarium Assemani. Codex Vaticanus 3 Slavicus glagoliticus. T. 2 / Ed. J. Kurz. Praeae, 1955.
- Lunt 1949 — H. G. L u n t. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. Ann Arbor, 1949.
- Lunt 1976 — H. G. L u n t. The Byčkov Psalter // Slovo. Vol. 25/26. 1976. P. 255—266.
- Psalter 1978 — An Early Slavonic Psalter from Rus'. Vol. 1. Photoreproduction / Ed. by M. Altbauer; With the collaboration of H. G. Lunt. Cambridge (Mass.), 1978.
- SJS 1—52 — Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 1—52. Praha, 1958—1997.
- Tarnanidis 1988 — I. C. T a r n a n i d i s. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at st. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988.



А. А. АЛЕКСЕЕВ

### О НОВГОРОДСКИХ ВОЩЕННЫХ ДОЩЕЧКАХ НАЧАЛА XI В.

Замечательная находка новгородской экспедиции 2000 г. заслуживает и удостоена самого тщательного научного исследования, см. [Зализняк, Янин 2001; Зализняк 2002; Зализняк 2003а; Зализняк 2003б; Соболев 2003]. Напомню, что она состоит из трех дощечек, на поверхности которых, покрытой восковым слоем, сохранился текст псалмов 75, 76 и 67. 4b-6a. Датировка, выполненная несколькими способами, определяет время написания текста началом XI в. Таким образом, в наших руках оказался один из древнейших памятников славянской церковной письменности, старше которого могут быть признаны принадлежащие X в. Саввина книга и, по всей вероятности, Куприяновские листы, послужившие оригиналом в том же Новгороде диакону Григорию, писцу Остромирова евангелия [Мошин 1983]. Цера (лат. *cera* 'воск') является самым древним списком Псалтыри, превосходя по возрасту на несколько десятилетий Евгеньевскую, Бычковскую и Синайские псалтыри. Текст древнего перевода Псалтыри, который обычно атрибутируется Кириллу и Мефодию, при наличии не слишком многочисленных разночтений в источниках XI—XIV вв. плохо делится на редакционные разновидности и отличается исключительной стабильностью, если сравнить его с текстом Евангелия, что подтверждает и эта находка. В работе [Зализняк, Янин 2001] произведено сопоставление текста с некоторыми другими рукописями Псалтыри, которое показывает, что ближе всего к восковому списку стоят восточнославянские Бычковская и Чудовская псалтыри, что не кажется удивительным. В свою очередь я сравнил этот текст с толковыми списками — новгородским F.п.I.23, XI—XII в. и среднеболгарским Погод. 8, XIV в. У этих двух источников оказалось еще меньше расхождений с восковой Псалтырью: если там минимальное число разночтений 10—11, то тут — 6—7. Впрочем, процедура сопоставления, какой я пользовался вслед за [Зализняк, Янин 2001], лишена необходимой строгости. В ней обращено внимание лишь на ту часть разночтений, которая несет семантическую нагрузку, но, чтобы выявить генеалогические связи между рукописями, нужно принимать во внимание весь диапазон варьирования (см. [Алексеев 1999: 56—58]); этот путь исследования может привести к более отчетливым результатам.

По характеру того писчего материала, каким является воск, нетрудно заключить, что написанный на нем текст не подлежал длительному хранению и многократному использованию. Известно, что в Европе на церках записывали финансовые документы вроде долговых расписок, которые при необходимости длительного хранения переписывали на бумаге [Люблинская 1969: 22]. Иначе говоря, хотя тексты на воске могли сохраняться в течение известного времени, они использовались однократно. Каково же назначение воскового текста Псалтыри? В латинской палеографии известны восковые списки кратких текстов для рецитации за литургией [Paoli 1894: 20]; цера, написанная около 600 г. в Ирландии, также содержит Псалмы [Wright 1963]. Однако в нашем случае говорить о таком употреблении не приходится. Псалмы читались и читаются не в отдельности, а в определенных сочетаниях; последовательность псалмов 75 и 76 входит в 10-ю кафизму, которая начинается псалмом 70 и никоим образом не может быть размещена на поверхности четырех деревянных страниц. Помимо применения за богослужением Псалтырь служила обучению чтению и письму, и вполне можно допустить, что такова была причина появления данного текста. Но восковой список мог возникнуть в качестве промежуточного при копировании Псалтыри с оригинала, написанного глаголицей. Действительно, отсутствие словоделения крайне затрудняло точное копирование и осуществлялось хотя бы в некоторых случаях побуквенно. Вследствие этого создаваемый апограф мог пестреть немалым числом ошибок, вызванных неверным прочтением и отождествлением букв. Разумнее было произвести черновую транслитерацию текста, затем внести в нее коррективы и лишь после этого переписать на дорогой материал, каковым являлся пергамен. В нескольких местах псалтырный текст на воске действительно подвергся правке, связанной, очевидно, с устранением описок. Его одноеровую орфографию можно было бы оценить как черту, восходящую к глаголическому антиграфу; она, однако, присуща всем «скрытым текстам», следы которых сохранились под воском на дереве. Попытки связать эту орфографическую норму с болгарскими школами не дают ясного результата (см. [Соболев 2003]).

Возможно, что эта черта объяснима из структуры ранних славянских азбук. Как показал А. А. Зализняк, в азбуках церы, равно как в азбуках Софийского собора (XI в.) и некоторых берестяных грамот буквы для специфически славянских гласных (ѣ, оба ера, оба юса, ѡ и ѱ), находятся в конце основного алфавитного ряда, который, начинаясь буквой «азь», завершается буквой «оть» и воспроизводит, таким образом, структуру греческого алфавита. Из этого делается вывод, что «на древнем этапе развития кириллицы существовали такие варианты состава азбуки, в которых к греческим буквам уже были добавлены специфически славянские согласные буквы (все или хотя бы часть), но еще не были добавлены специфически славянские гласные буквы» [Зализняк 2003б: 26—28]. Наличие таких неполных азбук не означает еще, что существовали тексты, написанные ими. Однако обращает на себя внимание, что буква «ерь» в некоторых из таких азбук отсутствует, равно как неизвестна она и орфографии некоторых новгородских грамот [Зализняк 1995: 5]. Таким образом, одноеровая орфо-

графия церы могла иметь своим основанием некнижное новгородское письмо с его упрощенной системой передачи славянских гласных переднего ряда.

Необычной особенностью псалтырного воскового текста является то, что стихи отделяются в нем друг от друга сплошными линиями, пересекающими дощечки от одного края до другого, тогда как строки, образующие стих, разделены двоеточиями. Возникает вопрос: что послужило источником при отождествлении границ стихов? Ведь в рукописной традиции псалтырный текст делится лишь на стихотворные строки (полустишия), которые не объединяются графически наглядным способом в стихи. Единственное известное мне исключение из этого правила представляет собой глаголическая Синайская псалтырь, в которой инициалы стоят как раз в начале стихов, тогда как строки (полустишия) разделены лишь пунктуационно. Следовательно, новгородский писец пользовался каким-то сходным источником. Рисовать инициалы на воске не представлялось возможным, и он применил этот необычный графический прием, т. е. сплошную линию, для разделения стихов.

Есть и еще одна странная особенность у этого текста: псалмы 75 и 76 лишены надписаний, т. е. своих начальных стихов, в которых излагаются обстоятельства их появления. Ср. их по тексту Геннадиевской библии: 75.1 **в кон(ьць). в пѣснѣх ѱлѣм асафов, пѣс(нь) къ ассироу;** 76.1 **в кон(ьць) в пѣснѣх ѱлѣм асафовъ. о идїѡмѣ.** В рукописной традиции Псалтыри надписания обычно пишутся более мелким почерком или помещаются на поля; они, однако, являются обязательной принадлежностью всех типов псалтырного текста, т. е. четьего, литургического, толкового. Их отсутствие здесь позволяет сделать два альтернативных заключения: или текст на воске имел учебное назначение и писец не стремился к необходимой его полноте; или антиграфом служил текст с толкованиями, так что надписания при копировании были приняты за толкования и опущены вместе с ними. Второе предположение согласуется с отмеченной выше близостью воскового текста к толковой Псалтыри; толкования Псевдо-Афанасия Александрийского на Псалтырь существовали у славян уже в X в.

Находка новгородской церы проясняет вопрос о том, как осуществлялась у славян работа по переводу византийских сочинений и редактированию переводов. Трудно допустить, чтобы сложные филологические задачи выполнялись с листа без черновых заготовок, ибо и сегодня при наличии разного рода пособий в виде словарей и грамматик, облегчающих труд переводчика, нельзя обойтись без черновика. Равным образом, и такие искусные риторические построения, как проповеди митр. Илариона и еп. Кирилла Туровского, не могли лечь на пергамен сразу в своем окончательном виде. На наличие черновиков намекает один пассаж не вполне ясного содержания в составе толкований на Песнь песней, который я понимаю как редакторское замечание: **обюдоу словоу могоуцеомоу послужити, и в глаголемъи тѣакъ или въ самое послѣдова- нне. разоумѣван ми противоу растоанию** (см. [Алексеев 2002: 59, 90]). Латинской палеографией надежно установлено использование воощенных дощечек в качестве черновиков [Thompson 1894: 19—22; Bischoff 1989: 14].

Для судьбы данной находки благоприятным обстоятельством явилось то, что филологическим прочтением текста занялся столь глубокий и разносторонний лингвист, как А. А. Зализняк. Оттиски букв, выдавленные на поверхности дощечек острым концом писала при письме по воску, привлекли его пристальное внимание. Это следствие писания на cere было писцам известно, почему в Европе поверхность дощечек время от времени скоблили, чтобы избавиться от образовавшихся на ней неровностей и вернуть ей первоначальную гладкость [Люблинская 1969: 20—22]. В нашем случае этого не случилось, и А. А. Зализняку удалось разобрать немалое количество литер, сохранившихся за годы письма на древесной поверхности дощечек. Похоже на чудо, что по прошествии тысячелетия в сложном узоре букв оказалось возможным выявить разные слои и связать буквы, принадлежащие одному и тому же слою, в цепочки, так что их последовательность складывается в смысловые единства. К сожалению, такие отождествления на деле почти не могут быть проверены, хотя об одном положительном случае упоминается [Зализняк 2002: 39—40].

Благодаря некоторым своим чертам эти «скрытые тексты» (как они названы издателями) кажутся довольно необычными на фоне известных сегодня текстов из пергаменных и бумажных кодексов, равно как и берестяных свитков. Эти черты, однако, находятся в согласии с назначением воощенных дощечек. Их главной особенностью является многократное повторение одних и тех же букв, слов и словосочетаний, оставивших свой оттиск практически на одном и том же месте древесной поверхности. Это загадочное на первый взгляд явление может значить только одно: написанные на воске письма обводились снова и снова. Причина такой практики заключается, по-видимому, в том, что текст, написанный опытной рукою учителя, обводился учеником для усвоения навыков каллиграфии и выработки правильного почерка. Нет сведений о способах формирования у славян профессиональных почерков, тогда как европейские источники говорят о существовании прописей и о том, что овладение мастерством каллиграфии достигалось как раз на воощенных дощечках и под руководством опытного наставника [Киселева 1976: 63]. На одной известной cere греческие стихи в стиле Менандра написаны опытной рукою учителя и повторены учеником [Thompson 1894: 22]. Алфавит, нацарапанный на деревянных полях новгородской cere [Зализняк 2003б: 18], также выполнял функцию прописей; в этом же качестве могла использоваться найденная в Новгороде в 1954 г. дощечка с алфавитом [Арциховский 1958: 79—81]. И все же практика обведения образцового текста кажется естественной и необходимой, только она могла обеспечить ту устойчивость профессиональных почерков, какая наблюдается в древних новгородских рукописях.

В связи с функциональным назначением воощенных дощечек, призванных служить черновиком и прописями, следует оценивать и сами «скрытые тексты», столь тщательно восстанавливаемые А. А. Зализняком. Они могут представлять собою либо черновые наброски сочинений, подлежащих последующему воспроизведению на пергамене, либо опыты по развитию навыков рукописания и сочинительства.

К первой категории могут принадлежать выявленные на древесном слое отрывки из Апокалипсиса и Слова о девстве Иоанна Златоуста. Прочтение и публикация Апокалипсиса могла бы иметь большое значение для выяснения истории текста, поскольку ранние свидетели этой библейской книги пока не позволяют с надежностью установить время и место происхождения славянского перевода; древнейший список Апокалипсиса относится к XIII в. и происходит как раз из Новгорода (БАН, собр. Никольского 1). Вместе с тем нельзя отрицать и того, что два названных сочинения копировались либо с целью изготовления аккуратной версии для воспроизведения на пергамене, либо для простого развития навыков письма.

Ко второй категории, на мой взгляд, принадлежат тексты с многочисленными повторами и вариантами исходной структуры, о чем так увлекательно рассказывает А. А. Зализняк в ряде публикаций. Это и 116 императивов, повторяющих заветы благочестия, и необъятные квазисинонимические ряды (**разладты, раздорты, раскладты, развозты, располонты, разлогты** и т. п.), и псевдофористические формулы, пародирующие учительные книги Св. Писания (**миръ есть градъ въ немъже прѣбывають армене и африкяне и аракиане и италиане и испане и гръци** и т. п.), и фантастические персонажи вроде **от рода лаодикинска ареопагитъ фракиискъ настоятель обители желѣзныа горы митрополитъ константина града презвоутеръ пророка даниила** (см. [Зализняк 2003а: 198, 205, 206, 209]). Все это может быть просто плодом пробы пера, отражать игру литературными формами. Основным показателем этой литературной игры выступают, повторяем, амплификация синтаксически тождественных элементов.

Не следует увлекаться серьезной идеологической трактовкой этой игровой стихии «скрытых текстов» (ср. [Бобрик 2003]), забывая о функциональном назначении писчего материала, на котором запечатлелись такого рода тексты, и о необычности самой стилистики, которая объяснима только из функционального назначения воцеленных дощечек. Вместе с тем данные тексты свидетельствуют о поразительно высокой письменно-языковой культуре того лица, которому принадлежат эти литературные наброски. Нам известны кое-какие опыты литературной игры у восточных славян в более позднее время, но в начале XI в. их было трудно ожидать. Их принадлежность к христианской монашеской культуре, породившей в средние века довольно разнообразные по форме литературные игры (*јоса топачоум*), не вызывает сомнения. То, что «скрытые тексты» в расшифровке А. А. Зализняка обладают именно таким характером, придает надежность их прочтению и служит оправданием предпринятого для этого титанического труда.

Наконец, последнее замечание. Не кажется уместным присвоение воцеленным дощечкам названия «кодекса» (хотя именно так — *codex, caudex* — назывались у римлян скрепленные ремешками дощечки для письма). Цера — это не что иное, как черновик и грифельная доска, но термин современной палеографии «кодекс» навязывает представление о том, что как псалмы воскового слоя, так и восстановленные в ходе исследования «скрытые тексты» представ-

ляют собою некое литературное целое, оформленное по правилам создания средневековых рукописей, иначе говоря, являются рукописной книгой. В действительности это не так, и владелец церы не рассчитывал на долгое хранение нанесенных на воске записей. Что касается древесного слоя, на котором оказалось возможным прочесть «скрытые тексты», то их в расчет он никоим образом не принимал. Но по прошествии тысячелетия черновик и учебная тетрадка приобретают неожиданную ценность, сообщая о своей эпохе такие сведения, каких нельзя извлечь из классических литературных трудов.

### Л и т е р а т у р а

Алексеев 1999 — А. А. Алексеев. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.

Алексеев 2002 — А. А. Алексеев. Песнь песней в древней славяно-русской письменности. СПб., 2002.

Арциховский 1958 — А. В. Арциховский. Грамоты 84—136 // А. В. Арциховский, В. И. Борковский. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.) М., 1958. С. 5—86.

Бобрин 2003 — М. А. Бобрин. Архангел Гавриил: евангелист и ангел-хранитель. Из наблюдений над Новгородским кодексом XI века // Славянское и балканское языкознание. Человек в пространстве Балкан. Поведенческие сценарии и культурные роли. М., 2003. С. 204—227.

Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Зализняк 2002 — А. А. Зализняк. Тетралогия «От язычества к Христу» из Новгородского кодекса XI века // Русский язык в научном освещении. 2002. № 4 (2). С. 35—56.

Зализняк 2003а — А. А. Зализняк. Проблемы изучения Новгородского кодекса XI века, найденного в 2000 г. // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Любляна, 2003 г. Доклады российской делегации. М., 2003. С. 190—212.

Зализняк 2003б — А. А. Зализняк. Древнейшая кириллическая азбука // Вопросы языкознания. 2003. № 2. С. 3—31.

Зализняк, Янин 2001 — А. А. Зализняк, В. Л. Янин. Новгородский кодекс первой четверти XI в.— древнейшая книга Руси // Вопросы языкознания. 2001. № 5. С. 3—25.

Киселева 1976 — Л. И. Киселева. Готический курсив XII—XIII вв. Л., 1976.

Люблинская 1969 — А. Д. Люблинская. Латинская палеография. М., 1969.

Мошин 1983 — В. Мошин. Новгородски листићи и Остромирово јеванђеље // Археографски прилози. Т. 5. 1983. С. 7—64.

Соболев 2003 — А. П. Соболев. Новгородская Псалтырь XI века и ее антиграф // Вопросы языкознания. 2003. № 3. С. 112—142.

Bischoff 1989 — В. Bischoff. Latin Palaeography. Cambridge, 1989.

Paoli 1894 — С. Paoli. Programma scolastico di paleografia latina e di diplomatica. II. Materie scritte e librare. In Firenze, 1894.

Thompson 1894 — Е. М. Thompson. Handbook of Greek and Latin Palaeography. London, 1894.

Wright 1963 — D. Wright. The Tablets from Springmount Bog, a Key to Early Irish Palaeography // American Journal of Archeology. Vol. 67. 1963. P. 219.

О. Ф. ЖОЛОБОВ

## ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕРУССКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ. II: '1', '3', '4'

### 1. *Одинъ* или *одынъ*?

|                           |  |
|---------------------------|--|
| И.-е. праформа            | * <i>ou-no-</i>  |
| Ожидаемые слав. праформы  | * <i>oĭno-</i> // * <i>eĭno-</i> > * <i>ěнь</i> // * <i>inъ</i>        |
| Реальные слав. праформы   | * <i>ed-eĭno-</i> , * <i>ed-ino-</i> > * <i>edinъ</i> , * <i>edynъ</i> |
| И.-е. порядковые праформы | * <i>pĭ-mo</i> , * <i>pĭ-wo</i>  |
| Слав. порядковая праформа | * <i>rygvъ(jь)</i>   |

Исходная формация числительного '1' представлена в дериватах-кальках: **ннокъ** *μονός*, **ннорогъ** *μονόκερως*, **нночадъ** *μονογενής* и под. Другая индоевропейская формация — \**sem-* '1' — отложила в славянском определительном местомении \**samъ* [Vaillant 1958: 471 и сл.].

Числительное '1' в древнерусской письменности имело разные огласовки — нейтральную, разговорную *одинъ* и отмеченную, церковнославянскую *единъ*. Как уже указывалось, от индоевропейской формации славянское числительное отличается дополнительным дейктико-эмфатическим компонентом \**ed-* (или двумя — \**ed-e-*). Числительное '1' имело местоименное склонение твердой разновидности. Чередование \**-i-* < \**-eĭ-* // \**-b-* < \**-i-* может отражать полную и нулевую ступени чередования, связанные с противопоставлением основ мужского и женского рода [Напр 1973: 4]. Однако распространение краткой основы за рамки женского рода скорее всего свидетельствует о том, что противопоставление основ соотносилось с независимым (счетная функция) и связанным (количественная функция) употреблением числительного. Так, в Супрасльской рукописи форма И—ВП ед. ч. муж. р. **ѣдинъ** довольно последовательно противопоставлена основе **ѣдын-** в других формах. Кроме Супр, эта основа однажды встречается в Зогр: **ни ѣдного же** Ио. 10, 41. Ср. также в Изб 1073, 195, переписанном в Киевской Руси: **до възглашения крѣпа отъ алъкавъше свитаѣшги ѣдънои отъ сѣботъ. ѣже естъ недѣла**. А. Вайан [1952: 184] считал последние формы свойственными народному языку, а потому редкими в церковнославянской письменности. Н. Ван-Вейк [1957: 139] видел здесь сокращение гласного,

«вызванное особыми интонационными отношениями», что равносильно установлению специального фонетического правила для отдельного слова.

В [ССС 1994], как и в Словаре Срезневского [Срезн. I—III], даются две статьи — **ѣДИНЪ** и **ѣДЬНЪ**. Однако если основа с кратким гласным существовала, то форма ИП муж. рода такого типа не употреблялась, так как была тождественна счетной. Это не могло не иметь далеко идущих последствий — **обобщения сильной основы**, связанной со счетным рядом. Рефлексы обеих основ представлены во всех славянских группах, и их следовало бы считать **общеславянскими**. Южнославянские и западнославянские формы числительного восходят к основе *\*edьn-*, кроме болгарского и верхнелужицкого, которые связаны с двумя основами — *\*edin-* и *\*edьn-*: болг. *един, еднá, еднó*; серб. *jèдан, jèдна*; слов. *édан, éна, éно*; чеш., слов. *jeden, jedna, jedno*; пол. *jeden, jedna, jedno*; в.-луж. *jedyн, jena*; н.-луж. *jaden, jana* [Фасмер III: 122; Кореѣнý 1981: 105]. Однако в прилагательных «единый, единственный» представлена лишь этимологическая основа с долгим гласным (ср. пол. *jedyнy* ‘единственный’). Ясно, что номинативная форма на *-en-* < *\*-ьn-* является результатом вторично выравнивания основы — так же, как и праславянская форма *\*edina*.

В древнерусском языке основа с редуцированным гласным фиксируется лишь в Изб 1073. Остальные примеры встречаются в более поздних текстах, чем, вероятно, и объясняется скепсис в отношении исконного характера основы *одьн-*. Так, наиболее ранний пример этого типа А. А. Зализняк [1995: 367] толкует фонетически (сокращение гласного *-и-*), склоняясь, с другой стороны, к возможному признанию обычной описки. См.: ни тоу тобъ тощины въкъш *одное* ГрБ № 222 (к. XII — перв. четв. XIII вв.), где, как представляется, *одное* = *одьноѡ* < *одьноѡѡ*. А. А. Зализняк считает другое истолкование затруднительным, поскольку в грамотах и в XIV в. сохраняется основа *один-*. Однако нужно заметить, что с середины XIII в. краткая основа отмечается сразу в нескольких источниках (см.: аже кто въс(ту)пить· на сю грамо(т)оу· да не со мноу· съ *однымь*· станетъ прѣ бмь· съ всимь моимь· племенем(ь) Гр ок. 1255—1257; Роусиноу не оуперати· латинина· *однемь* послухоумь Гр 1229 сп. 1277—1279 (смол.), 8а; *одна* область на двѣ области не дѣлитель(с) КР 1284, 94в; еже чл(в)къ причащавьс.а. а спавь блюеть томь дни. *одна* ре(ч) опитемь.а. нако спавше тако и не съпавше КН 1285—1291, 537г<sup>1</sup>), а в Новгородской первой летописи она фиксируется под 1218 г.: и съидошас.а бра(т)на въкоупѣ. *однодино* и кр(с)тъ цѣловаша ЛН XIII<sub>2</sub>, 91.

## 2. Раннедревнерусский квантитатив одного

В семантике числительного ‘1’ сказывается этимологическая связь с дейкисом. Поскольку в речи его употребление связывается с определенным пред-

<sup>1</sup> Данный контекст относится к источнику, дошедшему в списке КН 1285—1291 (л. 518б—539б), но возникшему гораздо раньше, — Вопросам Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта, 1130—1156 гг.



метом или лицом, собственно количественное значение может осложняться смысловыми приращениями, создаваемыми различными референтными ситуациями: 'один — без других', 'один — отдельный', 'один — единый' и под. Поэтому числительное '1', в отличие от других числительных, является многозначным словом. Вторичные значения у числительного '1' развивались в разных языках. На это наглядно указывают греко-славянские параллели. Хотя полисемия — рутинная, природная черта лексического строя языка, числительные ее полностью лишены, если не считать начала счетного ряда.

В исторических словарях в описании числительного '1' нет единства и определенности. В [ССС 1994: 799—800, 801—802] собственно количественное значение связывается с числительным **ѦДИНЪ** (и **ѦДЪНЪ**), а четыре остальных значения, в том числе с количественным компонентом, отнесены к местоимению **ѦДИНЪ** (и **ѦДЪНЪ**) даже в примерах с очевидно не прономинальной семантикой. Тем не менее оба слова — числительное и местоимение — в [ССС 1994] помещены в одну словарную статью. В [СДРЯ VI: 84—85], где *одинъ* характеризуется как «числовое слово», помимо собственно количественного, указаны также 4 значения (без каких-либо частеречных определений и с небольшими отличиями от [ССС 1994]). В [СДРЯ III: 198—200] лексема *единъ* (*единый*) характеризуется иначе — как числовое слово и прилагательное. Не указано, как между этими двумя дефинициями распределены 8 выделенных значений. Сам термин «прилагательное» здесь неуместен, так как слово *единъ* имеет исконное местоименное склонение. Образования членно-адъективного характера *единый* и *единое* встречаются в иллюстрациях словаря лишь однажды и имеют окказиональный характер. В [СлРЯ XI—XVII 12: 262—264] все 11 выделенных значений числительного *одинъ* находятся в границах единой лексемы и не связываются с ее семантическим распадом, что ближе всего к реальному положению.

Другое отличие числительного *одинъ* от прочих числительных также объясняется его особым, первым местом в счетной последовательности, вследствие чего оно может употребляться в одном ряду с порядковыми числительными, ср.:

такъ бо дѣвоѣ се злыо сътворихомъ. *одино* нако заповѣди оца нашего прѣстоупи-  
хомъ. *второѣ* нако къ бж надежда наша. не имамъ. нъ въ житьницу нашу  
ПС к. XI, 59 об.; поставиша на на тронѣ *единоу* часть подъ мечь · а *другоу*  
продати · а *третию* въ тьмьници затвориша Злат XII, 72 об.; и оузрь три  
моужа бѣлы одежда имоуща стояща оу епифана · *единого* одесною а *друга-*  
*го* ошоую · а *третиаго* съ прѣдънаа страны СБУ XII/XIII, 162г.

Та же черта характеризует это числительное в греческом, особенно новозаветном [см. Вейсман 1899: 380] (ср.: си же по *Ѧдиноу* и *вторѣ* и *третии* оумолениѣмъ еп(с)па да бывають КЕ XII, 15b, ταῦτα δὲ μετὰ μίαν καὶ δεῦτερον καὶ τρίτην τοῦ ἐπισκόπου παράκλησιν γινέσθω; однако славянский переводчик, свободно владея этой конструкцией, может видоизменять в переводе исходный текст, выстраивая счетную последовательность: трѣмъ же рече рѣкамъ быти въ раи · *единоу* медоу · а *другоу* млѣка а *третию*

вина КЕ XII, 274a; *τρεῖς δὲ φησι ποταμούς εἶναι ἐν τῷ παραδείσῳ, ἕνα μέλιτος καὶ ἄλλον γάλακτος καὶ ἕτερον οἴνου*).

Числительное *одинъ* согласовывалось с относящимся к нему существительным, образуя особую квантитативную конструкцию, но могло употребляться и самостоятельно. Противопоставление восточно- и южнославянских форм выражалось не только фонетически (*одинъ* vs. **ѢДИНЪ**), но и морфологически: в РП жен. рода разговорная форма *одиновѣ* отличалась от книжной *ѡдинога* < ст.-сл. **ѢДИНОГА**. См., например:

**ИП муж. р.:** сътвори плачь и рыдание. *днѣ ѡдинъ* или *дѡва* Изб 1076, 153 об.; *азо не едино* былъ · ар·амирь а инихо моуже · ГрБ № 548 (50 XII — 10 XIII); се же все дѣйствоуеть *одинъ* и самъ тѣ дхъ СБУ XII/XIII, 281г;

**ИП сред. р.:** Съставы троє, аще и естъствѣмъ *едино* бжѣство естъ Мин 1096, 34б; *дѡвѣ* варивѣ... и сочиво *ѡдино* УСт к. XII, 210 об.; прилѣплаиася любо·дѣицѣ. *ѡдино* тѣло естъ Ап 1220, Кор. I: 6,16;

**ИП жен. р.:** елма ни *едина* ластовица весны творить: ни чръта *едина* землемѣрца: ни плоутиѣ *ѡдино* морнанина ГБ XI, 13а—б; иванкъ с ѡдѣтею *одина* дш(а) Надп сер. XII (3); *одина* ѣсть любви а двѣ заповѣди БГД XIII, 168а;

**ВП муж. р.:** имаше *одинъ* золотъникъ ПС к. XI, 82 об.; възградити цркъвь... въ верхъ въ *одинъ* СБУ XII/XIII, 20в (СкБГ); испрагъ волю *ѡдинъ* дасть ѡмоу ПрС XII/XIII, 76б;

**ВП сред. р.:** дѡвое се злыо сътворихомъ. *одино* како заповѣди оца нашего прѣстоупихомъ. второе како къ бжѣ надежда нашеа не имамъ ПС к. XI, 58; ключиса оубо лѣто *ѡдино* отьлоучитиса а три лѣта припадати КЕ XII, 81б; добре тѣло цркъвнѡе въ *ѡдино* съвъкоупивъ ЖФСт к. XII, 96;

**ВП жен. р.:** твора... дѡвѣ млтвѣ. *одиному* о старьци а држгжж за са ПС к. XI, 163 об.; въ *ѡдиному* ношь сьгрѣшивъ и по вса ноши плакаса Злат XII, 24; пою(т) ка(ѡ) · *одиному* УСт к. XII, 60 об.;

**РП нежен. р.:** и ни *ѡдинога* же сжмнѣниа приѣмлете ПсЧ XI, 53а; не дайте савѣ ни *одиного* песца хота на нихъ емати ГрБ № 724 (1166/1167); ѡсмь де·сать... лѣ(т) · безъ *ѡдинога* ЖФСт к. XII, 97;

**РП жен. р.:** братъ из *одиное* матере ПсЧ XI, 148г; проса оу него *одинова* златица... дати емоу ПС к. XI, 129; желати капла *ѡдиноге* Злат XII, 26;

**ДП нежен. р.:** оунѣ ѣсть *ѡдиному* чл(о)вкоу оумрети за люди ЕвМст к. XI, 150а (Ио. 18, 14); и по *ѡдиному* ны изводна. раны данаше комоуждо по тысоуши ЖНК к. XII, 30 об.; поеть(с) · Г · чл(с) · по *ѡдиному* п(с)лмоу УСт к. XII, 23 об.; рѣзахоу бо по *ѡдиному* оудоу Пр XII/XIII, 72в;

**ДП жен. р.:** ѡдинъ бо ѡдинѣмъ къ *ѡдиной* посыланъ бы(с) Злат XII, 101 об.; приемлють ѡ него по *ѡдиной* свѣчи УСт к. XII, 125; не идоша ни къ *ѡдиной* же келии · нѣ цркви оустръмишася СБУ XII/XIII, 46в;

**МП нежен. р.:** вънезапоу въ *ѡдиномъ* часѣ мърче и бысть ношь Злат XII, 69; *одиному* ти мѣ[сте] ГрБ № 227 (60—70 XII); написахъ еуагглие. и ап(с)лѣ. обоє *одиномъ* лѣ(т) ЕвМилят к. XII, 160 (зап.); стоиши же обо *одиномъ* оцѣ двѣци... оуканоу капла... въ око ена ослѣпшее ПрС XII/XIII, 40в;

**МП жен. р.:** искрѣнаго своего възлюби. съ нимъ же въ *ѡдиной* коупѣли породиса Изб 1076, 45; не двѣ ли птици на *ѡдиной* мѣрѣ продаѣтася ЕвМст к. XI, 33б

(Мф. 10, 29); на *єдиною* сѣдалищи творѣше обѣдовати ЖФСт к. XII, 161; ни въ одежду облечеса· нъ въ *єдиною* свитѣ си пребывааше СбУ XII/XIII, 34г (ЖФП);

**ТП нежен. р.:** *єдинѣмь* оужьмь тыслѣщю моужь свѣзавъ· Злат XII, 77; *одинѣмь* бо перьмь орьль на высоту не възлетитъ СбУ XII/XIII, 191г; съ *єдинѣмь* воломь ПрС XII/XIII, 76б; ни *єдинѣмь* же мыслнымь хотѣниемь· ѡхапаютьсѧ БГД XIII, 85в;

**ТП жен. р.:** и кланѣщю сѧ три десѧти начръташе старьць. *одинож* чрьтож ПС к. XI, 129 об.; Тричисленною *єдиною* блѣдтию сияюще Мин ок. 1095, 108а; *єдиною* боурею· ѡблаки възмѣтеть БГД XIII, 5г.

Со словами *pluralia tantum* употребляется мн. ч. числительного *одинъ*, *единъ*:

нако *єдинѣми* оусты бѣ. отъвѣшаста ємоу съ слъзами ПС к. XI, 20; и разоумѣи како ѡба ѿ *єдинѣхъ* чресль єсвѣ Злат XII, 81 об.; и прочеє пррци (так!) · дѣва на десѧте въ *єдины* кѣнигы причитаєми КЕ XII, 216б; оставивъ *двѣрцьѧ* малына *єдины* СбУ XII/XIII, 293в; повелѣвшю хытрьцемь *єдины* *двѣрцьѣ* створи ти ПрС XII/XIII, 79а.

Числительное *одинъ*, *единъ* последовательно отражает складывающуюся категорию одушевленности, или значение мотивированного муж. рода (см. [Жолобов 1998: 33—34]) начиная с древнейших текстов, ср.:

видѣ дѣва аѣгла... сѣдяща· *єдиногю* оу главы· и *єдиногю* оу ногу· идеже бѣ лежало тѣло іѣво СавКн XI, 158б; иже аще *єдиногю* таковыихъ отрочѧть прииметь въ имѧ мое мѧ прииметь ЕвР XI, 3б (Мк. 9, 37); и поимъ епискоупъ старьца *єдиногю* гѣѧ ємоу ПС к. XI, 16; мы отъ любодѣянина нѣсмь рождени. мы *єдиногю* оѧца имаамъ бѧ ЕвМст к. XI, 14г (Ио. 8, 41); *єдиногю* бѧ надъ всѣмь славословимъ Мин 1096, 33б; Едина *єдиногю* ѿ трѣца родила єси 120б.

Форма В—РП ед. ч., передающая это значение, употребляется в отдельных случаях даже более устойчиво, чем у местоимений (где сохраняется энклитический ВП) и существительных (где в сред. роде мотивированность родового значения не отражается); ср.:

Стославьна тѧ оученика, *єдиногю* ѿ диаконъ седми избѣрана оувѣдѣхомъ Мин 1096, 29а; нъ єгда обрѧщещи· сѣгрѣшьшааго· призови и *єдиногю* · да ово запрѣти ово оумоли· да отступитъ ѿ зѣла Злат XII, 50 об.; познати тѧ *єдиногю* блага и члѣволобыцѧ бѧ СбУ XII/XIII, 295б; оубиєни быша отъ сквърньна оубицѧ ирода· занє ѿ нєго възисканонє погубити· *єдиногю* *отроча* КЕ XII, 230б.

Порядковые корреляты первых двух числительных были образованы от других корней, нежели количественные числительные. В генетическом плане это свидетельствует об особой архаичности начальных слов счетного ряда, что имеет отчетливые типологические параллели.

### 3. *Единьи и едине*

В раннедревнерусском языке последовательно сохраняется местоименное склонение. Членно-адъективное склонение выступает как речевое, контекстуально обусловленное явление:

тѣмъ начало саи днѣмъ· не първыи отъ мосѣна нареченъ бысть· нъ єдинъ· бысть бо рече вечеръ· и бысть оутро днѣ одинъ· како томоу ѡбиходящю многашьды· и єдинъ оубо тѣ же· и *семьи єдиньи* въ истину тѣ· и истиньныи осмыи КЕ XII, 205b; всака же пантикости· чаємааго въскрѣшениа· въ вѣцѣ єсть въспоминаниє· *єдиньи* бо тѣ и *първыи* днь· семь краты· семь семь семию· бывъши семи недѣль· сѣньна пантикости съвършаєтъ КЕ XII, 206a.

Формы членно-адективного типа, которые нельзя не признать окказиональными, встречаются очень редко, являясь образцами своеобразной грамматической символики:

на недвижимѣмъ хѣ камене· заповѣдии ти цркъвь свою оутвърди· *єдиньи* блаже и члволюбче МинД XI, 14a; Безначальнаа и несъзданаа трѣце, єдинство нераздѣльноє, бѣ, *єдиноє* присносоущєє бжство и соущество и зракъ юже трѣми лици и пою и поклоняю с.а Мин ок. 1095, 94a; влдо *єдиньи* без грѣха· призьри сѣ нбсе стго твоего на насъ оубогыхъ СБУ XII/XIII, 17г (СкБГ); творьць свѣтовьныи· не трѣбовааше видимаго свѣта имѣна *єдиньи* бесъмьртнє СБУ XII/XIII, 204б; и въздвиже очи свои на нбо и рече· *єдиньи* без грѣха не прѣзьри дѣль роукоу твоею 295a; помоли с.а бви и рече· *єдиньи* без грѣха *єдиньи* стєи и на стѣихъ почиваиаи· *єдиньи* члвколюбче· и мл(с)рдьи вл(д)ко 296г; Си же вс.а дѣлаєтъ· *єдиньи* тѣ же дхъ· раздѣлаа· комоуждо БГД XIII, 203a.

Аналогичные формы в старославянском А. Вайан [1952: 189] связывал с семантизацией морфологических различий, т. е. развитием вторичного значения ‘единый’, когда числительное, на его взгляд, выступает в роли прилагательного.

Исключительно редки именные формы, которые ограничены Зв.:

іс хѣ бе (в ркп. пропущено титло) моі. ты єси ѡче сианиє. Бесъмьртнє *єдинє* ЖНК к. XII, 8; тѣмъ мы въ безаконихъ, безгрѣшнє *єдинє* сьрдьчєвѣдъче, тебе молити всьгда съдързаємъ Конд XII/XIII, 31b; *єдинє* чловѣколюбче, тебе молюс.а и къ тебе припадаю 97b; оущедри м.а *єдинє* безгрѣшнє· и сїси м.а *єдинє* блаже СБУ XII/XIII, 303в.

Все они относятся к именованиям Иисуса Христа, а потому являются выразительными примерами грамматического символизма. Формы вокатива здесь столь же аномальны, как и в следующем сходном случае символического употребления грамматической формы:

Дрѣвле бесплоднаа развързль еси чрѣвеса, блгодѣтелно члвколюбче· сѣ ни миже бмоудръныа аьны ѡвързль еси, *слове*· родила бо єсть намъ мтръ и ббпринатъны источь(нікъ) Мин ок. 1095, 576<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Ср. также: како на дрєвѣ кр(с)тнѣмъ расплѣтс.а долготерпе. како руцѣ твои и нозѣ *слове*. пригвоздишас.а о(т) безаконных. и кровь свою изли.а.ль еси вл(д)ко Мин XIV—XV, 28 об. Существительное сред. рода *слово* в вокативе должно было иметь форму, омонимичную номинативной. Словоформа *слове* отражает смысловой мужской род, поскольку здесь эта лексема обозначает Сына Божьего — вторую ипостась Троицы [Жолобов 1990: 91]. Кроме того, не исключено непосредственное влияние греч. формы Λόγος.

## 4. Раннедревнерусский малый квантитатив

## Числительные '3' и '4'

|                                  | '3'                        | '4'                          |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>И.-е. праформы</b>            | <i>*trej-es</i>            | <i>*k<sup>w</sup>etur-</i>   |
| <b>Ожидаемые слав. праформы</b>  | <i>*trejes &gt; *trъje</i> | <i>*četyre</i>               |
| <b>Реальные слав. праформы</b>   | <i>*trejes &gt; *trъje</i> | <i>*četyre</i>               |
| <b>И.-е. порядковые праформы</b> | <i>*tre-tiyo-</i>          | <i>*k<sup>w</sup>etwŕ-to</i> |
| <b>Слав. порядковые праформы</b> | <i>*tretъjъ(jъ)</i>        | <i>*četvŕtъ(jъ)</i>          |

Числительные '3' и '4' в раннедревнерусском языке сохраняли особенности, возникшие у них в праславянском языке. Учитывая синтаксические свойства, эти слова принято считать прилагательными. Однако морфологически они никак с прилагательными не связаны. Это слова *pluralia tantum* *ŕ*-основы и основы на согласный:

|           | Мужской род | Немужской род | Общий род    |           | Мужской род   | Немужской род | Общий род                       |
|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|
| <b>ИП</b> | <i>трыѣ</i> | <i>три</i>    | —            | <b>ИП</b> | <i>четыре</i> | <i>четыри</i> | —                               |
| <b>ВП</b> | —           | —             | <i>три</i>   | <b>ВП</b> | —             | —             | <i>четыри</i>                   |
| <b>РП</b> | —           | —             | <i>трии</i>  | <b>РП</b> | —             | —             | <i>четырь,</i><br><i>четырь</i> |
| <b>ДП</b> | —           | —             | <i>трѣмъ</i> | <b>ДП</b> | —             | —             | <i>четырьмъ</i>                 |
| <b>МП</b> | —           | —             | <i>трѣхъ</i> | <b>МП</b> | —             | —             | <i>четырьхъ</i>                 |
| <b>ТП</b> | —           | —             | <i>трѣми</i> | <b>ТП</b> | —             | —             | <i>четырьми</i>                 |

В РП наряду с исконной формой *четырь* издревле отмечается форма *четырь*, возникающая в результате обобщения основы со смягченным согласным *r*, который был исконно представлен во всех падежных формах, кроме РП. Варьирование форм здесь отмечалось и в старославянских памятниках [Вайан 1952: 186].

Числительные *трие* и *четыре* образуют особое количественное выражение — малый квантитатив, который имел свойственные только ему морфосинтаксические параметры. См. в раннедревнерусских памятниках:

**ИП муж.р.:** ти бо *триѣ* или *четыре* прѣбывъше въ зьловѣрии еллини Псч XI, 68а; *триѣ* бѣхомъ пастоусѣ ПС к. XI, 12; сѣии *четыре* събори иже въ никеи 124; боудеть бо отъселѣ пать въ ѣдиноомъ домж раздѣленъ. *триѣ* на два и дьва на три ЕвМст к. XI, 88а (Лк. 12, 52); не вы ли глѣте іако еще *четыре* мѣсаци соуть и жатва придетъ 15г—16а (Ио. 4, 35); Любвьью распалающе сна чьстьнына троица *триѣ*, съвьршисте великына подвигы Мин ок. 1095, 1166; поють же с.л ка(н)ни *триѣ* 179 об.; *четыре* звѣри велици СлИп к. XII, 22а<sup>3</sup>; *триѣ* же моужи приходяще к неи: папа· и патерь· и филокоуръ ПрС XII/XIII, 20а;

<sup>3</sup> Здесь *звѣри* вместо *звѣрие* по образцу *\*jo*-склонения.

**ИП немуж. р.:** бѣ же надъшнихъ яко *четыри* тысоуша ЕвМст к. XI, 66б (Мк. 8, 9); *Три* свѣща... просвѣщыша сѧ вѣра и любы и надежа Мин ок. 1095, 107а; ероужныхо а *три* бѣла ГрБ № 429 (XII); оу поутешинене *трыи коуне* оу безоувее *цетыри коуне* Ст. Р. № 22 (1 пол. XII); *Три* соуть вѣрсты стѣхъ козмы и дамнана ПрС XII/XIII, 26а; оуминоуша *три* лѣта ПНЧ н. XIII, 34б;

**ВП:** пощаше ли сѧ чресь днь оче гла юмоу старьць вѣ истинуоу и *три* и *четыри* дни Изб 1076, 240 об.; на *четыри* рѣкы раздѣлиса ПсЧ XI, 32б; юдиногю бѧ надъ всѣмъ славословимъ и съставы *три* проповѣдаемъ Мин 1096, 33б; На *четыри* части расплѣть Мин 1096, 43а; а во *три* колотокѣ вокѣ то ти дъ золотникѣ во кольцо тию ГрБ № 644 (10—20 XII); и приведъ на всѧ *четыри* Злат XII, 72 об.; свободи же и *три* моужа ѿ смърти ПрС XII/XIII, 80а; и оуправивъ стоую цркъвь правовѣрно двѣ лѣтѣ и *три* м(с)цѣ къ гоу ѿиде 107б; змии крилатъ имѣющъ *три* главы СбТр XII/XIII, 33 об.; и *четыри* м(с)цѣ цркъ прѣбы вѣдовою 173г;

**РП:** и събероутъ избъраныа юго. отъ *четырь* вѣтрѣ отъ коньць нбсь до коньць ихъ ЕвМст к. XI, 53а (Мф. 24, 31); Въобразилъ еси, влѣко, вселеную кр(с)тѣмъ твоимъ ѿ *четырь* бо простърлѣ юси коньць, гѣ, силнана того видѣниемъ крста Мин ок. 1095, 95а; не три ли моужа вѣвѣргохомъ вѣ пещь и се нынѣ зроу *четырь* Злат XII, 77 об.; Епископъ отъ дѣвою еп(с)поу ли отъ *трии* да поставлень боудеть КЕ XII, 13б; а вѣ дроугемо :р: *бецетыре* ГрБ № 686 (50—90 XII)<sup>4</sup>; бы(с) бо дѣщи костлантина и лоустърина ближика *трии* ц(с)ревѣ ПрС XII/XIII, 91а; съ *четырь* краи вселеныа СБУ XII/XIII, 266а;

**ДП:** *трымъ* бо партиархомъ. обѣшта бѣ благословеститисѧ ПсЧ XI, 109а; и рѣхъ юмоу. коликоу сѣтъ. рече ми *трымъ* златицамъ ПС к. XI, 94 об.; и юдиному коню не можеть ѿдолѣти а тоу и ѿтрочишь малъ съ хытростию можеть и двѣма и *четырьмъ* съдолѣти Злат XII, 39; прѣдана *четырьмъ* четверичею воиномъ стрѣщи и КЕ XII, 230б; *трымъ* ѿкънъцемъ повелѣ быти ПрС XII/XIII, 79а; аще ли языкъмъ кто глѣтъ. по двѣма или зѣло по *трымъ*. и по части юдинъ да сказають Ап 1220, Кор. I, 14, 27;

**МП:** оца и сна и дѣа, бѧ вѣ *трыхъ* упостасѣхъ проповѣдающе Мин ок. 1095, 9а; оучимъ сѧ... вѣ *трыхъ* слънъцихъ нераздѣлимо[у] непрѣсѣкомо чисти бжств[ьн]о[е] Мин 1097, 33а; аще по *трыхъ* оучениихъ исправитсѧ покааниемъ тгда принатъ боудеть вѣ вѣкъ безъ блазна Злат XII, 50 об.; по *четырьхъ* же м(с)цихъ оумъртвиа юго бы ц(с)рь инъ 77 об.; покади(т) по(п) окр(с)тѣ одра одиноу... и сътворивъ по .г. кр(с)ты. на *четырьхъ* частъхъ одра УСт к. XII, 274; дѣлжъни юсмы юдино божѣство вѣ *трыхъ* свойствѣхъ славити СбТр XII/XIII, 28 об.;

**ТП:** разорите цркъвь сию. и *трыми* дѣни въздвигноу ю ЕвМст к. XI, 5в (Ио. 2, 19); Прѣжствънныи троича ако рачитель, съ *трыми* оумърьлѣ еси съ дѣтми Мин ок. 1095, 24а; О трѣженитв(н)ыхъ и мнѣгоженитвннхъ... трѣженецѣ же *трыми* и *четырьми* лѣты многашѣды отълоучають КЕ XII, 181а; растлѣгыше *четырьми* колы и огнь исподи възгнѣтиша СБУ XII/XIII, 138а; Вѣ семь бо оумрущимъ телеси *четырьми* тварьми състоимсѧ БГД XIII, 83а.

Категория одушевленности в склонении числительных *трие*, *четыре* в раннедревнерусском языке не отражена — так же, как и в склонении чис-

<sup>4</sup> Т. е. *бес четырь*.

лительного *два*. Это объясняется тем, что для числительных она должна была иметь преимущественно синтаксическое значение, а в двойственном и множественном числе существительных данная категория лишь начинает складываться с конца XII в. (см. [Крысько 1994: 97 и сл., 104 и сл.]).

Отмечен пример оформления количественного сочетания по типу большого квантитатива, где РП мн. ч., вероятно, имел дистрибутивно-партитивное значение:

М(с)ца· септ(б)а· въ ·й· на рож(с)тво бѣи· хлѣбомъ *споуды* ·г· вина мѣры ·г·  
 М(с)ца то(г)· въ ·дѣ· на въздвиъгъ чьстнаго кр(с)та· хлѣбомъ *споуда* ·в· вина  
 мѣра· М(с)ца· ноамь(б)ь· въ аї· пам.а(т) прп(д)бнго оц.а еоодора· хлѣбомъ  
*споудовъ* ·с· вина мѣръ ·й· коутии *споудъ* ·с· сочива *споудовъ* ·д· УСт к. XII,  
 244—244 об.; хлѣбомъ *споудовъ* ·д· вина мѣрныхъ ·с· коутии пшеницѣ *споуды*  
 ·г· сочива *споуда* ·в· 244 об.

### 5. РП *три*

В некоторых памятниках наряду с исконной представлена стяженная форма РП *три* (вместо *трии*), которая кроме фонетического может иметь морфологическое объяснение — влияние РП числительных большого квантитатива *пяти*, *шести* и под.:

Юко отъ *три* десять попрыщъ ПС к. XI, 17; до *три* днѣ 73; до *три* часъ 105 об.; дасть ѹмоу до *три* сътъ сребрьникъ великъ 132 об.; обаче *три* отрокъ не искоуси нарость звѣрьскаа ни огнь сънѣдаа Мин ок. 1095, 90а; Трѣскы ѹдино бещисльно сильно ѹествово славаще, едино пресъвьршеное ѿ *три* съвьршенъ въспоимъ Мин 1096, 34а; Бѣиѹ жилище въ цркъвь стоую приводитьс.а, бѣа мѣра, плътию *три* лѣтъ соущи 124а; пам.а(т) стоу бесребрьникуо· и инѣхъ *три* братии· анфима· леонти.а· и еприпи(а) ПрС XII/XIII, 26а; страсть стыхъ *три* ѡтрокъ 92а.

О предпочтительности морфологического решения свидетельствуют примеры составных числительных типа *три десять* (как *пяти десять*).

В КЕ XII «усеченная» форма представлена почти исключительно в составных числительных, в том числе рядом с формами большого квантитатива. См.:

отъ днѣ того мьнѣ *трии* лѣтъ възискати 161b; прѣжде *трии* каландъ окт.амбр.а 176а; не быти мьнѣ *трии* поставляющихъ 177а; ни отъ *трии*· ни отъ дѣвою еп(с)поу 177b; мьнѣ *трии* м(с)ць 297а; аще ли мьнѣ *трии*· не мьне же дѣвою литроу злата 298а и под.

vs.

дев.аагаго събора... шести сътъ и *три дес.атъ* стыхъ оцѣ· правилъ ·кн· 12b<sup>5</sup>; шести сътъ и *три дес.атъ* стхъ и блѣжныхъ оцѣ 43а; Попъ прѣже *три дес.атъ* лѣтъ да не поставленъ боудеть 85b; не мьнѣ *три дес.атъ* литръ злата 298а.

<sup>5</sup> Ср.: отъ шести сътъ *три дес.атъ* богоносныхъ отъць заповѣдъ примѣши и хранащи, прѣхвальнаа (Евфимия) Конд XII/XIII, 6а.

Форма РП *три* лишь дважды встрети́лась вне числового сочетания: мьнѣ *три* лѣтъ 161b; прѣже *три* каландь 164b.

### 6. ВП *трии*

В ГрБ № 776 (30—50 XII) встрети́лось несколько количественных выражений и среди них необычная форма ВП *три̑* (вместо *три*):

грамота отъ їли ї отъ дѣмитра плъсковж ко либинж : ко мостокѣ то ти матьль въ поло *гривнѣ* · ложьнике въ *цетыри кжнѣ* юбржсе въ *три̑ кжнѣ* заале еси оу тыше *три̑ кжнѣ* а въ томъ *шесть кжнѣ* присъли : присъли же мою ї малюю нитокж ѣли не присолеши а ржти т.а хоцж:

Авторы публикации грамоты полагают, что ВП *три̑* является результатом «переразложения словоформ Р. *трыи* [тр-јь] и И. муж. *трыи* [тр-ѣ]: по аналогии с Р. *четырь*-ъ (и *четырь*-ь) и И. муж. *четырь*-е эти словоформы переосмысляются как [тр̑-ј-ъ] и [тр̑-ј-е]» [Янин, Зализняк 1998: 28]. В примерах XIV—XVI вв. *триими путми* (Комисс. НПЛ, под 1435 г.), *по тѣхъ триехъ* (Книги законные XV в.) и под. усматривается употребление той же обобщенной основы. И далее авторы отмечают: «Свидетельство грамоты № 776 поразительно тем, что оно на 250—300 лет старше, чем самые ранние из указанных примеров. Очередной раз берестяные грамоты показывают нам, сколь рискованно полагаться в вопросах хронологии на первые фиксации того или иного явления в традиционных памятниках, а также сколь превратно общее представление о том, что аналогические процессы, видоизменяющие древнерусскую морфологическую систему, возникают лишь в позднерусскую эпоху» [Янин, Зализняк 1998: 29].

Однако ВП *трии* фиксируется в книжной письменности гораздо раньше, чем в грамоте № 776:

понеже *трии* назыки и чetyри пом.анжль ѣсть ПсЧ XI, 106г; избавиль еси пламене *три*[u] благочъстивна оуноша Мин 1097, 76<sup>6</sup>; Сѣнце<sup>7</sup> троичское жилище съдѣлавъ, *три*[u] съ(зъ)да цѣкви 18а.

Кроме того, вопреки приведенному выше указанию, форма МП *триехъ* с той же основой известна в книжной письменности уже во второй половине XIII в.: оѣъ и сѣъ и дѣъ · да мѣи сѣи въ тѣхъ *триехъ* водоу ѣако же рѣсте и лоуноу и ѡгна КР 1284, 264в.

Новая основа *тр̑-ј-* рядом с исконной *тр-* является результатом внутрипарадигменного обобщения, которое представлено и в других типах склонения<sup>8</sup>. Так, формы ИП *жид-ове* и РП *жид-овѣ* в результате обобщения

<sup>6</sup> Квадратные скобки внесены Ягичем.

<sup>7</sup> И. В. Ягич отмечает, что *сѣнце* здесь вместо *сърдьце*.

<sup>8</sup> Ср. позднерусские формы ТП с обобщенной основой *тр̑-ј-*: приде же Коуриль печатникъ князя Данила со *треими* тысящами нѣмецъ съ *трыими* сты коньникъ ЛИ ок. 1425, 267.



повторяющегося компонента *-ов-* образуют новую основу *жидов-*, которая употребляется рядом с исконной *жид-*. Ср. в ПсЧ XI, ПС к. XI и КЕ XII:

**ИП:** *жидове* бо злыи ть съвѣтъ. на сѣса сътвориша ПсЧ XI, 7г; **ВП:** (вместо исконного *жиды*) обращати *жидовы* къ истинѣ ПС к. XI, 119; **РП:** о нихъже великыи иаковъ рече. видиши ли брате. колико тьмъ ѣсть. вѣровавъшиихъ *жидомъ* ПсЧ XI, 11а; **ДП** (вместо исконного *жидомъ* < *жидьмъ*): мамедь нарицаемъ иже бесѣдова къ *жидовомъ* и хрѣстианомъ КЕ XII, 273b vs. поуща м.а. нѣ къ кымъ *жидомъ* ПС к. XI, 119; **МП** (вместо исконного *жидохъ* < *жидьхъ*): а съ. мьстьныи князь бѣ въ то врѣм.а. въ *жидовѣхъ* ПсЧ XI, 7в vs. о *жидохъ* ПС к. XI, 119; **ТП:** не записанъ *жидьми* ПсЧ XI, 15в.

### 7. ИП муж. р. *трии, три, четыре*

Позднее форма *трии* встречается также в ИП муж. рода, где ее появление можно объяснить влиянием субстантивных форм в составе квантитатива: *трии* си вѣрнии мѣници СлИп к. XII, 92в; *трии* си моужи 107а [Иорданиди, Крысько 2000: 164].

Такого же происхождения ИП муж. рода *четыри*:

и прочею · ꙗ · и *четыри* икоси УСт к. XII, 17; иакоже миноуша *четыри* м(с)ци СбУ XII/XIII, 8б.

Наиболее ранняя форма подобного типа была отмечена А. И. Соболевским [1907: 194] в Изб 1073: сице же иова разгнѣвавшѣ и осуждавѣше *три* дроузи ѣго · хотлахоу страшнѣоу пагоубоу приати 188а. Другая ранняя фиксация нового ИП муж. рода, которая приведена у Соболевского, к сожалению, является двусмысленной. В ней можно было бы признать, как это делает В. Б. Крысько [Иорданиди, Крысько 2000: 163—164], исконную форму жен. рода, согласованную с ИП мн. ч. *femininum братица*, однако причастная форма в контексте указывает на ИП мн. ч. *masculinum*. См.: нѣкогда поущени быхомъ *три* братица. на слоужбоу ПС к. XI, 9 об. В Злат XII на развитие ИП муж. рода *три* указывает отклонение от стандартной орфографии, когда написано е, а не ѣ, и написано над строкой: тожде и *три(е)* моужи иако ѣдинѣми оусты тако възъпиша 67 об. Ср. обобщенную форму И—ВП *три* в этом же памятнике: бѣ же ихъ въсѣхъ полонено *три дес.ате* моужь Злат XII, 72 об.

Формы приведенного типа связывают также с развитием номинативно-аккузативного синкретизма в субстантивном и адъективном склонении, которое, судя по берестяным грамотам, происходило уже в XII в. [Иорданиди, Крысько 2000: 164]. Ср. ИП муж. рода: *цьтри* бѣрьковьскъ ГрБ № 630 (20—50 XII).

### 8. РП *трею, трехъ*; ТП *трема*

Все инновации в области малых числительных обусловлены частеречными морфосинтаксическими факторами — взаимодействием квантитатива двух и малого квантитатива после утраты двойственного числа в середине XIV в. Наиболее ранние новообразования у малых числительных встретились в од-

ной западнорусской грамоте 1388 г.: *двумь* хрестьяномь; *трема* хрестьяны, а *трема* жиды добрыми ГрЮЗ № 45.

Форма ДП *двумь* указывает на обобщение дуальной косвеннопадежной основы и одновременно на обобщение флективного показателя малых числительных *тремь*, *четыремь*. Обобщение *-мь* способствовало распаду синкретизма Д—ТП. Устойчивость формы ТП *двѣма*, напротив, вызвала обобщение в ТП малых числительных бывшего дуального показателя *-ма*.

Несколько позднее форма *трема* встретилась в книжном употреблении: но *двѣма* или *трема* премногое число сказавъ ЖВИ XIV—XV, 51г.

В это же время в разговорной речи уже складывается новая форма со смягченным согласным в окончании *трим.а*. Она возникла в результате совмещения старой формы ТП на *-ми* и новой на *-ма*, а также обобщения флективного *-и*, представленного в И—ВП: *трѣми* + *трема* (+ И—ВП *три*) = *трим.а*<sup>9</sup>. См.:

доконцаль в порховѣ воєводамъ *трим.а* коробьями овсаними ГрБ № 540 (XIV/XV).

Под влиянием РП *двою* возникла форма *трею*, что подтверждается контекстуально:

въ оустѣхъ *двою* послуху. или *трею* АпТ к. XIV, 148; из.а змию *трею* локоть ЖВН XIV—XV, 976.

Безусловно, неслучаен тот факт, что в это же время появились новые формы РП *трѣхъ* вместо исконных *трии*, которые структурно тождественны отношениям синкретизма РП и МП в дуалисе *двою* или *дву*:

а то опроче того оурока *трѣхъ* соть ру(б) и дватцати ГрМ № 11 (1389); семьде(с)ть ру(б) бес *тре(х)* 12 (1389); єдинобо бо сущья и ѣхъ собьствъ ГБ к. XIV, 191в; до *трѣхъ* днѣ СбПаис н. XV, 165 об.; до *трѣхъ* становъ ЛИ ок. 1425, 229; а всихъ лѣтъ ѿ р(ж)ства ѣ бес *трѣхъ* 242.

Предположение А. И. Соболевского [1910: 129] о равной древности РП *трии* и *трѣхъ* трудно принять. У самого Соболевского эта форма отмечается начиная со среднеболгарских текстов XIII в. Однако впервые она встречается гораздо раньше — в древнеболгарском памятнике второй половины XI в. — Енинском апостоле<sup>10</sup>:

сѣгаго мж(ч)ка севриана и сѣгы мжчениць трѣхъ Ен 293б, 3—4.

Несмотря на столь раннюю фиксацию, нет оснований усматривать в этом случае сохранение праславянского архаизма. Естественнее допустить инновацию, которая свидетельствует о влиянии местоименного склонения на малые числительные, тем более что оно не только не противоречи-

<sup>9</sup> Такого же происхождения форма ДП *двѣм.а* (= *двѣма* + двоими): к *двѣм.а бортель* ГВНП № 122 (XV). Ср. аналогичное совмещение форм в развитии В—РП ед. личных и возвратного местоимений, которое отмечается с XIV в.: *м.а* + *мене* = *мен.а*, *т.а* + *тебе* = *теб.а*, *с.а* + *себе* = *себ.а*.

<sup>10</sup> Эту форму указал мне В. Б. Крысько.

ло, но и соответствовало их морфосинтаксической природе, так как местоименное склонение имело как соседнее числительное *дѣва*, так и однокоренное собирательное числительное *трои*. Ср. примеры подобного влияния в древнерусских памятниках (по образцу местоименного склонения: МП *сихъ, троихъ*; ТП *сими, троими*):

по *четырихъ* бо десѣте днѣ всѣко ѿтроча жидовскоуе· приношаста родителя въ цркъвь ПрС XII/XIII, 135а; со *трими*. присѣлки ГрЮЗ № 64 (1394); приде же Коуриль печатникъ князѣ Данила. со *треими* тысящами нѣмецъ съ *трими* сты коньникъ ЛИ ок. 1425, 267.

### Список источников

- Ап 1220 — Толковый Апостол (ГИМ, Син. 7) // Древнеславянский Апостол. Вып. 3, 4, 5: Послания св. апостола Павла к Коринфянам 2-е, к Галатам и к Ефесянам по основным спискам четырех редакций рукописного славянского апостольского текста с разночтениями из пятидесяти шести рукописей Апостола XII—XVI вв. / Труд Г. Воскресенского. Сергиев Посад, 1908.
- АпТ к. XIV — Толстовский Апостол (РНБ, Q. п. I. 5) // Там же.
- БГД XIII — Беседы Григория Двоеслова на Евангелие. Рукопись РНБ, Погод. 70.
- ГБ XI — А. Б у д л о в и ч. XIII слов Григория Богослова, в древнеславянском переводе, по рукописи имп. Публичной библиотеки XI века. СПб., 1875.
- ГБ к. XIV — 16 слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского. Рукопись ГИМ, Син. 954 (по фотокопии).
- ГВНП (+ номер грамоты) — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
- Гр 1229 сп. 1277—1279 (смол.) — Торговый договор Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г., первая, готландская редакция, сп. А // Смоленские грамоты XIII—XIV веков / Подгот. к печати Т. А. Сумникова и В. В. Лопатин. М., 1963.
- Гр ок. 1255—1257 — Духовное завещание новгородца Климента // М. Н. Т и х о м и р о в, М. В. Щ е п к и н а. Два памятника новгородской письменности. М., 1952.
- ГрБ (+ номер грамоты) — Грамоты берестяные // [Зализняк 1995; Янин, Зализняк 1998].
- ГрМ (+ номер грамоты) — [Московские грамоты XIV в.] // Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.; Л., 1950.
- ГрЮЗ (+ номер грамоты) — Грамоты XIV ст. / Упорядк., вст. ст., ком. і слов.-показ. М. М. Пешак. Київ, 1974.
- ЕвМилят к. XII — Евангелие-апракос Милятино. Рукопись РНБ, F. п. I. 7.
- ЕвМст к. XI — Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова. М., 1983.
- ЕвР XI — Л. П. Ж у к о в с к а я. Реймское евангелие: история его изучения и текст. М., 1978.
- Ен — Енински апостол. Старобългарски паметник от XI в. / Изд. подгот. К. Мирчев, X. Кодов. София, 1965.
- ЖВИ XIV—XV — Житие Варлаама и Иоасафа. Рукопись РНБ, Соф. 1365 (по фотокопии).
- ЖВН XIV—XV — Житие св. Василия Нового, по стихному Прологу Чудова монастыря, XIV—XV вв. // С. Г. В и л и н с к и й. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Ч. 2: Тексты жития. Одесса, 1911.

- ЖНК к. XII — Житие Нифонта Констанцкого // Выголексинский сборник / Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Гольшенко. М., 1977.
- ЖФП — Житие Феодосия Печерского // Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. С. 71—135.
- ЖФСт к. XII — Житие Феодора Студита // Выголексинский сборник / Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Гольшенко. М., 1977. С. 134—409.
- Злат XII — Златоструй. Рукопись РНБ, Ф. п. I. 46 (по фотокопии).
- Зоґр — Quatuor Evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitani / Edidit V. Jagič. Grac, 1954. (Unveränderter Abdruck der 1879 bei Weidmann, Berlin erschienenen Ausgabe.)
- Изб 1073 — Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года. СПб., 1880.
- Изб 1076 — Изборник 1076 г. / Изд. подгот. В. С. Гольшенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965.
- КЕ XII — Кормчая Ефремовская // В. Н. Бенешевич. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. Вып. 1—3. СПб., 1906—1907.
- КН 1285—1291 — Новгородская кормчая. Рукопись ГИМ, Син., № 132 (по фотокопии).
- Конд XII/XIII — Der altrussische Kondakar': Auf der Grundlage des Blagověščenskij Nižgorodskij Kondakar' / Hrsg. von A. Dostál und H. Rothe. Т. 3—5. Giessen, 1977—1980.
- КР 1284 — Рязанская кормчая. Рукопись РНБ, Ф. п. I. 1 (по фотокопии).
- ЛИ ок. 1425 — Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. М., 1962.
- ЛН XIII<sub>2</sub> — Новгородская харатейная летопись / Изд. под наблюдением М. Н. Тихомирова. М., 1964.
- Мин ок. 1095, Мин 1096, Мин 1097 — И. В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковнославянском переводе по рукописям 1095—1097 г. (Памятники древнерусского языка. Т. 1). СПб., 1886.
- Мин XIV—XV — Минья служебная, октябрь, XIV—XV вв. Рукопись РГБ, Тр.-Серг., № 30 (по фотокопии).
- МинД XI — Das Dubrovskij-Menäum: Edition der Handschrift F. п. I 36 (RNB) / Besorgt und komm. von M. F. Mur'janov; Hrsg. von H. Rothe. Opladen; Wiesbaden, 1999.
- Надп сер. XII (3) — Надпись на царе // Зализняк 1995: 26.
- ПНЧ XII сп. н. XIII — К. А. Максимович. Пандекты Никона Черногорца в древнерусском переводе XII века (юридические тексты). М., 1998.
- ПрС XII/XIII — Софийский пролог. Рукопись РНБ, Соф., № 1324.
- ПС к. XI — Синайский патерик / Изд. подгот. В. С. Гольшенко, В. Ф. Дубровина. М., 1967.
- ПсЧ XI — В. Погорелов. Чудовская Псалтырь XI в., отрывок Толкования Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе / Памятники старославянского языка. Т. 3. Вып. 1. СПб., 1910.
- СавКн XI — И. Тот. Древнейшая русская часть Саввиной книги. Серед, 1995.
- СбПаис н. XV — Паисиевский сборник. Рукопись РНБ, К-Б 4/1081 (по Картотеке Словаря древнерусского языка (XI—XIV вв.), Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва).
- СбТр XII/XIII — J. P o r o v s k i, F. J. T h o m s o n, W. R. V e d e r. The Troickij sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergieva lavra), № 12): Text in transcription // Полата књигописна. 1988. № 21—22.
- СБУ XII/XIII — Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971.
- СкБГ — Сказание о Борисе и Глебе.
- СлИп к. XII — Слово Ипполита об антихристе. Рукопись ГИМ, Чуд. 12.

- Ст. Р. (+ номер грамоты) — Берестяные грамоты из Старой Руссы // Зализняк 1995.  
 Супр — Супрасльская рукопись. Труд Сергея Северьянова // Памятники старославянского языка. Т. 2. Вып. 1. СПб., 1904.  
 УСт к. XII — Устав студийский церковный и монастырский, конца XII в. // А. М. П е н т к о в с к и й. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.

### Л и т е р а т у р а

- Вайан 1952 — А. В а й а н. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.  
 Ван-Вейк 1957 — Н. В а н - В е й к. История старославянского языка. М., 1957.  
 Вейсман 1899 — А. Д. В е й с м а н. Греческо-русский словарь. СПб., 1899.  
 Жолобов 1990 — О. Ф. Ж о л о б о в. Вариантность и текст // Словообразование. Стилистика. Текст. Казань, 1990. С. 83—91.  
 Жолобов 1998 — О. Ф. Ж о л о б о в. Композиция текста и грамматическая реконструкция // Язык и текст / Проблемы исторического языкознания. Вып. 5. СПб., 1998. С. 25—40.  
 Зализняк 1995 — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. М., 1995.  
 Иорданиди, Крысько 2000 — С. И. И о р д а н и д и, В. Б. К р ы с ь к о. Множественное число именного склонения // Историческая грамматика древнерусского языка. Т. 1. М., 2000.  
 Крысько 1994 — В. Б. К р ы с ь к о. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.  
 СДРЯ I—VI — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1—6. М., 1988—2002.  
 СлРЯ XI—XVII 1—25 — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—25. М., 1975—2000.  
 Соболевский 1907 — А. И. С о б о л е в с к и й. Лекции по истории русского языка. М., 1907.  
 Соболевский 1910 — А. И. С о б о л е в с к и й. Мелкие заметки по славянской и русской фонетике. 1—34 // Русский филологический вестник. 1910. Т. 64. С. 102—149.  
 Срезн. I—III — И. И. С р е з н е в с к и й. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 1—3. СПб., 1893—1903.  
 ССС 1994 — Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.  
 Фасмер I—IV — М. Ф а с м е р. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. 1—4. М., 1986—1987.  
 Янин, Зализняк 1998 — В. Л. Я н и н, А. А. З а л и з н я к. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1997 г. // Вопросы языкознания. 1998. № 3. С. 26—42.  
 Hamp 1973 — E. P. H a m p. (For Roman, who is always) number one // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1973. Vol. 16. P. 1—6.  
 Kopečný 1981 — F. K o p e č n ý. Základní všeslovanská zásoba. Praha, 1981.  
 Vaillant 1958 — A. V a i l l a n t. Grammaire comparée des langues slaves. T. 2: Morphologie. 2. pt.: Flexion pronominale. Lyon; Paris, 1958.

А. П. МАЙОРОВ

**УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНΙΑ  
СЕЙ, ТОТ, ОНОЙ, ЭТОТ  
В ДЕЛОВОМ ЯЗЫКЕ XVII—XVIII ВВ.\***

Неотъемлемыми свойствами делового текста с давних времен были стандартизованность и номенклатурная точность (точное следование образцу). В силу этих обстоятельств средства общенародного или книжного языка, используемые в деловой письменности, так или иначе приобретали стилевые качества, отвечающие требованиям стандарта, точности и однозначности изложения.

Указательные местоимения, обеспечивающие связность любого письменного текста и словесную организацию делового текста в частности, в этом процессе играли первостепенную роль. Так, Е. М. Вольф считает, что, «как правило, указательное местоимение появляется, когда контекста недостаточно для идентификации его элементов и связь должна быть подкреплена формальными средствами. Иными словами, демонстратив (указательное местоимение.— А. М.) служит средством установления кореферентности, идентифицируя наименования, соотношенность которых не является само собой разумеющейся» [Вольф 1974: 116]. По отношению к деловому дискурсу идентифицирующая функция указательных местоимений является обязательной, поэтому неудивительно, что в деловом языке эти местоимения в первую очередь становились стилеобразующими средствами.

Задача данной статьи — проследить изменения семантико-стилистических функций указательных местоимений *сей, тот, оной, этот* в переломный для истории русского литературного языка момент, каковым является XVIII век. В деловом языке данной эпохи характерно столкновение двух письменных традиций — приказной, сформировавшейся в XV—XVII вв., и книжно-литературной. В результате в деловом языке идет интенсивный процесс функционально-стилистического переосмысления книжно-славянских средств, которые стали применяться в деловом письме как стилеобразующие. В этом процессе изменяются семантико-стилистические свойства не только книжно-

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 04-04-62001а/Т).

славянских местоимений *сей, оный*, но и традиционно используемого в деловом языке местоимения *тот*.

Наблюдения над исторической динамикой функционирования данных местоимений требуют обращения к истории их употребления в предшествующий период. Поэтому анализ семантико-стилистических свойств этих языковых средств в деловом письме XVIII в. предваряется кратким экскурсом в историю их функционирования в древнерусском и старорусском языке. В статье в основном используются материалы архивов Забайкалья: Национального архива Республики Бурятия (далее — НАРБ), Государственного архива Читинской области (далее — ГАЧО), Государственного архива Иркутской области (далее — ГАИО). Кроме того, привлекаются материалы рукописных памятников деловой письменности, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), и опубликованных памятников петровского времени (указы). Данные материалы позволяют проследить характер действия норм делового стиля в региональном узусе деловой письменности XVIII в.

Среди анализируемых языковых средств местоимение *сей* выделяется тем, что оно единственное могло употребляться в дейктической функции в письменном тексте. В принципе, указательные местоимения в дейктическом значении содержат отсылку к объекту, на который направлен указательный жест говорящего (иногда мысленный) в определенной речевой ситуации. Иными словами, дейктические местоимения «выражают пресуппозицию существования и единственности объекта в общем поле зрения говорящего и слушающего и таким образом соотносятся с определенным референтом, который в рамках данного акта речи индивидуализирован» [ЛЭС: 294—295]. Между тем в письменном тексте, при нарративном режиме, если намеренно не воспроизводится речевая ситуация устного общения, на первый план выходит анафорическая функция указательных местоимений. Как отмечают исследователи, «указательные местоимения, пожалуй, наиболее характерный случай перехода от коммуникативно обусловленной категории к текстообразующей» [Ревзин 1973: 123].

Оставляя в стороне формальные модификации местоимения (*сь-сий-сый-сей*), необходимо проследить основные изменения в сфере функционирования и семантике местоимения с древнерусского периода. Исследователи отмечают его атрибутивное и субстантивное употребление в древнерусских письменных памятниках самых различных жанров преимущественно с анафорической функцией [Богатырева 1968; Элсберг 1967]. Наши наблюдения подтверждают это: Аще бо бы перевозник Кий, то не бы ходил Царюгороду; но *се* Кий княжаше в роде своем [ПВЛ, 31]<sup>1</sup>; и пойдоста по Днепру, и идуче мимо узреста на горе градок, и упрошаста и реста: «Чий *се* градок?» [Там же, 32]. Изредка возможно употребление местоимения *сь* в дейктическом значении,

<sup>1</sup> Здесь и далее орфография текстов из опубликованных и неопубликованных источников упрощается в соответствии с современной.

которое выявляется в сочетаниях *сь* с существительными, обозначающими какие-либо виды письменного текста: *Седя на санехъ, помыслихъ в души своей и похвалихъ бога, иже мя сихъ днєвь допроводи. Да дети мои, или инъ кто, слышавъ сю грамотицу, не посмеитєся* [Лавр. лет., 241]. В данном случае местоимение *сю* не содержит отсылку к тому объекту, который бы упоминался ранее. Оно выступает в дейктическом значении, указывая на тот вид текста, который имеется в виду в непосредственный момент его создания.

Следует подчеркнуть активность этого местоимения в устойчивых словосочетаниях, обозначающих какой-либо временной отрезок: *в се же лето, сего жє мєсяца, до сего днє*<sup>2</sup>; в сочетании со словами *миръ, светъ, векъ, жизнь, житие*; в сочетании со словом *сторона (страна)* в значении «этот, близкий», где дейктическая функция реализуется только в данном словосочетании. Эти словосочетания и *сь* с анафорическим значением в свободном сочетании слов характерны в основном для памятников книжного узуса (летописей, житий, хождений и т. п.). Иными словами, местоимение *сь* в анафорическом значении формируется как книжно-литературное средство наряду с местоимением *тѣ/тотѣ* в этом же значении в памятниках деловой и бытовой письменности.

С другой стороны, местоимение *сь/сей* употреблялось в памятниках деловой письменности. Здесь уже встречаем преимущественное, если не исключительное, функционирование местоимения в дейктическом значении. Очевидно, например, в значении местоимения *сь/сей* указание не на тот предмет, о котором шла речь в предыдущем контексте, а на его непосредственную пространственно-временную близость в следующем случае: во имя отца и сына и святого духа. Се яз, раб божий Василей Порошин сын Языкова, пишу себе *сию* духовную память, идучи на государеву службу в Нагаи 105-го году [АСЗ, № 211, 1596]. Регулярно употребление *сей* в речевых клише тех документов, у которых информация о данном типе документа представляется важной: к *сей* отдельной выписи князь Меркурей Олександрович печать свою приложил [АСЗ, № 147, 1588]; к *сей* купчей руку приложил Матвей Побединьской [АСЗ, № 86, 1611]. Необходимо отметить, что дейктическое значение реализуется в сочетании местоимения *сей* со словами, обозначающими разные виды документов.

Дейктическое значение местоимения *сей* в деловом языке этого периода достаточно четко выявляется в противопоставлении местоимению *тѣ/тотѣ* в значении «более отдаленный в пространстве или во времени»: 106-го году, марта в 7 день, в книгу записана. Справил подъячей Иван Мартемьянов. Да у *той* же подлинной даной пишет К *сей* даной грамоте Иван Петров сын Хомяков руку приложил [АСЗ, № 210, 1581]. В последнем примере актуализируется противопоставление оригинала данной грамоты (*той подлинной даной*) и ее списка, который составляется в настоящий момент (*к сей даной грамоте*).

<sup>2</sup> В данных словосочетаниях местоимение *сь* может употребляться наряду с местоимением *тѣ* (*то лето, той же осени* и т. п.).



Иными словами, актуальность идентификации данного, конкретного документа в этом случае востребована правилами делопроизводства, необходимостью точной характеристики того, о чем идет речь в данном конкретном случае. Таким образом, *сей* в дейктическом значении формируется как стилиобразующее средство приказного слога.

В XVII в. функционально-стилистическая дифференциация в употреблении местоимения *сей* сохраняется. В книжно-литературных произведениях субстантивное и атрибутивное употребление местоимения связано с его анафорической функцией: прият же тамо многи скорби и гонение от раба некоего, зовомаго Бориса Годунова <sic!> *Сей* же Борис шурина царю и великому князю Феодору Ивановичю всеа Русии [Рус. ист. пов., 30]; князь же Шуйский с воинствомъ поидоша в Москву... и стретоша *сего* воеводу вси людие [Рус. ист. пов., 131]. Дейктическая функция этому местоимению в подобных текстах несвойственна.

В деловом языке этого периода остается актуальной дейктическая функция местоимения в словосочетаниях, обозначающих определенный вид документа: *сия челобитная, сей указ* и т. п.: к *сеи* челобитной... луховской посадкой человекъ Замятка Аникеев руку приложилъ [Пам. Влад., 159, л. 165 об., 1659]; РОА июня въ К де... *сю* явку подал кадашевецъ Петръ Исавъ [Рус. чел., 24, л. 178 об., 1663]; сколько всево... и то писано в *сих* книгах [Пам. Влад., 79, л. 397, 1672].

Таким образом, для XVII в. существование двух обособленных письменных традиций — книжно-литературного узуса и приказного слога — накладывает свой отпечаток на словесную организацию того или иного текста. Это в свою очередь определяет особые семантико-стилистические функции важнейших средств связности текста — указательных местоимений. При этом одно и то же языковое средство, используемое и в том и другом письменном регистре, может варьировать свою семантику и стилистические функции в зависимости от того, в каком типе текста оно употребляется. Так, местоимение *сей* в книжно-письменном узусе широко применялось с анафорическим значением (соответственно, в приказной традиции в этом значении использовалось местоимение *тотъ*, анализ которого приводится ниже). В данном значении *сей* маркировано как книжно-литературное средство. В деловой письменности это местоимение употребляется с дейктическим значением, указывая на тот вид документа, который актуален в данный момент делопроизводственной деятельности.

В деловом языке первой половины XVIII в. местоимение *сей* еще употребляется в соответствии с приказной традицией. Иначе говоря, оно также продолжает функционировать в дейктическом значении в сочетании со словами, обозначающими разные виды документов: Варвара Степанова дочь дала *сию* купчую... [НАРБ, ф.88, оп. 1, д. 59, л. 84 об., 1762]; к *сему* доезду вместо салдата Семена Малетина ево прошением ундершихтmeisterъ Харитон Вязников руку приложилъ [ГАЧО, ф. 31, оп. 1, д. 7, л. 321г, 1747]; к

сему допросу салдат Григорей Расторгуевъ руку приложилъ [НАРБ, оп. 1, д. 92, л. 4 об., 1772].

Особо следует отметить дейктическую функцию *сей* во временных конструкциях типа *сега года*: указ... ис канцелярии на кяхтинской постъ капитану Тренсу *сега сентября* 13 дня... объявлено [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 2, л. 475, 1730]; из ыркутского городского магистрата в верхнеудинской городской магистратъ сообщение *сега июля* 5 дня... в присутствии докладывано [НАРБ, ф. 20, оп. 2, д. 9, л. 18, 1785]; в селенгинскую земскую избу селенгинскаго мещанина Максима Власова объявление *сега 1797 го года* мая на 22 е число по отлучаю моего <sic!>... оставалась при доме жена моя [НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 3026, л. 4, 1797]. Из примеров видно, что *сей* содержит не отсылку к антецеденту, а указание на временную отнесенность референта с точки зрения субъекта речи. Иначе говоря, значение *сей* в данных конструкциях является дейктическим.

Со второй половины XVIII в. у местоимения *сей* в деловом письме расширяются синтагматические возможности, оно начинает употребляться с анафорическим значением. В этом случае местоимение *сей* выступает синонимом местоимения *тотъ* или *оной*: язва на лошадей владычествовала только по правому берегу Онона... но по Трактовой чрезъ Читинской острогъ и городъ Нерчинскъ дороге язвы *сеи* не было [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 467, л. 25 об., 1791]; а какъ по справке в кяхтинской земской избе оказалось прошедшей 4 ревизии осталось по *сеи* ревизии по кяхтинскому фарпосту в мещанехъ... самое уменьшительное число... и *сия* земская изба во взыскании с нихъ состоящихъ доимокъ сама собою никакихъ средствъ взять не можетъ [НАРБ, ф. 20, оп. 1, д. 2973, л. 261 об., 1796].

Безусловно, здесь сказывается воздействие нормы употребления *сей* в литературном языке, где это местоимение традиционно применялось в анафорическом значении: а мы нашлись близко одного острова... возымели тотчасъ любопытство какъ оной островъ называется... А *сеи* островъ есть любви [Тред., 192]; открылась бездна звездъ полна, Звездамъ числа нетъ, бездне дна... Такъ я, в *сеи* бездне углубленъ Теряюсь, мыслями утомлен [Лом. 1743: 201—202]; Языкъ не могъ изобиловать такимъ множествомъ речений... какъ иные читаемъ. *Сие* богатство приобретено... [Лом. 1755: 205]. Идентичность функций местоимения *сей* в канцелярскомъ слого и в литературныхъ произведенияхъ знаменуетъ собой окончательное разрушение обособленности книжно-литературного и делового письменного узуса, которое было характерно для допетровской эпохи, свидетельствуетъ о становлении единыхъ нормъ русского литературного языка.

Четкое разграничение дейктической и анафорической функции у местоимения *сей* провести невозможно, когда осуществляется не повторное наименование уже упомянутого объекта, а происходит новая идентификация объекта: ... я ему сказалъ если бѣ имель конечно бѣ ему на вексельъ повериль, съ *сега самого слова* онъ господинъ Абрацовъ въскоча съ своего места с намерениемъ бить меня называлъ такими ругательными словами о

коихъ упомянуть по благопристойности неможно... *сеи ево поступъ* и прежнїи ево поведенїи удивили меня [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 59, л. 46 об., 1785]; за что сержантъ и ударил в щоку а Ковригинъ напротив ево ударил в косицу и дал язву и схватилися оба... а какъ *симъ поступком* со обоих сторонъ право челобитья было потеряно, то присутствующим приказано им было помирится [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 273, л. 7 об., 1783].

В связи с аналогичным употреблением местоимения *этот* в современном русском языке Е. В. Падучева отмечает, что «вообще для указательной группы, меняющей категоризацию объекта, независимо от наличия у нее антецедента, размывается различие между анафорой и дейксисом: про такую группу скорее можно сказать, что она обозначает объект, так или иначе возникший в общем поле зрения говорящих в предшествующем тексте, чем отсылает к его имени» [Падучева 1985: 159]. И. И. Ревзин считает, что указательное местоимение в данном случае выступает в принципиально иной, генерализирующей функции, которая в других языках передается определенным артиклем [Ревзин 1973: 125—127]. Так или иначе можно констатировать расширение семантики и, соответственно, синтагматических связей местоимения *сей* в деловом языке второй половины XVIII в. Другими словами, помимо устойчивых конструкций типа *сега года* и *сей указ* местоимение *сей* в деловом языке начинает широко применяться с анафорической функцией.

Интересен также тот факт, что в народно-разговорном языке XVII в. достаточно активно употреблялось местоимение *этотъ/этотъ*, представленное в текстах русской частной переписки данного периода [Лысакова 1971]. Его отсутствие в деловом языке XVII в. в какой-то мере свидетельствует о нормативности функционирования местоимения *сей* и *тотъ* в значениях, которые уже могли бы передаваться местоимением *этотъ*. В XVIII в. норма употребления *сей* в деловом языке и, как представляется, в литературном еще сохраняется достаточно прочно.

Использование местоимения *этотъ/этотъ* допускалось в дословной передаче чужой речи: на что онъ господинъ Абрасцовъ закрычалъ... какъ можно кроме меня кому верить я *этехъ* просителии всехъ кнудомъ пересеку при твоихъ глазахъ [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 59, л. 46, 1785]; и оне сказали что прежде сега клали *этот* огонь [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 4, л. 12 об., 1731].

С другой стороны, в анафорической функции *этотъ/этотъ* было стилистически противопоставлено местоимению *оной*, пришедшему из книжного языка в деловой язык XVIII в. Их довольно четкое стилистическое разграничение прослеживается в следующем примере: означенной Хонжин Кибаяев сказал *этот* след не тот которые китаицов грабили *этотъ* след нашъ понеже по *оным* следамъ ездили в мунгалскую землю и гонили баранов а отдавши де *оных* баранов назать ехали надвое а отдали де *оных* баранов... в краинем сосняге [Там же, л. 12 об.]. Здесь прямая речь следует непосредственно после слова *сказал*, и ее яркой опознавательной приметой является употребление местоимения *нашъ*. Соответственно, при дословной переда-

че фразы, построенной по правилам разговорного узуса, возможно употребление местоимения *этот*. Однако далее, после слова *понеже*, цитата сменяется канцелярской речью чиновника, передающего деловым слогом рассказ допрашиваемого о своих злоключениях. В этом случае одним из способов передачи чужой речи является использование частицы *де*. Особенность ее употребления состоит в том, что в высказывании с данной ксеночастицей допускается причудливое смешение прямой и косвенной речи, своих и чужих слов, «поскольку в большинстве случаев высказывания с ксенопоказателями нацелены на передачу „чужого“ смысла, а не чужих слов» [Арутюнова 2000: 443]. Как правило, в таких случаях прослеживается стремление оформить разговорную речь в соответствии с нормами канцелярского слога. В результате разговорное *этот* заменяется на стилеобразующее *оной*.

Стилистический статус местоимения *сей* в русском языке XVIII в. был относителен, подвижен. Если в литературном языке оно выступало как высокое книжное средство, со временем подвергающееся архаизации, то в деловом языке *сей* в качестве стилеобразующего средства было лишено оттенка архаичности, «высоких» коннотаций. Тогда его противопоставленность местоимению *этот/этой* в разных сферах функционирования определялась той функционально-стилистической ролью, которую оно выполняло. Характерно, что в начале XIX в. стилистическая сущность указательных местоимений *сей* и *этот* предопределялась не только сферой функционирования, но и той или иной точкой отсчета у социально различных категорий носителей литературного языка, в соответствии с которой одно и то же местоимение могло стилистически интерпретироваться по-разному. Так, например, местоимения *сей*, *оний* в светской словесности расценивались как архаизмы и вызывали протест у писателей; с другой стороны, для духовных лиц местоимения *этот*, *эти* представлялись как «площадные и худые» слова, которые необходимо было заменять на местоимения *сей*, *сии*, в духовной словесности остающиеся нейтральными [Живов 1996: 479].

В отличие от других рассматриваемых указательных местоимений, местоимение *тот* в истории русского языка, выполняя разнообразные функции (дейктическую, анафорическую и др.), было наиболее употребительным практически во всех сферах применения книжно-литературного и делового языка. В связи с этим оно выделялось среди других указательных местоимений наибольшей вариативностью в плане выражения и в плане содержания.

В древнерусском языке *тъ/тъи/тоу/тотъ* выступает в основном с анафорическим значением [Элсберг 1967; Богатырева 1968; Семенихина 2004]. Для повторной идентификации уже упоминавшегося объекта использовались также указательные местоимения *и* (*онъ*) — субстантивно; *сь* — субстантивно и атрибутивно. Например, местоимение *и*: в се же лето священа бысть церкви свягаго Михаила Переяславлеския Ефремомъ тоя церкви митрополитомъ иже *ю* есть создалъ велику сушу и пристрою в *ней* велику створи у-

красивъ *ю* всякою красотою [Ип. лет., 200]. В задачу данной статьи не входит анализ синонимических отношений этих местоимений. Однако, как представляется, местоимение *тѣ* в тот период, видимо, не только содержало в своем значении отсылку к слову в предшествующем тексте, но и выделяло тот объект, который являлся главной темой сообщения: се же есть дивно цркы в Ростове въ имя стаго Юана... и сгоре цркы *та* вся от верха и до земле и иконы что не утягли вымчати и гроби в земли дну. и бе в цркви *тои* икона на неже написанъ святыи мученикъ Феодоръ Тиронь... толико икона *та* святаго мученика Феодора с вощаницею цела [Лавр. лет., 436].

Анафорически-выделительную функцию у постпозитивного местоимения *тѣ* в древнерусском языке отмечают и другие исследователи [Элсберг 1967: 10]. При этом активное употребление анафорического *тѣ* объясняется «спецификой древнерусского синтаксического строя, выражающейся в постоянных повторениях говорящим сказанного ранее, для более точной передачи содержания мысли» [Там же: 13].

Думается, верная сама по себе мысль исследователя нуждается в дополнении и корректировке. Подобный синтаксический строй характеризовал в большей степени не собственно литературный язык, который опирался на синтаксис церковнославянского языка с присущим ему гипотаксисом, а русский язык, который ярко представлен в деловой письменности. По мнению В. М. Живова, «наиболее выразительной особенностью приказного языка является его синтаксис, а именно так называемое „нанизывание“ предикативных конструкций, при котором рема... первой предикативной конструкции повторяется как тема во второй, рема... второй предикативной конструкции повторяется как тема в третьей и т. д., создавая особый тип подчинительной связи» [Живов 1999: 234]. При таком типе словесной организации текста указательное местоимение *тотъ* в составе темы каждой последующей предикативной конструкции призвано актуализировать указание на тот объект, который выступает как рема в предыдущем предложении. Актуализация этого указания связана с таким имманентным свойством делового письма, как точность и однозначность сообщения о чем-либо.

*Тотъ* как средство делового стиля рассматривается только в составе именной группы *тотъ* + существительное. Окончательно это местоимение в качестве стилеобразующего средства закрепляется в деловом языке XVII в. До этого периода, в документах XVI в., в качестве анафоры было возможно стилистически нейтральное местоимение *и (онъ)* при указании на неодушевленный предмет: на песковатаи полянки стоит береза вилавата на *ней* гран подле *ее*... лес хоромнай [Пам. южн. нар., л. 432 об., 1589]; и при указании на лицо: отделили в помесье Семену Дмитрееву сыну Ендугурову... Да *ему* ж отделино ис порозжих земель другую половину его окладу [АСЗ, № 147, 1588]. В документах XVII в. в аналогичном контексте мы уже встретим более точное указание *тотъ* + существительное: отделино в одно поля от Ездочнова рубежа... а межа *тому полю* возле речку Розумною... еду-

чи вниз по Розумной колодез а возле *тово колодезя* озерко а от *тово колодезя* от озерка... х Коренскому лесу... [Пам. южн. нар., 1, л. 395, 1634].

При указании на лицо анафорическое *и* (*онъ*) в деловых текстах XVII в. в отличие от приказного письма XIV—XV вв. употребляется, как правило, в составе именной группы с существительным, которое в ней кореферентно с предшествующим именем: сказал Онтипу Иванову сну Беседину... въ ево оклад в двесте чети в поместья со всеми угоды а усада *ему Онтипу Беседину* вверх по Сиверскому Донцу... а сеножат *ему Онтипу Беседину* вверх по Сиверскому Донцу [Пам. южн. нар., 1, л. 338, 1632].

В связи с этим анафорическое *тотъ* становится возможным в сочетании с именем собственным: бьет челом и являет... на посадцкого члвка на Михаила Василева сна Москвитина в ннешнем гсдръ во РЛВ мъ году ноября въ АІ де приходиль гсдръ *тотъ Михаило* на твои гсдревъ кабак неведомо для чево и учал меня Карпунку лаят матерны... и впред гсдръ *тотъ Михаило* на меня и на товарищев моих похваляетца смертным убоиством [Пам. Влад., 122, л. 1, 1623]; бьет челом и являет... на мастера на Онику Поляка... и *тотъ Аника* с товарищи унесли у меня из домишку грабежем коробку съ денги [Рус. чел., 26, л. 1, 1663].

В современном русском языке местоимение *этот*, аналогичное старорусскому *тотъ*, невозможно в составе именных групп, которые в силу своего смысла предназначены для обозначения единичных индивидуализированных объектов — собственных имен и определенных дескрипций [Падучева 1985: 160]. Сочетание с именем собственным предполагает всегда какую-то степень выделенности (*этот Иван* — подразумевается выделенность *из нескольких Иванов*) либо эмоционально-экспрессивную определенность (*Ох, уж этот Иван!*). В старорусском деловом тексте употребление именной группы *тотъ* + имя собственное выступает в рамках той же стилиобразующей функции, которая была указана выше, и не предполагает какой-либо выделенности или — тем более что для делового слога это невозможно — эмоционально-экспрессивной окрашенности.

Выступая в качестве стилиобразующего средства приказного слога, местоимение *тотъ* по сфере функционирования оказывалось противопоставленным местоимению *той*. В данном случае различие в морфемном строении использовалось как стилистическое. При этом форма *той* представляется более архаичной, книжной, а следовательно, чаще (если не исключительно) применяется в литературном языке XVII в.: И учинися вестно... еже Борис помышляет на них и восхотеша его со всеми сродницы без милости побити камением. И видя себе *той* Борис самого поругаема... и умысли лукавством [Рус. ист. пов., Иное сказание XVII в., 30]; бысть же в том граде воевода царя Василия боляринъ Михайла Борисович Шеин, *той* же Михайла... град ополчениемъ своимъ мужески защищаше [Рус. ист. пов., Повесть книги сея от прежних лет, 1626: 130].

В языке деловой письменности XVII в. местоимение *тотъ* в анафорическом значении употребляется регулярно и последовательно: Се аз вдова Ули-

та... продала я ростовцу... двор свои... а *тот* мои двор... и с огородною землею от кирпичичи (sic!) земли... а позад *та* моя земля [Пам. Влад., 90, л. 867, 1693]; подкинул подворишка (sic!) мои младенца мужеска полу у ворот привязан к колцу и я *того* младенца взял к себе [Пам. Влад., 197, л. 1, 1692]; явил на поупку восемь рублей днгъ а на *те* днги купил в селе Великом железного товару сто крючав чюланых... и с *тое* поупки таможенных пошлин платил с рубля по пять днгъ и *тот* товар повез до Москвы [Пам. Влад., 98, л. 1, 1698].

Обращает на себя внимание то, что данное местоимение могло употребляться при неоднократном упоминании одного и того же объекта: ходили государь робята человека моего Маски сынъ Ивашка да бобылих моих двое робят... и тот Ивашка *тех* робят отослал проч не толочтя де травы и *те* робята пришед домой и сказали матерем своим и одна бобылиха Парашка взяв *тех* робят с собою и ходила к тому месту [Пам. Влад., 124, л. 10, 1623]. В современном русском языке в таких случаях нормой для указательных местоимений является то, что они не могут использоваться для длинной серии упоминаний объекта, так как «уже после первого употребления указательного местоимения объект индивидуализирован, извлечен из множества себе подобных, и дальше местоимения не требуется» [Падучева 1985: 161]. В деловом языке XVII в. многократный повтор именной группы *тоть* + существительное с анафорической функцией обусловлен все тем же свойством точности и недвусмысленности информации делового текста.

Приказная традиция употребления *тоть* в качестве стилеобразующего средства сохраняется и в деловом письме XVIII в. Вместе с тем здесь уже наряду с *тоть* не менее активно функционирует местоимение *оной*, которое в соответствии с тенденцией славянизации канцелярского слога должно было сменить в этой функции местоимение *тоть*.

Вплоть до XVIII в. местоимение *оный*<sup>3</sup> приказному слогу не было известно. Зато оно было широко представлено в книжно-литературных жанрах XVII в., выступая преимущественно в анафорическом значении. В XVIII в. начавшийся процесс синтезирования двух письменных традиций предопределяет широкое введение славянизмов в деловой язык, и местоимение *оной* становится одним из стилеобразующих примет канцелярского слога. О входящем в норму делового языка XVIII в. местоимении *оной* свидетельствует черновая правка документов. Так, в инструкции 1754 г. во фразе «когда ты и оная команда будите во избранном к тому месте» [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 2, л. 4] местоимение *оная* написано другим почерком по зачеркнутому местоимению *та*.

Однако однозначной и последовательной замены местоимения *тоть* на местоимение *оной* не произошло: на протяжении по крайней мере первой

<sup>3</sup> Противопоставление фонетико-орфографических форм *оный* — *оной* репрезентирует оппозицию норм книжно-литературного и делового узусов.

половины XVIII в. оба языковых средства активно функционируют в различных жанрах делопроизводственной документации. В связи с этим возникает вопрос: были ли какие-то семантико-стилистические различия в функционировании этих местоимений?

На первый взгляд, *тотъ* и *оной* в деловых текстах и, шире, в литературном языке XVIII в. использовались абсолютно равнозначно. Такое мнение высказывалось И. Я. Элсбергом: «В выборе одного из трех местоимений *тот, сей, оный* в хождениях XVIII века не прослеживается какой-либо закономерности» [Элсберг 1967: 15].

Между тем в памятниках деловой письменности XVIII в. наблюдаются следующие случаи употребления местоимений *тотъ* — *оной*:

- 1) исключительное употребление в одном и том же тексте местоимения *оной*;
- 2) употребление местоимений *тотъ* и *оной* как стилистических синонимов;
- 3) употребление местоимений *тотъ* — *оной* с семантическими различиями.

Отметим сразу, что в исследованных 242 документах XVIII в. употребление только местоимения *тотъ* не встретилось ни разу. Единственный случай — в приказе из иркутской канцелярии главному шуленге абызаевского рода Убугуну Тукаеву, в основной части документа используется только местоимение *тотъ*, однако в распорядительной части встречаем: все *оное* взыскано быть имеет с тебя со штрафом [РГАДА, ф. 413, оп. 1, д. 15, л. 11, 1782]. При этом слово *оное* вписано над строкой, что свидетельствует о правке документа в соответствии с нормами канцелярского стиля.

Безусловно, первые две категории в определенной степени говорят о том, что *тотъ* — *оной* используются как абсолютные синонимы. Однако такая интерпретация их функционирования представляется некоторым упрощением положения дел без учета историко-лингвистических и лингво-прагматических факторов.

Так, *оной* предпочтительнее в документах распорядительного характера. Причем в подавляющем большинстве документов первой половины XVIII в. и без исключения — во второй половине этого столетия в резолютивной части документов, содержащей разного рода императивные конструкции, отмечается местоимение *оной*: и вышепоказанного брацкого Очира осмотреть подлинно ль *оной* брацкой ножемъ поколоть и в которое место... и ежели *оной* брацкой Очир... можетъ на коне ехать то привести вам ево Очира с собою в Селенгинскъ [из инструкции — РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 2, л. 382, 1730]; приказали с прописаниемъ *оного* доношения в Селенгинскую ратушу послать сеи указъ [из указа — НАРБ, ф. 306, оп. 1, л. 1 об., 1776]; и во время *оных* приемовъ быть въ могазеинахъ [из наставления — НАРБ, ф. 401, оп. 1, д. 5, л. 5, 1794].

Интерес представляют такие случаи, когда в казусной части документа местоимения *тотъ* и *оной* используются практически без каких-либо семантико-стилистических различий, но в той части, где выносится решение, употребляется только *оной*: ... послать промеморию чтоб *оная* ратуша благоволила показанного Бурмакина сыскав и прислать... ежели не благоволишь



прислать то б сама собою об *оном* содомском грехе благоволила исследовать... понеже *оное* дело надлежит до духовного суда [ГАЧО, ф. 282, оп. 1, д. 21, л. 57 об., 1755].

Иными словами, местоимение *оной* было особо употребительно в официально-деловом слого.

Об официально-канцелярском характере функционирования *оной* говорит его регулярная лексическая сочетаемость со словами — названиями административных учреждений того периода: *оная ратуша, оная канцелярия, оной магистрат, оные городнические дела* и т. п.: на репорты ис подчиненных *оной* канцелярии командь [ГАЧО, ф. 31, оп. 1, д. 4, л. 289, 1741]; оть *оныхъ* городническихъ делъ... ордырь того жь течения 18 ч получить честь имелъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 520, л. 4, 1788]; о чем нне и во *оной* магистратъ дать знать [НАРБ, ф. 20, оп. 2, д. 9, л. 18 об., 1785]. В данном случае особой является и семантика местоимения. Очевидно, помимо анафорического значения здесь реализуется и дейктическое значение «этот; тот, который имеет в виду говорящий в данный момент».

Кроме того, говоря об исключительном употреблении *оной*, следует учитывать историческую динамику в отношениях местоимений *тотъ* и *оной*. К концу XVIII в. преимущественно субстантивное *оной/оный* с анафорической функцией и, как правило, в документах директивного характера все-таки вытесняет местоимение *тотъ*: чтоб были во всякой исправности почтовые станьки чтоб была <sic!> при *оных* узаконенное число лошадей [из приказа — НАРБ, ф. 120, оп. 1, д. 6, л. 2 об., 1792]; буде же... водою и сухим путем казенной провиантъ привезень будетъ то *оными* пробовать нарочно для того зделанными совками [из наставления — НАРБ, ф. 401, оп. 1, д. 5, л. 6, 1794].

Прямо противоположный случай — смена употребления местоимения *оной* на *тотъ* в одном и том же документе. Так, в допросных речах на первом листе документа встречаем *сверх онаго, со онымъ вышель, об оной покраже*: 1<sup>е</sup>: в питеиномъ доме Епишихи бес товарищеи раскрыль кровлю | влесь в сени у двереи пробой вывернулъ взошелъ за стойку | спустился в подполье а сиделець в то время спалъ и не слыхаль, взяль ящикъ | да сверхъ *онаго* с лавки одинъ армякъ двюсторонной... 2<sup>е</sup> апреля на 3<sup>е</sup>: ч[исло] на хлебномъ рынке из лавки балаганского | купца Ивана Петухова обще съ салдатомъ Иваномъ Кунгу|ровымъ у которой лавки болты отвернули взошли оба: покрали | разнаго товару какъ покравши завезали в одинъ товару какъ покравши завезали в одинъ товару какъ покравши завезали в одинъ узоль | денегъ в табакерке сребреныхъ одинъ рубль дватцать пять копеекъ | с медныхъ нисколко не брали и все *оное* унесли в баню в домъ | цеховаго Суровцова у коего... показанная | женка Петрова спрятала под полокъ бе<sup>3</sup> всякаго разделу и назавтре | об *оной* покраже сказываль тои же женке Петровой что: | вчерашнею ночь покрали съ салдатомъ Кунгуровымъ на хлебном | рынке лавку [ГАИО, ф. 783, оп. 1, д. 90, л. 65, 1785].

Но уже далее так же последовательно употребляется местоимение *тотъ*: в ту лавку, в ту ж дыру, у того двора, тотъ Рогачевъ, к тому Бак-

лушеву, от того страха, в том месте: и какъ зделалось темно, вышли со мною | на улицу салдать Рогачевъ и съсылной Ивановъ зговорились вторично | и то жъ в ту лавку для покражи товаровъ по приходе в ту ж дыру | влезли все трое две шири распоролы с китайкою жъ и навезали | три ноши толко стали вылезать и у того двора караулныя | тревожили насъ и тотъ товаръ бросили убежали и дорогою ска|зывалъ Рогачевъ что оставилъ над той дырой калаусъ з бритвой | да чарки... [Там же, л. 65 об.] и т. п. Создается впечатление, что писец, увлекшись нарративным режимом рассказа о преступлениях ссыльного Федора Воротилова, забывает о норме употребления *оной* и возвращается к приказному *тотъ* именно в повествовательной части документа. В конце документа он снова возвращается к местоимению *оной*: да сверхъ онаго получено мною было | от сылнаго Анохина ис покраденныхъ имъ у купца Михаила | Резанцова из лавки кежу, остатокъ без меры: и все оное | отдалъ здесь в городе жене своей Аксиные Афонасьевой и оная | получа увезла съ собою в деревню Жилкину [Там же, л. 66 об.]. Вообще в повествовательной части таких документов, как челобитные, прошения, допросные речи, на протяжении всего XVIII в. больше сохраняется приказная традиция употребления *тотъ*.

Употребление обоих местоимений как абсолютных синонимов в одном и том же тексте также имело некоторые закономерности: велено мне ехать... для опалки Курензелинского медного заводу ибо онъ сотникъ в началство рапортовал что без указу *тотъ* завод не опаливать и об опалке оного заводу ожидал указу и для того взять с собою означенного сотника и пристойное число людей и *тотъ* завод опалить по надлежащему... и *тот* завод опалил по надлежащему и впред никакой опасности чтоб *оной* от приходящих со степи огней... згорел не имеется [ГАЧО, ф. 31, оп. 1, д. 7, л. 321г, 1747]. Регулярность попеременного употребления *тотъ* или *оной* позволяет предположить, что местоимения используются для того, чтобы избежать повтора слова. Как синонимы *тотъ* и *оной* имели общее анафорическое значение — отсылку к антецеденту. В определенных контекстах может происходить нейтрализация их семантико-стилистических различий. В последнем примере, когда речь идет об одном и том же объекте, допускается применение местоимений *тотъ* и *оной* как абсолютных синонимов.

Семантико-стилистическое разграничение местоимений *тотъ* — *оной* наблюдается в следующих случаях. Если в контексте речь идет о двух объектах, то среди них первый антецедент в дальнейшем имеет отсылку посредством местоимения *оной*, а второй — с помощью местоимения *тотъ*. Приведем примеры, обозначив в круглых скобках последовательную нумерацию тех объектов, к которым в дальнейшем осуществляется отсылка: которой островъ (1)... и взялъ онъ Смирной (2) во владение... а по приезде ево туда вступился на *оной* островъ косить сено кабанской купецъ Никифор Округинъ называя *оной* Харитоновским а у *того* Смирнова... точно значитца Конной островъ а не Харитоновской [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 520, л. 4, 1788]; а сего марта, в первых числах вышеписанной кананир Курбатовъ (1) извес-

тился... что те покраденныя у него сумы (2) имеются тоя ж Тресковской слободы у жителя отставного казака Тимофея Мардовскаго, почему *оной кананир Курбатовъ* для сыску *техъ сумъ* денегъ и пожитковъ в ту Тресковскую слободу мною былъ отпущень [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 48, л. 2 об., 1769].

Другая особенность состоит в том, что местоимение *оной* указывает на предмет, актуализируемый в пространственно-временном отношении как близкий, важный в данный момент для говорящего (пишущего). *Тотъ* указывает на объект, о котором речь шла раньше, в прошлом. Здесь на анафорическое значение накладывается дейктическое, при этом местоимение *тотъ* маркировано уже как средство, указывающее на нечто, отдаленное в пространстве и/или во времени: ...было полагаемо штобъ ему Светлеговскому... учинить наказание прогнаниемъ шпицрутень чрезъ тысячу человекъ шесть разъ... почему *то следствие...* представлено было на рассмотрение его высокопревосходителству... с таким мнением: хотя *оной профось* за написание *того паишпорта...* и стоил бы вышеприговоренного наказания... не угодно ли будетъ в страхъ другимъ а ему в воздержание прогнать ево шпицрутень чрезъ пятьсот человекъ три разъ [НАРБ, ф. 88, оп. 1, д. 534, 45 об., 1788]; присланы... о бережении земляных яблоков печатные экземпляры и при том в указе правительствующего сената объявлено что в ту губернию к отсылке *техъ яблоков* назначено и туда отправить велено тритцат три пуд семь фунтов того ради из *оныхъ экземпляровъ* для разпубликования и росылки во все Селенгинского уезду места... прислано каждых по дватцати [РГАДА, ф. 1092, оп. 1, д. 71, л. 179, 1766]; промемория ис канцелярии Охотского порта в Селенгинскую ратушу прибывшей... ученик Дмитреи Бочаровъ о бывшем с ним в вояже работном селенгинском посадском Прохоре Жаравине репортом объявил что ехавши с Алаиту острова баидарою с протчими утонул и по *тому репорту...* велено о *том утопшем Жаравине* к сведению во *оную Селенгинскую ратушу* сообщить сею промеморию [НАРБ, ф. 20, оп. 2, д. 1, л. 24, 1778].

Аналогичным образом используется субстантивное местоимение *оной* в указах Петра I: и когда на те указы получены будутъ ответы то *оные* того же часа какъ от записки возмутъ, в *техъ тетрадахъ* подписывать именно [ПСЗ, Указ от 30 января 1720 г., с. 122].

Таким образом, *оной* к концу XVIII в. в деловом языке полностью заменило местоимение *тотъ* в качестве стилиобразующего средства. Оно выступало в анафорическом значении «этот, близкий в пространственно-временном отношении». Местоимение *тотъ* было маркировано как указание на более отдаленный в пространственно-временном отношении предмет.

Анализ функционирования указательных местоимений *сей, тотъ, оной, этотъ/этотъ* в деловом языке XVII—XVIII вв. показывает, что функционально-стилистическое переосмысление коснулось прежде всего местоимений *сей* и *оной*. Местоимение *сей* формируется как стилиобразующее средство делового языка в дейктической функции в сочетании с существительными, обозначающими документы (*сей указ*). В анафорической функ-

ции *сей* в деловой письменности распространяется во второй половине XVIII в., но в отличие от его литературного употребления в канцелярском слоге ему не свойственна высокая стилистическая окраска. Местоимение *оной*, пришедшее в деловой язык из книжно-литературного узуса, в первой половине XVIII в. активно функционирует наряду с местоимением *той*, вытесняя его к концу этого столетия. В стилистическом плане ему присуще официально-канцелярское употребление в документах распорядительного характера. Местоимение *той*, утратив стилистическое свойство приказного слога, сохранило семантический признак указания на пространственно-временную отдаленность предмета с точки зрения говорящего. Данный признак маркирует это местоимение в оппозиции местоимению *оной* в деловом языке и местоимению *этом* в народно-разговорном. Последнее в XVIII в. воспринимается еще вне нормы литературного языка.

### Источники

- АСЗ — Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 2. М., 1998.
- Лавр. лет. — Полное собрание русских летописей Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997.
- Ип. лет. — Полное собрание русских летописей. Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998.
- Лом. 1743 — М. В. Ломоносов. Вечернее размышление о божием величии, при случае великаго севернаго сияния // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 201—202.
- Лом. 1755 — М. В. Ломоносов. О пользе книг церковных в российском языке // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989.
- Пам. Влад. — Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край. М., 1984.
- Пам. южн. нар. — Памятники южновеликорусского наречия XVII века. Отказные книги. М., 1984.
- ПВЛ — Повесть временных лет (Лаврентьевский список) // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989. С. 205—209.
- ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. Т. 6: 1720—1722. СПб., 1830.
- Рус. ист. пов. — Русское историческое повествование XVI—XVII веков. М., 1984.
- Рус. чел. — А. П. Майоров. Русские челобитные XVII века (явочные, изветные и другие). Улан-Удэ, 1998.
- Тред. — В. К. Тредиаковский. Езда в остров Любви // История русского литературного языка: Хрестоматия / Сост. А. Н. Кожин. М., 1989.

### Литература

- Арутюнова 2000 — Н. Д. Арутюнова. Показатели чужой речи *де, дескать, мол*. К проблеме интерпретации речеповеденческих актов // Язык о языке. М., 2000. С. 437—453.
- Богатырева 1968 — Г. Д. Богатырева. Основные семантико-синтаксические значения местоимений *сь, ть, онь (и)* в древнерусском языке XI—XIV вв. Кишинев, 1968.

- Вольф 1974 — Е. М. В о л ь ф. Грамматика и семантика местоимений. М., 1974.
- Живов 1996 — В. М. Ж и в о в. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Живов 1999 — В. М. Ж и в о в. Автономность письменного узуса и проблема преемственности в восточнославянской средневековой письменности // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. М., 1999. С. 212—247.
- ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1999.
- Лысакова 1971 — И. П. Л ы с а к о в а. Указательные местоимения в языке русской частной переписки XVII — начала XVIII века. Л., 1971.
- Падучева 1985 — Е. В. П а д у ч е в а. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
- Ревзин 1973 — И. И. Р е в з и н. Некоторые средства выражения противопоставления по определенности в современном русском языке // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973. С. 121—137.
- Семенихина 2004 — М. В. С е м е н и х и н а. Местоимения *сь, ть, онъ* в древнерусском переводе «Истории Иудейской войны Иосифа Флавия» // Русский язык: исторические судьбы и современность. II Международный конгресс исследователей русского языка. Москва, МГУ, 18—21 марта 2004 г. М., 2004. С. 70—71.
- Элсберг 1967 — И. Я. Э л с б е р г. Склонение и употребление атрибутивных указательных местоимений в русском языке XII — начала XVIII в. (на материале языка хождений и путешествий русских людей). Л., 1967.

## ПОЛЕМИКА

---

В. М. ЖИВОВ

### УЛИКИ ПОДЛИННОСТИ И УЛИКИ ПОДДЕЛЬНОСТИ

**По поводу книги: Keenan Edward L. Josef Dobrovský  
and the Origins of the *Igor' Tale*. Cambridge (Mass.):  
Distributed by Harvard University Press, 2003. XXIII, 541 p.**

Обширная монография Эдварда Кинана построена на одной идее: *Слово о полку Игореве* — это фальсификат, созданный с неясными целями Йозефом Добровским, и именно в этой перспективе должны быть прочитаны многочисленные темные места данного памятника, разобраны особенности его поэтики, определено соотношение с другими произведениями восточнославянской книжности. Таким образом, Кинан предлагает совершенно новый контекст для интерпретации *Слова*, и этот контекст отличается чрезвычайным богатством: филологический кругозор Добровского был необычайно широк, биография отца славянского языкознания во многом авантюрна и наполнена странностями, филологические труды и собранные для них материалы многочисленны, и все это, в перспективе предложенной Кинаном идеи, становится потенциальным фоном для истолкования уникального в русской (восточнославянской) литературе текста. Все эти неожиданно открывшиеся возможности и использует Кинан в своей книге, переосмысляя заново историю открытия и публикации памятника, равно как его литературный контекст, и перечитывая в этом ключе самый текст *Слова*.

Монография состоит из четырех частей и заключения. В первой части «The Legend of the *Igor' Tale*» (с. 1—63) ставится проблема подлинности *Слова*, дается критический обзор литературы по этой проблеме и рассматриваются различные историко-культурные pro и contra в дискуссии о подлинности; здесь же излагается таинственная история «исчезновения» рукописи (Кинан не верит, что рукопись существовала) и те сношения по данному поводу, которые имели место между Калайдовичем, Мусиным-Пушкиным, Малиновским и Румянцевым. Во второй части «The Witnesses» (с. 65—98) анализируются дошедшие до нас источники текста *Слова*: editio princeps, Екатерининская копия, так называемые фрагменты Малиновского; Кинан пересматривает принятые взгляды на эти тексты, считая, в частности, что фраг-

менты Малиновского (которые, по мнению Кинана, могут быть изъяты из *Слова* без ущерба для его нарративной связности) представляют собой добавления, позднейшие по отношению к произведенной Добровским первоначальной версии. Третья часть «The Blue Abbé» (с. 99—136) посвящена Добровскому, его неординарной личности, его психической болезни, мистическим и политическим увлечениям и вместе с тем его научным горизонтам, а именно тому, какие из памятников восточнославянской письменности, необходимые ему для создания *Слова*, он видел и знал. В четвертой и основной части «Reading the Igor' Tale» (с. 137—396) содержится подробный, строчка за строчкой, разбор лингвистических и историко-литературных особенностей *Слова*, сначала «фрагментов Малиновского», затем «основного текста». Именно эта часть и будет в основном обсуждаться в настоящих заметках, поэтому воздержусь даже от краткого ее пересказа. В пятой, заключительной части «Conclusions» (с. 397—429) суммируются выводы всей работы, причем особое внимание уделено соотношению *Слова* и *Задоницы*, *Слова* и *Сказания о Мамаевом побоище*, ориентализмам в *Слове*, орфографии памятника. Здесь же, как в развязке детективного романа, рассказывается история фальсификации памятника. Уже после заключения Кинан добавляет свое последнее слово или, вернее, завершительный куплет, названный «Envoi» (с. 431—434); в нем ставится несколько вопросов, которыми могли бы заняться последователи автора (например, как Малиновский преподносил своим коллегам сфабрикованный им из рукописи Добровского конечный продукт), и содержится несколько утешительных фраз для тех, кого может опечалить неаутентичность *Слова*. В книге есть еще четыре приложения: текст *Слова* по editio princeps с разбивкой на стихи (в соответствии с членением Якобсона), перечисление маргиналий Добровского на *Библии* Скорины, анализ первых переводов *Слова* и заметка о времени, когда И. П. Елагин вставил в свой *Опыт повествования о России* цитату из *Слова*. После этого краткого обзора книги мы можем перейти к ее более содержательному разбору.

Проблема подлинности *Слова о полку Игореве* — это вопрос целиком лингвистический. Единственным надежным аргументом в пользу того, что *Слово* подлинно, остаются указания на его лингвистические особенности. Аргумент состоит в том, что ни один из гипотетических фальсификаторов не был в состоянии написать текст с теми лингвистическими характеристиками, которые мы находим в *Слове*. Они соответствуют нашим сегодняшним знаниям о восточнославянском языковом употреблении раннего периода (XI—XIV вв.), тогда как знания авторов конца XVIII в. были недостаточны для воссоздания подобных элементов. Как совершенно справедливо замечает Кинан, многочисленные исследования *Слова*, связанные с проблемой его подлинности, достаточно убедительно показали, «that none of the candidates put forth thus far survives even preliminary scrutiny; the study of the life and writings of Ioil' Bykoŭski, Malinovskii, Bantysh-Kamenskii, Elagin, or Musin-Pushkin himself demonstrates quite convincingly that none of them possessed the knowledge of Early Slavic language and culture that is so constantly (and at

times mysteriously) revealed in our text. Indeed, one can agree with those who have almost from the start argued that *no* Russian contemporary of the *EP* [editio princeps] possessed that knowledge» (с. 60).

В этом отношении кандидатура Йозефа Добровского выбрана необыкновенно счастливо: если кто-то был в состоянии сделать нечто подобное, то это, конечно, не дилетант Мусин-Пушкин, не поверхностно образованные Малиновский или Бантыш-Каменский, не — тем более — никак не отличившийся в филологической области архимандрит Иоиль, а тот ученый, который располагал наибольшими по тому времени познаниями в славистике. Таким ученым безусловно был основатель славянского исторического языкознания Йозеф Добровский. Он несомненно был для своего времени самым большим знатоком языка древних славянских текстов. Вопрос лишь в том, были ли и его знания — при всей их обширности — достаточными для того, чтобы успешно сымитировать восточнославянский узус XII столетия.

Я бы полагал возможным настаивать на том, что вопрос об аутентичности *Слова* — это вопрос лингвистический, поскольку все прочие аргументы не имеют решающей силы. Более того, с историко-литературной и историко-культурной точки зрения *Слово* несравненно более естественно вписывается в литературный процесс конца XVIII столетия, нежели в контекст восточнославянской словесности XII в. Это настолько очевидно любому непредубежденному исследователю, что развернутые доказательства здесь вряд ли необходимы. Понятно, что предромантическое движение создавало идеальные условия для появления литературных подделок, воплощающих древность народного духа. Сверх того отказ от эстетической парадигмы классицизма особенно благоприятствовал нордическим древностям. Именно в этом контексте европейская литературная публика оказывается зачарована поэтическим гением Оссиана, столь удачно сконструированного Джеймсом Макферсоном. Кинан естественно начинает свое исследование с этого контекста, указывая, что оссианическая поэтика отражается в «important passages in the works of Herder, Goethe, Tennyson, and numerous lesser figures» (с. 3). Я бы добавил к этому списку Державина: оссианические фрагменты его «Водопада» ввели нордическую древность в русский поэтический канон<sup>1</sup>.

Стоит ли говорить, что аргументы, апеллирующие к неповторимой гениальности *Слова*, предполагающей первобытную аутентичность его автора, у здравомыслящего филолога могут вызвать лишь раздражение. Кинан пересказывает в связи с этим письмо Д. С. Лихачева к Р. О. Якобсону, в котором гени-

<sup>1</sup> Замечу попутно, что, хотя конструирование древности характерно прежде всего для «северных» литератур, эпидемическая природа этого процесса обуславливает его распространение и за их пределами. При обсуждении вопроса о мистификациях (пред)романтического периода стоит вспомнить забытые историей литературы *Poésies de Marguerite-Eleonore Clotilde de Vallon-Chalys, depuis, Madame de Surville, poëte françois du XV<sup>e</sup> siècle; publiées par Ch. Vanderbourg*, Paris, 1803, фальсификат, произведенный J. E. Surville и встраивающий во французское средневековье фигуру романтической поэтессы, соединяющей ученость и любовный задор.



альность *Слова* приводится как основной аргумент его подлинности (с. ххi). Письмо явно было лишь наброском тех рассуждений, которые позже появились в печати. В популярной книге о нашем памятнике Лихачев утверждал: «„Слово о полку Игореве“ гениально только постольку, поскольку оно написано в XII в.» [Лихачев 1976: 147]. Утверждение странное, поскольку то же самое и с тем же основанием можно было бы сказать и о *Любушином суде*, тем не менее мы расстались с этим замечательным памятником, и вселенная не рухнула. Аргумент Лихачева состоит именно в том, что вселенная рухнет<sup>2</sup>.

Ясно, однако, что у каждого своя вселенная. Та вселенная, о которой говорит Лихачев,—это романтический универсум. Именно в этом универсуме осуществлялась рецепция *Слова*, и именно эту романтическую парадигму благодаря усилиям Лихачева, Jakobsona и многих других унаследовала славянская филология. Понятно, что так быть не должно, что наука должна находиться вне этого универсума и с равным беспристрастием взирать на творения Оссиана и *Песнь о Роланде*, на *Любушин суд* и на *Беовульфу*, на эпос *Калевала* и на *Слово о полку Игореве*. Оценивать их гениальность—не наше дело, дать по возможности исчерпывающий филологический анализ памятника—законная задача филологии. Романтические историко-культурные соображения ни о какой подлинности *Слова* не свидетельствуют, история древних восточнославянских литератур может обойтись без данного произведения (о возникающих при этом сложностях я еще скажу ниже), и в этом плане опыт Кинана, выполненный с образцовым трудолюбием и редкой филологической изощренностью, нельзя не приветствовать.

Заключая четвертую часть своей монографии, Кинан обращается к читателю: «Only time and forthright scholarly discussion will reveal whether these observations seem as convincing to others as they do to me» (с. 396). Выступая в качестве одного из этих других, я повторю еще раз, что выводы Кинана требуют прежде всего лингвистической проверки. В лингвистической перспективе сомнительными представляются не только и не столько конкретные результаты анализа текста, сколько методологические основы решения поставленной задачи.

Кинан, вообще говоря, владеет филологической техникой. Его мастерство и славистический кругозор делают честь его превосходным учителям—Р. О. Якобсону и Г. Ланту. Тем не менее, как это чаще всего и бывает с учеными, профессионально лингвистикой не занимающимися, анализ языка фокусируется у него прежде всего на словах, на лексическом уровне. Практи-

<sup>2</sup> Лихачев пишет: «В XVIII в. это произведение оказалось бы литературной безделушкой—„пастиш“, как утверждают одни, или служило бы „империализму“ Екатерины, как утверждают другие. В том и другом случае оно утрачивает значительную часть своей идейной и художественной ценности. Но ценность утрачивает не только оно, но и все те произведения, которые были написаны под влиянием „Слова“ или на его мотивы. Ведь во всех этих случаях поэты, композиторы, художники оказывались в заблуждении, использовали не подлинное произведение, стилизовали свои произведения под уже стилизованный памятник XVIII в., а это не может быть безразлично для эстетической ценности и их собственных произведений» [Лихачев 1976: 147].

чески весь обширный комментарий Кинана к тексту *Слова* (четвертая часть монографии) посвящен лексике: гапаксам, потенциальным богемизмам и т. д. Я далек от мысли о том, что лексикой можно пренебречь, но «темнота» *Слова* обусловлена отнюдь не только лексикой, но и грамматическими характеристиками. Они, к сожалению, не привлекают внимания исследователя, и это наносит существенный ущерб его аргументации.

Приведу лишь один пример (число таких примеров можно было бы умножить). Кинан толкует строки 98—99 (с. 290—294):

у Пльсьнска на болони бѣша дебрь Кисаню,  
и не сошло къ синему морю.

Он пишет, что в этих строках «there are three distinct problems: the localization of Plesens'k; the identification of 'дебрь Кисаню (Кисаня?)'; and the interpretation of 'и не сошло'» (с. 290). Эти три проблемы Кинан и обсуждает. Предложенные им решения в разной степени убедительны. отождествление *Пльсьнска* с современным *Плиснесько* в Львовской области можно и принять, хотя гипотеза, согласно которой упоминание этого места обусловлено его значимостью для Добровского в связи с событиями Русско-турецкой войны 1787—1791 гг., кажется достаточно необязательной; речь ведь идет о сне Святослава, и вряд ли есть необходимость рационализировать географию этого сна.

Идентифицировать «дебрь Кисаню (Кисаня)» с библейским потоком (рекой) Киссоном представляется куда более затруднительным, так что к обнаруженному Кинаном «гебраизму» нельзя не отнестись скептически. В Библии Киссон — это несомненно поток (река, ручей), а никак не овраг, ров или долина. *Дебрь* в значении 'поток' в славянских языках практически не существует. Единственный пример на это значение обнаруживается в славянской Библии, Исход 7: 19 [ЭССЯ V: 176], и представляется сомнительным. Речь идет о том, как Господь приказал Моисею превратить в кровь различные «вместилища вод» в Египте (Аарон должен был простереть свою руку, как сказано в Библии короля Якова, «upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all their pools of water»). Английский перевод в целом соответствует Вульгате, где на месте *river* стоит *rivus* 'ручей, канава'. В Септуагинте, однако, мы находим *δωρυγή* 'ров', что и передается — вполне естественно — как *дебрь* в славянском переводе. Таким образом, 'поток' в качестве значения слова *дебрь* — это лексикографический фантом. Все прочие данные, которые можно извлечь из славянских памятников и славянских языков, указывают лишь на значения 'ров, ущелье, овраг', или 'долина', или, наконец, 'чаща'. Стоит отметить, что и Добровский, два раза упоминающий данное слово в своих *Institutiones*, приписывает ему исключительно значение 'vallis' [Dobrowsky 1822: 273, 296]. В этих условиях определение библейской реки Киссона как «дебри» оказывается неправдоподобным. Обнаруженный Кинаном гебраизм — это созданный им призрак.

Не это, однако, самое главное. Даже если принять все предложенные Кинаном сомнительные интерпретации, толкуемый пассаж остается невразумительным (испорченным), и печально именно то, что Кинан этого не понимает. Пусть *дебрь* значит что угодно, но это в любом случае форма ед. числа

(если так обозначен библейский поток Киссон, это ед. число никакой эмендации не поддается). Глагол *бѣша*—это, однако же, форма аориста мн. числа. Отсутствие согласования однозначно свидетельствует о том, что пассаж дефектен и требует эмендации; при этом сделать что-нибудь с глагольной формой довольно трудно: если переправлять ее в форму имперфекта ед. числа *бѣше*, придется заменить половину букв в слове, а результат все равно будет неудовлетворительный, поскольку имперфект от *быти*, как правило, не используется в так называемых presentational sentences. Кинан не обращает внимания на эту кардинальную проблему, предложенное им чтение никак ее не решает.

Аналогичным образом обстоит дело и со второй строкой. *Сошлю* вряд ли значит «swept away», но от отчаяния можно допустить и такой смысл. Прояснению текста, однако же, это никак не помогает, поскольку все равно переходный глагол оказывается употреблен без прямого дополнения. Так не бывает, эллипсиса здесь быть не может, поскольку эллипсис должен отсылать к какой-то именной группе в предшествующем тексте, а такой группы не находится. Мы наблюдаем здесь несомненную синтаксическую аномалию, требующую эмендации. Кинан и здесь просто не замечает проблемы. Кстати, Якобсон, который при всей своей тенденциозности и окказиональной недобросовестности был все-таки настоящим лингвистом, эти проблемы видел вполне ясно. Предложенная им эмендация «на болони бѣша дѣбрьскы сани и несоша ъ къ синему морю» [Jakobson IV: 176] остается сомнительной, но она, по крайней мере, решает обе основные проблемы, которые столь легкомысленно проглядел Кинан.

Я отнюдь не хочу сказать, что лексико-семантический комментарий к *Слову* (четвертая часть монографии) полон ошибок и необоснованных заключений. Напротив, он представляет большой интерес и содержит множество любопытных наблюдений. Ряд предложенных Кинаном эмендаций (см. список на с. 391—393) чрезвычайно остроумен и будет, как мне представляется, учтен в дальнейших опытах реконструкции текста. Как и в случае ряда других работ, посвященных *Слову*, этот комментарий вызывает смешанные ощущения, включающие и сожаление о том, что данный текст — периферийный для восточнославянской словесности (вне зависимости от того, как мы оцениваем его подлинность) — оказывается исследован в лексико-семантическом плане несравненно более тщательно, чем все памятники «домонгольского» периода. Эта диспропорция хорошо известна Кинану, сожалеющему в начале рецензируемой монографии о недостаточной разработанности восточнославянской лексикографии и замечаящему, что «the universe of ‘relevant’ texts, well-documented and properly edited, is pitifully small» (с. 26). Сама работа, однако, построена так, как будто лексико-семантические характеристики восточнославянских памятников нам достаточно хорошо известны, так что неподлинность *Слова* проявляется прежде всего в несовпадении его особенностей с этими характеристиками. Но, если мы будем держать в уме, что наша «фоновая» картина несовершенна, неполна, обладает многими неустраняемыми дефектами, заключения автора, основанные на анализе лексики, перестают казаться убедительными.

Дефектность нашего знания о лексическом материале, доступном восточнославянскому автору домонгольского периода, и в самом деле неустранима, так что дело здесь не только в несовершенстве существующих изданий и словарей. Кинан постоянно говорит о «relevant texts», и у читателя может создаться впечатление, что имеется обширный корпус текстов, в отношении которого следует оценивать лексику *Слова*. Ясно, что это ложная картина. Если говорить о текстах, созданных восточнославянскими авторами в домонгольский период и дошедших до нас, то все это богатство уместится в полдюжины не чрезмерно объемистых томов. В эти тома войдет несколько летописных памятников (грубо говоря, Лаврентьевская, Ипатьевская и Новгородская первая летописи с исключением частей, которые в них совпадают), несколько агиографических памятников (включая Киево-Печерский патерик), неопределенное, но не слишком большое количество поучений и проповедей, Русская Правда и княжеские уставы, некоторое количество договорных и прочих грамот, дошедшие до нас графитти и тексты на бересте, Моление Даниила Заточника и менее десятка переводов с греческого, восточнославянское происхождение которых кажется достаточно вероятным. Если добавить еще несколько мелочей, перечисление будет исчерпывающим. И это все.

Нет смысла обсуждать, много это или мало; оценка зависит от избранного эталона. Что существенно для нас и что очевидно даже из приведенного краткого списка, это неравномерная представленность в данном корпусе разных групп лексики. Описанный выше корпус едва ли не на девять десятых состоит из религиозной литературы. Поэтому, скажем, слова, обозначающие христианские добродетели и христианские пороки, церковные предметы и элементы богослужения, будут представлены в этом корпусе с достаточным разнообразием (нам сейчас безразлично то обстоятельство, что большинство этих лексем усвоено восточнославянской книжностью из инославянских переводов с греческого и латыни). Обозначения бытовых реалий или, скажем, предметов, связанных с военным делом, также, конечно, встретятся не раз, поскольку религиозная жизнь не проходит в вакууме, однако богатство этого пласта окажется куда более ограниченным. Нетрудно представить себе, наконец, такие семантические области, которые останутся почти в сплошных белых пятнах — например, наименования местной флоры и фауны<sup>3</sup>. Понятно,

<sup>3</sup> Это же, понятно, относится к оноματοпоэтическим обозначениям звуков, которые издают дикие звери и птицы. Кинан замечает, что «four of the birdsong lexemes that we have pointed out (щекот-, рокот-, клекот-, токот-) are either *hapax legomena* or very rare; a fifth (троскотати) is not used in relevant texts in the same meaning» (с. 244). Было бы странно, если бы ситуация была иной. Где именно могли бы появиться подобные слова? Не в *Слове же о законе и благодати* лебеди будут рокотать славу кагану Володимеру? И было бы странно, если бы Нестор в *Житии Феодосия* рассказывал о том, что дятел сопровождает его «тектом» на пути к монашескому благочестию. Стоит помнить, что для восточнославянской литературы киевского периода характерен по преимуществу городской ландшафт и что культура, отразившаяся в дошедших до нас текстах, — это в основном городская культура.

что словарь, присущий тому или иному памятнику письменности, существенно зависит от его жанра, а различные жанры древней восточнославянской письменности представлены в имеющемся у нас корпусе отнюдь не в равной пропорции. В этом корпусе *Слово о полку Игореве* (если предположить все же, что это не фальсификат) в жанровом отношении уникально.

Это обстоятельство нельзя не учитывать, когда мы говорим о встречающихся в *Слове* гапаксах и их значимости. Гапаксы — это отнюдь не специфическая черта *Слова*. Немалое их количество обнаруживается, например, в *Молении Даниила Заточника*, новые и новые гапаксы приносят извлекаемые из Новгородской земли берестяные грамоты. Вообще можно сказать, что чем периферийнее положение данного текста в корпусе дошедших до нас памятников, тем больше в нем появляется гапаксов, и этот эмпирический факт прекрасно согласуется со здравым смыслом. *Слово* (если предположить опять же, что это не фальсификат) занимает в корпусе древней восточнославянской словесности положение на его крайней периферии. Поэтому многочисленность гапаксов в этом тексте никак не является неожиданной.

Что делает филолог, анализирующий текст, когда в нем встречается гапакс? Он исходит из предположения, что данная лексема входила в доступный для автора текста словарный материал, и старается определить, основываясь на контексте и привлекая разнообразные данные, его исходную форму и значение. Так, например, расшифровываются (иногда с большим, а иногда с меньшим успехом) гапаксы *Моления* (см. ниже) или берестяных грамот. Именно в этих неизбежных поисках Кинан упрекает Якобсона. Согласно Кинану, Якобсон «attempted to demonstrate that almost any word thought by Mazon (or anyone else, for that matter) to be a *hapax*, anachronism, Polonism, or Gallicism can be found somewhere in the corpus of ‘Old Russian literature’, which Jakobson defined only implicitly, and quite generously: it included Old Bulgarian translations from Greek that had found their way to Russian manuscript collections or copies, medieval East Slavic texts of almost any provenance, seventeenth-century translations from Polish, Russian folklore in nineteenth-century transcriptions, all manner of non-literary texts, and, when it suited him, anything Ukrainian or Belarusian. When even such a deep trawl brought up nothing to refute Mason’s observation about the rarity or inexplicability of a given lexeme, reconstructions on the basis of any available form in any Slavic language or dialect would be brought into play» (с. 16—17). Если забыть, однако, о том, что подлинность *Слова* является спорной, это совершенно нормальная процедура, не всегда, конечно, приводящая к успеху, но нисколько не зазорная.

Стоит напомнить, что при установлении значения ряда гапаксов, встречающихся в берестяных грамотах, плодотворно использовался материал западнославянских языков. Это, конечно, не случайно, в этом факте отражается характер лексических изменений и лексической вариативности в восточнославянской диалектной области. «Исконная» лексика современных славянских стандартных языков предстает как результат многовекового отбора из того лексического фонда, который в позднем общеславянском (напомню, что рас-

пад общеславянского языкового единства датируется XI—XII вв.) был распределен по славянскому языковому ареалу существенно иным образом, чем в позднейшее время. Реликты этого состояния постоянно обнаруживаются в славянских диалектах: лексические элементы, характерные для одной группы славянских языков, фиксируются в диалектах другой группы. Во многих случаях такие факты свидетельствуют о том, что в более древнем временном срезе соответствующему славянскому ареалу была свойственна бóльшая лексическая вариативность, чем та, которая устанавливается по современным письменным текстам. Не стану приводить конкретные примеры, но укажу на диалектное распределение слов с начальным *kv-/cv-*, которые могут дать представление о параметрах данного явления: «западнославянское» *kv-* отмечается в самых разных и по видимости не связанных между собою восточнославянских говорах (отнюдь не только новгородского происхождения). В силу этого совсем не всякая лексическая единица, обнаруживаемая в восточнославянских древних текстах и находящая соответствие в западнославянском языковом ареале, должна характеризоваться как богемизм, полонизм и под.

Эти общие соображения побуждают с известным скепсисом отнестись к обширному списку богемизмов, собранных Кинаном, а именно они, по существу, и являются доказательством авторства Добровского. Действительно, приведя в конце работы перечень обнаруженных богемизмов, Кинан восклицает: «[W]e now have a sense of how ‘Bohemian’ the text is. That is, a considerable number of the familiar *hapax legomena* are such no more when juxtaposed with the rich Czech and Old Czech material» (с. 393). Таким образом, метод Кинана как раз и состоит в том, чтобы сначала выделить многочисленные гапаксы (формальные и семантические), потом найти для этих гапаксов чешское объяснение, а затем выпустить на сцену чеха Добровского, который — вольно или невольно — эти богемизмы произвел. При отсутствии каких-либо позитивных данных, указывающих на причастность Добровского к появлению *Слова* (см. ниже), апелляция к гапаксам и богемизмам оказывается главным аргументом (плюс еще *урим* и *алтан*, к которым мы обратимся позднее).

Поскольку многочисленность богемизмов имеет для Кинана решающее значение, он стремится увидеть их даже там, где для этого нет ровно никаких оснований. В числе богемизмов оказывается, например, наречие *тяжко* (ср. в *Слове*: «тяжко ти головы кромѣ плечю» с приемлемой эмендацией *головѣ* вместо *головы*; *головы* может рассматриваться как диалектный дат. ед., обязанный своим появлением псковскому переписчику не дошедшей до нас рукописи). Кинан замечает, что это слово, появляющееся в Ипатьевской летописи, «appears to be otherwise rare in Rus’ian texts» (с. 389—390). Каковы статистические параметры этой редкости, автор не уточняет, но даже элементарное обращение к словарю Срезневского (III, стб. 1104) показывает, что данное наречие со значением ‘трудно, затруднительно’ встречается в текстах восточнославянского происхождения неоднократно (в Новгородской первой летописи и в грамоте митрополита Алексея 1356 г.); имеющиеся данные ни о какой особой редкости данного слова не говорят. Далее Кинан

утверждает, что «[i]t is not a Russian word, having been supplanted by тяжело» (с. 390). Это просто неверно; *тяжко* — это вполне обычное русское слово, употребляющееся наряду с *тяжело*, возможно, с несильно выраженным оттенком разговорности (*Ох! тяжко; тяжко жить на свете* — вполне обычные русские фразы). Можно думать, следовательно, что *тяжко* в значении ‘трудно, затруднительно’ употреблялось восточными славянами с незапамятных времен и никуда из их языка не исчезало. На этом фоне представляется совершенно не релевантным то отмеченное Кинаном обстоятельство, что «[i]n Czech and Old Czech, however, *těžko*, in various combinations, is the standard word for ‘it is difficult’» (там же). У чехов свое, и у восточных славян свое, так что ни о каком богемизме здесь говорить не приходится.

Еще более неадекватным представляется комментарий к выражению *по суху*. Здесь Кинан замечает, что «this expression, and the underlying noun, *сухо*, are apparently not attested in any original Rus’ian or Old Russian text. By contrast, *сухо* is the standard Czech word for ‘dry land’ (...) Dobrovský’s use may have been influenced by his reading of Križanić *Izkazanje*, which lists the phrase ‘*posuhu i po mokru*’» (с. 324). Начну с того, что наличие существительного *сухо* — это не имеющий ровно никакого отношения к делу факт: наречия на *по-* не являются отсубстантивными образованиями (ср. в русском: *помалу, помногу*, ср. еще известную поговорку: *не по хорошу мил, а по милу хорош*). Отсутствие данного слова в тех памятниках, которые Кинан считает «релевантными» для *Слова*, никак не говорит о том, что оно не могло быть в употреблении у восточных славян в достаточно ранний период. В примечании, обесмысливающим процитированный выше пассаж (автор, кажется, не осознает этого прискорбного для него обстоятельства), приводятся примеры употребления *посуху* в восточнославянском переводе Иосифа Флавия, в *Шестодневе* Иоанна экзарха Болгарского и в *Повести о Варлааме и Иоасафе* (там же, примеч. 816). Конечно, Кинан может обозвать все эти примеры церковнославянскими («Slavonic»), но это ничего не меняет. Никакой четко обозначенной оппозиции церковнославянской и восточнославянской лексики в средневековом восточнославянском узусе не существует (в том числе и в «домонгольский» период), так что невозможно сказать (Кинан, к счастью, этого и не делает), что лексический состав *Слова* должен радикально отличаться от лексического состава «церковнославянских» памятников, а все совпадающие лексемы представляют собой в *Слове* инородный элемент. Если — вне зависимости от своего происхождения — лексема имела в письменном узусе домонгольского периода, нет ни малейших оснований искать для нее (для ее употребления в *Слове*) каких-либо посторонних источников. Это особенно очевидно, когда речь идет о церковнославянских памятниках восточнославянского происхождения, таких как *История иудейской войны* Иосифа Флавия<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Замечу между прочим, что в последнем издании этого памятника интересующая нас форма *по суху* (прїдохъ же на шбличники моа по соухъ [Пичхадзе и др.

Перевод Иосифа Флавия был выполнен на восточнославянской территории приблизительно в то же время, к которому сторонники аутентичности *Слова* относят момент его создания. И с этих пор *посу*ху никуда из восточнославянской письменности не исчезало<sup>5</sup>. Абсолютно очевидно, что чешский здесь совершенно ни при чем. Даже если *Слово* написал Добровский, он мог подхватить это выражение на любой российской улице или в любом прочитанном им церковнославянском тексте, не обращая ни к существительному *sucho* в чешском языке, ни к записи Крижанича. Подобные поиски богемизмов не приносят никаких дополнительных доказательств, но лишь создают впечатление маниакальности.

Это лишь два примера, но они говорят о качестве лексикологических наблюдений автора в целом. Значительная часть выделенных Кинаном богемизмов представляется сомнительной или во всяком случае требующей более серьезных доказательств. Так обстоит дело с *позримь* во фразе «да позримь синего Дону» (с. 208—210); генетивное управление глагола *зърѣти* обычно и никакого специального объяснения не требует [Крысько 1994: 163], предлагаемое Кинаном чтение произвольно. Так же обстоит дело со словом *жадость*, которое Кинан предлагает как замену слова *жалость* во фразе «жалость ему знаменіе заступи» (с. 211—212); такая эмендация допустима, однако глагол *жадати* хорошо известен в ранних памятниках восточнославянского происхождения, а поэтому нет никакой необходимости рассматривать гипотетическую *жадость* как богемизм. Аналогичные возражения вызывает трактовка прилагательного *буй*, положительные коннотации которого в «буй Турь Всеволодь» Кинан объясняет влиянием чешского *bujný* (с. 226—228); в русском фольклоре *буйный* также может иметь подобные коннотации, ср. *буйная голова*, и ничто не мешает думать, что это значение было в восточнославянском сколь угодно рано. Столь же сомнительна интерпретация слова *свычай* во фразе «свычая и обычая» (с. 263); слово *свычай* в значении ‘habit, custom, etc.’ известно восточнославянским памятникам<sup>6</sup>; час-

2004: I, 138) совершенно правильно приведена в указателе в статье с лемматизированным прилагательным *соухъ* [Там же: II, 372].

<sup>5</sup> Приведу несколько примеров, воспользовавшись картотекой Словаря древнерусского языка XI—XVII вв., *Толковая Палея* (ГИМ, Син. 591; А. Попов датирует рукопись XV в.): *и прїидоша вси людїе їслеви посухуу ѿрдамъ* [Попов 1881: 113 второй пагинации]. *Житие митрополита Алексія* Пахомия Логофета по рукописи XVII в.: *и елико посуху бес пакости преиде. и елико по вшдамъ бе<sup>3</sup> бѣды морскую глубину преплова<sup>4</sup>* [Пахомий Логофет 1877—1878: 59]. *Измарагд* по рукописи БАН, 13.2.7 первой половины XVI в.: *постив<sup>5</sup>са елестїи мѣтвою юрдаи посухъ преиде* (л. 233г). *Сказание Авраамия Палицына*: «И немедленно послав на Елец много избранного наряду пушечново, по Дону же плавною (вар. поплавною) и по суху польскими проходы повеле рати ити» [Черепнин 1955: 114]. Ср. еще *по суху* в *Сказании о Моисеи* [Пыпин 1862: 49], в Прологе XV в. (БАН, 24.4.33, л. 7а), в Великих Минеех Четиих [ВМЧ, Октябрь 19—31, стб. 1931] и т. д.

<sup>6</sup> Ср. пример из *Киево-Печерского патерика* в Словаре русского языка XI—XVII вв. [СРЯ XI—XVII 24: 197]. Если предполагать, что *Слово* — это все же восточ-



тичная редупликация характерна для самых разных поэтических традиций, включая восточнославянские. Нет ровно никаких оснований трактовать в качестве богемизма глагол *мыкати* в значении ‘to throw, toss, cast’, который, как отмечает сам Кинан, встречается не только в *Слове*, но и у Даниила Заточника (с. 277—278); поскольку последний текст явно восточнославянского происхождения, нет никакой причины говорить о чешской подоплеке. Так же плохо обстоит дело с существительным *власть* в значении ‘patrimony’ (с. 305); это значение хорошо засвидетельствовано в литературе киевского периода у полногласного эквивалента данного слова *волость*; поскольку в обычном случае спектр значений полногласных и неполногласных основ в текстах раннего периода совпадает, потенциально такое значение присутствует и у слова *власть*. Не более убедительна трактовка формы *княже*, в которой Кинан видит испорченное старочешское *kněžie* с собирательным значением (с. 310—311); если считать форму испорченной, с тем же успехом можно восстановить собирательное существительное *княжся*, известное восточнославянским памятникам. Недоумение вызывает и интерпретация глагола *трусити*, который, как это известно Кинану, употребляется и в *Молении Даниила Заточника* (с. 379); как при этом он может быть «apparently absent in Rus’ian» и зачем для него нужен чешский эквивалент, Кинан не объясняет.

Этот перечень можно было бы продолжать и продолжать, однако достаточно и приведенных примеров. Остановлюсь лишь на еще одном толковании Кинана, связанном с богемизмами. Известны сложности в интерпретации набора персонажей из окружения Ярослава Черниговского в так называемом Златом слове Святослава: «съ Могуты и съ Татраны, и съ Шельбиры, и съ Топчаки, и съ Ревугы, и съ Ольберы». Кинан полагает, что «this is a playful series: all but one (топчак) can be deciphered according to a simple principle: they are all derisory, and all represent wordplay, Czech and/or Slavonic, on the alleged attributes of Iaroslav’s ‘nobles’» (с. 306). *Могуть* Кинан расшифровывает с помощью чеш. *tohutný*, слав. *могутъ*; *татранъ* — с помощью чеш. *tatroman* ‘clown, jester’; *шельбиръ* — с помощью чеш. *šalbiř* ‘deceiver’; *ревуга* — с помощью нигде не засвидетельствованного, но чехоподобного \**řevuha* ‘howler, crybaby’; и наконец *ольбрь* — с помощью лишь частично похожих слав. *обръ*, чеш. *olbřim* ‘giant’ (с. 307). Насколько убедительна такая реконструкция, насколько предполагаемые богемизмы проясняют смысл этого темного пассажа? Я бы сказал, на треть, и это не слишком много. Действительно, лишь *татранъ* и *шельбиръ* естественно подходят под рубрику «playful series», тогда как *силач* и *великан* ничего специально игрового в себе не содержат, а *топчакъ* и *ревуга* остаются вообще без правдоподобного объяснения.

---

нославянский памятник XII в., примеры из украинской средневековой письменности могут рассматриваться наравне с примерами из русской средневековой письменности. В этой перспективе нет никаких оснований трактовать украинские примеры как привлечение не имеющего отношения к делу материала.

Если считать, что *Слово*—это памятник XII в., подобные темные места могут нас смущать не слишком сильно: наименования нестандартных персонажей легко подвергаются искажениям при переписке и восстановить их первоначальную форму и значение невозможно. В этой связи можно вспомнить известный пассаж из *Моления Даниила Заточника*, «whose relationship [как справедливо замечает Кинан] to the *IT* [Igor' Tale] <...> is close» (с. 277): «Королязи бо и ковари, офорозѣ, рытиры, мोगистрове, дуксовѣ, бокшородѣ и форози—тѣм имѣют честь и милость у поганых салтанов и у королев» [Зарубин 1932: 70—71; Colucci, Danti 1977: 190—191]. И для этих наименований предлагались разнообразные противоречащие друг другу толкования, отсылающие к возможным иноязычным источникам данных слов (см. обзор этих гипотез в цитированном издании Коллучи и Данти), однако ни одно из предлагавшихся чтений не является, на мой взгляд, удовлетворительным, так что все предложение можно рассматривать как безнадежно испорченное. Не кажется странным, что такова же ситуация и с разбираемым пассажем *Слова*. Если, однако, *Слово* написано Добровским, нельзя не задаться вопросом, как был создан этот странный перечень, соединяющий «игровые» богемизмы с неигровыми славянизмами с добавкой слов, которые при данном замысле вообще никакого оправдания не имеют (*топчакъ*). Чешский субстрат явно не дает хорошего объяснения, и в этом случае кажется предпочтительным признать существование в *Слове* еще одного темного и не поддающегося прояснению места.

Вообще, гипотеза об авторстве Добровского, снимая некоторые вопросы, создает изрядное число новых проблем, и Кинан, кажется, не вполне отдает себе в этом отчет. Кинан не скрыл от нас готические тайны отца нашей науки. Добровский был сумасшедшим и время от времени впадал в состояние делириума. Сумасшествие, однако, не равнозначно идиотизму, и Кинан резонно утверждает, что даже при обострении болезни Добровский сохранял свои интеллектуальные способности. Иными словами, он был сумасшедшим, но никак не дураком. Если при этом он задался целью создать текст, который должен был выглядеть как произведение древней восточнославянской поэзии, зачем он делал очевидные глупости, например, помещал в разбиравшийся выше перечень слова *ревуга* и *топчакъ*, употребление которых, как он не мог не знать, совершенно с поставленной им целью не согласовалось? Или, скажем, зачем он употребляет «conversational Czech *šiv*» вместо обычного *совы* во фразе «съ вечера бусови врани възгряяху», который Кинан читает как «с вечера бо суви [и] врани възгряяху» (с. 289—290)? Зачем ему понадобился этот нелепый богемизм, когда он мог употребить нормальную и, надо думать, известную ему форму *совы* (см. *сова noctua* в [Dobrowsky 1822: 96])? Замечу, между прочим, что каркающие совы создают достаточно неправдоподобную картину. Какая дурость могла побудить Добровского поставить 1 epentheticum в формах *зремлеши* и *зримлють* (с. 259), да потом еще и отметить их как странность в своих записках при чтении *Слова* в издании Ганки 1821 г.?<sup>7</sup> Аналогичное

<sup>7</sup> Объясняя формы с *гри-*, появляющиеся не только в *Слове*, но и в *Задонщине*, Кинан рассматривает их «perhaps as the result of Muscovite ikan'е» (с. 259). О каком

недоумение вызывает и интерпретация *Салтани* как *съ алтаны* (с. 329): неужели Добровский не мог сообразить, что заимствованный итальянский архитектурный термин не подходит для древнего восточнославянского сочинения? Не менее странным выглядят предложенные Кинаном толкования гапакса *папорзи* (с. 332—333): либо как «а Cyrillic equivalent of the Czech *náprsník*» (со значением ‘breastplate’) <sup>8</sup>, либо как формы, построенной по модели чеш. *poprsí* и означающей торс. В обоих случаях здесь возникает грамматическая несообразность: у Романа и Мстислава должно было быть на двоих два торса или два панцыря, и в этом случае следовало бы ожидать формы дв. числа (см. «суть бо у ваю желъзныи папорзи»; *папорзи* — явно форма им. мн. м. рода). И после этого Кинану приходится недоумевать, с какой стати безумный Добровский рекомендовал Шишкову переводить это слово как чеш. *popruh* (*подпруга*).

Здесь, пожалуй, уместно сделать одно общее замечание. Темные места остаются в различных древних памятниках, как правило, не от того, что у комментаторов недостает воображения, чтобы переиначить подобные пассажи во что-нибудь вразумительное. Переиначивание не может быть безудержным, поскольку в ином случае филолог, привыкший к манипуляциям с языком, может прочесть все что угодно на месте чего угодно. Произвол в эмendaциях требует определенных ограничений, хорошо известных традиционной критике текста. Кинан (как, впрочем, и многие другие комментаторы *Слова*) с этими ограничениями не слишком считается. Например, в принципе, обычно исключаются такие чтения, которые требуют постулировать значения, не засвидетельствованные в памятниках одного и того же языка, т. е. интерпретатор не имеет права предполагать в реконструируемом тексте макаронизм. Кинан подобные чтения допускает и во фразе «другаго дни велми рано кровавыя

---

иканье можно говорить для раннего периода и каким образом оно могло реализоваться в ударенной позиции, остается неясным и заставляет в очередной раз с подозрительностью отнестись к лингвистической и филологической компетентности автора.

Аналогичные сомнения возникают, когда Кинан со ссылкой на словарь Срезневского упоминает славянский перевод *Поучений огласительных* Кирилла Иерусалимского, указывая, что они «seem (...) to have been translated into Slavonic (probably in Bulgaria) in the twelfth century» (с. 286, примеч. 647). Срезневский, однако, ссылается на известную рукопись *Поучений огласительных* (ГИМ, Син. 478), которая сейчас обычно датируется концом XI — началом XII в. [Сводный каталог 1984: 84—85] и должна быть известна каждому квалифицированному филологу. Перевод несомненно был сделан у южных славян раньше — в X или (менее вероятно) XI в., и это тоже относится к элементарной филологической осведомленности.

<sup>8</sup> В этом случае Кинан опирается на свою гипотезу, согласно которой Добровский первоначально написал *Слово* латиницей и лишь потом оно было транслитерировано в кириллицу. В процессе транслитерации «the original Roman *n* was read as a Cyrillic *n*, a highly common error» (с. 333). Какую статистику ошибок имеет в виду Кинан, никому неизвестно. Очевидно, однако, что, если для эмendaций использовать не только возможность подстановки одной кириллической буквы на месте другой, но еще и взаимозамены латиницы и кириллицы, возможности у интерпретатора оказываются безграничными.

зори свѣтъ повѣдають» интерпретирует *другаго дни* как богемизм со значением 'на следующий день' (никакой необходимости постулировать здесь богемизм нет), но в то же время считает, что «the author here uses *рано* not to mean 'morning', as in Czech and elsewhere in the *IT*, but in its modern Russian meaning, as an adverb for 'early'» (с. 251)<sup>9</sup>. Эту непоследовательность Кинан объясняет тем, что Добровский не расставался с «his playful awareness of polysemia» (там же; указания на этот фактор встречаются и в других местах рецензируемой книги). Была ли у Добровского подобная игривость, сказать трудно, но очевидно, что, утверждая такую возможность, интерпретатор допускает для себя полный произвол при истолковании текста<sup>10</sup>.

Такого рода произвол встречается на страницах рецензируемой книги неоднократно. Так, скажем предложение «Вежи ся Половецкїи подвизашася» Кинан читает как «The Polovetsian ranks were set in motion» (с. 376). *Вежа* в старых славянских памятниках (в том числе в восточнославянских) имеет два основных значения: 'кибитка' и 'башня' (см. у Срезневского, I, s.v. *вѣжа*). Первое значение по видимости лучше подходит для рассматриваемого контекста, хотя при метафорическом употреблении можно представить себе и значение 'башня'. Для выбора нет достаточных оснований, и текст поэтому целесообразно оставить в покое. Кинан, однако, предполагает, что Добровский мог прочесть *Российскую историю* Федора Эмина, обнаружить там ошибочное толкование слова *вежа* (Эмин приписывал ему значение войскового отряда), решить, что он имеет дело с «another Russian/Czech homonym» (с. 376) и употребить данное слово в указанном ошибочном значении. Зачем нужен весь этот набор сомнительных гипотез, остается неясным, однако произвол интерпретатора обнаруживается в нем в полной мере. Не менее деструктивным с точки зрения эмендационной техники является допущение, высказанное по поводу одной из последних строк *Слова*, согласно которому «the author intended that this line be stricken once he had written what follows» (с. 386).

<sup>9</sup> Замечу между прочим, что значение 'early' выделяется у *рано* отнюдь не только в современном русском языке, но и в более древние периоды (ср. хотя бы примеры в Словаре Срезневского, III s.v. *рано* или в [СРЯ XI—XVII 21: 273]).

<sup>10</sup> О том, насколько далеко может завести понятие игрового употребления, насколько легко можно подвести под эту категорию любую особенность текста, свидетельствует трактовка в рецензируемой книге полногласных форм. Кинан рассматривает употребление форм типа *не бологомь* в соседстве с неполногласными формами как «examples of the author's non-systemic, playful use of this contrast» (с. 198). Какого типа «игра» имеет здесь место, Кинан не объясняет и тип представленной в *Слове* вариативности не исследует. При этом подобное безразборное употребление полногласных и неполногласных форм никак нельзя считать исключительным свойством *Слова*. Примеры подобных чередований в летописях многочисленны, и *Слово*, видимо, никак особо не выделяется на их фоне. Конечно, если придерживаться гипотезы Кинана, это может быть объяснено тем, что летописные памятники были достаточно хорошо известны Добровскому и он воспроизводил характерный для них узус. Кинан, однако, придумав «игру» в качестве универсального объяснительного инструмента, предпочитает пользоваться им даже там, где для этого нет необходимости.

По существу, аналогичные возражения вызывают и две наиболее заметные эмендации Кинана, в самом деле дающие, на первый взгляд, более осмысленные чтения, нежели иные попытки прояснить соответствующие темные места. Речь идет об уже упоминавшейся интерпретации фразы «Стрѣляеши съ отня злата стола Салтани за землями» как «съ алтаны за землями» (с. 329—331) и о предложении в строке «Се Уримъ кричать подь саблями Половецкыми» рассматривать *Урим* как гебраизм, дающий согласование по мн. числу (с. 312—318). Если в первом случае преимущества предложенного Кинаном чтения не слишком велики (текст и без эмендации достаточно вразумителен), то во втором случае оказывается проясненным одно из темных мест *Слова* (многочисленные конъектуры, предлагавшиеся исследователями, связаны с достаточно существенными изменениями имеющегося текста). Кинан предлагает видеть в последовательности *Урим* библейский Урим, тот сакральный и исполненный мистического значения предмет, который должен был помещаться в эфод иудейского первосвященника (Исх. 28: 30). Кинан утверждает, что «[w]e now have a context that permits — indeed requires — that we reject all previous conjectures, and translate this line simply, without emending either noun or verb, and with confidence: ‘Lo! The *urim* [i. e., objects on or in Volodimer’s breastplate] are crying out under the sabres of the Polovtsians’ (...) I hold this reading to be indisputable, and very important in several respects» (с. 317).

Важность предложенного чтения не требует особых комментариев. Если оно действительно «неоспоримо», вопрос о подлинности *Слова* можно считать решенным, поскольку *урим* (равно как и *альтана*) не могли появиться у автора XII в. Такое употребление твердо относит появление текста к Новому времени и к тому же — учитывая исключительную (среди потенциальных славянских авторов) осведомленность Добровского в ученой библеистике — почти однозначно указывает на него как на творца *Слова*. Первая бросающаяся в глаза несообразность этого решения состоит в том, что совершенно неясными оказываются намерения Добровского. Мы уже говорили, что Добровский, даже будучи сумасшедшим, никак не может подаваться как идиот. Невозможно представить себе, чтобы Добровский не понимал, что в создаваемом им «древнем славянском» тексте, который должен был бы быть написан в XII или XIII вв., *урим* немислим. Каковы бы ни были мистические, масонские или гебраистические представления Добровского об этом слове, он не мог не сознавать, что в средневековом восточнославянском тексте оно окажется анахронизмом (заметим, что славянскую Библию, равно как и Септуагинту, в которых нет никакого *урима*, Добровский достаточно хорошо знал).

Как он мог так опростоволоситься? Или он сознательно рассчитывал на идиотизм своих будущих читателей, которые не поймут этого пассажа (что и случилось), а потом со злорадным удовольствием взирал на их нелепые попытки разгадать загаданную им загадку? Не слишком ли это хитроумно даже для сумасшедшего Добровского? Или мы опять имеем здесь дело с его «playful awareness» двусмысленности создаваемого им текста? Сколько загадок мы вправе списать на эти игровые фокусы ученого безумца (держа в уме,

что игрой можно объяснить любую нелепость)? Кинан не дает ясного ответа на вопрос о том, какие цели преследовал Добровский, сочиняя *Слово*. Был ли он сознательным мистификатором со славянофильскими амбициями, как Ганка? Тогда зачем анахронизмы? Или он смастерил свою подделку просто так, без всякой особой цели, и просто так послал ее Елагину? Тогда как мог Елагин, который тоже не был идиотом, процитировать этот текст в качестве подлинного древнего сочинения? Без ответа на эти вопросы хитроумные игры Добровского представляются натяжками интерпретатора, выдуманными *ad hoc* для непозволительных манипуляций с текстом — даже в тех случаях, когда подобные манипуляции создают по видимости убедительное чтение.

Здесь мы вновь сталкиваемся с общим, принципиальным вопросом. Отвлекаясь сейчас от проблемы подлинности *Слова*, мы можем спросить себя, насколько радикальные манипуляции с текстом мы вправе проделывать, чтобы избавиться от темных мест. В конце концов, темные места неизбежно возникают в результате порчи текста при неоднократной переписке. Текст бывает испорчен столь безнадежно, что реконструировать оригинал нет никакой возможности. В таких случаях от филолога ожидается смиренное признание своего бессилия, а не приступ филологического буйства. Поясню на примере. Как уже говорилось, *Моление Даниила Заточника* представляет собой такой же осколок неведомой секулярной культуры Киевской Руси, как и *Слово* (если, конечно, считать последнее подлинным произведением). Неудивительно поэтому, что переписывавшие его писцы были не в состоянии адекватно воспринять и воспроизвести текст. В результате мы находим в нем, например, следующий пассаж: «а инии, скочив, метается в море съ брега висока конем своим, очи накрыв фареви, ударяя по бедрам, глаголетъ: сѣни ту фенардусь! За честь и милость царя нашего отчаяхомся живота!» [Зарубин 1932: 70—71; Colucci, Danti 1977: 190—191]. Что именно восклицает бросающийся в море акробат, останется, боюсь, навсегда неясным. Конечно, если мы позволим себе расшифровывать *сѣни ту фенардусь* с помощью любых языков — от хауса до древнеирландского, мы скорее всего сможем приискать какой-либо подходящий смысл. Кажется, однако, что лучше этого не делать и смиренно остаться при темном месте. Эти же соображения относятся к завлекательному *уриму*.

Мы можем теперь вернуться к нашему исходному тезису, согласно которому проблема подлинности *Слова* — это вопрос целиком лингвистический. Как мы видели, разбор лексики этого памятника однозначного ответа на вопрос о подлинности не дает. Это и неудивительно. Слишком фрагментарны доступные нам сведения о лексике восточнославянских памятников, относящихся к периферии корпуса литературы, имевшей хождение в Киевской Руси. Ряд эмендаций, предложенных Кинаном и указывающих на позднее происхождение памятника, остается сомнительным. Часть богемизмов, обнаруженных Кинаном и делающих вероятным авторство Добровского, на самом деле богемизмами не являются. Относительно ряда других можно полагать, что лексема или одно из значений лексемы, запечатлевшееся в современном чешском языке или представленное в старочешских памятниках, были возможны и в

восточнославянском узусе. То, что их фиксации единичны, обусловлено ограниченностью — применительно к тематике — восточнославянского корпуса. Конечно, эти соображения вряд ли достаточны для того, чтобы исключить возможность фальсификации (мистификации), но они по крайней мере показывают, что признание *Слова* подделкой — это никак не единственная возможность интерпретации данного текста. Ни единого примера, требующего такого признания, Кинан не приводит.

Существеннее, как я уже упоминал, показания грамматических параметров *Слова*, но именно на них Кинан не обращает практически никакого внимания. Оказионально появляющиеся в монографии заметки о грамматических характеристиках текста в большинстве своем кажутся неадекватными. Странно читать, когда Кинан о предложении «Уже соколома крильца припѣшали поганыхъ саблями, а самую опустоша въ путины желѣзны» пишет как о «fine example of learned Slavonic, with its correct duals, inverted word order, correct use of tenses, and the like» (с. 295). О каком «правильном» употреблении времен можно здесь говорить, когда в качестве однородных сказуемых в данном предложении появляются перфект без связки (*припѣшали*) и аорист (*опустоша*) без всякого различия в значении? В этом контексте ожидалось бы два аориста, хотя не вызвали бы недоумения и два перфекта, поскольку суммирующее или результативное значение глаголов может выступать здесь на первый план благодаря наречию *уже*<sup>11</sup>. Для употребления разных форм глагола никаких предпосылок в рассматриваемом контексте нет. Конечно, такое употребление времен встречается в восточнославянских памятниках (например, в *Поучении Владимира Мономаха*), но к «learned Slavonic» оно никакого отношения не имеет; Кинан просто не понимает, о чем он говорит. Это важно, поскольку встает вопрос, насколько Добровский был в состоянии воспроизводить по известным ему памятникам такой лишенный систематичности узус. Благодаря своим грамматическим штудиям он, видимо, мог без особого труда порождать ученый славянский текст, однако его способность подражать специфической и во времена Добровского совершенно не изученной вариативности древних восточнославянских текстов куда более проблематична.

Взглянем, например, на его употребление дв. числа. В свое время, опровергая Андре Мазона, А. В. Исаченко исследовал это употребление и показал, что те гипотетические русские фальсификаторы, о которых думал Мазон, не имели достаточных сведений о дв. числе, чтобы породить те его формы, которые мы находим в *Слове* [Исаченко 1941]. Добровский, конечно, не в пример своим русским коллегам, представлял себе, как было устроено дв. число в древних славянских языках. Более того, мы знаем, какими сведениями он располагал в этой сфере, поскольку эти сведения он изложил в своих «Institutiones linguae slavicae dialecti veteris» [Dobrowsky 1822]. В этом плане обращение к грамматике *Слова* обладает преимуществами сравнительно с изучением лексики данного памятника. Мы не только имеем дело со сравнительно лучше

<sup>11</sup> О значениях перфекта см. работу Э. Кленин [Klenin 1993].

документированной и лучше изученной областью, но и можем достаточно точно определить пределы эрудиции Добровского, определить, что он знал и в каком виде существовала эта информация. Сопоставление грамматики *Слова* с «Institutiones» Добровского предпринято недавно в весьма убедительной статье О. Б. Страховой [Страхова 2003], выводы которой в целом совпадают с приводимыми ниже наблюдениями.

Кинан не оставляет формы дв. числа полностью без внимания. По поводу диалога Гзака и Кончака он замечает, что данный пассаж «is full of favorite conceits of the author [имеется в виду Добровский]: six uses of the archaic dual...» (с. 388). Не совсем ясно, конечно, почему формы дуалиса, неизбежные в тексте XII в., в том числе и в поддельном, могут рассматриваться в числе «favorite conceits», но это мелкое замечание, лишь очередной раз подтверждающее неспособность Кинана интерпретировать грамматические явления *Слова*. В другом случае, комментируя строчку «Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена», Кинан характеризует ее как «a typical Dobrovský line: ambitiously archaic (Slavonic dual pronoun ваю and neuter plurals), perhaps just a bit inaccurate...» (с. 302). В чем именно амбициозность нормального (для XII в., т. е. для времени, на которое, согласно Кинану, метил Добровский) употребления местоимения *ваю*, понять трудно<sup>12</sup>, однако еще сложнее понять, как мог Добровский употребить «неправильные» формы ср. рода (формы мн. числа вместо ожидаемых согласованных с местоимением форм дв. числа). Сказать о них, что они «perhaps just a bit inaccurate», — это значит не сказать ничего. В каком смысле они немного неточны? Трудно представить себе, что Добровский не справился с производством правильных форм: парадигмы дв. числа в «Institutiones» в данном отношении безупречны. Следует ли в противном случае полагать, что Добровский допустил эти отклонения сознательно? И эта гипотеза кажется сомнительной, поскольку в таком случае придется думать, что Добровский последовательно имитировал узус даже не восточнославянских памятников XII в., а узус тех позднейших рукописей, в которых эти памятники до нас дошли. Хотя Добровский и видел некоторое количество подобных рукописей (по большей части недатированных, а для палеографических датировок знаний у него, как и у других филологов в конце XVIII в., было явно недостаточно), подобное допущение представляется неправдоподобным.

Здесь стоит повторить (с некоторыми оговорками) то, что писал Исаченко более полувека назад (Кинан с этой работой, прискорбным образом, остался незнаком): «Если принять точку зрения проф. Мазона и утверждать с ним, что „Слово“ — подделка конца XVIII в., и если при этом предположить, что автор ее обладал маловероятной для своей эпохи лингвистической эру-

<sup>12</sup> Лишним является, конечно, и эпитет «Slavonic». Если речь идет о XII в., хотя бы и поддельном, местоимение *ваю* в той же мере принадлежит восточнославянскому узусу, как и церковнославянскому. «Slavonic» наводит на мысль, что Добровский позаимствовал эту форму из каких-то церковных текстов, что, учитывая общий характер употребления дв. числа в *Слове*, кажется неправдоподобным.



дицией, позволившей ему справиться с трудностями двойственного числа, то возникает вопрос, почему этот гипотетический фальсификатор, усвоив раз навсегда „архаические“ формы двойственного числа, не применил их во всех случаях, а „дозировал“ их именно так, как, по новейшим исследованиям, этого требовал старорусский язык конца XII века» [Исаченко 1941: 37]. Хотя нужно оговориться, что речь должна была бы идти не о текстах конца XII в., а об их списках, аргумент Исаченко сохраняет силу. Более того, он становится еще актуальнее, поскольку Добровский как раз обладал «мало вероятной для своей эпохи лингвистической эрудицией».

Взглянем через призму Добровского на те отступления от «правильного» употребления дв. числа, которые Исаченко отмечает в *Слове*. Таких отступлений немного. Начнем с самого простого. Строка 88 (по разбивке Якобсона) читается: «Тїи бо два храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодь уже лжу убуди...». Форму аориста 3 лица ед. ч. *убуди* (вместо *убудиста*) можно трактовать как случайную опisku Добровского или издателей (хотя такого рода случаи рассогласования встречаются в поздних списках древних памятников), однако *тїи* вместо *та*—это типичное для русской рукописной традиции отступление, которое трудно приписать Добровскому, прямо указывающему на правильные формы: «pronomen demonstrativum **тои**: **та**, f. **тѣ**, **тою**, **тѣма**» [Dobrowsky 1822: 511]. Столь же необъяснима форма *ихъ* вместо *ею* в продолжении той же фразы (*отець ихъ Святъславъ*). И здесь правильная форма была хорошо известна Добровскому (там же, 512), и при этом не представляется возможным списать *ихъ* на подражание непоследовательному летописному узусу: как раз в летописной статье 1186 г., на которую Добровский должен был бы непосредственно ориентироваться, форма *ею* употребляется без нарушений [Исаченко 1941: 38].

В строке 103 находим длинный ряд правильных форм дуалиса: «два солнца помѣркаста, оба багряная стѣлпа погастоста, и съ нимъ молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ тѣмою ся поволокоста». Начинается этот ряд, однако, с отступления: вместо *два солнца* должно было бы стоять *двѣ солнци*, и Добровский несомненно знал об этом (ср. правильную форму дуалиса **сѣрдци** в [Dobrowsky 1822: 513]). Как мы теперь знаем, унификация формы существительного в сочетании с числительными *дѣва*, *три*, *четыри* начинается у восточных славян рано и первоначально захватывает именно формы ср. рода [Зализняк 1995: 147—148; ср.: Жолобов и Крысько 2001: 73; Страхова 2003: 48], так что *два солнца* идеально вписываются в узус рубежа XII/XIII вв. И Добровский располагал сведениями об этой унификации, но рассматривал ее как позднюю русскую инновацию, ср.: «**двѣ**, **обѣ** etiam neutris conveniunt: **обѣ рамѣ**, **двѣ говадѣ**; **двѣ свѣтилѣ велицѣ** olim Gen. 1, 16 nunc mutato duali in pluralem **два свѣтила великаа**, et **два** tribuendo Neutri, Russorum et Polonorum hodierno more. Sic pro **двѣ лѣтѣ** Act. 28, 30 substituere editores Russi **два лѣта**, cum tamen et ipsi **двѣстѣ** Act. 23, 23 et c. 27, 37. conservarint» [Dobrowsky 1822: 510]. В этих обстоятельствах приписать Добровскому *два солнца* не представляется возможным.

Не менее трудно отнести на счет Добровского весьма специфическое чередование правильных форм дуалиса с формами плюралиса в «Златом слове» Святослава, ср.: «О *моя сыновчя* Игорю и Всеволоде! рано *еста начала* Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. Нѣ нечестно *одолѣсте*: нечестно бо кровь поганую *пролясте*. *Ваю храбрая сердца* въ жестоцемъ харалузѣ *скована*, а въ буести *закалена*. Се ли *створисте* моей сребреней *сѣдинѣ!*». Даже оставляя в стороне именные формы ср. рода, нельзя не прийти в недоумение от претеритных форм 2 л. мн. числа: правильное *еста начала* соседствует с тремя нарушающими согласование формами мн. числа (*одолѣсте*, *пролясте*, *створисте*). Восточнославянские переписчики XIV—XVII вв. могли устроить такую путаницу (примеры нередки), но Добровский, последовательно указывающий в своих глагольных парадигмах иные формы дуалиса [Dobrowsky 1822: 521—535], решительно был к этому неспособен. Рассматривать это хаотическое чередование как результат усилий Добровского сымитировать узус слегка неграмотных средневековых русских переписчиков было бы непростительной натяжкой.

Не согласуется с авторством Добровского и употребление в *Слове* форм 1 л. дв. числа: «оба *есѣѣ* Святъславличя» (строка 20), «соколича рострѣляевѣ своими злачеными стрѣлами... сокольца опутаевѣ красною дивицею... его опутаевѣ» (диалог Гзака и Кончака, строки 204—208). Поскольку в древних восточнославянских памятниках (как оригинальных, так и переписанных с южнославянских оригиналов) формы 1 л. дв. числа представлены редчайшими примерами (в силу содержательных причин), Добровский, создавая такие формы, не мог бы имитировать узус древних текстов, но должен был бы руководствоваться своими грамматическими познаниями. Эти познания предполагали иные формы, поскольку в «Institutiones» Добровский закрепляет формы на *-ѣѣ* за ж. родом, а для м. рода дает формы на *-ѣа* [Dobrowsky 1822: 521 et passim]. Зафиксированные ученым Добровским различия по роду в дв. числе глагола (*-ѣа/-ѣѣ* в 1 л., *-ѣа/-ѣѣ* во 2 и 3 л.) развиваются в славянских языках под влиянием именных форм, однако в восточнославянских памятниках это развитие последовательно не отражается (о чем и свидетельствуют указанные выше формы из *Слова*). Добровский, однако же, об этом знать не мог и поэтому к порождению данных форм отношения не имел (см. об этом подробнее [Страхова 2003: 44—48]).

Завершая обсуждение форм дв. числа, стоит указать, что *Задонщина*, по справедливому наблюдению Исаченко, «не знает форм двойственного числа, за одним единственным исключением». Оказывается тем самым, что Добровский, который, согласно Кинану, активно использовал *Задонщину* для создания своего текста, отнесся с полным пренебрежением к тому морфологическому и синтаксическому узусу, который он наблюдал в этом памятнике. Более того, используя единственную фразу *Задонщины*, в которой употреблены формы дв. числа («сама *есма* два брата дѣти Вольярдовы»), он переменял это новообразование на более архаичную форму («оба *есѣѣ* Святъславличя») [Исаченко 1941: 45, 47], однако на такую, которая не соответствовала его собственным

прескрипциям. В этом контексте оказывается совершенно не ясным, какой именно узус имитирует Добровский, какие именно образцы он избирает и на какую рецепцию надеется. Если он хотел фальсифицировать памятник XII в., непонятно, зачем он столь непоследовательно употреблял формы дв. числа и почему эти формы были отличны от тех, которые он считал древними. Если он ставил перед собой более тонкую задачу сфальсифицировать памятник XII в. в том виде, как он мог прийти в более поздних рукописях, непонятно, почему он никак не учел хорошо известную ему *Задоницину*. Даже сумасшедший не мог вести себя столь непредсказуемым образом. Таким образом, анализ форм дв. числа в *Слове* заставляет нас навсегда расстаться с завлекательной гипотезой об авторстве Добровского.

Впрочем, если нужны еще какие-то доказательства, обсуждение грамматических особенностей *Слова* можно продолжить. Анализируя употребление имперфекта в *Слове*, А. Тимберлейк показал, что дистрибуция форм имперфекта с аугментом *-ть* и без него подчиняется определенным закономерностям. Формы с аугментом появляются в трех контекстах: перед энклитикой, в формах вспомогательного глагола *быти* и в предложениях с наречием *тогда*; вместе с тем формы с аугментом никогда не появляются в относительных предложениях. Эти факторы исчерпывающим образом объясняют дистрибуцию форм с аугментом и без него и находят определенное соответствие в той части Лаврентьевской летописи, которая охватывает годы с 1111 по 1185<sup>13</sup>. Закономерности этой дистрибуции были, понятным образом, неизвестны Добровскому (как и другим славистам до самого последнего времени), хотя о существовании самих форм с аугментом он знал и писал о них: «Rarissime in plurali post *хѣ*: *впрашахѣт* in Damiani Apostolo, *сѣвршахѣтъ* Mich. 2, 1 in Ostrogiensi, *искахѣтъ* 2 Reg. 17, 20 in eadem, in correcta *искаша*» [Dobrowsky 1822: 555]. Каким образом у Добровского могло возникнуть искушение употребить в *Слове* эту «редчайшую» форму 40 раз и при этом в соответствии с неведомыми ему дистрибутивными характеристиками аугмента, объяснить невозможно, и это также делает немислимым его авторство<sup>14</sup>.

Остановлюсь на еще одном моменте. А. А. Зализняк, занимаясь относительными предложениями в славянских языках, установил, что вопросительные местоимения, когда они употребляются в функции относительных, сопровождаются релятивизаторами *же* или *то* (модель *кѣто же* и модель *кѣто то*). Обе модели имеют праславянские истоки, однако в разных славянских языках могут использоваться обе модели или только одна из них [Зализняк

<sup>13</sup> [Timberlake 1999]. Об употреблении имперфекта в Лаврентьевской летописи см. [Тимберлейк 1997; Timberlake 1998]. См. также [Stoll 2000; Страхова 2003: 39—43].

<sup>14</sup> Замечу, что на статью Тимберлейка Кинан ссылается (с. 139, примеч. 7), однако ее выводов не обсуждает, ограничиваясь заявлением, что «[i]n the interest of space, discussions of morphology will be presented in future work». Это плохая отговорка, потому что именно разбор грамматических проблем является центральным для любых суждений о подлинности *Слова*. In the interest of space следовало бы сначала разобраться с этими проблемами, а потом приниматься за книгу.

1980: 92—93]. Обе модели представлены в древних восточнославянских памятниках, но уже в XIII—XIV вв. начинают выходить из употребления (быстрее в великорусских текстах, медленнее в староукраинском и старобелорусском). Модель *кто то* обнаруживается и в *Слове* (строка 88: «Тїи бо два. храбрая Святъславлича, Игорьъ и Всеволодь уже лжу убуди, *которую то* бяше успилъ отецъ ихъ Святъславъ»). Зализняк замечает по поводу этой фразы: «Большинство исследователей усматривает здесь в сочетании *которую то* результат искажения. Обычно предлагается чтение *которую* ‘раздором’ вместо *которую* и *ту* вместо *то*, откуда перевод типа ‘...уже коварство пробудили раздором, [а] его усыпил было отец их — Святослав’. Однако, не говоря уже о необходимости сразу двух буквенных исправлений, получаемая при этом фраза синтаксически и семантически несовершенна, поскольку вместо требуемого по смыслу относительного местоимения здесь стоит указательное (причем без союза *а*, столь необходимого в этом случае для связности смысла)». Однако же, как замечает далее Зализняк, «сочетание *которую то* в рассматриваемой фразе... синтаксически правильно и не нуждается ни в каких исправлениях. Смысл фразы совершенно прозрачен: ‘...уже разбудили неправду, которую усыпил отец их Святослав’. Прямыми аналогами здесь служат фразы с сочетанием *которыи то* из смоленских грамот 1229 В и D, из Киевской летописи и из ‘Слова о погибели русской земли’». И далее: «Конкретное сочетание *которыи то*, употребленное в ‘Слове о полку Игореве’ в функции современного *который* (без повторения имени), засвидетельствовано в такой функции только в текстах, составленных в XII—XIII вв. ... Таким образом, рассматриваемая фраза оказывается исключительно интересным свидетельством архаичности синтаксиса ‘Слова о полку Игореве’, притом в такой деликатной и не покрываемой никакими простыми правилами сфере, как употребление частиц» [Зализняк 1980: 105—106]. Стоит ли говорить, что Добровский о подобном употреблении ничего не знал и нигде не упоминает его в своих «Institutiones». Не мог он употребить данную конструкцию и основываясь на своем знании чешского или старочешских памятников, поскольку в чешском представлена иная модель (*кто же*). Таким образом, и в данном случае авторство Добровского оказывается невероятным.

Как можно видеть, грамматические параметры дают куда более однозначные указания на характер создания текста, чем параметры лексические. Я остановился лишь на трех из них, относительно неплохо изученных. Для наших целей этого вполне достаточно, хотя аналогичные выводы могли бы быть сделаны и на основе анализа употребления прошедших времен или порядка слов. Именно грамматические особенности *Слова* с несомненностью для всякого лингвиста свидетельствуют о подлинности этого памятника, в целом не слишком сильно поврежденного в процессе трансмиссии. Добровский, при всем его ученом превосходстве, так же не мог его подделать, как неспособны были на это Малиновский, Бантыш-Каменский, Мусин-Пушкин или Иоиль Быковский. Это простой факт, и многочисленные загадки, окружающие *Слово*, должны рассматриваться через призму этого факта. Сколь

бы ни обоснованно было желание историков, историков культуры или историков литературы устранить этот аномальный текст из корпуса ранней восточнославянской словесности, сделать это невозможно.

Загадки, конечно, остаются, и некоторые из них никогда, видимо, не будут разрешены. Кинан блестяще показывает, что ряд предлагавшихся решений, некоторые из которых прочно вошли в мифологию *Слова*, не имеют под собой достаточных оснований (критическая часть монографии вообще довольно увлекательна и полезна). Так, в частности, обстоит дело с верой в то, что рукопись *Слова* сгорела в пожаре 1812 г. Однако из разоблачения сложившихся мифов вряд ли следует делать поспешные выводы. Из того, что рукопись не сгорела в 1812 г. (или вернее из того, что наши сведения о ее гибели в московском пожаре 1812 г. недостоверны), никак не следует, что *Слово* написал Добровский.

Действительно, если, как полагает Кинан, никакой рукописи *Слова* никогда не существовало, а все, что было,—это какие-то переписанные фрагменты, хранившиеся у Елагина и перешедшие вместе со всеми его бумагами к Мусину-Пушкину и Малиновскому, мы попадаем на совсем новое поле гипотетических сюжетов. Допустим, что *Слово* дошло до мусин-пушкинского кружка только в виде Елагинской копии. Откуда взялась эта копия у Елагина? Кинан утверждает, что от Добровского. Единственный аргумент состоит в том, что только Добровский обладал необходимыми знаниями, чтобы создать подобный текст (как мы видели, это не так). В конце концов, аргумент сводится к следующему: *Слово*—это фальсификат, найдем того, кто мог его произвести, нашли Добровского. Значит, у Елагина был текст, присланный ему Добровским. Замечу, что ровно никаких фактических свидетельств этой пересылки до нас не дошло, никакой записки от Добровского Елагину, сообщающей о посылке какой бы то ни было рукописи, заметок, фрагментов,—ничего. Максимум, что нам известно, это факт знакомства Елагина с Добровским.

Это не слишком убедительный сюжет, целиком основанный на исходном предположении о фальсификации. Он может занять место лишь в ряду других гипотетических сюжетов: Елагин списал текст с неизвестной нам рукописи и умер, не сообщив, откуда он взял текст, и Мусин-Пушкин располагал лишь елагинской копией этого текста; Мусин-Пушкин унаследовал текст, написанный не Елагиным, а каким-то другим лицом, и эта рукопись (неизвестного времени и происхождения) была в дальнейшем утеряна. Наконец, Мусин-Пушкин получил рукопись не от Елагина, а от кого-то другого, таинственным образом ее лишился и всю жизнь стыдился признаться в том, как это произошло. *There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.* В том гипотетическом поле, которое создает Кинан, можно построить множество сюжетов, никак не требующих Добровского в качестве основного протагониста<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Что необходимо иметь в виду, оценивая правдоподобие различных гипотез, это естественность того обстоятельства, что рукопись *Слова* могла быть уникальной. «The total absence of any surviving trace of a medieval copy of the *IT* itself» (с. 30) никакого сле-

Не стоит преувеличивать и то облегчение, которое испытают историки литературы и историки культуры, избавившись от этого неблагоприятного нароста на чистом теле средневековой восточнославянской литературы. Кинан замечает, что, основываясь на его выводах, «we shall have to do a lot of cleaning up and radical revision of almost everything we teach and/or believe about pre-Muscovite East Slavic culture history» (с. 433). Я не уверен, что подобная расчистка принесет нам те результаты, на которые рассчитывает Кинан. Для того чтобы получить чистую картину религиозной книжной культуры без всякой примеси секулярного, поэтического, языческого и т. п., для того чтобы удалить из нее все то, на что оказалась так падка славянская филология, сформированная (пред)романтическими увлечениями «народной древностью» и воспитанная на специфической разновидности позитивистского патриотизма (приписывающего всем культурам единые стандарты и единые достижения), придется пересмотреть еще целый ряд текстов и свидетельств, которые сейчас прикрыты тенью уникального произведения восточнославянского барда.

Начнем с самого простого. Кинан, пожалуй, прав, когда он говорит о том, сколь невероятно «the appearance of a text like the *IT*—absolutely without antecedent, parallel, or imitator—in East Slavic territory in the late twelfth century» (с. 428). Невероятность, конечно, определяется объемом имеющихся у нас сведений: та скудная информация, которой мы располагаем, никак не формирует контекст, в котором могло бы появиться *Слово*. То же самое, однако, верно и для *Задоницы*. Конечно, в историко-культурном отношении *Задоница*—несколько более простой текст, чем *Слово*; в ней, по крайней мере, нет той языческой параферналии, которая выглядит столь неуместно в христианской книжной культуре Киевской Руси. Но все другие странности остаются. Это тоже поэтический текст «absolutely without antecedent, parallel, or imitator» (при условии, понятно, что мы вычеркнули *Слово* из состава древней восточнославянской словесности), в нем присутствуют в целом те же «оссианические» мотивы, что и в *Слове*, хотя и в более слабом разведении. У Кинана в связи с этим появляются явные логические нестыковки. Так, комментируя

---

циального удивления не вызывает. Вот ведь и *Поучение Владимира Мономаха* сохранилось ровно в одной рукописи, и если бы ненароком Лаврентьевский список летописи куда-нибудь исчез, то, как справедливо заметил Д. С. Лихачев [Лихачев 1975: 112], трудно было бы поверить, что это не фальсификат. Надо помнить, что монастыри были основными депозитариями всей книжной письменности и что переписывание рукописей осуществлялось монахами, и у них не было особого стимула копировать такой маргинальный и странный текст, как *Слово*. И *Моление Даниила Заточника*, и позднее *Задоница* были в этом отношении в лучшем положении. При определенном переосмыслении они вписывались в контекст средневековой христианской литературы, и эта рецепция обеспечивала их окказиональное воспроизведение (о чем и свидетельствует полдожины списков каждого из этих памятников). Для *Слова* такое переосмысление было невозможным, и монах мог взяться за его переписку только по недоразумению (что, конечно, тоже случалось). Плодом такого недоразумения и мог быть уникальный список *Слова*. Случай, уничтоживший его, это недоразумение исправил.

плач Ярославны, он указывает, что «[b]oth the wind and personifications of nature are great favorites of both the ‘Ossianic’ literature and the late-eighteenth-century balladry» (с. 361); с этим нельзя не согласиться. Однако, продолжая данную фразу, Кинан замечает, что «the personification and vocative echo the corresponding passage of the *Zadonshchina* (‘на забралах, а ркучи: Доне, Доне... прорыла е[си]... прилелей’))» (там же). Должны ли мы думать, что и автор *Задоницы* позаимствовал свои персонификации из Оссиана? И кто тогда фальсифицировал *Задоницу*?

Стоит напомнить, что про XIV—XV вв. в Московской Руси мы знаем несколько больше, чем про Киевскую Русь, и имеющиеся у нас сведения делают появление московского барда столь же невероятным, как и появление его гипотетического предшественника, с которым так удачно расправился Кинан. Поэт в окружении Дмитрия Донского или Василия I, несколько не расположенных к созданию секулярной культуры или пользованию ею, выглядит еще более абсурдно, чем аналогичная фигура при киевском дворе, про который, конечно, мы знаем меньше, но именно в силу этого оказываемся менее связанными в наших гипотезах. Другое дело, если автор *Задоницы* был имитатором, имевшим дело с попавшимся ему странным текстом; для имитатора никакого особого культурного контекста можно не постулировать, манипуляции с унаследованными текстами — обычное занятие средневековых восточнославянских книжников.

Появление *Задоницы* — это, конечно, не единственный факт, который окажется лишенным культурного контекста. Прикрытые тенью *Слова* реликты секулярной киевской культуры, хотя и немногочисленные, все равно требуют контекстуализации и объяснения. Их немногочисленность предсказуема, поскольку киевская книжная традиция была институционально и содержательно связана с религиозной сферой и тем самым плохо приспособлена для фиксации не относящихся к этой сфере артефактов, а последующее культурное развитие (в особенности в Московской Руси) образовало книжность, к подобным артефактам подчеркнута невосприимчивую (известную тему об ограниченной культурной преемственности Московской Руси в отношении Киевской можно сейчас не обсуждать). И тем не менее мы должны реконструировать какую-то культурную среду, в которой появилось *Поучение Владимира Мономаха* (предписывающее его детям одновременно заботиться о ястребах и соколах и не давать в обиду худых смердов и убогих вдовиц [ПСРЛ I: 251]) или *Моление Данила Заточника* с его ярко выраженными карнавальными элементами. И минимальные свидетельства о существовании такой культурной среды у нас все же есть. Напомню, например, то место из *Жития Феодосия*, где святой приходит во дворец к князю Святославу и застает там «многыа играюща прѣдъ нимъ. швы гоусльныа гласы испоущающемъ. другтыя же оръганьныа гласы поющемъ. и инѣмъ замарьныа пискы гласащемъ. и тако всѣмъ играющемъ и веселащемъ са. яко же обычаи ксть прѣдъ князьмъ» (УС, 123/л. 59г). Таким образом, устранение *Слова* из состава домонгольской письменности создает не меньше историко-культур-

ных проблем, чем решает, и ученый выигрыш от этого неблагодарного занятия оказывается призрачным.

Заключая, я бы хотел заметить следующее. Гипотеза об авторстве Добровского, выдвинутая Кинаном, является, на мой взгляд, ложной. Она не только не может быть доказана (те доказательства, которые приводит Кинан, явно недостаточны), она может быть опровергнута. Обидно думать, сколь много труда, изобретательности и энтузиазма потрачено на целиком безнадежное дело — сколько портянок вышло б для ребят. При всем этом книга вряд ли может быть просто списана со счетов. Она содержит множество тонких наблюдений; некоторые предложенные Кинаном новые чтения кажутся находками (а каждое новое чтение для столь многократно анализировавшегося памятника — это событие). Книга Кинана расправляется с целым рядом мифов, сложившихся вокруг *Слова о полку Игореве*. И в этом плане она дает свежий стимул для научного изучения этого памятника и его истории, изучения, освобожденного от того груза пустых слов и заклинательных формул, которыми снабдила его двухвековая псевдоромантическая традиция.

### Л и т е р а т у р а

ВМЧ — Великие Минеи Чети, собранные всероссийским митрополитом Макарием / Изд. Археографической комиссии. Сентябрь — апрель. СПб., 1868—1915.

Жолобов и Крысько 2001 — О. Ф. Ж о л о б о в, В. Б. К р ы с ь к о. Двойственное число. М., 2001 [Историческая грамматика древнерусского языка / Под ред. В. Б. Крысько. Т. 2].

Зализняк 1980 — А. А. З а л и з н я к. Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981. С. 89—107.

Зализняк 1995 — А. А. З а л и з н я к. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Зарубин 1932 — Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам / Подг. к печати Н. Н. Зарубин. Л., 1932. (Памятники древнерусской литературы; Вып. 3).

Исаченко 1941 — А. В. И с а ч е н к о. Двойственное число в «Словѣ о пълку Игоревѣ» // Заметки к Слову о полку Игореве. Београд, 1941. Цит. по: А. V. I s a c h e n k o. Opera selecta. München, 1976 (Forum slavicum; Bd. 45). S. 34—48.

Крысько 1994 — В. Б. К р ы с ь к о. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.

Лихачев 1975 — Д. С. Л и х а ч е в. Великое наследие. М., 1975.

Лихачев 1976 — Д. С. Л и х а ч е в. «Слово о полку Игореве»: Историко-литературный очерк. М., 1976.

Пахомий Логофет 1877—1878 — Житие митрополита вся Руси святого Алексия, составленное Пахომием Логофетом. Вып. 1—2. СПб., 1877—1878. (Изд. ОЛДП; 4).

Пичхадзе и др. 2004 — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. Древнерусский перевод / Изд. подгот. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин. Т. 1—2. М., 2004.

Попов 1881 — А. Н. П о п о в. Книга бытия небеси и земли (Палея историческая), с приложением сокращенной Палеи русской редакции // Чтения в Обществе



истории и древностей российских. Кн. 1. М., 1881.

ПСРЛ I—XLI — Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией. Т. 1—39. СПб., М., 1841—1995.

Пыпин 1862 — А. Н. Пыпин. Ложные и отреченные книги русской старины. СПб., 1862.

Сводный каталог 1984 — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР (XI—XIII вв.). М., 1984.

Срезневский I—III — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.

СРЯ XI—XVII 1 — Словарь русского языка XI—XVII веков. Т. 1—, М., 1975—.

Страхова 2003 — О. Б. Страхова. Языковая практика создателя «Слова о полку Игореве» и лингвистические взгляды Йозефа Добровского // Славяноведение. 2003. № 6. С. 33—61.

Тимберлейк 1997 — А. Тимберлейк. Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи // Вопросы языкознания. 1997. № 5. С. 66—86.

УС — Успенский сборник XII—XIII вв. / Под ред. С. И. Коткова М., 1971.

Черепнин 1955 — Сказание Авраамия Палицына / Под ред. Л. В. Черепнина. М.; Л., 1955.

ЭССЯ I — Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Т. 1—, М., 1974—.

Colucci, Danti 1977 — Daniil Zatocnik. Slovo e molenie / Ed. critica a cura de M. Colucci e A. Danti. Firenze, 1977. (Studia historica et philologica. Sectio slavica 2).

Dobrowsky 1822 — I. Dobrowsky. Institutiones linguae slavicae dialecti veteris quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci tum apud Dalmatas glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet. Vindobonae, 1822.

Jakobson I—VIII — R. Jakobson. Selected writings. Vol. 1—8. 's-Gravenhage, 1962—1988.

Klenin 1993 — E. Klenin. The Perfect Tense in the Laurentian Manuscript of 1377 // American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists. Bratislava, August-September 1993. Literature. Linguistics. Poetics / Ed. by R. A. Maguire, A. Timberlake. Columbus, 1993. P. 330—343.

Stoll 2000 — S. Stoll. On the Desinence {-t<sup>(c)</sup>} of the Early East Slavic Imperfect // Russian Linguistics. 24. 2000. P. 265—285.

Timberlake 1998 — A. Timberlake. Linguistic Layering in the *Lavrentian Chronicle* (The Imperfect Consonantal Augment) // American Contribution to the Twelfth International Congress of Slavists / Ed. by R. A. Maguire, A. Timberlake. Bloomington, 1998. P. 501—514.

Timberlake 1999 — A. Timberlake. On the Imperfect Augment in 'Slovo o polku Igoreve' // Roman Jakobson: Texts, Documents, Studies / Ed. by H. Baran, S. I. Gindin et al. Moscow, 1999. P. 771—786.

## РЕЦЕНЗИИ

### Новая книга о «Русском Донате»<sup>1</sup>

...Не во равнѣмъ сѣ можетъ присно полагати киньскѣ азыкъ въ инѣ прѣлагаемѣ, и всакомоу языкоу въ инѣ прелагаемоу то же вываекѣ. небонѣ иже глѣ въ иномѣ языцѣ краснѣ, то въ друзѣмъ некраснѣ. иже въ иномѣ страшнѣ, то въ друзѣмъ нестрашнѣ. иже въ иномѣ чьстнѣ, то въ друзѣмъ нечьстнѣ. и еже има мужьско, то въ иномѣ женьско.

Предисловие Иоанна экзарха Болгарского к переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина <sup>2</sup>

Древнерусский перевод Грамматики Элия Доната, выполненный Дмитрием Герасимовым, был опубликован в конце XIX столетия И. В. Ягичем [Ягич 1885—1895: 816—911] и тем самым введен в научный оборот. И. В. Ягич опубликовал текст по рукописи Казанской научной библиотеки, приведя разночтения по списку Основного собрания рукописей Публичной библиотеки в Петербурге. Несмотря на то, что И. В. Ягич указал на существование еще как минимум трех списков Грамматики Доната, к изучению они не были привлечены, и в научной литературе «Русский Донат» известен по Казанскому списку. Именно с опорой на эту опубликованную рукопись исследователи и судили о созданном Дмитрием Герасимовым тексте грамматики. Надо признать, что за исключением статей Г. Кайперта и Д. Б. Захарьина, посвященных немецкому влиянию на русский текст грамматики Доната [Keipert 1989; Захарьин 1991], работа Дмитрия Герасимова изучалась не самостоятельно, а как одна из составляющих в истории русской грамматической мысли. Большое значение в этом отношении имеют ра-

боты Е. Изинга, Д. С. Ворта и отклик на его книгу В. М. Живова, Н. Б. Мечковской, В. В. Колесова, Б. А. Успенского, Т. Дайбера, Д. Б. Захарьина и другие [Ising 1970; Worth 1983; Живов 1986; Мечковская 1984; Kolesov 1984; Успенский 1987; Daiber 1992; Захарьин 1995]. На основе публикации И. В. Ягича были сделаны выводы о попытке Дмитрия Герасимова создать на базе латинской грамматики грамматику современного ему церковнославянского языка. В. М. Живов считал, что цель Дмитрия Герасимова — «описать славянскую грамматическую систему, приложив к ней модель классически отработанного языка» [Живов 1986: 93]. Эту же мысль развивал Б. А. Успенский: «В 1522 г. в Московской Руси появляется русский перевод Доната, принадлежащий Дмитрию Герасимову, где грамматика церковнославянского языка строится по латинской модели» [Успенский 1987: 201]. Г. Кайперт видел в создании «Русского Доната» двойную цель: во-первых, желание овладеть латынью, характерное для книжников Геннадиевского литературного кружка, и во-вторых — стремление создать свою грамматику также на ба-

<sup>1</sup> Der russische Donat: vom lateinischen Lehrbuch zur russischen Grammatik: historisch-kritische Ausgabe / Hrsg. und kommentiert von Vittorio S. Tomelleri. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2002. 511 S. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц в круглых скобках.

<sup>2</sup> Цит. по изд. [Ягич 1885—1895: 323].

зе грамматики латинской [Кайперт 1991: 96—97]. В более общем плане работу Дмитрия Герасимова связывали с еретическими течениями конца XV в. и, в частности, с борьбой с жидовствующими [Сперанский 2002: 365]. Этим В. В. Колесов объяснял ряд обнаруживающихся в «Русском Донате» грамматических неологизмов и новшеств [Kolesov 1984]. Д. Чижевский полагал, что создание «научной» грамматики связано с бурным пространением в Московской Руси на рубеже XV—XVI вв. научной литературы, основу которой составили переводы западноевропейских сочинений [Čiževskij 1962: 235—236]. Однако подчеркнут еще раз, что все наблюдения делались на базе опубликованного Казанского списка Доната и не затрагивали вопроса особенностей рукописи и истории текста.

В 2002 г. в Германии вышла работа, которая восполняет этот пробел и которой будет суждено сыграть видную роль в изучении как формирования древнерусских грамматических школ и теорий, так и переводной письменности и распространения в Древней Руси европейской культуры на протяжении XV—XVI вв.

Это подготовленное Витторио Томеллери наиболее полное и всестороннее на сегодняшний день исследование переведенной Дмитрием Герасимовым «Грамматики Доната», сопровождающееся публикацией памятника по обнаруженной автором в Архангельском собрании БАН рукописи, содержащей параллельный латинско-древнерусский текст. Сразу отмечу, что находка этого списка — большая удача автора, благодаря которой ему удалось сделать весомые выводы.

Собственно исследовательская часть книги состоит из пяти глав, первые четыре из которых определены самим автором как «объективные», т. е. содержащие описания рукописей и обзор библиографии, а пятая — «субъективная», т. е. основанная на

исследованиях и наблюдениях Витторио Томеллери (с. XIII—XIV). Между тем, несмотря на стремление исследователя к «объективности» первых четырех глав, их в полном смысле можно было бы называть «субъективными», как субъективно любое скрупулезное изучение, не упускающее ни одного мельчайшего замечания, что позволяет выстроить полученные ранее выводы и прийти к логическим заключениям. Пятая же, «субъективная» глава в такой же степени является «объективной», поскольку целиком основана на конкретных наблюдениях и фактах.

Первая глава работы («Zur *Ars minor*», с. 1—20) посвящена Элию Донату и его грамматике «*Ars minor*», в середине века бывшей самым распространенным школьным учебником для начального обучения латыни. Этим назначением, подчеркивает В. Томеллери, и объясняется структура грамматики, рассчитанной на усвоение материала младшими школьниками (с. 5; 160—163). Очевидно, чрезвычайная распространенность *Доната* (это название утвердилось за сочинением, составленным из отдельных фрагментов разных грамматических сочинений Элия Доната; в основе этой компиляции лежит «*Ars minor*»; с. 61—66) была причиной прагматического отношения к нему, когда он не воспринимался как *классическая литература*, но постоянно перерабатывался и комментировался (с. 13).

В распространенности *Доната* Россия не стала исключением — и перевод Дмитрия Герасимова, как отмечает В. Томеллери, в различных вариантах известен в 25 русских рукописях XVI—XVII вв. (с. 44—48). Обзору древнерусских источников «Русского Доната» посвящена вторая глава книги («*Forschungsbericht*», с. 21—60). Большое внимание уделяется анализу рукописи Казанской научной библиотеки, изданной И. В. Ягичем. Затем автор, отметив, что исследование

русского перевода *Доната* представляет интерес в историческом, культурном и лингвистическом отношениях, переходит к рассмотрению следующих пунктов: 1) переводчик *Доната*; 2) место и время перевода; 3) содержание *Доната*; 4) название *Доната*: латинская или русская/церковнославянская грамматика; 5) латинский оригинал *Доната*; 6) *Донат* и восточнославянская грамматическая традиция (с. 29). Наиболее бесспорным, естественно, является ответ на вопрос о переводчике, поскольку авторство перевода Дмитрия Герасимова отмечено в большинстве русских списков. Как место и время перевода В. Томеллери совершенно, на мой взгляд, справедливо и обоснованно определяет Ливонию, где Дмитрий Герасимов в конце 1470-х — начале 1480-х гг. изучал немецкий язык и латынь (с. 32) и, по всей вероятности, выполнил *первый вариант* перевода *Доната*. Однако «*сна книга начисто не исправлена и не преписана встала*» (с. 33) — и Дм. Герасимов возвращается к этой работе уже в 1522 г., работая в коллективе Максима Грека. В. Томеллери приводит мнение Э. Изинга, что, возможно, необходимость переработки *Доната* возникла в связи с языковыми проблемами самого Максима Грека, который, как известно, в первые годы своего пребывания в Москве не владел славянским языком, — и в таком случае «Русский Донат» должен был играть роль учебника русского языка через посредство латыни. Вопрос о значении *Доната* для работ Максима Грека уже поднимался, и на материале книжной справки автору настоящей рецензии удалось прийти также к выводу об использовании латинской грамматики в переводческой деятельности 1520-х гг. [Ромодановская 2000].

Либо первый вариант текста, либо первая его переработка под названием «Осмочастной книги» был, по всей веро-

ятности, отправлен вместе с Миротворным кругом Дмитрием Герасимовым из Рима в Новгород архиепископу Геннадию (с. 36—38). Скорее всего, потребность в латинской грамматике была обусловлена переводческой деятельностью Геннадиевского литературного кружка, однако сегодня мы не можем сказать, при переводе каких именно сочинений был востребован «Русский Донат». Не исключено, что в Новгороде могло быть организовано обучение латыни, во всяком случае, на такую мысль наводит присутствующее в Казанской рукописи *Доната* и опубликованное И. В. Ягичем интерлинейное латинско-русское высказывание (приведу только русскую часть): «*Архидіакъ нѣшъ прѣстѣнишнїи звалъ на заугрѣе к ѿлти своегѡ ѡчѣства на бракъ намѣстниковъ новогорѡскихъ. прїидѣте ко мнѣ, а³ хоцѣ услышати чтенна ваша, пристѣпите ко мнѣ, штроцы, хоцѣ испытати латинны вашѣа*» [Ягич 1885—1895: 908]. Интересно, между прочим, отметить, что эта и прочие интерлинейные записи сохранились только в Казанской рукописи, списанной с рукописи 1522 г., — и значит, прототипом для московского варианта «Русского Доната» был непосредственно вариант новгородский.

В первоначальном своем варианте «Русский Донат» представлял собой интерлинейную грамматику латинского языка, выполненную по образцу европейских интерлинейных грамматик. Но примечания Дмитрия Герасимова относительно особенностей, в частности, морфологии русского языка стали толчком для развития оригинальной грамматической мысли (с. 54).

Непосредственный латинский оригинал, с которого был выполнен перевод «Русского Доната», определить чрезвычайно трудно из-за огромного числа печатных изданий. В этом вопросе В. Томеллери придерживается «давно утвер-

дившегося мнения», что в Новгород в основном поступали книги, напечатанные на севере Германии, через посредство Новгородской ганзейской конторы. Это предположение Н. Ангерманна логически безупречно, однако до сих пор не подтверждено текстовыми данными, позволяющими определить европейский оригинал новгородских переводов<sup>3</sup>. Ни в коей мере не подвергая критике версию о «ганзейских воротах» древнего Новгорода, замечу, что при переводе Геннадиевской библии было использовано несомненно нюрнбергское издание Антона Кобергера, 1485 или 1487 г., а перевод трактата Вильгельма Дурандуса «*Rationale Divinorum officiorum*» осуществлен по страсбургскому изданию 1486 г. (это отмечено в тексте перевода). В Новгороде была предпринята попытка создания интерлинейной латинско-русской Псалтири — подобного типа тексты, один из которых послужил образцом для новгородских книжников, были распространены на западе Чехии, юге Германии, севере современной Швейцарии и севере современной Франции (печатные издания выходили в Страсбурге, Аугсбурге, Базеле и Меце). Из 29 изданий «Доната» XV в., которые мне удалось посмотреть, шесть — латинско-немецкие интерлинейры, выпущенные в Аугсбурге, Рейтлингене, Страсбурге и Нюрнберге. Вопрос о распространении интерлинейров представляется одним из весьма интересных и требует специального изучения; такой задачи В. Томеллери не ставит, однако определяет необходимость ее разрешения (с. 127—128, 154—155).

<sup>3</sup> На материале перевода фрагментов сочинений Лактанция я попыталась провести такую работу — и действительно, оригиналом было выпущенное в Ростке издание 1476 г. [Ромодановская 2003; Ромодановская (в печати)], однако других подтверждений этой версии я не знаю.

Что же касается непосредственного латинского оригинала «Русского Доната», то В. Томеллери приводит крайне интересные текстологические факты, полученные при сопоставлении обнаруженной им интерлинейной рукописи с реконструкцией латинского текста П. Швенке (с. 68—89). С учетом этих данных и присутствия в «Русском Донате» синтаксического трактата «**Правила или уставы грамматичные меншиє**» («*Regulae congruitatum, constructiones, et regimina*») автор делает вывод, что Дмитрий Герасимов использовал либо анонимное издание *Доната* 1490 г., либо анонимное же издание 1514 г. Второе из этих изданий могло быть задействовано при переработке текста для Максима Грека, первое — при подготовке *Доната* для отправки архиепископу Геннадию, но ни одно из них по времени не могло быть использовано при обучении Дм. Герасимова в Ливонии (1470—1480-е гг.). Окончательный вывод о латинском оригинале может быть получен лишь после сверки текста с конкретными изданиями и латинскими рукописями.

Четвертая глава книги («*Der russische Text*», с. 96—126) содержит описание *Доната* в русских рукописях, расхождения и разночтения в них. Последние позволили В. Томеллери признать текст рукописи БАН Арханг. № 476 (конца XVI в.) наиболее полным и соответствующим первоначальному — и положить его в основу критического издания. Особое значение имеет, конечно, переданный кириллицей латинский текст в этой рукописи — поскольку все иные списки его не сохранили и в лучшем случае содержат отдельные латинские соответствия на полях.

Пятая глава работы посвящена форме и функционированию *Доната* («*Zug Form und Funktio des Donat*», с. 127—169). Безусловный интерес для русской филологии представляет скрупулезный анализ интерлинейрного текста «Русского До-

ната» в сопоставлении с другими рукописями. Цель интерлинейного перевода состоит в облегчении обучения иностранному языку, поскольку ученик может одновременно читать текст «горизонтально» на родном/иностранном языке и «вертикально» усваивать перевод как лексикой, так и конкретных грамматических форм, причем не только в парадигмах, но и в контексте<sup>4</sup>. Именно такого рода грамматику и представлял *Донат* в Средней и Восточной Европе, т. е. странах, говорящих на нероманских языках (с. 132). На этом фоне чрезвычайно интересны наблюдения В. Томеллери над критериями непосредственного перевода и маргинальных примечаний, «в радѣ — на полѣхъ». В частности, эта дифференциация проводилась при передаче латинских флексий, в тексте сохранялся латинский вариант, а русский эквивалент выносился на поле («ѣ сѣи слова и концы словѣи преведешѣ на словенскѣю рѣчѣ в сѣщемъ. сѣирѣчѣ в радѣ недѣдо во можни бѣдѣтъ в лѣпотѣ поставитисѣ. сего ради и не преведени сѣ на словенскѣи языкѣ в радѣ но на полѣхъ», с. 133). Данное наблюдение важно чрезвычайно,

<sup>4</sup> Замечу, что эта практика распространена и до сих пор: студенты и школьники подписывают переводы слово в слово между строками иностранного текста. Этим обусловлена популярность, в частности, и выпускаемых Славянским библейским фондом совместно с Институтом перевода Библии изданий Евангелий на греческом языке с подстрочным русским переводом (см., например: Евангелие от Луки на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. Стокгольм, 1994; Евангелие от Матфея на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. Стокгольм; Москва, 1997). Неудобочитаемость русского текста в интерлинейре не препятствует пониманию содержания, поскольку последнее диктуется оригиналом.

поскольку само по себе оно уже снимает все замечания, неоднократно высказывавшиеся относительно «небрежности» работы новгородских книжников, допускавших большое количество иностранных вкраплений в переводах. Очевидно, гораздо более правомерно говорить о принципах перевода, которые обозначены только такими, на первый взгляд незначительными, замечаниями. Принципы эти были непонятны и переписчикам «Русского Доната» — в результате чего в большинстве списков (за исключением Архангельского) и оказались русские соответствия в тексте, что, при исключении латинских первоначальных форм, и породило бессмыслицу (с. 134—135). Позволю себе привести пример (с. 134):

| Архангельский список, л. 33об.—34  | Казанский список, с. 552 по публ. Ягича  |
|--|--|
| има <sup>т</sup> а продолжное<br>прѣ послѣднимъ<br>словѣ азѣчны но<br>(во) тепенѣ <sup>т</sup> воще <sup>т</sup><br>и ѿложено <sup>т</sup> има<br>пред послѣднимъ<br>складѣ конѣ рѣ га<br>амѣ амѣ амѣ<br>арѣ и градѣще <sup>т</sup><br>время того <sup>т</sup> чина<br>на во и на во склѣ<br>посылаѣ га амѣ<br>амѣво амѣ амѣво | а продолжное има <sup>т</sup><br>прѣ послѣднимъ<br>словѣ азѣчны. но<br>в терпѣлно или в<br>страда <sup>т</sup> но воще <sup>т</sup> и<br>ѿложено <sup>т</sup> има пред<br>послѣднимъ скла<br>домъ конѣ ристъ,<br>яко. люблю, лю<br>бишь, люблюсѣ,<br>любившисѣ. и гра<br>дѣще <sup>т</sup> время того <sup>т</sup><br>чина на во и на<br>боръ склѣ |

Ущербность Казанского списка очевидна. Наряду с искусственными формами типа «люблюсѣ» при введении в текст русских *подстрочных* эквивалентов теряют какой бы то ни было малейший смысл присутствующие (и сохраненные!) латинские суффиксы и флексии.

Включение маргинальных глосс в текст происходило весьма часто — и этой проблеме В. Томеллери посвятил особый параграф своей работы («Spuren von

Randglossen in der *Donat*-Überlieferung», с. 136—139).

Как особую проблему переводчика выделяет автор книги задачу корректной передачи ряда слов, латинская грамматика которых не соотносится с древнерусской. К этим словам относится *sacerdos* ‘священник’, которое в латыни может быть как мужского, так и женского рода; для единственного числа Дм. Герасимов находит оригинальный выход из положения: в тех ситуациях, когда подчеркивается возможный латинский женский род слова, в тексте оставлено *sacerdos*, в иных случаях — перевод **свѣщенникъ**. Например, *Acc. сѣ и сѣо сацѣдотѣ* (*hunc et hanc sacerdotem*) и *Dat. сѣмъ сѣццникъ* (*huic sacerdoti*) сочетаются в одной парадигме (с. 140—141). Во множественном числе Дм. Герасимов отступает от этого правила и приводит парадигму склонения только для слова **свѣщенникъ**, соответственно, в мужском роде, сохраняя при этом мужской и женский род местоимений: *Nom. сѣи и сѣ сѣцццы* (*hii et hae sacerdotes*), *Gen. сѣѣ і онѣ сѣццникѣ* (*horum et harum sacerdotum*). В. Томеллери предполагает, что подобное объединение может быть обусловлено общей формой множественного числа **свѣщенницы** для слова **свѣщенникъ** и несуществующего, но формально возможного \***свѣщенница**, однако это опровергается приведенной формой *Gen*.

Особый интерес представляет собой параграф книги, посвященный «двойному переводу» в «Русском Донате» («Zu den Doppelübersetzungen», с. 146—154). Переводы латинских вкраплений, первоначально маргинальные, были востребованы при составлении азбучников, что неоднократно отмечалось. Однако В. Томеллери удалось в ряде случаев определить, с самого ли начала присутствовали переводы вкраплений на полях рукописи, т. е. принадлежат ли

они переводчику или последующим переписчикам/редакторам. К последним относится подавляющее большинство вариантов перевода. Внушительный перечень приводится на с. 150—154.

Вторую половину книги В. Томеллери представляет собой публикация «Русского Доната» по рукописи БАН, Арханг. № 476, конца XVI в. Издание текста сопровождается отдельным содержанием, которое помогает быстро и легко находить интересующие читателя фрагменты. Интерлинейный текст русской рукописи дополнен интерлинейным же латинским тестом из критического издания П. Швенке [Schwenke 1903].

В целом о данной работе можно сказать, что выполнена она с необычайной любовью к изучаемому материалу и славистике в целом. Это особенно ощущается на таких как бы не играющих роли деталях, как прекрасно подобранные эпиграфы к каждой главе, причем материалом для них послужили не только современные научные изыскания, но классические тексты, как Данте и Сенека. Книга В. Томеллери действительно проливает свет на многие темные места древнерусской переводческой деятельности, с ее (книги) помощью, я думаю, легче можно будет разобраться в теории перевода как новгородской, так и московской школ XV—XVI вв., во всяком случае публикуемый текст определяет многие исходные для Дмитрия Герасимова и его коллег моменты, а критический анализ текста, проведенный В. Томеллери, является твердым фундаментом для последующих исследований.

Особо хочется подчеркнуть, что посвященное «Русскому Донату» исследование *удобно* для использования, т. е. отличается четкой структурой и логичностью, в нем, несмотря на большой объем, очень легко ориентироваться и находить как необходимые библиогра-

фические справки, так и материал и его анализ. Боюсь, правда, что единственным неудобством книги будет труднодоступность ее для российских ученых. Поэтому мне очень хотелось бы пожелать Витторио Томеллери подготовить для какого-либо российского издания большую статью на русском языке, в которую была бы включена целиком пятая глава книги, а российским библиотекам, достаточно средств для приобретения этого труда. Что же касается сделанной и доступной ныне читателю работы—то по значимости своей и удобству она встает в один ряд, а со временем, думаю, и заменит классическое издание И. В. Ягича.

#### Л и т е р а т у р а

Живов 1986—В. М. Ж и в о в. Славянские грамматические сочинения как лингвистический источник // *Russian Linguistics*. 1986. № 10. P. 73—113.

Захарьин 1991—Д. Б. З а х а р ь и н. О немецком влиянии на русскую грамматическую мысль // *Russian Linguistics*. 1991. № 15. P. 1—29.

Захарьин 1995—Д. Б. З а х а р ь и н. Европейские научные методы в традиции старинных русских грамматик (XV—середина XVIII в.). München, 1995.

Кайперт 1991—Г. К а й п е р т. Крещение Руси и история русского литературного языка // *Вопросы языкознания*. 1991. № 5. С. 96—97.

Мечковская 1984—Н. Б. М е ч к о в с к а я. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984.

Ромодановская 2000—В. А. Р о м о д а н о в с к а я. «Седе одесную Отца» или «сидел еси»? К вопросу о грамматической правке Максима Грека // *Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания*. Новосибирск, 2000. С. 237—238.

Ромодановская 2003—В. А. Р о м о д а н о в с к а я. Сочинения Лактанция в

переводе русских книжников рубежа XV—XVI вв. // *ТОДРЛ*. Т. 54. СПб., 2003. С. 407—434.

Ромодановская (в печати)—В. А. Р о м о д а н о в с к а я. Еще раз к вопросу о западном оригинале древнерусского перевода сочинений Лактанция // *ТОДРЛ*. Т. 57 (в печати).

Сперанский 2002—М. Н. С п е р а н с к и й. История древней русской литературы. 4-е изд. СПб., 2002.

Успенский 1987—Б. А. У с п е н с к и й. История русского литературного языка (XI—XVII вв.). München, 1987.

Ягич 1885—1895—И. В. Я г и ч. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке // *Исследования по русскому языку*. Т. 1. СПб., 1885—1895. С. 816—911.

Čiževskij 1962—D. Č i ž e v s k i j. History of Russian Literature (from the Eleventh Century to the End of the Baroque). The Hague, 1962.

Daiber 1992—T. D a i b e r. Die Darstellung des Zeitwortes in ostslavischen Grammatiken von der Anfängen bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert. Freiburg, 1992.

Ising 1970—E. I s i n g. Die Herausbildung der Grammatik der Volkssprachen in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1970.

Keipert 1989—H. K e i p e r t. Deutsches im russischen Donat // *Die Welt der Slaven*. 1989. Т. 34. № 2. S. 236—258.

Kolesov 1984—V. V. K o l e s o v. Traces of the Medieval Russian Language Question in the Russian Azbukovniki // *Aspects of the Slavic Language Question*. Vol. 2. New Haven, 1984. P. 87—123.

Schwenke 1903—P. S c h w e n k e. Die Donat- und Kalendartype. Mainz, 1903.

Worth 1983—D. S. W o r t h. The Origins of Russian Grammar: Notes on the State of Russian Philology before the Advent of Printed Grammars. Columbus, 1983.

*В. А. Ромодановская*



**Русская авторская лексикография XIX—XX веков. Антология /**  
Сост.: Е. Л. Гинзбург, Ю. Н. Караулов, Л. Л. Шестакова; Отв. ред.  
Ю. Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2003. 512 с.

Выход в свет рецензируемой Антологии, безусловно, следует признать выдающимся событием в области мировой лексикографии, во-первых, потому, что это — первый солидный труд, в котором обобщены результаты многолетних исследований в области теоретической и прикладной лексикографии. И, во-вторых, потому, что писательским словарям, играющим огромную роль в формировании отечественной культуры и языка, на протяжении ряда лет уделялось незаслуженно мало внимания как в России, так и за рубежом.

Антология состоит из вводной части и трех разделов. Раздел I — «К истории авторской лексикографии в России» — содержит статьи Р. Р. Гельгардта и О. И. Фоняковой, посвященные вопросам истории и типологии авторских словарей. Раздел II — собственно «Антология» — представляет собой фрагменты из более чем 70 авторских справочников, подготовленных на материале творчества русских писателей в отечественной и зарубежной лексикографии. Эти фрагменты включают как изложение принципов составления словарей, так и образцы словарных статей. Раздел III книги — «Библиография» — содержит список словарей и словарных материалов, а также самый полный на сегодняшний день перечень работ по различным вопросам теории и практики авторской лексикографии.

Весьма важной представляется открывающая Антологию статья «Опыт типологизации авторских словарей» (Ю. Н. Караулов, Е. Л. Гинзбург). Она, по сути, вводит читателя в мир писательской лексикографии, определяя ее цель, назначение и ту роль, которую представленные в ней словари играют в форми-

ровании и развитии национального литературного языка. Здесь рассмотрен главный вопрос теории лексикографии — типология словарей, причем удача предложенной классификации состоит в том, что она базируется на лексикографическом анализе существующих словарей и по этой причине включает именно те параметры, которые характерны для реальных справочников.

Во многом можно согласиться с авторами, вновь поставившими проблему реализации возможностей в классификационном пространстве авторских словарей. Однако их некоторые характеристики остались за его пределами, как, например, лексикографическая форма словаря, суть которой зависит от национальных особенностей авторской лексикографии. В первую очередь это относится к конкордансу, который многие отечественные ученые не считают словарем вообще, а рассматривают лишь как подготовительную форму словаря языка художника слова. Отрадно видеть поэтому в Антологии фрагменты конкордансов (Shaw J. Th., Hindley L., Bilokur B.), составленных, кстати, главным образом, иностранными авторами.

Общеизвестно, что многие зарубежные лексикографы признают конкорданс за полноправную форму авторского справочника [Кагорова: в печати], тем более что эта лексикографическая форма имеет многовековую историю развития и началась с конкордансов к Библии, к произведениям Чосера, Шекспира [Карпова 1995: 97—101; Карпова 1997: 134] и т. д. Даже в лексикографической энциклопедии [Hausmann 1989], солидном труде, созданном усилиями многих представителей международного лексикографического

сообщества, описанию лексикографической формы конкорданса посвящена отдельная статья.

Не менее значительной является и другая вводная статья — «Русская авторская лексикография: общее состояние и тенденции развития» (Л. Л. Шестакова). Хотелось бы отметить, что термин «авторский словарь», которым пользуются составители Антологии, претерпел, на мой взгляд, изменения в последние годы. Вплоть до 90-х гг. XX в. в отечественной литературе бытовали понятия «писательская лексикография», «писательский словарь», что нередко вызывало вопросы у зарубежных лексикографов (в частности, участников международных конференций, в том числе ЕВРАЛЕКСа), использующих, главным образом, термины «авторская лексикография» и «авторский словарь» (*Autorenlexikografie, author dictionary*).

Всеобъемлющим представляется очерк Р. Р. Гельгардта «Словарь языка писателя», в котором автор постарался обобщить многовековой опыт многих европейских писательских лексикографий, что крайне трудно сделать в одной статье. Только в английской авторской лексикографии существует более трехсот справочников ко всем и отдельным произведениям более 60 английских художников слова [Карпова 1997: 18—27]. Более того, многообразие типов словарей [Карпова 2001: 107—115; Карпова, Юмшанова 1999: 69—77] настолько велико и несопоставимо, например, со словарями французской или итальянской писательской лексикографии, что потребуются специальные исследования, в которых эти типы справочников могут быть описаны. Что же касается шекспировской лексикографии, она включает более ста лингвистических и энциклопедических словарей ко всему творчеству и отдельным произведениям великого англичани-

на, а также только ей присущих типов словарей (например, терминологических: «Словарь морских терминов Шекспира», «Словарь наименований растений, язык цветов и символы» и т. д.) [Карпова 2002: 49—61; Карпова, Averboukh 2001: 78; 2002: 116—124]. Следует упомянуть и тот факт, что только за последние пять лет шекспировская лексикография пополнилась новыми словарями [Miner, Rawson 1996; NTC 1997; Armstrong 2000; Clark 1999; MacConnell 2000; Lomonico 2001]. Большую часть представляют этимологические справочники [Kacirk 1997; Fay, Roberts 1999; McQuaine 1998; Shewmaker 1999], которым положил начало упомянутый Р. Р. Гельгардтом словарь Эжуолла. Значительно пополнилась с тех пор и группа ономастических словарей Шекспира [Davis 1995; Stokes 1996; Wells 1998; O'Connor 2000], значение которых трудно переоценить [Карпова, Карташкова 2001: 106—113]. Следует сказать также о словарях писателя, не укладывающихся в традиционную типологию, таких как произносительные справочники имен героев произведений Шекспира [Карпова, Вишневецкая 1998: 50—57], а также глоссарии оскорбительной и эротической лексики, встречающейся в произведениях писателя (см., например: [Partridge 1994; Hill, Öttchen 1995; Williams 1997]).

Безусловно, центром Антологии являются фрагменты, посвященные описанию принципов построения двух крупнейших словарей писателя. Это серия словарей М. Горького: автобиографической трилогии, драматургии и повести «Фома Гордеев» (серия, задуманная еще Б. А. Лариным как многолетний проект полного горьковского словаря) — и, конечно, «Словарь языка Пушкина». Оба выдающихся лексикографических проекта олицетворяют собой два типа авторского словаря — *стилистический*, направленный на выявление и описание

индивидуально-авторских особенностей языка писателя, и *исторический*, характеризующий язык эпохи, в которую жил и творил писатель, оказавший колоссальное влияние на формирование русского литературного языка.

В Антологии видное место по праву занимают фрагменты из частотных словарей (ЧС) писателей (см., например, выдержки из ЧС по «Стихам о Прекрасной Даме» Блока, а также комедии «Горе от ума» Грибоедова, роману Мамина-Сибиряка и другие), принципы построения которых фундаментально разработаны в отечественной теории лексикографии и могут служить образцом для составления словарей такого типа ко всему творчеству и отдельным произведениям не только русских, но и зарубежных писателей [Карпова, Кириллов 1997: 138—142].

Удачной находкой составителей является и полное представление в Антологии словарей русских поэтов. Это словари поэзии Блока (авторы З. Г. Минц и др.), Вознесенского (В. С. Баевский), Пастернака (И. В. Романова) и, как вершина лексикографирования поэтического творчества — фундаментальный лексикографический труд «Поэт и слово» (автор идеи В. П. Григорьев), лучший, на мой взгляд, словарь поэтических произведений.

Следует отметить тот факт, что в Антологию включены материалы из словарей В. И. Ленина (в частности, из «Фразеологического словаря языка В. И. Ленина» Л. К. Байрамовой, П. Н. Денисова), незаслуженно забытых в России, тогда как за рубежом, несмотря на смену политических режимов и настроений, на протяжении целых веков развивалась и формировалась группа словарей языка философов и общественных деятелей, которая явно выделилась в самостоятельную область и ждет своего исследователя.

В Разделе I представлен «Очерк развития писательской лексикографии в оте-

чественном языкознании (1883—1990)», написанный О. И. Фояковой, в котором, несмотря на полноту описания материала, присутствуют сведения далеко не обо всех словарях русских писателей. Отрадно в связи с этим стремление составителей собрать в Антологии материалы по всем авторским толковым, частотным и другим типам словарей, опубликованным после 90-х гг. XX в. Это и «Словарь языка А. И. Полежаева» (Саранск, 2001), и «Словарь языка Н. И. Ладыгина» (Москва, 2000), и «Обратный частотный словарь поэтических произведений А. В. Кольцова» (Воронеж, 1996), и многие другие, которые были ранее недоступны читателю по ряду причин и только благодаря авторам этой уникальной работы стали достоянием широкого круга исследователей и читателей.

Впервые в Антологии приведены материалы по словарям Библии (П. М. Алексеев), что, безусловно, стоит приветствовать, поскольку история их создания восходит к далекому прошлому (например, в англоязычной лексикографии — к XVI в.). К настоящему времени сформировалась самостоятельная отрасль писательской лексикографии — словари языка Библии.

Безусловно, большую значимость имеет и заключительный раздел Антологии — «Библиография», в котором впервые приводится не только исчерпывающий список словарей языка писателей, но и список теоретической литературы. Оба списка могут служить надежным ориентиром в богатом мире писательской лексикографии, тем более что здесь перечислены как основополагающие труды теоретиков писательской лексикографии, так и работы молодых исследователей, делающих первые шаги в теоретической и прикладной авторской лексикографии.

Поскольку Антология, безусловно, выполняет несколько функций, включая и

функцию справочника по теории писательской лексикографии, сложившейся в России, хотелось бы иметь в последующих изданиях рецензируемой книги краткую биографическую и историческую справку об авторах всех представленных словарей. К этому стремятся составители многих подобных трудов в зарубежной лексикографии. Достаточно упомянуть всемирно известного лексикографа из Великобритании Р. Р. К. Хартманна, который постоянно работает над созданием коллективных монографий с привлечением большого числа лексикографов [Hartmann: в печати].

В целом труд «Русская авторская лексикография XIX—XX веков. Антология» достоин самых высоких похвал и, уверена, станет достоянием мирового сообщества лексикографов.

### Л и т е р а т у р а

Карпова 1995 — О. М. Карпова. Словари языка писателей в английском и русском языках // Английская филология в переводческом и сопоставительном аспектах. СПб., 1995. С. 97—101.

Карпова 1997 — О. М. Карпова. Словари языка писателей с точки зрения перспективы пользователя // Теоретические и практические аспекты лексикографии / Отв. ред. О. М. Карпова. Иваново, 1997. С. 18—27.

Карпова 2001 — О. М. Карпова. Толково-энциклопедические словари языка английских писателей. Культурологический аспект // Лингвистическое отечествоведение / Отв. ред. В. И. Макаров. Т. 2. Елец, 2001. С. 107—115.

Карпова 2002 — О. М. Карпова. Современная картина шекспировской лексикографии // Лексика и лексикография. Вып. 13 / Отв. ред. Ю. Г. Коротких. М., 2002. С. 49—61.

Карпова, Вишневская 1998 — О. М. Карпова, Г. М. Вишневская.

Произносительные специальные словари языка Шекспира // Фонетика иноязычной речи / Отв. ред. Г. М. Вишневская. Иваново, 1998. С. 50—57.

Карпова, Карташкова 2001 — О. М. Карпова, Ф. И. Карташкова. Проблема лексикографического описания имен собственных в различных типах писательских словарей в ракурсе лингвокультурологического подхода // Язык и общество. М., 2001. С. 106—113.

Карпова, Кириллов 1997 — О. М. Карпова, М. А. Кириллов. Из опыта составления частотного словаря рассказов Ск. Фицджеральда // Теоретические и практические аспекты лексикографии / Отв. ред. О. М. Карпова. Иваново, 1997. С. 138—142.

Карпова, Юшанова 1999 — О. М. Карпова, Е. В. Юшанова. Становление англоязычной специальной лексикографии // Теория языка и речи: история и современность / Отв. ред. Н. Ю. Гвоздецкая. Иваново, 1999. С. 69—77.

Hartmann, в печати — R. R. K. Hartmann. *Lexicography. Critical Concepts*. London: Routledge (в печати).

Hausmann 1989 — Wörterbücher = Dictionaries = Dictionnaires. An International Encyclopedia of Lexicography / Ed. by F. J. Hausmann, O. Reichmann, H. E. Wiegand, L. Zgusta. (Handbücher zur Sprach und Kommunikationswissenschaft; 5.1, 5.2, 5.3) Berlin: W. de Gruyter. [Vol. 1: 104 articles, II: 123 articles, III: 122 articles, by 248 authors].

Karpova 1997 — О. Карпова. History of English Author Lexicography // XVI Congres International des Linguistes. Abstracts. Paris, 1997. P. 134.

Karpova, в печати — О. Карпова. Author Concordances, with Special Reference to Shakespeare // R. R. K. Hartmann. *Lexicography. Critical Concepts*. London: Routledge (в печати).

Karpova, Averboukh 2001, 2002 — О. Карпова, К. Аverboukh. Terms in Literary Discourse with Special Reference to Shakespeare Works // LSP 2001 «Porta Sci-

entia». Abstracts. Vaasa, 2001. P. 78.; Лексика и лексикография. Вып. 13 / Отв. ред. Ю. Г. Коротких. М., 2002. С. 116—124.

### Список словарей

Armstrong 2000 — J. Armstrong. The Arden Dictionary of Shakespeare Quotations. London, 2000.

Clark 1999 — The Penguin Shakespeare Dictionary / Ed. by S. Clark. London, 1999.

Davis 1995 — J. M. Davis. The Shakespeare Name Dictionary. N. Y., 1995.

Fay, Roberts 1999 — M. Fay, K. Roberts. Seeing What Shakespeare Means. Hagerstown, 1999.

Hill, Öttchen 1995 — W. Hill, C. Öttchen. Shakespeare's Insults. Educating your Wit. London, 1995.

Kacirk 1997 — J. Kacirk. Forgotten English. N. Y., 1997.

Lomonico 2001 — M. Lomonico. The Shakespeare Book of Lists. The Ultimate Guide to the Bard, His Plays, and How They've Been Interpreted (and Misinterpreted) Through the Ages. Franklin Lakes, 2001.

Miner, Rawson 1996 — M. Miner, H. Rawson. A Dictionary of Quotations from Shakespeare. N. Y., 1996.

MacConnell 2000 — L. MacConnell. Dictionary of Shakespeare. Teddington, 2000.

McQuaine 1998 — J. McQuaine et al. Coined by Shakespeare. Words and meanings first used by the bard. Springfield, 1998.

NTC 1997 — NTC's Dictionary of Shakespeare. Lincolnwood: S. Clark, 1997.

O'Connor 2000 — E. M. O'Connor. Who is Who and What's What in Shakespeare. N. Y., 2000.

Partridge 1994 — E. Partridge. Shakespeare's Bawdy: A Literary and Psychological Essay and a Comprehensive Glossary. London, 1994.

Shewmaker 1999 — E. Shewmaker. Shakespeare's Language. A Glossary of Unfamiliar Words in His Plays and Poems. N. Y., 1999.

Stokes 1996 — F. Stokes. Who's Who in Shakespeare. London, 1996.

Wells 1998 — St. Wells. Oxford Dictionary of Shakespeare. Oxford, 1998.

Williams 1997 — G. Williams. A Glossary of Shakespeare's Sexual Language. London, 1997.

*О. М. Карпова*

### Словарь языка русской поэзии XX века / Сост. В. П. Григорьев,

Л. Л. Шестакова, В. В. Бакеркина, А. В. Гик, Л. И. Колодяжная, Т. Е. Реутт, Н. А. Фатеева; Компьютерная база Словаря: Ж. Г. Аношкина. М.: Языки славянской культуры, 2001.

Т. 1. А — В. 896 с. Тираж 1000 экз. (Studia philologica).

То же. 2003. Т. 2. Г — Ж. 800 с.

Чем дальше, тем больше две главные отрасли филологической науки — лингвистика и литературоведение — специализируются и тем самым отдаляются друг от друга. В обычной своей практической деятельности литературоведы все реже обращаются к новейшим работам лингвистов, и, наоборот, языковеды предпочитают обходиться без достижений исследователей литературы. Конечно, можно привести и

показательные исключения, но это скорее частности, а не общая закономерность.

Лишь в нескольких сферах нашей науки органическое соединение лингвистики и литературоведения продолжает оставаться неизбежным для всякого, кто претендует на научность своих работ. Для изучающих литературу — это стиховедение, а для лингвистов — исследование в области художественной речи.

Именно к последней принадлежит начатый изданием словарь, ставший предметом внимания автора рецензии. При этом следует заметить, что наш взгляд определен позицией литературоведа, использующего достижения лингвистической науки в собственных целях. И для их достижения крайне важно, чтобы труд коллег был максимально надежен, чтобы на него можно было опереться без боязни впасть в то или иное заблуждение. Одновременно он должен давать возможность проверить свои интуитивные наблюдения фактическим материалом, исчерпание которого невозможно без использования компьютерных технологий, неизбежно влекущих за собою формализацию. Для литературоведа (да, в конечном счете, и для лингвиста) формализация обязательно должна быть скорректирована контекстом, начиная от самого элементарного, на уровне словосочетания, до максимально возможного — контекста эпохи или контекста общекультурного.

«Словарь языка русской поэзии XX века» представляет собою немаловажный шаг на пути к созданию того общего поля, на котором филология естественно возвращается к своим истокам. Приблизительные и вкусовые суждения исследователей литературы, формальные подсчеты и базирующиеся на них выводы языковедов теперь легко могут быть подтверждены или опровергнуты фактами.

Наиболее существенной заслугой словаря является определенная в ряде работ его составителей (прежде всего ответственного редактора В. П. Григорьева) и в предисловии ориентация на создание своеобразной лингвистической энциклопедии русской поэзии XX века, пока еще ограниченной по масштабам всего лишь десятью поэтами, но уже рассчитанной на то, что в дальнейшем ее можно будет расширять до любых необходимых пределов. Эта направленность определяется

не только принципами контекстуального (причем не равномерно контекстуального, а определяемого необходимостью) представления каждого слова, но и тем, что слова вписываются в контексты, как правило, не используемые авторами иных словарей. Так, уже в «Предисловии» и статье «Как пользоваться словарем» мы находим примеры именно таких «неформальных» контекстов: отмечается рифменная позиция слова, а в необходимых случаях указывается и то, с чем оно рифмуется; даются указания на «чужую речь» (хотя это заслуживает специального обсуждения); в словарные статьи выводятся прямо не произнесенные в тексте слова (складывающиеся из первых букв акrostихов, имена собственные, заданные описательно и пр.); толкуются иронические, переносные, каламбурные задания и значения слов.

Таким образом, словарь — и об этом также сказано в предисловии — оказывается двунаправленным: толкуя поэтическую речь, он в то же время обогащает и общие словари русского языка, показывая, как литература (поэзия в частности) преобразует лексические возможности языка.

Не так уж трудно представить себе любителя поэзии, читающего отдельные статьи этого словаря, чтобы проверить себя и свои знания, лучше понять возможности, использованные или упущенные интересующим его поэтом. Но в то же время специалисту в области поэзии словарь даст немало. Приведем лишь один пример из собственной практики: интуитивно чувствовалось, что слово *дали* (им. п. мн. ч.) характерно для языка Блока. Но до появления второго тома словаря проверка этого утверждения была бы практически невозможной, тогда как после его выхода она уложилась примерно в сорок минут работы. Поиск цитат, неточно запомненных строк, справки о частоте и хронологической прикреплённости словоупотребле-

ний — все то, с чем так часто приходится сталкиваться, теперь стало значительно проще, а иногда и впервые возможно.

Сказанное заставляет отнести словарь к категории изданий несомненно востребованных по крайней мере филологической наукой и в силу этого рекомендовать его к использованию.

Вместе с тем любой человек, обращающийся к такого рода изданию, должен понимать, что он может там найти, а чего — нет, и какие трудности могут его ожидать в работе. Конечно, внимательно изучить 1700 страниц двух томов и помещенные в них без малого 12 тысяч статей возможно лишь при многолетнем постоянном чтении, однако некоторые моменты, как кажется, отметить нужно.

Прежде всего это относится к списку поэтов. В словаре расписаны сочинения десяти русских поэтов XX в.: И. Ф. Анненского, А. А. Ахматовой, А. А. Блока, С. А. Есенина, М. А. Кузмина, О. Э. Мандельштама, В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака, В. В. Хлебникова и М. И. Цветаевой. Конечно, смешно было бы предлагать вычеркнуть из этого списка кого-либо, но вот приходится пожалеть о том, что явно недостаточно представлен русский символизм, который был фактическим началом всей русской поэзии XX в., и чем внимательнее читаешь ее, тем больше замечаешь отголосков поэтов-символистов, иногда случайных, на уровне общих мест, а чаще рассчитанных. Заложная в основании словаря идея единства русской поэтической культуры получила бы более полное воплощение, будь в словаре представлены хотя бы В. Брюсов и З. Гиппиус.

Самый, пожалуй, серьезный упрек составителям словаря должен быть выдвинут со стороны текстологической. Увы, один из наиболее существенных для филологии аспектов представления любого писателя оказывается недостаточно продуманным. Хотя в предисловии В. П. Гри-

горьев и произносит совершенно справедливые слова о «драматической истории изучения того, что называют по-разному: модернизмом, авангардом и Серебряным веком» (с. 4), но уроки этой драматической истории учтены лишь частично.

Те издания Анненского, Блока, Кузмина, Пастернака (с учетом опечатки в библиографическом описании: речь идет о собрании сочинений не в четырех, а в пяти томах), Хлебникова и Цветаевой, которые выбрали составители для работы, можно признать неизбежными для времени, когда словарь составлялся. Но объяснить, почему использовалось совершенно случайное издание Маяковского, подвергшийся цензуре советского времени двухтомник Ахматовой, давно устаревшее собрание сочинений Есенина, испорченный опечатками двухтомник Мандельштама — нелегко. В итоге это привело не только к основательной неполноте сведений о словоупотреблениях, но и к смешным моментам, когда от словарного слова *говно* («Во весь голос» Маяковского) находим отсылку к прюдническому и поэту не принадлежащему сокращению «г...».

Но есть и еще одна текстологическая проблема, которая заслуживает пристального внимания. Как известно, многие поэты были склонны коренным образом перерабатывать свои стихи. Так, во всех основных изданиях Пастернака его ранние сборники печатаются в редакциях, созданных много лет спустя после первого появления стихов в печати. Ориентированный на окончательный текст собрания сочинений, словарь и фиксирует исключительно эти употребления, не принимая во внимание, скажем, *ветки* вместо *деревьев* в первом же стихотворении, открывающем корпус текстов. А между тем подобные случаи должны были бы быть учтены и откомментированы как-нибудь вроде: «...с *деревьев* тысячи

*грачей*» [в ред. 1912—«...на ветках тысячи грачей»]. Без этого подсчеты делаются заведомо неточными, а представление об эволюции поэта искажается. Намного или нет—вопрос другой, но искажается. Между тем с особенной остротой должен быть осознан этот вопрос, если иметь в виду продолжение работы над словарем, когда его придется решать в связи с ранними редакциями стихотворений Брюсова и Гумилева, Андрея Белого и Заболоцкого, Сельвинского и Антокольского...

Обсуждения заслуживает (и вероятно, уже обсуждалась) проблема подачи слова. Должно ли оно быть представлено в своей начальной форме или же в той, в какой оно употреблено в тексте? В нынешнем виде выбран первый вариант. Но следует отдавать себе отчет, что и у того и у другого варианта есть свои преимущества и недостатки, которые видны довольно отчетливо. С нашей точки зрения удобнее для пользователя и логичнее второй вариант. Во-первых, во многих случаях это облегчит поиски (в уже приведенном выше примере со словом *дали* нам для подсчетов пришлось внимательно изучить пять с лишним страниц большого формата, фиксирующие все падежные формы слова *даль*, тогда как при варианте ином времени тратилось бы несравненно меньше). А во-вторых,—и это, может быть, даже существеннее—словарь избавился бы от слов, которых реально в русском языке и даже в поэзии нет. Так, в

первом томе находим слово *Авроров*, произведенное составителями от ненормативного словообразования Маяковского: *бабахнула шестидюймовка Авророва; туша Авророва*. Понятно, что мужской род для поэта здесь невозможен, но принцип оказался важнее смысла. Или: можно ли от сочетания *вольтова душа* образовать прилагательное *вольтов*?

Иногда желание максимально прояснить реалии текста вызывает некоторое сомнение. Например, вряд ли кто из читателей мандельштамовского шедевра «Жил Александр Герцевич...» (в других изданиях — «Герцович») понимает его героя, *еврейского музыканта*, как некую конкретную личность. И нерушимое прикрепление персонажа стихотворения к А. Г. Айзенштадту, пусть даже комментаторы уверены в том, что именно его имя и отчество были использованы поэтом, меняет весь модус чтения.

Однако закончить рецензию хотелось бы все-таки утверждением, что все эти рассуждения могут быть осмыслены не как фиксация недостатков, а как утверждение, что словарь дает весьма плодотворную почву для обсуждения многих проблем, без него не столь очевидных. Филологически ориентированная мысль найдет на его страницах, в его осознанных формулировках и произвольных сопоставлениях много оснований для нетривиальных выводов, способных подтолкнуть науку к дальнейшему развитию.

Н. А. Богомолов



## ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### Международный научный семинар «Власть и жизненный мир личности»

С 8 по 10 октября 2003 года проходил Международный научный семинар «Власть и жизненный мир личности», организованный Саратовским межрегиональным институтом общественных наук при Саратовском государственном университете. Во вступительном докладе научный руководитель семинара профессор О. Б. Сиротинина (Саратов) с опорой на определения толковых словарей понятия **власть** остановилась на разных аспектах концепта ВЛАСТЬ как объекте исследования разных наук, не только лингвистики, но и психологии, социологии и даже медицины. Была высказана надежда, что подобного рода семинар будет проводиться регулярно, и постепенно будут затронуты все аспекты проблемы в симбиозе разных наук.

В процессе работы семинара было проведено шесть тематических заседаний: «Власть, язык, речь», «Жизненный мир личности и СМИ как результат взаимодействия общества и „четвертой власти“», «Влияние разных видов власти на жизнь личности», «Жизненный мир личности в свете властных отношений в быту» и «Властные отношения и их отражение в художественной речи».

На первом тематическом заседании семинара «Власть, язык, речь» в докладе Л. П. Крысина (Москва) «Метафоры власти» были рассмотрены виды метафорических оборотов со словом *власть* и его производными. Показана **множественность** образов, лежащих в основе этих метафор: власть как предмет (*взять власть, захватить, держать в своих руках* и т. п.), как некое устройство (ме-

*ханизмы власти, властные структуры* и т. п.), как строение, здание (*фундамент власти, коридоры власти, войти во власть* и под.) и др.

Л. В. Балашова (Саратов) в докладе «Метафора власти в пространственной системе координат (диахронический аспект)» говорила о метафорическом именовании властных отношений с помощью пространственной лексики. В результате диахронического анализа метафорической лексики установлено, как эволюционировали (с древнерусского периода по наши дни) представления этноса об отношениях властной элиты и народа.

Доклад К. Ф. Седова (Саратов) «Речевая агрессия как стремление к власти над человеком» был посвящен описанию результатов исследования агрессии как деструктивной разновидности речевого воздействия. Показан психологический механизм возникновения агрессии в межличностном взаимодействии. На основе системы бинарных оппозиций предпринята попытка создания типологии речевых форм проявления агрессии в повседневной коммуникации. Выделены и описаны дискурсивные тактики конфликтного поведения, в основе которых лежит иллокуция агрессии.

И. Н. Борисова (Екатеринбург) остановилась на лингвистических основах описания манипуляций. На материале торговой рекламы были выявлены уровни отбора информации, мотивации, аргументации. На этом основании выделены признаки манипулятивного текста.

В докладе М. Я. Дымарского (Санкт-Петербург) «Язык власти и мир личности

в современном словаре» содержался глубокий анализ толкового словаря нового типа под редакцией Г. Н. Складневской «Толковый словарь русского языка конца XX в.: Языковые изменения».

Второе заседание научного семинара — «Жизненный мир личности и СМИ как результат взаимодействия общества и „четвертой власти“» — открылось докладом М. А. Кормилицыной (Саратов) «Формирование имиджа политика средствами СМИ». В докладе утверждалось, что зачастую имидж политика создается СМИ в соответствии с указаниями власти и тех, кто близок к ней. Но нельзя считать этот процесс однонаправленным: коллективная воля общества, ожидания людей в тот или иной момент тщательно изучаются, и на основании этого «лепится» ожидаемый образ политика. Среди языковых средств, которыми пользуются журналисты, наиболее активны средства прямой и косвенной (чаще) оценки, метафоризация. Создаваемый СМИ имидж политика подвижен, динамичен. Можно заметить значительные различия в оценке политиков даже на протяжении последних нескольких лет (2000—2003).

В. Е. Гольдин и О. Ю. Крючкова (Саратов) рассмотрели проблему власти СМИ сквозь призму лингвистических экспертиз. На материале судебных споров, связанных с публикациями в СМИ, были проанализированы ограничения, налагаемые обществом на распространение информации, и противоречия между филологической и юридической оценкой коммуникации.

В докладе О. Н. Дубровской (Саратов) «Формирование общественного мнения СМИ (на материале сложных речевых событий)» анализировалось освещение в СМИ сложных речевых событий, обращалось внимание на то, что СМИ подают их в выгодном для данной политической

системы свете и тем самым оказывают идеологическое и эмоциональное воздействие на телезрителей.

Мысль о том, что жизненный мир личности в постиндустриальном обществе в значительной мере формируется СМИ, доказывалась и в докладе Л. И. Коретниковой (Волжский) на материале освещения одного и того же события (теракт на Дубровке) газетами «New York Times», «Washington Post», «Аргументы и факты», «Известия». Было показано, как по-разному СМИ России и США называют участников событий (например, Chechens (чеченцы), rebels (повстанцы), guerrillas (партизаны) — в американских СМИ и «чеченские террористы», «чеченские боевики» — в российских СМИ).

Е. В. Власова (Саратов) на основе анализа заголовков газетных текстов в отечественной прессе 30-х и 90-х гг. показала многообразие форм выражения речевой агрессии в печатных СМИ, выявила и дала описание отличий проявления речевой агрессии в газетах тоталитарного периода развития общества (угрозы, оскорбления, обвинения и др.) и в современной печати (ирония, вышучивание, колкость и т. п.).

Аналізу почтовой политической рекламы был посвящен доклад Ю. Б. Пикулевой (Екатеринбург). В нем рассматривались особенности представления образа регионального политика в «прессе власти» и «оппозиционной прессе». Описывались основные стратегии дискредитации кандидата. Особое внимание было уделено одному из ценностно-манипулятивных приемов, используемых в политической рекламе, — включению в агитационный текст прецедентных культурных знаков.

В докладе Е. В. Дзякович (Саратов) затрагивались вопросы, связанные с воздействующим потенциалом метаграфемных средств в массовых коммуникаци-

ях — как информационных, так и маркетинговых. Анализировались особенности приемов экспрессивной пунктуации, средств синграфемки, супраграфемки и топографемки в текстах современных печатных СМИ и рекламных модулях.

Большой интерес вызвала проблема влияния разных видов власти на жизнь личности, которой были посвящены третье и четвертое заседания семинара. Открыл обсуждение этого вопроса доклад О. Н. Паршиной (Астрахань) «Риторическая грамотность политика — один из факторов его авторитетности». В нем были проанализированы составляющие риторической грамотности и ее роль в создании авторитета политического лидера. При этом подчеркнута мысль об этической основе риторической грамотности. На материале устной речи современных российских политиков (Г. А. Явлинского, Г. А. Зюганова, В. В. Жириновского и др.) продемонстрированы примеры риторических неудач, связанных с отсутствием обдуманной стратегии речевого поведения, с недоучетом фактора адресата, с нарушением правил толерантного общения. Особое внимание уделено способам манипуляции адресатом: тактикам компрометации, гиперболизации, выведения противника из себя, уклонения от ответа, приемам подтасовки фактов, провокационных вопросов и др.

Продолжила разговор об уровне культуры речи политика как факторе, во многом определяющем его авторитет, Т. В. Харламова (Саратов) в докладе «Текстовые нарушения и их причины в речи представителей политической власти». Речь политиков, к сожалению, изобилует ошибками. Причины этого явления кроются в невысоком уровне речевой культуры говорящего, а также объясняются факторами устности, спонтанности, неподготовленности продуцируемого текста. Неграмотное построе-

ние речи, беспрестанное тиражирование ошибок может пагубно сказаться на речевом облике России и превратить СМИ в средство пропаганды низкого уровня речевой культуры.

Эти же проблемы обсуждались в докладе Н. И. Кузнецовой (Саратов) «Исполнительная власть в зеркале деловой переписки». На материале деловых писем анализировалось влияние способности правильно строить деловой текст на уровень авторитета исполнительной власти, выяснялись причины появления разного рода грамматических и стилистических ошибок, ухудшающих качество делового письма.

Т. В. Дубровская (Пенза) в докладе «О взаимодействии судебной власти и личности в ходе судебного разбирательства» на примере одного заседания в отделе королевской скамьи Высокого суда правосудия Великобритании рассмотрела характеристики судебного дискурса, в которых проявляются особенности взаимодействия истца, ответчика и судебной власти в лице судьи. Истец и ответчик демонстрируют уважение к закону вообще и судье лично, проявляют законопослушание и сдержанность в общении с ним, ясно и четко выражают мысли. Судья, со своей стороны, проявляет не только свой статус как представителя власти, но и выказывает уважение и внимание к личностям тяжущихся.

Е. А. Додыченко (Саратов) затронула проблемы влияния речевой культуры представителей судебной власти на ее авторитет. Объектом исследования Додыченко стали деловые документы, составленные юристами г. Саратова и Саратовской области. Докладчик отметила, что в документах было найдено множество орфографических, пунктуационных, грамматических, лексических и стилистических ошибок. Анализ документации показал, что их авторы не умеют разграничивать

письменную и устную формы речи. Это, несомненно, влияет на качество юридических документов, свидетельствует не только о языковой, но и в какой-то мере о профессиональной некомпетентности представителей судебной власти и тем самым снижает ее авторитет в обществе.

В докладе Н. А. Бобарыкиной (Саратов) «Власть новых технологий и жизненный мир личности» были показаны лингвистические проявления власти новых технологий над человеком. Демонстрировались рекламные объявления продажи компьютерной техники, понятные только специалистам.

С. В. Леорда (Саратов) в своем сообщении представила речевые способы завоевания авторитета студентами в группе. Были рассмотрены три типа лидеров, описаны речевые способы, использованные каждым из них для завоевания авторитета в группе, а также выделены факторы, негативно и позитивно влияющие на это процесс.

В докладе Т. А. Милехиной (Саратов) «Власть в жизненном мире предпринимателя» на основании собственных магнитофонных записей речи бизнесменов была выявлена главенствующая роль в жизни предпринимателя денег и деловой деятельности.

Р. Ратмайр (Австрия) на примере деловых переговоров исследовала особенности проявления власти в симметричной ситуации. Доказывалось, что говорить о власти применительно к переговорам можно с определенной долей условности, так как речь идет скорее о зависимости, о попытках создать видимость власти, а не о реальной власти над партнером. В ходе переговоров позиция участника, обладающего большей властью, проявляется в большей независимости от результата переговоров. Эта независимость и свобода либо существует реально, либо демонстрируется с целью дости-

жения успеха на переговорах, т. е. можно говорить о создании впечатления власти. Были подробно рассмотрены вербальные стратегии власти, которые можно условно разделить на прямые и косвенные. В качестве прямых стратегий были проанализированы стратегии, угрожающие имиджу партнера. К косвенным стратегиям власти были отнесены такие, как, например, «удерживание» информации, высокая степень неоднозначности интерпретации сообщаемой информации и некоторые др.

Г. С. Куликова (Саратов) представила наблюдения над материалом бесед с актерами в устных и печатных СМИ, которые свидетельствуют, что актеры редко говорят о деньгах в контексте своего личного успеха (что, например, отмечено в интервью с эстрадными артистами или американскими киноактерами). Частота и характер обращения к теме власти денег в искусстве зависит от возраста актера и степени его творческой активности. Актеры старшей возрастной группы часто связывают коммерциализацию искусства с несправедливым забвением пожилых актеров. Власть денег в искусстве осознается ими как трагедия отечественной культуры, что наблюдается и у актеров среднего возраста, но почти отсутствует у молодых актеров, успешно «вписавшихся» в новую систему экономических отношений.

В сообщении Л. А. Лудильщиковой (Саратов) «Проявление власти телевидения в речи молодежи» отмечалось огромное влияние телевидения на речь людей, особенно на речь молодежи. Студенты техникумов предпочитают развлекательные программы, и, как показал эксперимент, в лексиконе студентов прочно обосновались выражения из телесериалов и других развлекательных передач: *Не брат ты мне; Это наша корова, и мы ее доим; Я стар, я стар, я супер-*

*стар* и др., жаргонизированная лексика (*за базар ответишь; приколись* и т. д.).

Пятое заседание семинара было посвящено проблемам властных отношений в быту. Т. В. Матвеева (Екатеринбург) рассмотрела коммуникативную стратегию влияния на речь собеседника в процессе диалогического взаимодействия. Выделены две субстратегии (речевого поддерживания и придерживания) и способы их реализации (краткие реплики-реакции субъективно-модального содержания — речевые поддержки и придержки), охарактеризованы разновидности последних. Сделан вывод о технологии адаптивного управления речью собеседника как способе интеграции разнородного репличного материала диалога в психосемантическое единство.

В сообщении Е. П. Захаровой (Саратов) «Власть над собеседником в аспекте коммуникативной нормы» было дано определение понятия «власть над собеседником», указаны объективные и субъективные факторы власти. Рассмотрено соотношение понятий «власть над собеседником» и «коммуникативная норма», при этом особое внимание уделено тональности общения и ориентации на адресата.

В. В. Дементьев (Саратов) говорил о власти и жанрах русской обиходно-разговорной речи. Деление русской нации на «власть» и «народ» проявляется в используемых видах и жанрах общения. Анализировалось отношение двух противоположных жанров фатического общения — разговора по душам и светской беседы. Разговор по душам, имеющий исключительное значение для русского коммуникативного пространства и системы основных ценностей русской культуры, принципиально противостоит понятию «власти». Светская беседа — жанр, заимствованный из западной культуры как одно из средств, помогающих противопоставить власть черни. Отношения между этими жанрами

рассматриваются по трем пунктам: соответствие/несоответствие системе основных коммуникативных ценностей русской речевой культуры, психологические доминанты общения, стереотипы и жанровые формы.

М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова (Москва) в своих докладах «Социальные перемены в зеркале семейного дискурса» и «Социальные перемены глазами мужчин и женщин» представили результаты анализа текстов социологических интервью жителей Санкт-Петербурга 1993—1995 гг. Были отмечены различия у мужчин и женщин в реакциях на социальные перемены в обществе: у женщин преобладают эмоционально-оценочные внутренние реакции (*ужас, жутко, страшно*), у мужчин — рациональные, в высшей степени негативные. Существуют и различия в выборе тем ответов: мужчины отвечают на вопросы о политике, женщины — о семье, об обыденных проблемах общества. Мужчины большое место уделяют вопросам профессионального статуса, женщины смотрят на эту проблему сквозь призму семьи. На вопросы о семейных доходах отвечают мужчины, о расходах — женщины.

А. В. Занадворова (Москва) говорила об отражении семейной иерархии в жанровой структуре семейного общения. С одной стороны, в семье наблюдается большая речевая свобода, с другой стороны, семья, безусловно, относится к иерархически организованным группам. Были рассмотрены различные случаи неравенства партнеров коммуникации: иерархическое неравенство (отец — сын); неравенство в уровне компетенции (более опытный — менее опытный); соотношение психологических ролей (по Э. Берну: Взрослый, Родитель, Ребенок). Особое внимание уделено случаям квазиравных ролей (муж — жена, старший ребенок — младший ребенок), а также случаям су-

ществования двойной иерархии в семьях, включающих более двух поколений. Показано, что в семье возможны случаи ситуативной смены иерархии.

Продолжила анализ проблем властных отношений в семье А. Н. Байкулова (Саратов). В ее докладе основное внимание было обращено на одну из важнейших семейных ролей — роль главы семьи. На основании опроса городских семей интеллигентов с русскими традициями делаются выводы об отношении членов внутрисемейной коммуникации к власти в семье, о влиянии гендерного фактора на эти отношения. Дан анализ коммуникативного поведения главы семьи, выявлены речевые стратегии и тактики, свойственные этой семейной роли.

Э. А. Столярова (Саратов) говорила о власти денег в языковом сознании носителя языка в обиходной сфере. Господствующее положение денег в современной жизни находит отражение в употреблении слова «деньги» в разговорной речи. Приобретая значение «большие деньги», оно используется в афористических конструкциях: *Деньги решают все; Деньги правят миром* и т. д. При этом меняются парадигматические и синтагматические связи слова «деньги» в субъективном употреблении, возникает конверсивная конструкция: *Все зависит от денег*. Было показано, как воспринимается эта зависимость носителями языка и какое влияние она оказывает на различные стороны жизни.

Темой доклада Г. Беднарка (Польша) являлись проблемы аксиологических определений связи между элементами выражений и синтаксических групп, содержащих понятие «власть» в значении «законное право управления кем-либо». Материал взят из политических фельетонов, помещенных в польском еженедельнике «Политика» в 2002 г. Для определения этих связей использована теория

Т. Кшешовского, названная им фундаментальной аксиологической матрицей.

Последнее, шестое заседание Международного научного семинара «Власть и жизненный мир личности» было посвящено отражению властных отношений в художественной речи. В докладе З. С. Санджи-Гаряевой (Саратов) «Язык власти в произведениях русских писателей XX века» реконструируется язык советской власти в прозе А. Платонова. В первой части доклада дан художественный образ официального языка, во второй — речевые трансформации его элементов, основанные главным образом на языковой игре.

В сообщении С. В. Рюпиной (Саратов) были представлены результаты наблюдений над отражением властных отношений в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя на примере стилистического и мифопоэтического анализа зооморфных образов. В сравнениях сильных мира сего с представителями фауны Гоголь использует зоологизмы, богатые традиционными символическими значениями и коннотациями (русский и украинский фольклор, христианская традиция, мировая литература). Был сделан вывод о представлении Гоголя о власти как о нечистом, несправедном, inferнальном явлении, а о чиновниках как о представителях мнимой, неистинной власти.

Т. А. Кулакова (Саратов) исследовала полисемантическую лексическую единицу «услужение» в цикле Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Выделены наиболее частотные свойственные гоголевскому тексту значения изучаемой лексемы, способы их реализации, а также художественные функции в ткани произведений.

Ю. Л. Новичкова (Саратов) рассмотрела ассоциативное микрополе «наказание», являющееся частью обширного поля «власть». Докладчиком был проведен

лексический анализ тематических групп «причина наказания», «определение меры наказания», «субъект наказания», «объект наказания», «способ осуществления наказания» и «результат наказания».

Таким образом, можно говорить о том, что на научном семинаре были рассмотрены самые разные аспекты взаимо-

отношений власти и жизненного мира личности, что, безусловно, будет способствовать более полному всестороннему исследованию феномена власти и его отражения в языке и речи.

*М. А. Кормилицына,  
О. Б. Сиротинина*

### Отчет о диалектологических экспедициях Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН 2003 года

В 2003 г. отделом диалектологии и лингвогеографии и отделом фонетики проведено 19 диалектологических экспедиций\*. Группы исследователей работали в Архангельской, Вологодской, Кировской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Московской областях, в Забайкалье, Ставропольском крае, а также на Украине, в Белоруссии, в Румынии и Эстонии. Цель экспедиций — магнитофонная запись русской диалектной речи для последующей расшифровки, анализа и описания.

В экспедициях собран обширный материал не только для изучения диалектного языка, но и для исследований в других гуманитарных науках. Записаны тексты, представляющие интерес с точки зрения культурологии, фольклористики, этнографии, истории, религиоведения. Этот материал дает возможность вести исследования по структуре диалектной языковой картины мира, этническому и религиозному самосознанию представителей разных сообществ (в частности, старообрядческих), истории крестьянства в России XX в. В результате экспедиций уникальная база данных звучащей речи, которой располагает Институт русского языка

им. В. В. Виноградова РАН, пополнилась более чем на 556 часов.

Л. Л. Касаткиным и Т. Б. Юмсуновой было продолжено обследование говоров **семейских** — старообрядцев, компактно проживающих в **Забайкалье**. Их третья экспедиция в старообрядческие поселения проходила со 2 июля по 11 августа; в экспедиции также принимала участие аспирантка Л. Б. Матхеева. Были обследованы три села в Красночикоином районе Читинской области (Урлук, Архангельское, Нижний Нарым) и пять сел в Республике Бурятия (Калиновка, Никольск, Верхний Сутай в Мухоршибирском районе и Десятниково, Бурнашово в Тарбагатайском районе). Сделаны магнитофонные записи продолжительностью 84 часа.

Основные черты говоров семейских Забайкалья описаны в экспедиционных отчетах за 2001 и 2002 гг. В данном отчете внимание обращено на две фонетические особенности: первая из них ранее была неизвестна, а происхождение второй получает объяснение.

В говорах семейских отмечено произношение не только [т'], [д'] на месте к', г', широко известное в русских говорах, но и [с'], [з'] на месте исконных х', г' в различных фонетических и морфологических позициях: *на со[с']и́, у брѣ[с']е, стару[с']и, нету[с']и́, пло[с']и́м, глу[с']и́и, молodu[с']ина, [с']и́трая, [с']и́чник, у но́-*

\* Грант Российского гуманитарного научного фонда № 03-04-18032е и грант Президиума Российской академии наук на диалектологические экспедиции.

[з']и. Такое произношение представляет собой фонетическую замену мягких заднеязычных щелевых, как и взрывных, согласных на переднеязычные. Данное явление ранее в русских говорах не отмечалось.

В говорах семейских довольно широко распространено употребление [у] на месте начального *вы*:- [у]брáсывать, [у]пи-вáть, [у]сóкие, [у]ходной день и др. Объяснение этого явления может быть связано со следующими особенностями данных говоров. Звук [ы] здесь часто произносится в заднем ряду и отличается от [у] лишь неогубленностью. Черта эта свойственна многим архаическим русским говорам. Очевидно, что она была свойственна и языку предков семейских. Рядом с губными согласными такой [ы] при его безударности может становиться огубленным и изменяться в [у]: [бу]кá, на [бу]кú, о[бу]дёнкой, [бу]вáть, за[бу]вáю, [пу]лáть, об[му]вáть. Ударный [ы], как звук более напряженный, этому изменению не подвергался: [бы]к, о[бы]чно, [пы]хать, [мы]тница, [мы]ла.

Такое же изменение происходило после обычного в говорах семейских и характерного для Юго-Западной диалектной зоны губно-губного [w], который в начале слова мог стягиваться со следующим безударным [у] в один звук. Этого изменения, как и рядом с другими губными, обычно не происходило при ударности [ы]: [мы]зовем, [мы]косим, [мы]тил, [мы]резал, [мы]ила, [мы]белоть.

В этих говорах возможен и протетический [w], который наблюдается, как правило, перед ударным [у]: [wú]тка, [wú]тро, [wú]повод, [wú]хи, [wú]дочка, [wú]гол, [wú]жинать, [wú]лица, [wú]-лень 'лентяй', [wú]мница, [wú]мер. Но перед безударным [у] этой протезы обычно нет: [у]тята, [у]чить, [у]бёгом, [у]битый, [у]гольник, [у]дальй, [у]жáхнуться, [у]йти, [у]пряжка.

Состоялись две экспедиции к **липованам — русским старообрядцам Нижне-го Подунавья**, проживающим в Румынии и в Одесской области Украины. Первая экспедиция проходила с 16 сентября по 16 октября, в ней принимали участие Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина и Т. Б. Юмсунова. Было обследовано в Румынии два села (Камень и Сарикей), четыре города с компактным проживанием липован (Браила, Тульча, Констанца, Новодорь) и в Одесской обл. два села (Старая Некрасовка Измаильского р-на и Приморское Килийского р-на) и г. Вилково. Записано на магнитофонные пленки 73 часа звучания. Вторая экспедиция Л. Л. Касаткина и Т. Б. Юмсуновой проходила с 10 по 21 декабря в г. Килия Одесской области Украины. Записано 14 часов звучания.

Предками липован, основавшими поселения в низовьях Дуная, были донские казаки, бежавшие вместе с атаманом Некрасовым после разгрома Булавицкого восстания с Дона на Кубань в 1708 г., а оттуда в Добруджу несколькими потоками в 1740—1778 гг. В Добрудже селились и другие старообрядцы, бежавшие от преследований их за веру со стороны русского государства и официальной церкви.

В языке липован прослеживаются главным образом черты Юго-Западной диалектной зоны, а также псковские, отражается влияние турецкого, румынского, украинского языков. Отмечены следующие диалектные особенности.

В фонетике. В области гласных: пятифонемный состав со следами фонемы /ʌ/; сильное, реже диссимилятивное аканье жидринского типа со следами прохоровского типа; иканье у липован Одесщины и части сел Румынии и ассимилятивно-диссимилятивное яканье култуковского типа с элементами сильного яканья в других селах Румынии; звук [ы] наряду с [э] на месте /о/ и /а/ после твердых согласных в безударных слогах кроме 1-го преду-



дарного и конечного открытого. В области согласных: /γ/; на месте /w/ [w] перед гласными, [w] и [ŷ] перед согласными в середине слова и на конце слова, [y] перед согласными в начале слова; [y] на месте начального [wy] в предударных слогах; протетический [w] перед /y/, /o/; [x] на месте /ф/; [ф] на месте *xv*; твердые губные на конце слова; [p] на месте [pʰ] в отдельных корнях и приставках; на месте /ш/, /ж/ обычно [ш], [ж], но [шʰ], [жʰ] перед мягкими согласными и изредка перед [и], [е] и на конце слова; изредка встречается произношение свистящих на месте шипящих и наоборот; на месте /ц/ [ц], а также [цʰ] перед суффиксом *-иј-*; на месте всех долгих согласных краткие; нуль звука на месте /j/ после согласных перед ударными и безударными гласными, в некоторых случаях после гласных на конце слова; протетический [и] перед начальной группой согласных в слове, закрепившийся в предлоге *ис* на месте *с* в любой позиции; мягкие согласные в конце слова на месте твердых перед начальным [и] следующего слова; [с], [сʰ] на месте [ст], [сʰтʰ] в конце слова.

В морфологии. Переход существительных среднего рода в мужской в некоторых говорах Румынии, в других говорах — в женский. В говорах Румынии употребление слова *один, одна* в значении неопределенного артикля: *Он жил как один монах; Гонял меня как одну собаку*. У сущ. 1 скл. в ед. ч. в Р. п. ударное окончание *-и* (после твердой основы *-[ы]*), безударное окончание *-е* (*-[и]*); в Д. п. *-и* (после твердой основы *-[ы]*); в Т. п. мягкие заднеязычные в конце основы перед безударным окончанием; звательная форма без конечного *-ка* в словах типа *ба́тюш, дэ́душ, ма́минь*; во 2 скл. в П. п. у слов м. р. широко употребляется окончание *-у*, ударное и безударное; в 3 скл. в П. п. ударное окончание *-е*; во мн. ч. в Р. п. окончания *-ов*: *мэсʰtʰapów, вакно́у, хрʰи-*

*сʰtʰiánʰiú, радʰítʰilʰiú, грʰiwnʰiú; -ох*: *срódʰnʰикэх, дэ́жумʰэнтэх; -еј*: *сынʰéј, пэ́варʰéј, свʰичʰéј, царствʰéј; -ø*: *чʰуд, улаз, ух*. Местоимение 3 л. мн. ч. *онé* и *оньí*; указат. *той, тая, тоé, тее*. У прилагательных м. р. в И. п. и ж. р. в Р., Д., Т., П. п. ударное окончание *-еј* после конечного твердого согласного основы (заднеязычные могут быть и мягкими); в П. п. м. р. окончание *-е* или *-и* (*-ы*); в И. и косвенных падежах ж. р. перед безударным окончанием заднеязычные мягкие. У глаголов в 1 л. ед. ч. выравнивание основы по остальным формам: подвижное ударение заменяется неподвижным на основе, конечные согласные основы заменяются теми же, что и в остальных формах; в 3 л. ед. и мн. ч. окончания с *-тʰ*; часты невозвратные глаголы на месте возвратных литературного языка и наоборот; формы перфекта в сказуемом — деепричастия на *-иш, -миш, -чи*; формы плюсквамперфекта; формы повелит. наклонения в значении неожиданности действия в прош. времени: *Оглянись назад, а жены его нету; Он узял эти десять копеек и кидь* (кинул). В липованских говорах Румынии употребляется вспомогательный глагол *иметь* (*масть*) вместо *быть*: *Она масть хлопца; Он за три месяца буить масть говорить; Он имеет трошечки виноград; Девочка имела одну ножку хроменькую*. Неопределенные местоимения и наречия образуются при помощи морфемы *-сь*: *хтось, шось, какаясь, кудысь*. В соответствии с отрицательными местоимениями и наречиями употребляются обороты с *нема, быть*: *им нема за што платить; не было када́ учитьсь; не было кому учить*. Предлоги *коло, повз*; союзы *бо, чи*. В соответствии с союзом *где* употребляется *идé*, в соответствии с наречием *где* — *де*.

В синтаксисе. Особенности в употреблении предлогов *за, с* (*ис*), *об, ради, через*; предлог *по* употребляется не только с формами П. п. мн. ч., что неоднократно

отмечалось диалектологами: *Рыбу ловили по лиманам*, но и с формами П. п. ед. ч., что ранее не было известно: *Ходили по селе, по дворе*. И. п. дополнения при глаголе и слове *надо*; особые конструкции со страдательным причастием: *Я вовсе была проходитая* (бойкая); *А я себе нагнутая* (нагнулась); *Ему было сделано* (навели порчу); *Жынкой було посоветано* (посоветовался).

В лексике липован можно выделить несколько пластов. Это лексика, известная в псковских говорах и русских говорах Прибалтики: *дровина* ‘полено’, *пухоный* ‘красивый, полный’ и др.; в псковских и севернорусских говорах: *бѣдно*, в знач. безл. сказ. 1) ‘досадно, обидно’, 2) ‘трудно, плохо, тяжело’, *булдырь* ‘волдырь’, *плеті, плесть* ‘вязать’ и др.; в псковских и южнорусских говорах: *барабуля* ‘картошка’, *мляво* ‘тяжело, тошно’, *постоль* ‘легкая обувь, состоящая из одного или нескольких кусков кожи, стянутых вокруг ступни шнурком’ и др.; в русских говорах Прибалтики и в южнорусских: *держать* ‘быть женатым на ком-либо’, *детенёнок* ‘маленький ребёнок; детеныш’, *зеленковатый* ‘зеленоватый’, *найти* ‘родить’, *найтись* ‘родиться’, *рядка* ‘ряд, очередь’ и др.; в донских говорах: *бабайка* ‘весло’, *гадиться* ‘брезговать’, *конячка* ‘лошадь’, *липка, липочка* ‘герань’, *прашевать, прашивать* ‘полоть, рыхлить землю’, *распанáхатъ* ‘разорвать, разрезать, разодрать’ и др.; в западных говорах (орл., курск., смол., брян., калуж., дон.): *баклажэн* ‘помидор’, *выкохатъ* ‘взлелеять, воспитать, вскормить, вспоить’, *гилки* ‘игра в мяч—лапта’, *гилить* ‘в игре в мяч—подбрасывать мяч, чтобы другой игрок его бил; вообще водить в какой-либо игре’, *дбать* 1) ‘радеть о хозяйстве: копить, собирать, приобретать (деньги, имущество)’, 2) ‘заботиться о ком-либо’, *занятая* ‘беременная’, *копаніца* ‘мотыга’, *котіца* ‘копна’, *ляки* ‘лекарство’, *пе-*

*разва* ‘гулянье на второй день свадьбы’, *полонка* ‘прорубь’ и др.; в севернорусских говорах: *падать* ‘устремляться, бросаться куда-либо (быстро двигаться)’, *раскро-влянить* ‘разбить до крови’, *класть* ‘назначать, определять; выбирать кого-либо’, *баран* ‘вал, барабан, на который наматывается колодезная цепь, веревка’ и др.

Много заимствований в речи липован из румынского языка: например, *гутуля* ‘айва (дерево и плод)’, *канка, каночка* 1) ‘чашечка, кружка’, 2) ‘горшок (чаще глиняный) под цветы’, *кашкавал* ‘сыр’, *лягян* ‘таз’, *пантофи, пантофли* ‘туфли’, *папуша* ‘кукуруза’, *папора* ‘рогоз узколистный’, *пушкария, пушкари* ‘тюрьма’, *сервить* ‘служить, прислуживать’, *сервитора* ‘служанка’, *тава, тавичка* 1) ‘форма для выпекания хлеба’, 2) ‘контейнер для продуктов’, *фамілія* ‘семья’, *франка* ‘деньги’ и др.

Имеются заимствования из турецкого языка: *бага* 1) ‘виноградник’, 2) ‘виноградная лоза’, 3) ‘сад’; *магалá* ‘часть города, села’, *чимур* 1) ‘строительный материал из глины, смешанной с соломой и песком’, 2) ‘слой из этого материала, закладываемый по периметру дома’ и др.

С 19 ноября по 2 декабря проходила экспедиция О. Г. Ровновой и Т. Б. Юмсуновой к казакам-некрасовцам в **Левокумский район Ставропольского края**. Было обследовано два села: Новокумское и Кумская долина, где в настоящее время компактно проживают носители архаического говора. В селах Левокумское и Бургун-Маджары, где также живут казаки-некрасовцы, людей старшего возраста практически не осталось. Всего за время экспедиции опрошено 19 информантов, записано на магнитофон 48 часов диалектной речи.

Казаки-некрасовцы вернулись в Россию в сентябре 1962 года из Турции, где прожили примерно два с половиной столетия. Это потомки донских казаков, которых после поражения Булавинского

восстания в 1708 г. атаман Игнат Некрасов увел на Кубань. Позднее им удалось, спасаясь от преследований, переселиться в Турцию.

Основные фонетические особенности: диссимилятивное аканье жиздринского типа; ассимилятивно-диссимилятивное яканье; предупредительный начальный [и] на месте *о* в слове *и́ять*; произношение [ш'] на месте [ч'], кроме отдельных заимствованных слов: [ш']ула́н, кала[ш']и́, до́[ш']а, деви́[ш']ник, ко́[ш']ет 'петух', [ш']еря́тчка, [ш']и́рь 'чирей', я[ш']ме́нь, [ш']и́стый, в [ш']и́слах, кри[ш']у́, но[ш']ава́ли и др.; но: пры́н[ч'] 'рис', а́в[ч']ик 'мелкая сеть', [ч']а[ч']ма́ 'водоразборная колонка' и др.; [к'] на месте [к] после мягких согласных, кроме звуков, выступающих на месте *ч*, после которых произносится [к]: про́стень[к']юю, копе́й[к']я, ца́й[к']у́ 'чайку', на скаме́й[к']у, под судомо́й[к']у, камыше́й[к']я, но до́[ш']ка, но́[ш']ка и др.; спорадическая утрата затвора у аффрикаты [ц]: в Ту́р[с']и́и, оте́[с], кул[с]и́ и др.; мягкие согласные на месте сочетаний согласных с *j*: ку[т']я́ 'кутья', [ш']е́ть 'шьет', ры́ба [б']е́тся и др.

Основные морфологические особенности: существительные, имеющие в литературном языке ср. р., в говорах казаков-некрасовцев могут переходить в ж. р.: гу́стая лека́рства, о́зеро сво́я, одна́ лицо́ ви́дна, та́кая зерно́ нали́тая, пове́шила́ вся сля́ло, жи́рная бы́ла ма́сла, в Ста́мбу́ле бы́ла посоль́ства, госуда́рства да́ла, расстро́йства́ одна́ и др.; у существительных I скл. (на *-а*) с основой на твердый согласный в форме Р. п. ед. ч. безударное окончание *-е* [-и]: из ха́ти, у ма́ми, от просту́ди и др.; в форме Р. п. мн. ч. существительных окончание *-ох*: быко́х запрягёшь, часо́х не́ было, казако́х попри́ехало́ мно́го, глазо́х не́ту, ма́ло бобо́х; тако́х морозо́х не́ было, варе́никох ма́ло; в сфере глагольного акционального словообразования чрезвычайно продуктивен дист-

рибутивный способ действия со второй приставкой *по-*, которая присоединяется к приставочным глаголам (в том числе к глаголам с первой приставкой *по-*): *по-засо́хла, позахо́тели, понау́чили́ся, поотобра́ли, попомёрли, поповы́росли, попоумира́ли, попосни́мите* и др.

Основные синтаксические особенности: предлог *с* вместо *из*: *с ка́ши пиро́г, сапе́тки плели́ с абузы́*; конструкция с предлогом *по* и П. п. существительного во мн. ч.: *ходи́ли по доро́гах, по дохторо́рах побегли́*.

Диалектная лексика представлена такими словами, как *баба́йка* 'весло', *бума́жка* 'деньги', *виски́* 'волосы', *да́рочки* 'просвирки', *ляка́* 'лекарство', *клету́шка* 'клумба', *огни́венька* 'спичка', *по́мины* 'поминки', *поча́тки* 'кукуруза', *пы́шка* 'лепешка'; *влезть* 'войти', *вы́лезть* 'выйти', *вы́скакать* 'выскочить', *зары́ться* 'умереть', *подрыва́ть* 'рыхлить, окучивать', *подхва́тить* 'зачать', *посади́ть* 'поселить', *пры́дать* 'прыгать', *сбива́ться* 'фотографироваться'; *домо́нь* 'домой', *напроти́* 'напротив' и др.

В речи казаков-некрасовцев много заимствований из турецкого языка: *думати́* 'помидоры', *ише́к* 'осел', *казан́* 'ведро', *караван́* 'таз', *карапа́н* 'пиджак', *копа́к* 'кастрюля', *кунáчка* 'мусульманка', *кю́п* 'глиняный кувшин для воды, врытый в землю', *нардéк* 'густой сироп из винограда', *нар*, *на́рина*, *на́ринка* 'гранат', *ну́гут* 'разновидность бобовых', *портука́лина*, *портука́линка* 'апельсин', *рака́* 'водка', *су́са* 'асфальт', *тюке́нь* 'магазин' и др.

О. Г. Ровнова принимала участие в проекте «Исследование культуры русских староверов Эстонии», осуществляемом кафедрой русского языка Тартуского университета совместно с Обществом развития и культуры староверов Эстонии (проект поддержан целевым учреждением регионального развития Эстонии). Этот проект является важным этапом в разви-

тии диалектологии Западного Причудья. С российской стороны кроме О. Г. Ровновой в нем участвовала научный сотрудник МГУ, специалист по старообрядческой книжности археограф Е. А. Агеева. В соответствии с программой проекта в апреле—ноябре было организовано три диалектологические экспедиции в места компактного проживания старообрядцев **на западном побережье Чудского озера**; сделано 40 часов магнитофонных записей диалектной речи.

Было установлено, что не во всех населенных пунктах говор имеет одинаковую степень сохранности. Диалектные черты в значительной степени утрачены в г. Калласте и хорошо сохранились в г. Муствеэ, дд. Варнья, Колькья, Новая Казапель. Это псковский говор, однако не гдовский; более точную локализацию материнского говора на этом этапе анализа определить не представляется возможным.

Фонетическая система говора обследованных пунктов характеризуется диссимилятивным аканьем и сильным яканьем; зафиксированы случаи второго полногласия: *верѣх, наверх, столѣб, столѣбик, смерѣтушка*; отмечается протетический гласный в формах прошедшего времени глагола *идти*: [и]шлѣ, [и]шли; типично произношение долгого [н] на месте сочетания *дн*: *холѣ[нн]ый, свѣбѣ[нн]ых, голѣ[нн]ый*; слова *кровь* и *обувь* произносятся с твердым конечным согласным: *кро[ф], обу[ф]*. В собранном материале богато представлена диалектная лексика: *гуньбѣ* ‘тмин’, *мурник* ‘каменщик’, *пѣстка* ‘горсть’, *рѣда* ‘родня’, *салѣха* ‘штанина’, *улка* ‘улица’, *хряпа* ‘пойло для свиней’, *рѣнный* ‘прежний, прошлый’, *вѣстѣ* ‘вести’ и ‘везти’, *мстѣться* ‘казаться, чудиться’, *найтѣсь* ‘родиться’, *сѣболѣть* ‘смочь’, *скотѣться* ‘собраться в одном месте’, *вон* ‘наружу’, *где* ‘куда’, *за что* ‘почему’, *суховѣлом* ‘всухомятку’, *ѣслив* ‘если’ и др. Словообразование характери-

зуется специфическими моделями: *пѣбережь* ‘побережье’, *прѣмежь* ‘промежуток’, *выпивѣга* ‘любитель выпить’, *жѣхарь* ‘житель’, *леннѣй* ‘ленивый’, *большѣнный* ‘очень большой’, *волокмѣ* ‘волоком’, *двѣчка* ‘вдвоем’.

У существительных ж. р. 1 скл. в Д. и П. п. ед. ч. частотно окончание *-ы*: *ходили по канавы, идти к нявесты; работать на почты, растѣт в комнаты*; существительные мн. ч. в Т. п. имеют окончание *-ам*: *ременасо за плячам не носится; с мужукам косила; ходила со свиньям, потом с коровам*. Представляет интерес система склонения местоимений: у *моѣго свѣкра, моѣму мужу; на евоной машины; самы делали; тая сторона, в тое время; мыть яну* ‘еѣ’. Широко употребительны деепричастия в предикативной функции: *рыба понавѣи в сетку; мы выросѣи вместе*. В сфере глагольного вида отмечены архаические аспектуальные явления: глагол *сумѣть*, несмотря на приставку, имеет значение несовершенного вида; у глагола *попростѣться* значение совершенного вида дополнительно эксплицируется приставкой.

Концентрированно представлены синтаксические диалектные явления. Своеобразно употребление предлогов: *ехать в озеро; три года в господах работала; ехать помимо дома*; распространена конструкция типа *у нас много поработано* ‘мы много поработали’; наблюдается расогласование по роду между подлежащим и сказуемым в случаях типа *мой свѣкор был выслано* и семантическое согласование между ними в сочетаниях с существительными со значением множественности: *молодѣжь уехали*; в количественноименных сочетаниях употребляется форма *год* вместо литературной *лет*: *ему пять год; несколько год стоят банки*. Имеются отличия в управлении глаголов: *была старая моленная рядом нас*, некоторые из них вызваны, очевидно, влиянием эстон-

ского языка: *спросить от Гали, купила от учителя*.

Многие носители говора являются билингвами (Причудье — традиционный регион массового русско-эстонского билингвизма), и в их речи наблюдается влияние эстонского языка как на лексическом (*пáстелы* ‘кожаная обувь определенного типа’, *кёрта* ‘густой суп’, кальки: *старый мáлец* ‘холостяк’, *солнечное вставание* ‘восход’ и др.), так и на синтаксическом уровне (*ты 20 год меня моложе, много лет тому обратно*).

С 9 по 16 июля экспедиционная группа под руководством О. Г. Ровновой, в которую входили преподаватель Владимирского государственного педагогического университета И. И. Исаев и студенты Московского гуманитарного педагогического института, работала в **Харовском районе Вологодской области**. Это третья экспедиция Института в указанный район (первые две состоялись в 2001 и 2002 гг.). Здесь на территории Слободского сельсовета находятся деревни, говор которых, согласно исследованиям 1970—1990-х гг., характеризовался многими архаичными и уникальными чертами. Монографическое описание этого харовского говора в его современном состоянии — одна из плановых тем отдела диалектологии и лингвогеографии. Основная цель экспедиции заключалась в том, чтобы обследовать деревни Слободского сельсовета, в которых диалектологи не успели побывать в 2001—2002 гг. Были обследованы 4 деревни, входящие в волость Слобода (Давыдовская, Семеновская, Симониха, Лисино), и 7 деревень, входящих в волость Карачуново (Конечная, Халчиха, Митиха, Терешиха, Ваулиха, Мишутиха, село Красково). Кроме того, велись повторные наблюдения в Арзубихе, Ватолове, Злобихе из волости Катрома, Кожинской, Тарасовской, Захарихе из волости Раменье. В ходе экспедиции опрошено 40 инфор-

мантов из 17 деревень, записано 40 часов звучащей речи. Особое внимание обращалось на тех информантов, которые давали наиболее интересные по содержанию рассказы (в частности, зафиксированы сюжеты о местном знахарстве). В итоге трех экспедиций мы имеем исчерпывающий список информантов и достаточно полное представление о современном состоянии деревень Слободского сельсовета. Во время экспедиции был записан новый лексический материал: *гусить* ‘плесневеть’, *гуследь* ‘плесень’, *даром* ‘все равно, безразлично’, *дыроватый* ‘дырявый’, *жорливой* ‘прожорливый’, *нарóст* ‘люди одного поколения’, *хлёбаная лóжка* ‘столовая ложка’ и др.

В июле состоялась двухнедельная экспедиция под руководством А. В. Тер-Аванесовой в д. **Тамица Онежского района Архангельской области**. В ней принимала участие группа студентов и аспирантов РГГУ во главе с главным научным сотрудником Института восточных культур при РГГУ А. В. Дыбо. Экспедиция работала преимущественно в Тамице; студенты выезжали также в деревни Петровское и Кянда. Были сделаны магнитофонные записи продолжительностью 46 часов; они представляют как связную речь, так и ответы на вопросники по морфологии и ударению. Во время экспедиции много времени уделялось обучению студентов, в том числе проводились лекции и семинары.

Было установлено, что в трех обследованных населенных пунктах говор однороден; такого же мнения придерживаются и местные жители. По их словам, практически тот же говор распространен по всему западному берегу Онежского полуострова к северу от Кянды (деревни Лямца и Пурнема), а в Летней Золотице (север полуострова) и на его восточном побережье говор иной. Однако в Лямце и Пурнеме имеется ряд лексических отличий от говора Тамицы — Кянды.

В настоящее время наблюдается процесс утраты исконного говора Тамицы. Исключительно местным говором, его архаической разновидностью, пользуются только люди старшего поколения — несколько женщин старше 80 лет, малограмотных и практически не выезжавших из деревни. Большинство 60—70-летних жителей Тамицы — местные уроженцы, покинувшие деревню в юности и вернувшиеся сюда на постоянное жительство после выхода на пенсию. Между собой и с постоянно живущими в деревне они говорят на полудialeкте с примесью стандартных (литературных) черт, а с диалектологами и особенно со своими младшими родственниками стараются говорить на литературном языке, как они его себе представляют. Двухязычными являются и 30—50-летние местные жители, большинство которых имеет опыт жизни и работы за пределами родной деревни. Однако среди пожилых двухязычных людей нашлись такие, кто наделен хорошим языковым чутьем и кто помнит, «как говорили старики» (как правило, они помнят речь матери). Так, одна из информанток, с которой у диалектологов было около десяти встреч, поначалу говорила с ними на полудialeкте, но примерно с третьей встречи, поняв цель их работы, старалась использовать только местный говор, что ей удавалось с каждым разом все лучше и лучше. Участники экспедиции, со своей стороны, приобретали от встречи к встрече все более глубокое знание местного говора, черпая его из анализа записей речи старейших местных жительниц, что позволяло путем переспросов «вывести» информантку на употребление диалектных форм.

Говор д. Тамицы обнаруживает черты, типичные для поморской группы говоров. Для его пятифонемного ударного вокализма характерны «ровные» (монофтонгические) [e], [o] средне-нижнего подъема, выступающие в конечном слоге

и перед слогом с неогубленным гласным и гласным непятого ряда. Перед слогом с огубленным гласным или гласным пятого ряда подъем [e], [o] повышается до среднего и даже верхне-среднего. В предударных слогах [e], [o] более узкие, чем под ударением, а перед слогом с огубленным гласным после губных согласных произносится [y] на месте *o*: [пу]-*йдём*. Согласные [т, д, с, з, н, л] в говоре альвеолярные невелиризованные, парные им мягкие согласные являются сильно палатализованными. Наблюдается прогрессивное оглушение сонантов после глухих согласных: [п] *ёт*, [сд'] *еза*. Все эти черты характерны не только для архаического слоя говора, но и для его «младшей» формы и для местного полудialeкта. Второе полногласие сохраняется только в формах прилагательного *дóложон*, *дóложна́*, *дóложны́*.

К числу морфологических особенностей поморской группы в говоре Тамицы относятся: окончание *-ы/-и* в Р. п. ед. ч. существительных *a*-склонения (*жоньí*, *руки́*, *коровы́*, *земли́*); окончания *-ами* в Т. п. ед. ч. существительных (*домáми*, *бáбами*), *-има* — у прилагательных и местоимений (*молоды́ма*, *ты́ма*, *вси́ма*). Как олонецким и западным поморским говорам, говору Тамицы свойственно окончание *-ого* (с взрывным *g*) в Р. п. ед. ч. м. и ср. р. прилагательных и местоимений.

Такие севернорусские явления, как цоканье и переход *a > e* и *b > u* между мягкими согласными, более или менее последовательны лишь в архаической разновидности говора, но большинство жителей Тамицы их утратило, заменив литературным произношением.

Были обнаружены достаточно редко встречающиеся в русских говорах явления, связывающие говор Тамицы с северо-западными гдовскими и рядом севернорусских говоров. Речь идет, во-первых,

об акцентной инновации — по-видимому, достаточно ранней — о накоренном ударении глаголов исконно акцентной парадигмы *c* в форме 1 л. ед. ч. настоящего времени (*хóжу, вскóчу, пúичу, скáжу, кóлю, мóжу*) по аналогии с ударением остальных форм настоящего времени (*хóдит, вскóчит, пúтит, скáжет, кóлёт, мóжет*). Эти глаголы имеют ударение на тематическом гласном в формах прош. времени (*ходíла*) и накоренное ударение в причастиях на *-но/-то* (*хóжено, пúиче-но, вскóчено*). Глаголы акцентной парадигмы *b* имеют сильно отличающуюся от *c* акцентную кривую: *ц'ежу́, ц'иди́т, ц'иди́ла, ц'ижóно*.

Резкое различие акцентных кривых *c* и *b* у *i*-глаголов способствовало тому, что соответствующие две акцентные парадигмы в говоре Тамицы практически не смешивались, тогда как их частичное смешение происходило практически повсеместно в русских говорах. В обследованном говоре к акцентной парадигме *c* у *i*-глаголов последовательно относятся все итеративы и каузативы праславянской акцентной парадигмы *b2* с так называемыми краткостными корнями (содержащими *o, e, y*), а к акцентной парадигме *c* — каузативы и деноминативы праславянской акцентной парадигмы *c* и акцентной парадигмы *b2* с долготными корнями. Тем самым говор Тамицы хорошо сохранил тип акцентуации *i*-глаголов (распределение их по акцентным типам), характерный для западных диалектов позднепраславянского языка и прослеживающийся сегодня в северо-западных русских и западно-украинских говорах.

Во-вторых, в тамецком говоре отмечено произношение [a] в корне в инфинитиве и формах прошедшего времени глагола *сести*: [с'á]сти, [с'á]ла, [с'а]w, [с'á]ло, [с'é]ли — при [e] в формах настоящего времени: [с'é]ду, [с'é]дёт и т. д. Такое на первый взгляд противоречивое

развитие огласовки корня имеет параллели в севернопсковских и западнотверских говорах. Картографирование этих двух явлений (ударения *i*-глаголов и корневого *a* в формах инфинитива и прошедшего времени глагола *сести*) позволит достаточно точно указать, из какой части Новгородской земли происходит население, освоившее около 600—700 лет назад западный берег Онежского полуострова.

В ноябре состоялась поездка А. В. Тер-Аванесовой в с. **Пустоша Шатурского района Московской области** (9 дней, записано 12 часов звучания). Записана на магнитофон речь старейших жителей села — от 85 до 92 лет, а более молодые были опрошены по вопросам, нацеленным на выявление особенностей фонетики и морфологии в говоре. Результатом экспедиции стало выяснение особенностей произношения гласных, их позиционного распределения, особенностей рефлексии праславянских гласных и распределения фонем «типа *o*».

Говор Пустошей с семифонемным ударным вокализмом, с неполным оканьем владимирского типа по сути — островной: он окружен говорами с пятифонемным составом вокализма, с полным и неполным оканьем или аканьем при умеренном яканье. Тем не менее до последнего времени говор был вполне стабилен, хотя его архаичной формой в начале XXI в. владели только восьмидесяти- и девяностолетние жители. Следует отметить, что в современном архаичном слое говора утрачено цоканье, которое в начале XX в. зафиксировал в Пустошах Д. В. Бубрих. Память о твердом цоканье сохранилась в двух-трех устаревших терминах, не имеющих соответствий в литературном языке, как, например, *цату́б* 'устье русской печи'.

Традиционно ударный вокализм такого устройства, как в говоре Пустошей, считается семифонемным: в его состав входят две фонемы «типа *e*» и две фонемы

«типа о» наряду с /a/, /y/, /i/. Однако есть основания для выделения в этом говоре как минимум еще одной фонемы — /ы/. Подобно другим говорам с таким типом вокализма говор Пустошей характеризуется отсутствием палатализации согласных перед гласными переднего ряда и альвеолярной (у отдельных информантов даже постальвеолярной) артикуляцией [т, д, с, з, н, л]. При этом в фонетической системе Пустошей имеются палатализованные («мягкие») согласные, выступающие на конце слова и иногда перед согласным, ему свойственно также прогрессивное смягчение заднеязычных и шипящих.

С говорами Владимирско-Поволжской группы говор Пустошей объединяется следующими явлениями безударного вокализма: неполным оканьем; огубленным рефлексом /ъ/ перед твердыми согласными в первом предударном слоге: *лиосá, слиодáми, биодá, нэ рюкáф* ‘на реках’; различием трех ступеней подъема гласных после мягких согласных в первом предударном слоге. Последние две черты являются спецификой владимирско-поволжских говоров.

Фонемный статус /и/ и /ы/ не вызывает сомнений, поскольку обе эти единицы встречаются после твердых согласных: *си́ла, сы́ттьй, ти́на, ты, бил, был* и под. Так же должен решаться вопрос о фонологическом характере противопоставления монофтонгов дифтонгам с *и*-образной фазой.

Примеры противопоставления [иэ]: [е] — *ди́ела, ти́ела, си́ена, ф си́ени, ри́ечка, би́ельть, смий́йт, сви́чки и ден', дэ́рива, тэ́мин', сэ́рць, дэрэ́вја, вэробéй, судéй, сáловéй*. Приведенные примеры показывают, что дифтонг [иэ] является в говоре регулярным рефлексом /ъ/ как перед твердыми, так и перед мягкими согласными. После /j/ фонема /ъ/ отражается в монофтонге [е]: *јест, јэхали*. Монофтонг [е] является регулярным рефлексом \*е и \*ь в «мягкой позиции», но изредка также и в

твердой: *берэ́зэвик* ‘гриб подберезовик’. В формах с неполногласием представлен [е]: *врэ́днэст', врет* — где закономерный рефлекс \*е соответствует норме русского церковнославянского языка. Заимствования, как правило, содержат [е]: *рэл'сы, реже [иэ]: тари́ёлка*.

Примеры противопоставления [иа]: [а] — *сиа́ду, тиа́нит, миа́та, пони́атнь, стрели́ай, имиа́* ‘имена’ — *пиа́т, са́дъм, так, мат'*. Фонема /е/ на месте \*е «носового» имеется в случае аналогического выравнивания: инфинитивы *прест', трест', запрéч*, а также в слове *мэ́чик*.

Фонемный характер противопоставлений [ио]:[о], [иу]:[у] и [иуо]:[уо] легко доказывается таким же образом.

Фонетическое качество огубленных гласных и их этимологическое распределение в говоре Пустошей представляют особый интерес. Фонема /у/ в Пустошах (любого ли происхождения и во всех ли фонетических позициях, еще предстоит выяснить) может реализоваться как восходящий дифтонг [оу]. Зафиксирован также [у] верхнего подъема.

Подобно фонеме /у/ реализуется в говоре Пустошей фонема /о/ — как монофтонг средне-нижнего подъема либо как нисходящий дифтонг [оу].

С 4 по 13 декабря состоялась экспедиция А. В. Тер-Аванесовой в **Городокский район Витебской области Белоруссии**. Был обследован западнорусский говор трех сел: Моховое, Смородник, Хмельник. В говоре обнаружено фрикативное *у*, диссимилятивное яканье белорусского типа, окончание *-ам* в Т. п. мн. ч.: *с бальшы́м рука́м*, окончание *-ей* в И. п. м. р. ед. ч.: *маладэ́й* и др. Из ярких псковских черт наблюдается произношение [ш'], [ж'] на месте [с'], [з']: *ш'ало, ж'има́*, открытый *е* перед твердыми согласными.

Экспедиция в **Вяземский район Смоленской области** О. Е. Кармаковой и Е. Ф. Суворовой проходила с 6 по 13 авгу-



ста. Опорным пунктом была д. Волоста, расположенная в 4 километрах от станции Волоста-Пятница. Судя по картам, деревень здесь было много, но сейчас большая часть их населена дачниками, поэтому информантов, особенно пожилых, мало. В итоге записано 12 часов звучания.

Обследованный говор, по классификации К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой, относится к Верхне-Днепровской группе Южного наречия. Он характеризуется следующими диалектными чертами, большинство из которых утрачивается и поэтому фиксируется непоследовательно: 1) диссимилятивное аканье и яканье: *тр[а]вѹ, тр[а]вѹй, тр[э]вѹ; н[ʼ]а[ми], н[ʼ]а[тѹк], н[ʼ]и[тѹ];* 2) фрикативное [γ]; 3) наличие протетического [и] перед группой согласных: [и]ржѹ, [и]шлѹ; 4) наличие протетического [в] перед начальными гласными [о] и [у]: [в]окнѹ, [в]ѹхо; 5) непоследовательная лабиализация гласных *a* и *o* в предударных слогах: *н[у]мугѹть, н[у]полѹм, пр[у]валѹлся, н[у]пѹлѹсь, сам[у]вѹр;* 6) произношение [x] в соответствии с [ф], как правило, в именах собственных: [xʼ]ѹмкѹ, *Мар[x]ѹтка;* 7) случаи межслоговой ассимиляции гласного [у]: *муж[у]кѹ; 8) наличие на месте /в/ перед звонкими и глухими согласными [ѹ] и [у]: дѹѹкѹ, [у] кѹзов;* 9) безударное окончание *-ѹй* в Т. п. ед. ч. у существительных ж. р.: *нѹлк[ѹй], подрѹжк[ѹй];* 10) особые формы обращения: *дѹдуш, бѹбуш;* 11) наличие окончания *-ого* с [γ] у прилагательных в Р. п. ед. числа: *нѹво[γ]о, молѹдѹ[γ]о;* 12) распространение инфинитива *идѹть;* 13) произношение [тʼ] в 3-м л. ед. и мн. числа глаголов: *он знѹть, онѹ хѹчѹть;* 14) безударное окончание 3 л. мн. ч. глаголов 2 спр., совпадающее с окончанием глаголов 1 спр.: *хѹд[ʼ]ѹть, лѹб[ʼ]ѹть, нѹс[ʼ]ѹть;* 15) употребление деепричастия в форме сказуемого: *мѹть помѹршѹ, делѹ сдѹлавшѹ;* 16) употребление постфикса *-ся* после гласного: *издѹлѹсь, порѹсилѹсь;*

17) наличие слов, диагностирующих данные говоры: *хѹта* 'крестьянское жилище', *кулѹга* 'каша из ржаной муки на воде', *залѹться* 'утонуть', *скорѹдѹть* 'бороновать', *вѹлна* 'овечья шерсть', *жѹто* 'ячмень', *дежѹ* 'деревянная посуда для теста из ржаной муки', *упрѹжка* 'период работы без перерыва'.

В сентябре-октябре состоялась экспедиция в **Тотемский и Кирилловский районы Вологодской области** с участием Н. Л. Голубевой и Е. В. Урысон. За 14 дней работы записано 54 часа звучания от 30 информантов. Основная масса записей сделана в Тотемском районе (Медведевский, Великодворский и Усть-Печенгский сельсоветы), прежде всего в деревне Великий Двор, которая представляет собой куст близко расположенных деревень, соединившихся в одну.

Старшее поколение д. Великий Двор сохраняет в своей речи больше старины, чем жители д. Усть-Печенги. В Великом Дворе сохраняются редкие имена: *Аполлинѹрия, Манѹфа, Йѹ, Агнѹя, Анфѹя, Фаѹна, Ираѹда, Прѹтальѹн* (из *Прѹтолеон*), *Иринѹрх, Мефѹдѹй* (в отчестве *Мефѹдѹевна*). В Усть-Печенге имена простые, привычные, хотя *Аполлинѹрия* и *Манѹфа* распространены и здесь.

В д. Великий Двор в речи старшего поколения отмечается полное оканье, различение /e/ и /a/ после мягких согласных в 1-м предударном слоге, а также следы семифонемного вокализма: дифтонги [иѹ] и [ѹа] на месте /ѹ/, единично — напряженный закрытый *o* — *Т[ѹ]тьма*. Отмечается переход /a/ в /e/ между мягкими согласными: *опѹть, стоѹли*.

Яркие диалектные черты наблюдаются и в консонантизме великодворского говора. Преобладает мягкое цоканье, у некоторых информантов отмечается сосуществование мягкого и твердого цоканья, реже отмечается произношение [ч] на месте [ц]. В этом говоре можно услышать

напряженные глухие согласные на конце слова и перед согласным, например: *не[т:]*, *де[ф:]ки*. Широко отмечаются факты неполного смягчения согласных, что связано с произношением альвеолярных согласных на месте литературных зубных. Встречаются примеры произношения твердых согласных на месте литературных мягких: *дя[д]а*, *те[т]а*, *То[т]ма*, *Куба[н]*. На месте /л/ часто произносится альвеолярный [л]. В конце слова и перед согласными на месте /л/ нередко произносится [ў] неслоговой: *паўка*, *воўки*, *упаў*. Отмечается мена согласных: *родственники* > *лодственники*, *бедый гриб*, *свадьба* > *сварба*, *Иринарх* > *Единар*, *народ* > *нарой*, *Енаффа* > *Енава* (имя).

В числе морфологических особенностей великодерского говора: суффикс *-j-* в формах мн. ч. существительных: *поко́сья*, *квадра́тья*, окончание *-у* в Р. и П. п. ед. ч. существительных м. р.: *от го́роду*, *работала до колхо́зу*, *из лесопу́нту*, *в частном до́му*, *на торфю́* 'на торфоразработках'. Отмечается флексия *-ам* в Т. п. мн. ч.: *ездил за ножáм*. Прилагательные нередко имеют стяженные флексии: *фiн-ска войнiя*, и очень последовательно употребляется сравнительная степень на *-ае*: *сильнiяе*, *крепчiяе*, *веселiяе*. Глаголы сохранили словоформы на *-ти*, *-чи*: *прiясти*, *пекчи́*. Последовательно употребляются многократные глаголы при отрицании: *телевизор не гляживали*; *замуж не выхаживали*. Распространены глаголы с двойной приставкой *попо-*: *Я и попоехала на электричке*; *Ребёнка где попоедём*, *где попоедём*.

Синтаксис говора характеризуется «именительным объектом»: *надо вода попить*; *таблетка пить*; *только работа знала*; *А почему не ходят?* — *А солярка надо*. В предикативной функции употребляются причастные формы на *-но* (перфект): *На Лышне заклеверено полянка*. Употребляется И. п. на месте косвенного:

*теперь на пензия*; *Дядя жил на Ленинский проспект* (единично). Отмечено употребление Т. п. местонахождения: *Он коридором стоял*. Предлог *по* употребляется в объектно-целевых конструкциях при глаголах движения: *Машина по доярок часто ходит*. Частица *-ка* может присоединяться к местоимениям: *нам-ка*, *мне-ка*, *туды-ка*, *тамо-ка*, *тудо-ка*, *где-ка*, а также к глаголам не в императиве: *продают-ка*. Распространены специфически диалектные фразеологизированные конструкции с местоименными словами в функции экспрессивного утверждения или отрицания: *Сколь худо* (хорошо); *А вам понравилось?* — *А как не понравилось!* (понравилось).

С 11 по 15 ноября Н. Л. Голубева была в экспедиции в **Осташковском районе Тверской области**: к востоку от о. Селигер — деревни Сорога, Задубье, Красный Бор, и к западу — д. Гуща. Записано 10 часов звучания.

Здесь наблюдается утрата диалектных особенностей не только в речи жителей г. Осташкова, но даже и у коренных сельских жителей среднего поколения (д. Сорога). Диалектные особенности сохранились у деревенских малограмотных людей преклонного возраста — семидесятилетних и старше (экспедиция в Тотемский и Бабушкинский р-ны Вологодской обл. показала, что яркие диалектные особенности наблюдаются и в речи горожан — служащих райцентров, городских учителей — см. выше).

Говоры деревень Сорога, Задубье, Красный Бор и Гуща акающие. Несколько десятилетий назад в этих говорах было распространено сильное яканье, которое в настоящее время во многих деревнях утрачивается, но хорошо сохранилось в д. Гуща: *пи[р'а]бью́*, *[н'а] чи́стить*, *[ч'а]ты́ри*, у *[м'а]ня́ нь-[ш'ш'а]ту́-та*, *пи[р'а]вёл*, *[р'а]бiяты*. В д. Гуща подобное произношение отмечается регулярно. В консо-

нантизме наблюдаются следующие диалектные особенности: на месте /в/—губно-губной [w], а также аффриката [b̥w]: *ca[w]xóza*, [b̥w] *raén* ‘в район’; утрата смычки у аффрикаты [ч’]: *ли[ш’]ный скот* ‘личный скот’, *ли[ш’]нэ мой* ‘лично мой’; иногда—целевой заднеязычный [ɣ] на месте взрывного [г]. В числе грамматических диалектных особенностей осташковских говоров регулярно употребляющийся перфект—причастие на *-вши* в роли сказуемого: *там было остáвши 32 ты́щи рублѐй*; форма Т. п. мн. ч. на *-ам*: *с маім деньгáм*; формы местоимений *анé*, *у мя́* ‘у меня’, *у йивó* ‘у него’; единично *-ть* в форме 3 л. ед. ч. настоящего времени глаголов: *так ни пайдѐть дѐла*.

Диалектные особенности ярче проявляются в говоре д. Гуца, находящейся западнее о. Селигер. Осташковцы осознают языковую границу, проходящую с севера на юг по озеру Селигер, отмечая, что «по ту сторону озера совсем по-другому говорят». Магнитофонные записи подтверждают такое языковое самосознание.

В этой же экспедиции с 17 по 19 ноября сделаны записи в д. Рябово **Калязинского района**— почти самой крайней восточной точке **Тверской области**. Записано на магнитофон 21 час. Здесь в архаическом слое говора отмечается оканье: *бр[о]сáют*, *пл[о]хóѐ*—*к[а]прѝзнэя*, которое, однако, не всегда последовательно во втором предударном слоге: *в[о]р[о]-вáть*, *х[о]р[о]нѝть*, но в предложениях и приставках: *н[э] д[о]мáм*, *пр[э]к[о]пáла*; заударное ёканье: *терпѐнь[о]*, *што такó-[о]*; частичное различие гласных в 1-м предударном слоге после мягких согласных: *зав[е]рнѝ*, *дэж[е]рѝли*, *ун[е]стѝ*, *с[е]стрá*, *в од[е]яло*. Консонантизм говора д. Рябово мало отличается от литературного. Наблюдаются такие диалектные особенности, как стяжение в окончаниях прилагательных и местоимений: *какá-то*, *такó плохó* наряду с *плохóе*; элементы 2-го

типа склонения у слов типа *бáтюшко*, *дѐдушко*, диалектная форма личного местоимения *онé*.

С 26 ноября по 2 декабря состоялась экспедиция Н. Л. Голубевой в **Бабушкинский район Вологодской области**. Записано 12 часов от 7 информантов из деревень Подболотье, Логдуз, Варнавино. В деревнях этого района отмечается полное оканье: *м[о]л[о]дѐжь*, *тóк[о] н[о]пáнет*, *о[б]о[р]уд[о]вали*; заударное ёканье: *хóдят молѝтц[’]о*, а также мягкое цоканье: *собираѐт[ц’]я*, *[ц’]ѐрьква*, *[ц’]ясика два*, *[ц’]еловѐку*, *Трóи[ц’]я*, *Купáльни[ц’]я*, *[ц’]итáют молѝтвы*; губно-губной [w] на месте /в/; черты альвеолярного артикуляционного уклада— [l] на месте /л/; долгий твердый [ш:] или сочетание [шч] на месте литературного [ш’]: *насто-я[ш:]ая*, *зату[шч]ено*.

С 27 июля по 22 августа проходила экспедиция в д. Лопшеньга **Приморского района Архангельской области**. В ней принимали участие А. В. Малышева, А. К. Петрова и студенты филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В экспедиции записано 45 часов звучания. Кроме того, велись записи в полевые тетради и производилась этнографическая фотосъемка.

Говор д. Лопшеньга относится к группе говоров Летнего берега побережья Белого моря (по классификации О. Г. Гецовой).

В области фонетики. Для безударного вокализма после мягких согласных характерно спорадическое произношение очень открытого [e], близкого к [a] в первом предударном слоге: *няхтó*, *ляжсы́*.

В области морфологии, как и во всех говорах северной части Архангельской области, отмечаются в Д. и П. п. формы существительных I скл. на *-и* (*-ы*): *к Лѝды*, *на плитѝ*, *в рекѝ*; у существительных 2 скл. в П. п. окончание *-и*: *на столѝ*, *на*

*дворі, в Острофкі, а также -у и -е: в песку, на песку, изо рту, на острову; в лесу; у существительных 3 скл. в П. п. окончание -и: на моёй памяти, на лошади; В И. п. мн. ч. частотно окончание -а: бота, плеча, иторма, петушка, вызова; отмечены формы мн. числа зетевья, братья. В Р. п. мн. ч. наблюдается экспансия окончания -ов: телятоф, теленкоф, дедушкоф, чудесоф, делоф, бомбоф; отмечаются формы мужей, братей, сы-новей. Зафиксирована форма Т. п. мн. ч.: людьми. Наблюдаются случаи совпадения формы В. п. мн. ч. с формой И. п. одушевленных существительных: Держали они козакі, они роботали; Катя, грей-ко чай, гости чаем угостім; Они большых-то не берут ныне, а только одни белкы (новорожденные детеныши тюленей) берут; нередко в количественно-именных сочетаниях: Збросили четыре парашутиста; И нас, четыре человека, послали они ф Пурнему; У нас даром што два сына убили; Две девочки через живод достали.*

Прилагательные часто имеют твердый конечный согласный основы: *лишиной, вчерашинной, здешинной, маленькой*; у притяжательных прилагательных не смягчается конечный согласный корня перед суффиксом -ин: *Аннын, Клáрын, Лидын, с Лизыными, бабын, мамын* (но: *пáтин*). Наблюдаются формы притяжательных местоимений *еговой, евоной, ейной, ихной*; ударное -е в окончании мн. ч. местоимений *онé, однé*. Отмечается отсутствие чередования заднеязычных согласных в глагольных основах настоящего-будущего времени: *уволокет, стригеца*, а также шипящие согласные в формах *побежу, побежат, бежи, могут, хотят*; выравнивание основы: *фставает, здавает*; отсутствие перехода *е* в *о* в личных окончаниях глаголов 1 спряжения: *поймеш, смейца, живем, сойдемся*.

В области словообразования проявляется активность ряд совообразователь-

ных формантов существительных ср. р. -онк-, -ишк-, -ушк-: *столенко, собаценок, ф шароваренках, иторченки; бахиленка* (мн. ч.), *тракторенка* (мн. ч.); *ремонтшко, голубеюшко*. Частотны прилагательные и наречия с формантом -оньк-: *росполнехонько, сырехонько, ранехонько, радехонька, полнехоньки, голонехоньки*. Зафиксированы собирательные существительные: *каменьё, уголье*.

В области синтаксиса фиксируются сочетания с И. п. в функции прямого объекта: *Тебе посуда мыть; Поля веть сёяли картошка; Раньше селетки ловили*; а также с предикативным наречием *надо*: *Им тожэ надо выгода; Нам надо ф колхозе люди работать*. Частотен Р. п. с количественным значением в функции прямого объекта при глаголах совершенного и несовершенного видов: *Ну-ко, я пойду посмотрю глины; Тожэ был пьяница, делал всяких глупостей*. По сравнению с современным русским литературным языком отмечается более последовательное сохранение объектного Р. п. при отрицании, что характерно и для других архангельских говоров: *А свету никто не приходил проводить; Я дверей ночью не закрываю; Здесь не могли сохранить этого судна; Теперь своих грядок не могут обработать; Я почему-то не умею молока кипятить; Сёдни печки (ед. ч.) не топила, нету дымохода; Не люблю я этих Солофкоф*. Отмечен В. п. с временным значением: *А колхозникам не давали пенсии те годы; Трицать четвертый год (в тридцать четвертом году) крешион, только не трицать пятый*; конструкция с двойным винительным: *Я их молодых снела* (о пучках укропа); Т. п. в разных значениях: *Кощка заходит окном; Рекой-то опускает много дрэф; Если где заболело, дак той же минутой не вьлещи этыма травами; Фсяко привелось — голодом и холодом, фсяко*.

Отмечены предложения с субъектным Р. п.: *Фсяких имён было то́жо, ра́ньше какіе и не дава́ли*; фиксируется также количественный Р. п. при отсутствии бытийного глагола: *Ф чесь чего́ там зато́пи́ли, там ды́му вездé; С мо́ря се́верный да за́падный, фсяких ветро́ф; Озе́р тут; Фсяких озе́рок туд бли́ско*; двусоставные отрицательные бытийные предложения: *Фсе́ згорі́т, нице́го не бу́дет, се́йгот никакіе урожа́и не бу́дут; Тепе́рь уш сме́ло ложы́сь, оддыха́й, не бу́дет све́т; Она́ на глубо́ких места́х не́ту*. Очень частотны конструкции с причастными формами на *-н-, -т-* типа: *Бы́ли зерка́ла у дяди Луки́ навезе́ны; У нас у па́пы бы́ло зде́лано бо́т; С семна́цатого го́ду, дак вездé по́быто*; а также на *-нось*: *Во́т о́ни жы́ву́т тепе́рь не распы́санось жэ жено́й; Ништо́ и сло́женось, говорі́т, уйдú; А тепе́рь фсе́ ликвиді́рованось; Э́то у мо́их дефчо́нок натол́канось*. Отмечены формы давнопрошедшего времени: *И э́ту це́рковь па́тин оте́ц был де́лал; Ки́рюшка роді́лся был, а пото́м те́тя-то у мене́ умерла́; Он иишо́ мале́нько-то был попра́вился, иишо́ на то́ни сиде́л*. Наблюдается включение в состав предиката компонента *есть*: *Ка́г жо, та́м жэ́ йе́сь двухэта́жный до́м стои́т; У мене́ у двою́родной сестры́ йе́сь сы́н оста́лся; Йе́сь мосты́ и та́м надéланы*. Зафиксированы конструкции с одной отрицательной частицей вместо двух: *Ра́ньше-то я ника́г зна́ю, тепе́рь то́же тудá жэ́; Сюда́ зашли́, никуда́ ушла́*. Распространена постпозитивная частица *-ка (-ко)*: *Так поди́, у мене́ есь-ко роскла́душка-то; Да́к он фсе́ оставля́т мне́-ка*. Предлог прямо может употребляться с Р. п. в значении 'напротив': *пря́мо на́шего до́му*.

Е. В. Щигель с 11 по 17 июля работала в **Холмском районе Новгородской области**. Было сделано 22 часа магнито-

фонных записей от 18 информантов. Обследованы деревни Чекуново, Тухомичи, Наход, Морхово, Красный бор. Помимо чисто лингвистического материала записи содержат много интересных сведений о жизни местного населения во время войны, есть также рассказ местной целисельницы. В языковой комплекс данной группы говоров входят явления Западной диалектной зоны, в том числе сильное яканье; редукция гласного [у] и совпадение его с [э] в заударных слогах: *го́л[э]п', за́м[э]жем*; произношение звуков на месте фонем /т'/—/д'/ со свистящим призвуком: [т<sup>св</sup>]и́хо, [д<sup>св</sup>]е́нь; произношение звуков на месте фонем /с'/, /з'/ с сильным шипящим призвуком: [с<sup>ш</sup>]е́мь, [з<sup>ш</sup>]е́лэный; словоформы *йой* и *йонú*—формы Р. и В. п. ед. ч. местоимения 3 л. ж. р.

С 21 по 28 августа состоялась экспедиция в **Пижанский район Кировской области**, в которой участвовали Е. В. Щигель, О. Р. Горинова и В. Л. Стромченко. Обследовано 5 населенных пунктов: деревни Воя, Обухово, Павлово, Безводное и райцентр—поселок городского типа Пижанка. За шесть рабочих дней записано 23 часа звучания от 20 человек.

Говоры Пижанского района характеризуются шестифонемным вокализмом с фонемой /ѣ/ в виде закрытого монофтонга, оканьем, апи́ко-альвелярным [п], твердой аффрикатой [ч]. Собранный материал интересен для исследования интонации севернорусского типа и особенностей передачи чужой речи в севернорусских говорах. Отмечено местное прилагательное [п<sup>р</sup>ас'к']и́й в значении 'аккуратный, опрятный', а также наречие с приставкой *по-пра́[ф'с'к'и]* в значении 'правильно'.

О. Г. Ровнова,  
Т. Б. Юмсунова

### Международная конференция «Шестые Шмелевские чтения: проблемы русской лексикографии»

С 24 по 26 февраля 2004 года в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН прошла международная конференция «Шестые Шмелевские чтения: проблемы русской лексикографии». На пленарных и секционных заседаниях было обсуждено 49 докладов и сообщений.

На первом пленарном заседании **Ю. Д. Апресян** (Москва) в докладе «Лексические функции как зеркало фундаментальной классификации предикатов» представил результаты своих наблюдений над лексическими функциями OPER1 и OPER2, сделанных в ходе работы над словарем для компьютерных лексических игр. Анализ OPER1 был проведен на материале пяти семантических классов глаголов (действий, деятельности, процессов, состояний и свойств), OPER2 — на материале ряда неакциональных глаголов.

Доклад **В. Г. Гака** (Москва) «От лингвистического словаря к энциклопедии» был посвящен вопросам словарного описания лексики. В истории лексикографии было выделено два периода. Первый из них связан с созданием словарей, для которых характерно отсутствие специфических признаков и наличие богатого материала, разбираемого впоследствии на словари разных типов. Второй период связан с обратной тенденцией. Для него типично размывание границ между энциклопедическим и языковым словарем и, как следствие, включение в толковый или переводной словарь «классического» типа сведений не только о данном слове, но и о данном слове, данной культуре. Такой подход предполагает явление более широкое, чем интегральное описание языка, а именно «энциклопедию языка».

В докладе **А. Н. Баранова** и **Д. О. Добровольского** (Москва) «Идиомы как

стилистический феномен» была предложена стратегия использования стилистических помет для фразеологических словарей, в частности для «Тезауруса современного русского языка». В качестве «нулевой», не маркируемой специально, была выбрана стилистическая окраска фразеологизмов, которые относятся к сфере разговорного языка. Для описания единиц, принадлежащих другим языковым сферам, была разработана новая классификация помет, включающая три группы: временные, стилистические, дискурсивные.

Главная идея доклада **Г. А. Золотовой** (Москва) «Проблемы грамматической терминологии» состояла в том, что терминологическая номинация должна стать результатом обнаружения, дифференциации и систематизации языковых явлений. Были рассмотрены причины и следствия роста терминологического разнообразия в лингвистике, приведены в качестве иллюстрации примеры из исследований современных авторов и предложены критерии для повышения «работоспособности» терминов.

В докладе **Е. В. Падучевой** (Москва) «О параметрах лексического значения слова: онтологическая категория и тематический класс» обосновывалась оправданность расширения метаязыка семантики. В качестве доказательства приводился подробный сопоставительный анализ онтологической категории и тематического класса глаголов. В связи с этим уточнялось толкование значения глагола на *-ся* с дативным субъектом, предложенное В. В. Виноградовым. Рассматривалось использование строевых компонентов в образовании классов; указывались общие свойства глаголов с одной и той же ролью. На основе сде-

ланных выводов приводился список глаголов, составляющих обобщенные категории 'событие' и 'процесс'.

Доклад **О. П. Ермаковой** (Калуга) назывался «Зависимость лексикологии от лексикографии». В нем были приведены примеры одинаковых метафорических значений, словарное толкование которых основано на разных принципах; показана связь между объемом сочетаемости фразеологически связанных слов/выражений и характером информации, заложенной в толковании. В заключение утверждалась необходимость иного подхода к определению природы переносного значения и ставилось под сомнение существование в языке фразеологически связанного значения.

Темой доклада **М. Я. Дымарского** (Санкт-Петербург) «Словарь как орудие манипуляции общественным сознанием» стал словарный бум и вызванные им недодуманность принципов составления словарей, критериев его отбора, а также недоработанность моделей лексикографического описания. Обсуждалась допустимая мера присутствия субъективного авторского начала и степень открытости подобного присутствия в толковых словарях. С этих позиций был проанализирован «Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения» под редакцией Г. Н. Складневской, вышедший в 1998 г.

Доклад **В. Е. Гольдина, А. О. Мартянова** и **А. П. Сдобновой** (Саратов) был посвящен компьютерной версии ассоциативного словаря школьников Саратова и Саратовской области. Был охарактеризован тип словаря, его содержание, структура словарной статьи; описана методика проведения экспериментов и обработки полученных данных. Раскрыта теоретическая и практическая значимость словаря, его роль в развитии лингвистики (в частности, лексикологии и

лексикографии) и близких к ней наук — психологии и социологии.

В докладе **С. Е. Никитиной** (Москва) «О тезаурусном описании фольклорного человека» жанр фольклора был определен как особая предметная область с присущим ей набором ключевых слов, которые выражают концептуальное значение. Ключевые слова и фрагменты текста в каждом отдельном случае имеют свою «культурную нагруженность». Жанровая картина мира организована с помощью определенной сети семантических отношений. Сравнительный анализ словарных описаний ключевых слов, взятых из разных жанров, показывает то общее, что их объединяет.

**В. В. Морковкин** (Москва) сделал доклад «Глубина словарного рассмотрения языковых единиц как лексикографический параметр». В выступлении анализировалось различие характера и объема информации об определенном свойстве одной и той же лексической единицы в разных словарях, а также об определенном свойстве разных лексических единиц в одном и том же словаре. Применение предложенных принципов лексикографического описания было продемонстрировано на материале «Всеохватного объяснительного словаря русского языка: лексическое ядро», создание которого завершается в Институте русского языка им. А. С. Пушкина.

К вопросу соответствий русского слова *и* в финском языке обратилась в своем докладе **М. Лейнонен** (Тампере). По ее наблюдениям, финский союз *ja* аналогичен по функциям русскому соединительному союзу *и*. Слово *seka-etta* (букв. 'также-что') соотносится с двойным союзом *и—и*. *Muös* (в диал. *kanssa*) и *ja*, содержащие в своей семантике компонент аддитивности, являются идентичными частице *и*. Омонимичным указанной частице можно считать и суффикс *-kin*. Причем в одних контекстах он оказывается близким по значению частице *jopa* ('даже') и ввод-

ному слову *esimerkiksi* ('например'), в других — при специфическом выражении идеи ожидания — частице *myös* ('тоже'). Было также установлено, что повторяющаяся частица *X-kin Y-kin* в финском языке соответствует двойной частице *u — u* в русском.

Предметом исследования **Г. Е. Крейдлина** и **Е. Б. Морозовой** (Москва) явился один из основных классов эмблематических этикетных жестов в русской культуре — поклоны, а также их языковые номинации. По критериям 'сфера употребления' и 'назначение' было предложено различать три группы поклонов: церемониальные (ритуальные), религиозные, бытовые (светские). Центральное место в докладе занимал анализ последней группы, в которой выделяется четыре основные формы: земной поклон, поясной поклон, кивок и вежливый поклон. Были перечислены главные различия в их значениях, условиях употребления и представлена классификация по манере их исполнения.

Доклад **В. А. Широкова** (Киев) «К основаниям теории лексикографических систем» открыл утреннее пленарное заседание второго дня конференции. В докладе были кратко изложены основания теории лексикографических систем — базовой концептуальной схемы, применяемой в большинстве работ Украинского языково-информационного фонда НАНУ, в том числе и в создании национальной словарной базы Украины.

Доклад **А. Д. Шмелева** (Москва) был посвящен проекту «Словаря ключевых слов русской языковой картины мира». Рассматривались принципы составления словарика и строение словарной статьи. Отмечалось, что различные критерии отнесения слова к разряду «ключевых» (и, соответственно, включения в словарь) несут вспомогательный характер. Решающей оказывается интуиция составителя и возможность на основе семантического

анализа данного слова проникнуть в какие-то неочевидные особенности русской языковой картины мира и шире — русской культуры (для которых данная единица оказывается «ключом»).

В докладе **А. Я. Шайкевича** (Москва) «Классы, пространства и сети в семантической лексикографии» доказывалась неоправданность перехода от эмпирической системы ассоциаций к иерархии семантических классов, осуществляемого в процессе создания семантических словарей. На материале текстов Ф. М. Достоевского демонстрировалась возможность построения классов на основе дистрибутивных свойств лексических единиц. Предлагалось описание этнонимов и количественных слов типа *очень, чуть* с помощью терминов пространства. Раскрывалась специфика организации семантических сетей «анатомических» слов.

Доклад **Р. И. Розиной** (Москва) «Системные ограничения на семантическую деривацию» представлял собой обобщение наблюдений, сделанных автором при описании моделей деривации, которые характеризуют тематические классы русских глаголов. Было дано определение семантической парадигмы глагольного класса, а также выделены два основных типа реализации семантических парадигм и указаны причины их дефектности. Кроме того, были подробно разобраны семантические признаки глаголов, налагающие запрет на метонимически мотивированную деривацию.

В докладе **М. Я. Гловинской** (Москва) шла речь о глаголах, обозначающих речевые акты. Назывались общие семантические компоненты, свойственные подавляющему большинству таких глаголов, и рассматривался один из них — 'оценка говорящим речевого акта'. На основе результатов анализа многочисленных примеров высказывалось предположение, что хорошее воспринимается язы-



ком как норма. Также доказывалось, что отрицательной оценке подвергаются пять аспектов речевого акта: неискренность; направленность против интересов другого лица и корыстность субъекта; сам факт речевого акта и проявление личности субъекта в речевом акте; форма речевого акта; необоснованность и несправедливость осуждения.

В докладе **И. Т. Вепревой** (Екатеринбург) «Проблемы наивной лексикографии» очерчена специфика интуитивного толкования и указаны условия, сопутствующие его появлению. По мнению автора, в ситуации реального общения толкование новых слов обусловлено интересом к инновациям; маргинальных слов, входящих в литературный язык,— потребностью в расширении кругозора; неоднозначно понимаемых — обеспечением большей строгости и адекватности понимания. Различаются дефиниции максимально экономные и полные/избыточные. В первом случае при выражении конкретного смысла используется ассоциативный ряд, во втором — внутренняя форма слова.

Проблема размывания границ современного литературного языка и разрушения языка культуры затронута в докладе **С. М. Кузьминой** (Москва) «Норма в орфоэпических и орфографических словарях». Расшатанность норм связывалась с расхождением рекомендаций, которые даются в словарях. Последнее объяснялось несколькими причинами: различными критериями выбора одного из вариантов, пиратским выпуском устаревших академических изданий, лингвистической некомпетентностью составителей и отсутствием научного рецензирования. В докладе поставлен вопрос о создании единой системы критериев для оценки орфоэпического варианта и орфографического правила, о выработке оптимальной стратегии и тактики действия кодификаторов.

Доклад **О. С. Иссерс** (Омск) «Нейминг как объект лексикографического описания» был посвящен разработке наименований для компаний и торговых марок. Разбирались разнообразные методы генерации новых названий, процессы превращения торговых марок в имена собственные. Обсуждалось значение нейминга для лингвистики, и доказывалась целесообразность создания словаря-справочника коммерческих названий торговых марок.

Целью доклада **В. П. Григорьева** (Москва) «Хлебников: без словаря как без рук» было полнее раскрыть одну из сторон многогранной личности поэта. Хлебников являлся тем редким мыслителем, которого отличало чуткое отношение к слову и смыслу. Благодаря ему в лексикографию и филологию в целом пришло эвристическое моделирование, известное науке. Автор призвал лингвистов начать работу над созданием «Словаря Хлебникова».

Вечером второго дня конференции были представлены сообщения на трех секционных заседаниях.

На секции «Теоретические проблемы лексикографии» были рассмотрены союз и частица *все-таки* в словарях и речи (**О. Е. Фролова**, Москва), орфографическая вариативность в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова (**Т. М. Григорьева**, **С. В. Науменко**, Красноярск). Затронуты проблемы лексикографического представления информационных предикатов, в частности форм и значений глаголов восприятия (**Г. И. Кустова**, Москва). Раскрыты наивно-языковые представления о структуре суток (**Т. В. Крылова**, Москва), концептуальное значение глагола *стоять* (**А. Д. Кошелев**, Москва), и представлено слово *ничего* глазами Федора Вернирота (**Х. Пфандль**, Грац).

На секции «Проблемы авторской лексикографии» шла речь об индивидуальных ассоциативных словарях как лин-

гвистических источниках (**А. П. Сдобнова**, Саратов) и о словаре эпитетов И. А. Бунина как источнике сведений о языке писателя (**В. В. Краснянский**, Орехово-Зуево). Анализировалась художественная модель мира в словаре поэтического языка (**Л. Л. Шестакова**, Москва), рассматривался жанр словаря в художественной литературе (**Н. А. Николаина**, Москва), и предлагались принципы составления словаря писателя (**Н. А. Коженикова**, Москва).

На секции «Словарь и история культуры» были охарактеризованы речеведческое поле в зеркале словарей (**В. Д. Черняк**, Санкт-Петербург), стилистическая составляющая лексикографического описания (**О. Н. Емельянова**, Красноярск), корпоративная лексика в аспекте лексикографического описания (**Л. З. Подберезкина**, Красноярск); прослежена судьба советизмов (**А. П. Романенко**, **З. С. Санджи-Гаряева**, Саратов). Кроме того, обсуждался словарь цитат современного городского фольклора (**Е. Я. Шмелева**, Москва) и словарь симптоматических выражений (**М. В. Рудерман**, Москва).

Утреннее заседание последнего дня конференции открылось докладом **Л. Л. Федоровой** (Москва) «Проблемы лексикографического описания сложных слов». В нем были указаны трудности, возникающие при описании сложных слов в толковых словарях для школьников. К числу наиболее трудных случаев были отнесены неоднозначность структурных моделей, затемненность исходных образов (особенно у слов из пассивного запаса), появление новых аббревиатур, заимствований и переводов имен собственных.

В докладе **И. Б. Левонтиной** (Москва) «Об одной загадке частицы *ведь*» была прослежена связь между определенными компонентами словарного толкования частицы и контекстными ограничениями

на ее сочетаемость с грамматической формой императива. Были установлены условия, при которых снимается запрет на указанное употребление. Это позволило выявить семантический компонент частицы *ведь*, до сих пор не рассмотренный в словарях.

Доклад **В. Ю. Апресян** (Москва) назывался «„Компенсация“ и „оговорка“ в русской языковой картине мира». Анализировалось употребление союзов *зато* и (*вот*) *только*, которые выражают семантически близкие, но прагматически противоположные смыслы («компенсацию» и «оговорку»). Было установлено, что ситуация в высказывании с *зато* воспринимается говорящим как желательная и позитивная, а ситуация в высказывании с (*вот*) *только* — наоборот, как нежелательная и негативная. Соответственно первые высказывания интерпретируются как прагматически «сильные» и уверенные, вторые — как прагматически «слабые» и неуверенные.

Рассмотрению союзов в их центральном значении был посвящен и доклад **Е. В. Урысон** (Москва) «Союзы *а*, *но* и *хотя*: актантная структура». С точки зрения автора, названные союзы являются двухместными предикатами. Их семантическая общность в фиксации нарушения обычного порядка вещей, обозначенного пресуппозицией, а семантическое различие — в указании на причину этого нарушения. Последним фактом определяется разная структура толкования и разное количество семантических актантов.

В докладе **В. Н. Телин** (Москва) «Живодейственное наследие культуры в лексикографическом формате „Толково-культурологического словаря фразеологизмов современного русского языка“» прозвучала мысль о том, что языковые знаки в культурологическом осмыслении приобретают функцию означающих для ее концептов и выступают как знаки ее

«языка» (в единстве своей формы и содержания). Поэтому структура указанного словаря должна состоять из двух частей. В одну предлагалось включить толкование лексико-грамматического значения фразеологизмов как структуру знания, прогнозирующую употребление этих языковых знаков в речи. В другую — культурологический комментарий к тем компонентам значения фразеологизма, которые принадлежат концептосфере, символарию культуры и наделяют знак функцией знака «языка» культуры. В докладе рассматривались «зоны» интерпретации образности фразеологизмов, включенные в культурологический комментарий, а также развернуты процедуры культурологического анализа некоторых идиоматических выражений.

В докладе **Р. Ф. Касаткиной** «Читая Пушкина с диалектными словарями» речь шла об использовании в творчестве поэта «псковизмов». Были разобраны слова разных частей речи, как понятные без перевода на литературный язык, так и требующие обращения к диалектным словарям. Среди слов, характеризующихся высокой частотностью в пушкинских текстах, назывались некоторые частицы и существительные — родовые названия домашних животных. Для ряда грамматических форм, обычно относимых к архаизмам, были найдены диалектные соответствия в ареале северных и северо-западных говоров, а также в говорах румынских липован и орегонских турчан. Северо-западная диалектная прикрепленность предполагалась и для части акцентных вариантов.

Доклад **Е. А. Земской** (Москва) «Проблема функционирования заимствованных слов в языке диаспоры и метрополии» касался принципов разграничения лексики двух названных сфер, процессов активизации тематических групп иноязычных слов, особенностей их употребления в разных странах. Рассматрива-

лись новые способы образования глагола от иноязычной основы, анализировались «поведение» заимствованных слов, имеющих одинаковое значение, но разное происхождение в языке двух сфер.

**О. Йокояма** (Лос-Анджелес) в своем докладе «Заимствованная лексика в письмах крестьян конца XIX века» установила зависимость между качественно-количественной характеристикой новых иноязычных слов в речи говорящего и степенью его грамотности. Зафиксировала типичные сдвиги в области фонетики, грамматики и семантики, связанные с процессом освоения заимствованных лексем. Предложила решение вопросов о том, был ли путь заимствования устным или письменным, было ли слово заимствовано из литературного языка или какого-либо другого источника и чем мотивировалось употребление заимствования при наличии исконно русской альтернативы.

В докладе **Л. П. Крысина** (Москва) «Вторичное заимствование и его описание в толковом словаре» было дано определение вторичного лексического заимствования, названы узальные и экстралингвистические критерии, позволяющие классифицировать иноязычные слова именно как вторичные заимствования, и рассмотрены способы толкования данных слов в словаре.

В докладе **С. И. Гиндина** (Москва) был затронут вопрос принципиальной аналогии между единицами толкования в лексикографии и в филологическом комментировании.

**А. С. Герд** (Санкт-Петербург) поднял вопрос плагиата в лексикографии.

Тезисы докладов международной конференции «Шестые Шмелевские чтения: проблемы русской лексикографии» были опубликованы отдельным сборником.

*М. Животова*

## НОВЫЕ КНИГИ

**Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. Сборник статей в честь Н. Д. Арутюновой** / Отв. ред. Ю. Д. Апресян. М.: Языки славянской культуры, 2004. 880 с.

Среди авторов сборника в честь чл.-корр. РАН Н. Д. Арутюновой — прямые ученики Нины Давидовны, участники семинаров и конференций «Логический анализ языка», ведущие отечественные и зарубежные ученые. И состав авторов, и их география (в сборнике участвуют более 70 ученых из России, Белоруссии, Украины, Австралии, Австрии, Германии, Италии, Китая, Польши, США, Финляндии, Франции, Швейцарии), и проблематика сборника отражают не только широту научных интересов Нины Давидовны, но и признание значимости ее научных достижений и организаторских усилий по созданию целого направления современной лингвистики, которое традиционно называется «логический анализ языка» (как и созданная в начале 80-х гг. проблемная группа, и ежегодно издаваемые Н. Д. Арутюновой сборники), однако выходит далеко за рамки логико-лингвистической проблематики и включает также изучение связей языка с литературой, традиционной народной культурой, религией, этикой, философией — т. е. изучение языкового космоса человека во всей его сложности и полноте.

Первый раздел книги «Типы языковых значений» включает статьи по лексической и грамматической семантике, а также семантике дискурсивных слов. Раздел открывается статьей Ю. Д. Апресяна «Акциональность и стативность как сокровенные смыслы (охота на *оказывать*)», в которой ключевые для описания глагольной лексики понятия акциональности и стативности рассматри-

ваются в перспективе таких важнейших проблем лингвистического описания, как фундаментальная классификация предикатов, семантическая мотивированность выбора лексических функций, взаимодействие лексических и грамматических значений. Статьи Е. В. Падучевой «Метафора и ее родственники» и Д. О. Добровольского «Регулярная многозначность в сфере идиоматики» посвящены теоретическим проблемам выделения и описания разных типов языковых значений. В статьях О. Ю. Богуславской, М. Я. Гловинской, Т. В. Крыловой, Е. С. Кубряковой, Н. Ф. Спиридоновой, Н. Ю. Шведовой разные типы значений и семантических процессов исследуются на материале слов разных частей речи и разных семантических групп. Ряд работ посвящен количественным словам — семантической типологии производных от числительного *два* (статья Вяч. Вс. Иванова), кванторным словам *большинство* и *меньшинство* (статья И. М. Богуславского) и *немного* (статья Л. Н. Иорданской и И. А. Мельчука). Грамматическая проблематика первого раздела представлена категориями уступительности (статья В. Ю. Апресян), перцептивности (статья А. В. Бондарко), посессивности (статья Д. Вайса), исследованиями семантики глагольных категорий вида и времени (статьи Р. Бенаккьо, Ф. Фичи, И. Б. Шатуновского) и семантики падежей существительных (статья Л. Янды). В статьях Ю. П. Князева, И. Б. Левонтиной, В. А. Плунгяна, В. М. Труба, В. С. Храковского исследуется семантика служебных и дискур-

сивных слов, а также конструкции, в которых они участвуют.

Во второй раздел сборника «Текст» вошли работы, посвященные разным структурным и семантическим типам предложений (статьи Л. Л. Иомдина, О. Б. Йокоямы, Х. Р. Мелига), коммуникативной организации текста (статьи С. В. Кодзасова и Т. Е. Янко), а также логическому анализу предложения (статьи А. Богуславского и Г. фон Вригта) и субъективно-модальным компонентам речи (статьи Н. К. Рябцевой и Е. Н. Ширяева). Особое место в этом разделе занимают исследования, посвященные организации и интерпретации мифологических и литературных текстов,— статьи В. Г. Гака о сокровенных смыслах в текстах А. П. Чехова, Т. М. Николаевой о совпадении основных элементов строения «Тамани» М. Ю. Лермонтова и «Кармен» П. Мериме, Ю. С. Степанова о красоте текста, В. Н. Топорова о двух уровнях понимания русской сказки о репке.

Третий раздел сборника «Культурные концепты и языки культуры» включает три тематических группы статей: «Религия. Этика. Язык», «Культурные концепты и национальные картины мира» и «История языка— история культуры». Статьи А. Вежицкой о еврейских культурных скриптах, Е. М. Верещагина о концепте стыда в библейских текстах, Р. Гжегорчиковой о раскаянии и покаянии, К. Г. Красухина о «золотом правиле» этики, Н. Б. Мечковской о символике креста и В. И. Постоваловой о символическом мире Дионисия Ареопагита посвящены связям естественного языка с языками религии и этики и анализу текстов, отражающих религиозные и этические концепты.

Проблематика культурных концептов и национальных картин мира представлена статьями Т. Ройтера, Т. В. Радзиевской, Г. М. Яворской, Е. В. Урысон, А. Д. Шмелева. Статьи С. Е. Никитиной о *человеке и людях* в устной народной поэзии и С. М. Толстой о вегетативной метафоре человеческой жизни посвящены языковой картине мира в народной духовной культуре. В заключительной части 3-го раздела собраны исследования по истории языка и культуры: статья Е. Э. Бабаевой о Ф. Поликарпове и А. Кантемире, статья В. М. Живова о понимании досуга в культуре Петровской и послепетровской эпох, статья А. А. Зализняка, в которой содержится реконструкция и новое прочтение записи дружинника Дмитра на стене киевского Софийского собора, статья Е. А. Земской о частных письмах конца XIX в. как лингвистическом источнике, статья А. Б. Пеньковского о загадках пушкинского текста и словаря, продолжающая цикл статей этого автора, посвященных лингвистическому и культурологическому комментарию к «Евгению Онегину».

Романской, скандинавской и кельтской культурно-языковой и филологической проблематике посвящены статьи М. А. Косарик, Т. А. Михайловой и Т. В. Топоровой.

Завершает сборник обзор С. А. Крылова «О научном творчестве Н. Д. Арутюновой» и составленная им библиография ее работ.

Широта охвата научных проблем и представительный состав авторов дают основание предположить, что сборник статей в честь Н. Д. Арутюновой заинтересует лингвистов самых разных специальностей и научных интересов.

Г. И. Кустова

**М. В. Филипенко. Семантика наречий и адverbиальных выражений.**

М.: Азбуковник, 2003. 304 с.

Монография М. В. Филипенко посвящена роли наречия в предложении — его взаимодействию с глаголом и другими словами. Материалом исследования служат преимущественно наречия образа действия русского языка (около 2 тыс. единиц) — этот традиционно выделяемый класс является наиболее семантически гетерогенным и в то же время наименее семантически изученным. Выявляются правила поиска сферы действия наречия в предложении; это правила, которые позволяют определить, какой семантический фрагмент предложения характеризуется наречием.

В книге обосновываются и подробно анализируются два крупных класса наречий — наречия с плавающей и фиксированной сферой действия (их списки приводятся в Приложениях). Каждому классу соответствует свое правило установления сферы действия.

Наречия с плавающей сферой действия способны характеризовать различные по содержанию элементы ситуации и выбор их обычно регулируется коммуникативной организацией высказывания. Так, в *Он ответил легкомысленно* оценка «легкомысленный» получает выбор содержания ответа, в *Он легкомысленно приехал на электричке (а не на такси)* «легкомысленным» оказывается выбор транспортного средства, а во фразе *Он легкомысленно пообещал приехать* как «легкомысленный» охарактеризован сам факт обещания.

Наречия с фиксированной сферой действия жестко связаны с определенным компонентом в семантической структуре ситуации: какой это будет компонент, предопределено семантикой наречия. Например, для *тихо* это компонент, характеризующий ситуацию по параметру «громкость

(звук)», для *медленно* таким параметром будет «скорость», для *ночью* — «время».

Поскольку правила, регулирующие функционирование наречий, затрагивают практически весь строй языка, в книге предлагаются нетривиальные решения, касающиеся противопоставления а) предикативных и качественных наречий; б) качественных и относительных прилагательных; в) актантов и сирконстантов. Анализируется коммуникативный аспект сочетаемости наречия с глаголом, т. е. такие особенности семантики наречия и глагола, в силу которых, скажем, сочетание *тепло кутать* возможно, а *\*нарядно кутать* — нет.

Предлагается подход к семантическому анализу предложения, альтернативный существующему «глаголоцентричному». Вводится понятие иерархии аспектуальных характеристик в высказывании: в *Дилижанс ухал прямо через деревню* ситуация звучания «ухать» включена в процесс движения, а движение дилижанса через деревню оказывается редуцированным вариантом реализации ситуации «дилижанс движется к своей цели»; возникает естественная иерархия ситуаций: на более высоком уровне оказывается та из ситуаций, которая включает другую. Аспектуальный анализ предложения мыслится как результат соединения семантики глагола с семантикой аспектуально значимого контекста — конструкций, глагольных приставок, отдельных слов и выражений (типа *мимо, сквозь, через, пока, один за другим, все еще* и проч.). То, что происходит в случае несовпадения семантических признаков глагола и контекста, есть не столько «навязывание» глаголу семантических признаков контекста (coercion), сколько многоуровневое взаимодействие.

Е. П.

**Linguistic and Literary Aspects of Free Indirect Discourse from a Typological Perspective (FID Working Papers; 1).**  
Tampere, 2003. 120 p.

Осенью 2003 г. под редакцией профессоров Тамперского университета Пекка Тамми и Ханну Томмола вышла книга *Linguistic and Literary Aspects of Free Indirect Discourse from a Typological Perspective* («Лингвистические и литературоведческие аспекты свободного косвенного дискурса в типологической перспективе»). Сборник представляет собой первую публикацию по финскому исследовательскому проекту, посвященному изучению так называемого *свободного косвенного дискурса* (СКД), или *несобственно-прямой речи*, — нарративной техники, широко используемой в художественной литературе начиная со второй половины XIX в.

В сборник включено семь статей, в которых СКД рассматривается с точки зрения нарратологии, лингвистики и переводоведения. Цели исследования типологические и межъязыковые. В работах П. Тамми, Пяйви Кууси и Х. Томмола привлекается среди прочего материал русского языка.

Литературоведческие статьи написаны П. Тамми и его учениками Маркку Лехтимяки и Марией Мякеля. Лехтимяки анализирует функционирование СКД в документальном нарративе, в первую очередь в известных произведениях американской публицистики. Поскольку СКД — не только метод передачи мыслей литературного персонажа, но и, шире, способ репрезентации речи, СКД встречается также в документальном и «естественном», устном повествовании. Согласно автору статьи, небеллетристический нарратив, осознанно пользующийся художественными приемами беллетристики, поднимает специфические проблемы, не решаемые ни лингвистическими методами, ни с помощью когнитивных моделей реальной жизни.

В статье М. Мякеля рассматриваются проблемы интерпретации СКД и ставятся под вопрос формальные критерии его идентификации. Значение СКД как приема репрезентации сознания (по Есперсену) обосновывается тем, что он колеблется между вербальным и довербальным, между субъективным и культурно обусловленным. В качестве примера приводятся классические фрагменты несобственно-прямой речи из «Мадам Бовари», где описание сознания конструируется в ироническом отношении к культурным схемам романтической любви и супружеской неверности; СКД в романе способствует выявлению драматического разрыва между жизненным опытом и его отражением в языке.

П. Тамми рассматривает классические определения СКД в контексте постклассической нарратологической теории. Особенное внимание уделяется «скользкости» лингвистических определений этого способа повествования. Примером служит «допостмодернистский» рассказ Набокова «Подлец». В этом произведении аномальные повествовательные средства подчеркивают способность художественного текста деконструировать, т. е. заново отчуждать готовые формальные типологии, разработанные теоретиками литературы.

Профессор Рольф Тьеррофф из Университета Оснабрюк (Германия) подробно анализирует использование временных форм, особенно выражение будущего времени в немецком СКД.

Переводоведческий подход представлен в работе П. Кууси, которая изучает переводы романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин на финский и русский и отмечает те места, где точ-

ка зрения смещается и переходит от повествователя к персонажу или, наоборот, находится в зависимости от решений, сознательно или несознательно принятых переводчиками.

Введение и заключительная статьи написаны Ханну Томмола. Во Введении описываются цели и задачи типологического проекта и сообщаются первые

предварительные результаты и некоторые данные о функционировании СКД в обследованных языках. В Заключении сравнивается функционирование СКД в ряде славянских и неславянских языков, обсуждаются возможности и границы чисто лингвистического подхода к решению проблем СКД.

Е. П.

**Leška Oldřich. Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny.**

Praha, 2003. 476 s.

Передо мной вышедшая год тому назад книга покойного профессора Карлова университета в Праге **Олдржиха Лешки** (1927—1997) «Язык в структурном понимании. Очерки по синхронному и диахронному анализу русского языка» — плод многолетних трудов одного из виднейших чешских русистов и, шире, славистов, которая была готова к печати еще за четверть века до того, но в силу ряда обстоятельств вышла только спустя много лет после его кончины.

Имя Олдржиха Лешки (учившегося, в частности, в аспирантуре у В. В. Виноградова), хорошо известно российским русистам, богемистам, славистам и лингвистам вообще. Автор этих строк познакомился с ним на филологическом факультете МГУ, когда О. Лешка был в очередной научной командировке в Москве. До сих пор в моей памяти остался его комментарий к словам *стезя — стѣжка — стогна* (в стихотворении Пушкина во множественном числе *немые стогны града*), где первая огласовка — церковнославянизм, а последняя отражает уже второе южнославянское влияние, на что мне О. Лешка тогда указал.

А теперь обратимся к самой книге, издание которой подготовила д. ф. н. Здена Скоумалова. Следует сразу сказать, что это весьма многоаспектное исследование,

которое, с одной стороны, может служить надежным пособием для изучающих русский язык в его истории и современном состоянии, а с другой — не менее надежным источником информации для тех, кто интересуется проблематикой развития русского языка в научном плане. Книга состоит из двух основных разделов, из которых первый посвящен современному русскому языку, не только литературному, но и его диалектному «фону», а второй, намного более объемный, — истории русского языка, начиная с праславянской эпохи и кончая периодом формирования современного литературного идиома. При этом в обоих разделах языковой материал преподносится последовательно со структуралистской (см. заголовок!) точки зрения в духе концепции Пражского лингвистического кружка, что представляется крайне важным.

Книгу сопровождают многочисленные приложения, относящиеся как к современному русскому языку, так и к его историческому развитию и диалектной дифференциации, включая две карты. Среди них особую ценность имеют факсимильные воспроизведения страниц некоторых текстов, от византийских IX в. до московских XVII в., по которым изучающий историю русской письменности может наглядно представить себе



этапы становления и развития кириллицы на Руси.

Не подлежит сомнению, что книга О. Лешки являет собой весьма полезное пособие как для обучающихся, так и для обучающихся. Разумеется, кое-что в авторских трактовках выглядит ныне уже несколько устаревшим, что вполне понятно, поскольку книга эта готовилась к изданию на протяжении четверти века, но как монументальный труд по русистике и славистике она и сегодня не утратила своего значения, во всяком случае, для русистов, читающих по-чешски.

Тем же, кто этим языком не владеет, можно рекомендовать одно из двух: либо изучить чешский—это для русиста всегда полезно, в подтверждение чего достаточно сослаться на основателей Пражского лингвистического кружка Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона, либо прочитать по крайней мере русскоязычное резюме этой книги (с. 451—454).

Книга доступна для ознакомления на кафедрах русского языка и славянской филологии филологического факультета МГУ.

С. С. Скорвид

**Sosnowski J. Toponimia rosyjska XVI wieku. Nazwy wsi /**

Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. 202 s. (Russian Toponymy in the 16th Century. Names of Villages)

Проблема русских топонимов—названий русских населенных пунктов—стала предметом диссертационного исследования польского ученого Яна Сосновского. В виде монографии под названием «Русская топонимия XVI в. Названия населенных пунктов сельского типа» эта диссертация была издана в Лодзинском университете в 2002 г. В русскоязычном резюме (с. 193) подзаголовок «Nazwa wsi» получил перевод «Названия населенных пунктов сельского типа». Это указывает на тот факт, что доминантное понятие *wies* в русском переводе выражается такими названиями, как: *деревня, починок, село, сельцо, весь*, которые можно собирательно назвать составным наименованием «населенный пункт сельского типа». Автором монографии была проделана весьма объемная работа, которая заключалась не только в изучении русских писцовых книг XVI в. по рукописям, но и в сборе полевых материалов в экспедициях (нередко по бездорожью) по центральной части

России. Прилагаемые карты (с. 189—192) позволяют определить границы охваченной исследованиями территории: на северо-востоке—до города Великий Устюг, на западе—Псковская земля с населенными пунктами у Чудского озера (Пейнус озеро), на юге—населенные пункты в границах города Курска.

Монография Яна Сосновского дает ответ на основной вопрос: как формировалась русская ойконимическая система XVI в., что с точки зрения словопроизводства, семантики и этимологии представляют собой не всегда исконно русские топонимы сельских населенных пунктов, сформировавшиеся в XVI столетии и сохранившиеся до наших дней. По своей структуре анализируемые автором книги ойконимы делятся на: 1) первичные названия, равные апеллятивам, например *Дуброва, Мельница* (от 7 % до 31 % от общего количества названий), преобладающие в Московском и Тверском уездах; 2) вторичные названия, дериваты (от 57 % до 86 %), например *Оба-*

кумово, *Сосновец* — в Тульском уезде; 3) составные топонимические наименования, например *Долгая Нива* (от 8 % до 12 %) — в Старо-Рязанском уезде; 4) названия предложно-падежного типа, например *На Колодезе* — в Тульском уезде (наименее частотные, не более 3 %).

В монографии указаны процентные показатели названий сельской местности XVI в., образованных с суффиксом *-ов/-ев-* (37%—63%), *-ин-* (16%—30%), например *Макарово, Бородино* (дубликатно — в Московском и Можайском уездах); с суффиксом *-ск-* (5%—15%), ср.: *Дубровское, Шелонское, Истоминская* и др. Названия типа *Радогощ, Подмошье* указывают на праславянский исток с суффиксом *-\*j-*. В книге дана праславянская этимология этих названий.

По своей семантике исследуемые ойконимы XVI в., согласно классификации Я. Сосновского, делятся на топографические (*Болото*), культурные (*Овин*), притяжательные (*Нечаевская*), патронимические (*Федоровичи*), этнические (*Островци*), родовые (*Новики*), служебно-профессиональные (*Бобровники*), оттопонимические (*Клязьма*, река того же названия) и культовые — от названий церквей (*Богородицкое*). В монографии отмечается преобладание притяжательных наименований, что связано с большой продуктивностью суффиксов *-ов/-ев-*, *-ин-* и вариантов суффикса *-ск-*. Отмечена достаточная частотность топографических, культурных и оттопонимических названий.

Я. Сосновский обращает внимание на архаичность названий Новгородского

уезда. Особенность ойконимов данного района России заключается, во-первых, в наличии большинства первичных названий (например, *Поляна, Холм*); во-вторых, — в распространении названий с менее известными в других регионах суффиксами *-[j]e* (например, *Подсопочье*: под сопкою); *-ыня* (например, *Смердыня*: смерд или смердети); в-третьих, — в наличии более редких, чем в других уездах, названиях с *-овка* (например, *Грановка*); в-четвертых, в наличии дериватов с конечным *-о* (например, *Березно*) и *-ско* (*Курско*); в-пятых, — в наличии патронимических названий на *-ичи* (например, *Васильковичи*: Васильково).

Подробно рассматриваются топонимы Псковской, Московской и Орловской земель. Показана специфика названий этих регионов. Отмечается более раннее, чем в XVI в., формирование некоторых названий на *-ов/-ев-*, *-ин-* (XII в.); на *-jь*, *-ьскъ*, *-ьнь* (первая половина XIII в.).

Я. Сосновский, отмечая схожесть процессов, формирующих ойконимическую систему древней Руси, Украины и Белоруссии, аргументированно доказывает, что остаток древних форм с топографическим значением на *-ск-* не всегда является прямым наследником форм на *-ьскъ*. В монографии отмечается специфика формирования подобных названий в восточнославянской языковой среде, объединяющая некоторые региональные сходства близкородственных языков.

В. М. Шетэля, М. М. Шетэля

### Этимологические исследования: Сб. науч. тр. Вып. 8 / Под ред.

Е. Л. Березович. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. 246 с.

Сборник, как и предыдущие выпуски этой серии (первый опубликован в 1988 г.), содержит исследования по диалектной лексике и ономастике. Книгу

открывают статьи, посвященные исконной славянской лексике. Ж. Ж. Варбот отмечает случаи сохранения в диалектных словах архаичных значений и форм

(курган. *поберэстень* ‘побелеть’ — к *береста*; арх. *довытэривать* ‘доперебирать ягоды’ — к *тереть*; арх. *дóмна* ‘колдуныя’ вместе с смол. *дмётся* ‘думать, надеяться’ сближается с *думать*, орл. *расчв́алить* ‘разбухнуть от влаги’ — с *чванный*, олон. *гумётъ* ‘ласкать’ < ‘сжимать’ — с *гумно*, название реки *Сновь* — с *снoвать*). А. А. Калашников связывает новгородское *рог* ‘злость’ с лтш. *rēgt* ‘гневаться’. В статье Е. Е. Королевой рассматривается происхождение слова *зимогóр* ‘человек, уходящий в город на отхожий промысел’ в говорах старообрядцев Литвы и Латвии. Л. В. Куркина возводит орл., курск., калуж. *хри́да* (вместе с *расхристанный*) к глаголу *\*xridti* < *\*skridti* ‘рвать’ < *\*(s)krei-* < *\*sker-* ‘резать’. Г. М. Магнер объясняет слово *зга* в выражении *ни зги не видно* как *\*стьга* ‘то, чем стегают, бич’, связывая его с глаголом *пáзгать* и лтш. *stiga* ‘стебель’, приводя в качестве аналогии синонимичный чеш. фразеологизм *ani zbla nevideti* при чеш. *zblo* < *\*stb́lo* ‘стебель’. В статье И. П. Петлевой собраны диалектные слова с вставным *-то(-та-, -ту-)* типа *растои́шиться*, *натохму́рить* и т. п. А. А. Аникин приводит перечень слов, которые ошибочно считаются балтизмами, и предлагает для них славянские этимологии (сиб. *бундечка* ‘звонок на шее животного’ — к *бунéть*, *бунча́ть*; белор. диал. *гэ́гнуць* ‘умереть’ — к *гикнутьс́я*; южн., зап.-рус. *потура́ть* ‘потакать’ — к *потворствовать*; рус. (прибалт.) *сикляха* ‘муравей’ — к *сика́ть*; белор. диал. *пашы́на* ‘хворост’ из рус. *фашина* ‘связка хвороста’ < нем. *Faschine* и др.). Б. Сегень сообщает о подготовке этимологического словаря Подляшья.

Авторы ряда статей обосновывают прибалтийско-финское происхождение русских диалектных слов: арх. *ижóра* ‘отходы льна’, ‘двойная нить из пеньки

и шерсти’ < карел. *jouzera* ‘(само)прялка’ (Н. В. Кабинина), сев.-рус. *пéндус* (*пéнтус*, *пéнус*) ‘болото’ < фин. *pinta* ‘поверхность’ (О. А. Теуш), *перзя*, *перзак* ‘толстяк’ < фин. *perse* и т. п. ‘задница’, *пирой* ‘пирог’ — обратное заимствование из прибалт.-фин. языков в рус. (А. Л. Шилов). С. А. Мызников пересматривает в свете новых данных предложенные Я. Калимой прибалтийско-финские этимологии рус. диал. *кў́лгача* ‘ворота’, *ра́тка* ‘повозка’, *кў́кры* ‘плечи’. В статье С. В. Панченко собрана хантыйская лексика с компонентом *юх* ‘дерево’, встречающаяся в русских источниках 1870—1930 гг.

В работах по ономастике анализируются названия притоков реки Казым (Т. Н. Дмитриева), прибалтийско-финские гидронимы Онежского полуострова (Т. И. Киришева), гидронимы Карелии и Присвирья саамского происхождения (А. К. Матвеев), топонимы Русского Севера, образованные от прибалтийско-финских антропонимов (Я. Саарикиви). А. Л. Шилов публикует пробный фрагмент этимологического словаря топонимов Карелии (буква Б). Е. Н. Полякова предлагает возводить фамилии *Кондырев*, *Кандырев*, *Калдырев* к диалектизму прибалтийско-финского происхождения *кóнда* ‘бревно сосны’, откуда *кондовый*.

Особый раздел составляют статьи по народной этимологии в русских говорах (Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова), в заговорах (А. Б. Мороз), в христианской лексике (С. Ю. Дубровина), в греческом переводе Книги Екклесиаста (А. А. Кожина).

Завершают сборник работы по семантике. О. В. Белова связывает фразеологизм *кот заплакал* с легендой о том, как кошки и собаки выплакали себе хлеба у Бога во время голода. К. В. Пьянкова рассматривает употребление слов *масло*, *салить*, *пятнать* и т. п.

в русской терминологии игр. О. С. Смирнова анализирует мотивацию наименования (внутреннюю форму) полеводческих терминов, С. А. Толстик — понятия «худой» в русских диалектах. Е. И. Якуш-

кина прослеживает развитие вторичных оценочных значений у славянских названий постной и скоромной пищи.

*А. А. Пичхадзе*

**Indexy k staroslověnskému slovníku / Zpracovala Z. Ribarova;  
Rd. E. Bláhová. Praha, 2003 (= Práce slovanského ústavu AV ČR.  
Nová řada; Sv. 16). 241 s.**

Издание содержит указатели к «Старославянскому словарю (по рукописям X—XI веков)», вышедшему в 1994 г. в Москве под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Этот справочный том составлен с учетом новых источников, используемых в готовящемся к печати новом издании «Словаря», — новооткрытых частей Синайской псалтыри и Синайского евхология, Ватиканского палимпсеста (евангелие-апракос) и небольших отрывков: Македонского (Гильфердингова) листка, Новгородских (Куприяновских) листков и Синайского палимпсеста (отрывок евангелия-апракос). В указателях исправлены ошибки, замеченные рецензентами и самими издателями «Старославянского словаря».

Справочный том, безусловно, расширяет возможности исследования старославянских текстов. Всего в издании 8 указателей. Первый содержит перечень заголовочных (словарных) форм в алфавитном порядке с указанием числа употреблений в источниках «Словаря»; если слово зафиксировано только один раз, приводится название памятника, в котором оно встретилось. Первый указатель включает 9430 слов. Во втором указателе приведены 184 слова, которые отсутствуют в издании 1994 г.; они извлечены из новых и — в единичных случаях — из старых источников. При них также указывается число употреблений и даются ссылки на памятники. В третий

указатель включены слова, заголовочная форма которых имеет варианты; здесь наряду с основным приводятся все остальные варианты под специальными индексами. Четвертый указатель содержит список омонимов, пятый — список возвратных глаголов и причастий (695 слов), шестой — список собственных имен (1034 единицы) с указанием числа употреблений и памятника, если слово отмечено только один раз.

Седьмой указатель представляет собой обратный словник заголовочных слов и их вариантов. Омонимы приводятся здесь только тогда, когда они принадлежат к разным частям речи, что едва ли оправданно. Представляется неудачной и форма подачи возвратных глаголов: возвратная частица не приводится, но обозначается звездочкой, при этом теряется информация о том, в какой форме выступает частица — *са* или *си*.

Завершает справочный том частотный словник, где слова перечислены по возрастанию частоты употребления в старославянских памятниках: встречающиеся один раз (они составляют треть словника), два раза и т. д. вплоть до самых частотных. Данные до 100 употреблений приводятся точно, свыше ста — приблизительно. При словах, фиксирующихся только один или два раза, указываются источники.

*А. А. Пичхадзе*

**Фразеологический словарь русского языка** / Сост. А. Н. Тихонов (рук. авт. кол.), А. Г. Ломов, Л. А. Ломова. М.: Высшая школа, 2003. 335 с.

Данное издание (далее: Словарь) представляет собой фактически полную копию зоны фразеологии «Словаря русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой в 4-х томах (3-е изд. М.: Русский язык, 1985; далее — МАС). Как указывают авторы Словаря (с. 6), по сравнению с источником в Словарь были внесены следующие изменения:

- 1) уточнена видовая характеристика глаголов;
- 2) во всех примерах выверена и полнее отражена сочетаемость фразеологизмов;
- 3) расширена система стилистических помет;
- 4) более точно определен компонентный состав оборотов;
- 5) компоненты ФЕ (фразеологических единиц. — Т. Ф.) снабжены ударением.

Словарь включает в себя свыше 10000 единиц, организованных по алфавитному принципу. Состав словника весьма разнообразен, в него вошли идиомы (*клин клином выбивать*), коллокации (*принять меры*), речевые формулы (*черта с два!*), составные термины (*ящеричные змеи*). Единственным критерием отбора является наличие той или иной единицы в зарумбовой части МАСа. Как указывают авторы в главе «Принципы построения словаря», описываемые фразеологизмы приводятся на все компоненты (кроме служебных), значение же «дается один раз, под тем словом, которое в данном выражении является наиболее значимым» (с. 4). Однако этот принцип соблюдается не всегда. Так, фразеологизм *принять меры* приводится на *принять*, но не приводится на компонент *меры*.

Словарная статья полностью копирует соответствующий фрагмент зоны фразеологии в МАСе. В общем случае

она состоит из заглавного слова, после которого помещается фразеологизм, и объяснения значения фразеологизма. Если компоненты фразеологизма имеют лексические или морфологические варианты, эти варианты помещаются в круглых скобках.

Факультативными зонами словарной статьи являются:

- 1) Стилистические, терминологические, территориально-региональные и временные пометы. Авторы указывают, что система стилистических помет была расширена, однако все стилистические пометы, приведенные в списке условных сокращений, используются и в МАСе (за исключением пометы *груб.* (грубое), отсутствующей в списке помет МАСа). В списке помет Словаря присутствует и помета *разг.* (разговорное), хотя авторы указывают на то, что она не используется.

- 2) Иллюстративные примеры. В словарной статье приводятся как сконструированные примеры, так и цитаты из художественной литературы. Они совпадают с иллюстративными примерами из МАСа. Нередко примеры отсутствуют вообще.

- 3) Оттенки значения. Например, термин *грифельный сланец* толкуется как «особый вид слоистого сланца (аспидный сланец), который используется в качестве кровельного материала, а также для изготовления грифелей и аспидных досок», оттенком же значения является определение «сделанный из этого сланца».

- 4) Этимологические сведения.

Таким образом, Словарь не представляет ценности как самостоятельный лексикографический труд. В лучшем случае его можно рассматривать как справочный аппарат к МАСу.

Т. В. Филипенко

Редколлегия международного научного журнала Российской академии наук

**«Русский язык в научном освещении»**

объявляет

**международный конкурс**  
на лучшие статьи по актуальным проблемам русистики.

К участию в конкурсе допускаются не публиковавшиеся статьи, посвященные истории русского языка, диалектологии, истории русской письменности, текстологии и палеографии; взаимодействию русского языка с другими языками; синхронному изучению русского языка во всех его аспектах.

Конкурс проводится по двум номинациям:

1. История и диалектология русского языка;
2. Русский язык в его современном состоянии.

Лучшие статьи будут опубликованы в журнале.

Кроме того, авторам трех лучших статей в каждой номинации будут присуждены денежные премии:

- 1-е место – 700 долларов;
- 2-е место – 500 долларов;
- 3-е место – 300 долларов.

Статьи на конкурс (объемом до 1,5 а.л.) принимаются до 30 сентября 2005 г. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2005 г. и опубликованы в № 2(10) журнала за 2005 год.

Оформление статей – по образцу публикаций в вышедших номерах журнала.

Для обеспечения анонимности статей при рецензировании просьба не указывать в статье свое имя; необходимые сведения об авторе просим сообщить в сопроводительном письме (название статьи, фамилия, имя, отчество автора, место работы и должность, номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты). При регистрации каждой статье будет присвоен номер, под которым будет проходить ее рецензирование.

**Адрес редакции:**

119019 Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН,  
редакция журнала «Русский язык в научном освещении», НА КОНКУРС.  
Тел. (095) 201-79-92, факс (095) 291-23-17, e-mail rusyaz@yandex.ru.